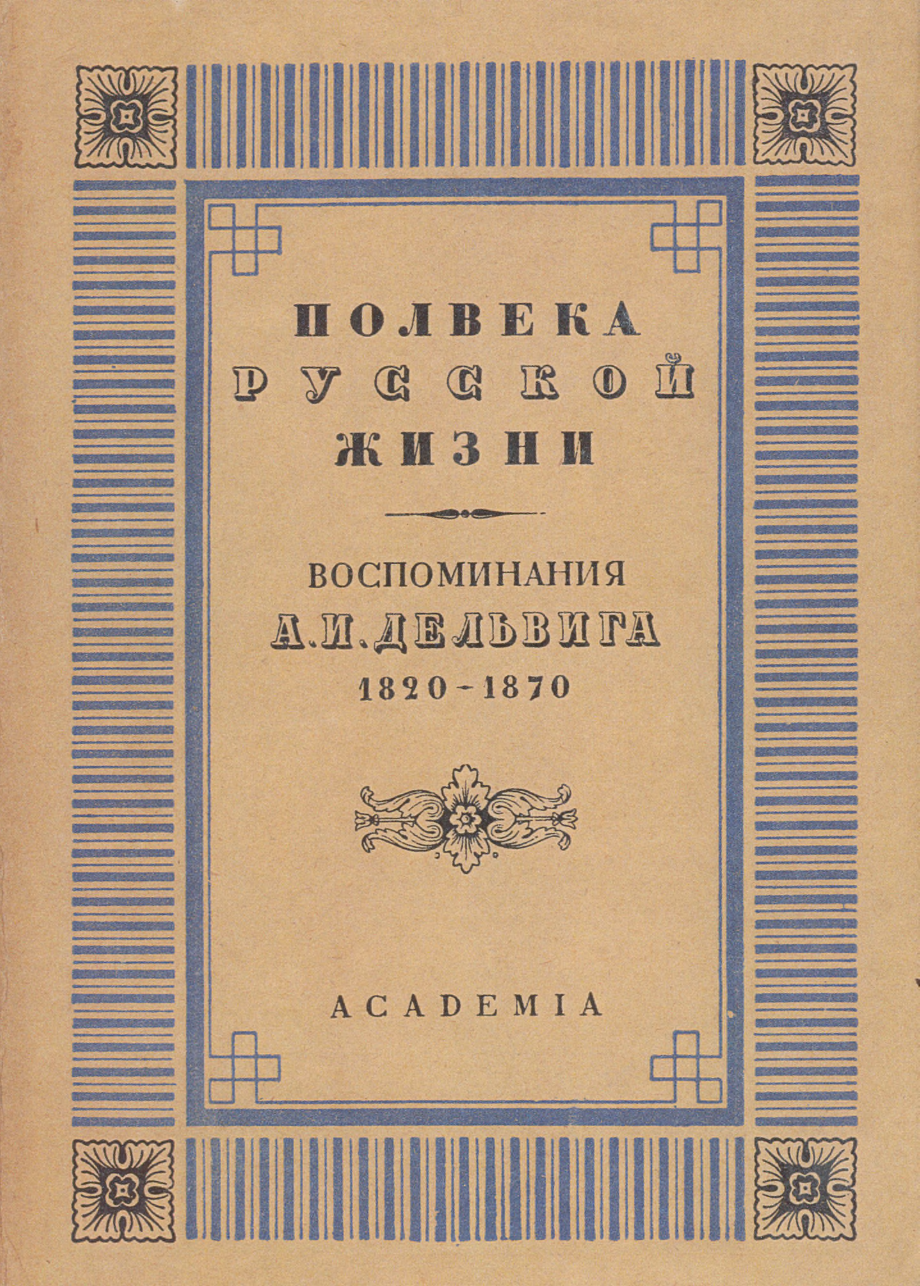
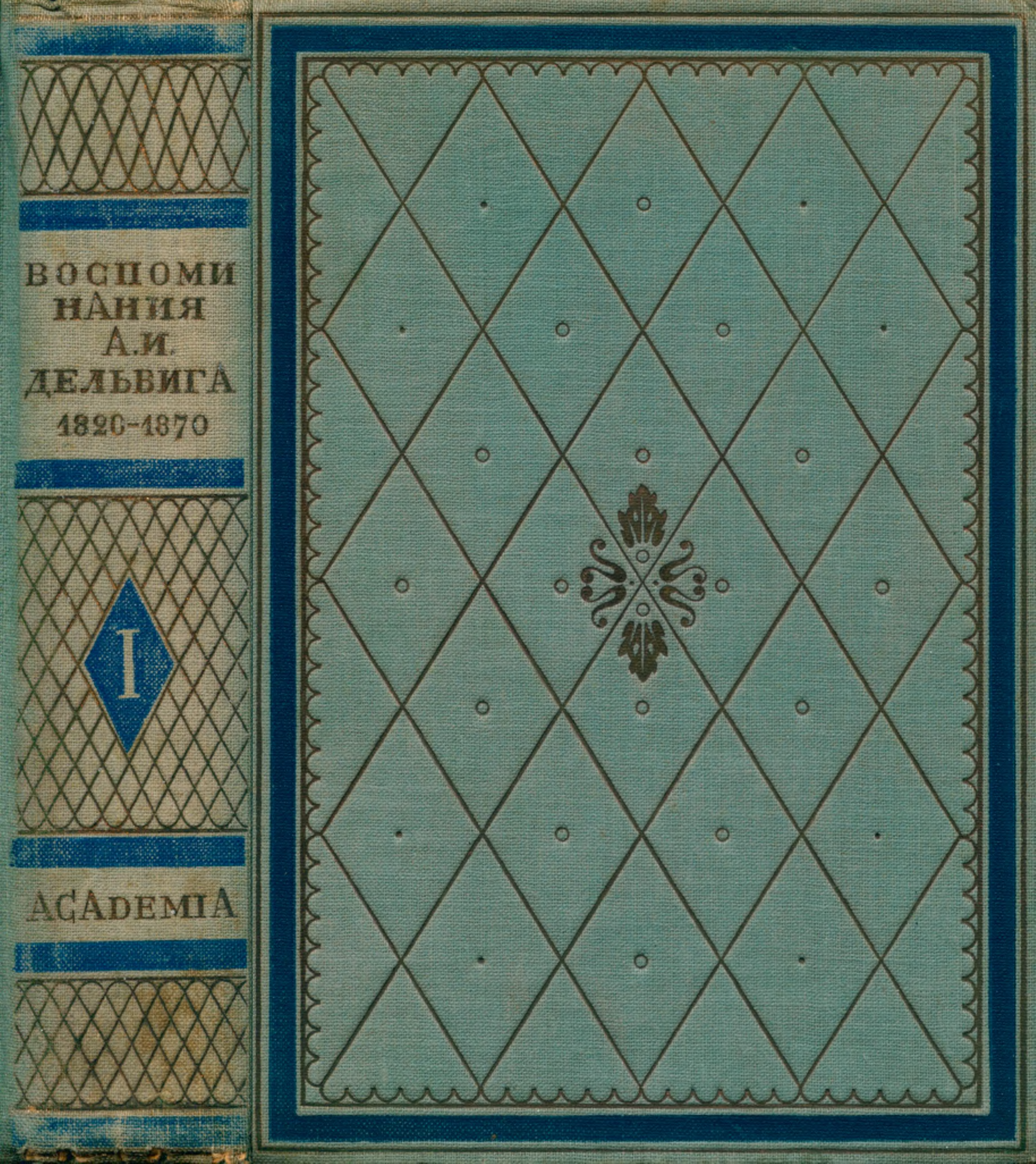

ПОЛВЕКА
РУССКОЙ
ЖИЗНИ
ВОСПОМИНАНИЯ
А. И. ДЕЛЬВИГА
1820-1870
ACADEMIA


ВОСПОМИНАНИЯ
А. И.
ДЕЛЬВИГА
1820-1870
I
ACADEMIA




ACADEMIA



А. И. ДЕЛЬВИГ

С портрета Е. И. Репина

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ЖИЗНИ

ВОСПОМИНАНИЯ
А. И. ДЕЛЬВИГА
1820—1870

РЕДАКЦИЯ И ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

С. Я. ШТРАЙХА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Д. О. ЗАСЛАВСКОГО



I

A C A D E M I A

МОСКВА [illegible] ИНГРАД

M C [illegible] X X X

РИСУНОК ПЕРЕПЛЕТА И СУПЕР-ОБЛОЖКИ
ХУД. И. Ф. РЕРБЕРГА

Гос. тип. им. Евгении Соколовой,
пр. Красных Командиров, 29
Главлит № А 69862
Тираж 5070—18½ л.
Заказ № 832

РАЗБОЙ ПОД ВИДОМ ЧЕСТНЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ

(Вместо предисловия.)

Я — вор! Я — рыцарь шайки той,
Из всех племен, наречий, наций,
Что исповедует разбой.
Под видом честных спекуляций
Некрасов. Современники.

Безнадежно больной, в последней стадии чахотки, Белинский совершал ежедневные прогулки к вокзалу строящейся Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги. Он со страстным нетерпением дожидался конца этой постройки. В ней он видел выход из невыносимого николаевского общественного тупика. Незадолго перед смертью он писал Анненкову: «...Теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратиться в буржуазию». Полунищий разночинец Белинский с упованием смотрел на рельсы железной дороги, по которым должна притти в Россию буржуазия. Только на этом пути мог быть нанесен смертельный удар феодальной, крепостнической, николаевской Руси.

Но по той же причине, по какой Белинский страстно выжидал окончания постройки первой большой железной дороги в России, правительство Николая первого всячески эту постройку оттягивало и тормозило. Оно и тянулось к железным дорогам, и смертельно боялось их. Главноуправляющий путями сообщения при Нико-

лае I граф Толь любил цитировать слова французского экономиста Шевалье: «Железные дороги суть самые демократические учреждения». А министр финансов Канкрин убеждал царя в том, что железная дорога между Москвой и Петербургом не нужна, даже вредна, потому что усиливает «наклонность к ненужному передвижению с места на место, выманивая при том излишние со стороны публики издержки».[1]

Одним из существенных аргументов против постройки железных дорог был аргумент стратегический. Правительство Николая первого в отечественном бездорожье усматривало могущественное средство обороны. Главным пугалом была все же буржуазия: неминуемый приход в Россию иностранного капитала, без которого строительство железных дорог в российском масштабе было вообще невозможно. «Страх перед вторжением в Россию европейских капиталов, — говорит М. Покровский, с точки зрения тех, кто правил страной при Николае, имел хорошие основания: вся «система» Николая Павловича могла держаться, как консерв в герметически закупоренной коробке. Стоило снять крышку — и разложение началось бы с молниеносной быстротой: эра буржуазных реформ 60-х годов это доказала на опыте».

Николаевскую ж. д. строили (вернее, достраивали) восемь лет, с 1843 по 1851 г. Начала, было, строить частная компания, которая не выдержала условий николаевской финансовой и хозяйственной системы и лопнула. Этот опыт решил дело. Строили своими, казенными средствами,

Строили долго и беспощадно, не жалея крепостной рабочей силы. Ухлопали на дорогу совершенно неимоверную сумму, свыше 165 тыс. р. на версту, — в то

[1] М. Н. Покровский. Русская история, т. 4 стр. 58.

время как частной компании, строившей раньше, верста пути обходилась в 23 тыс. р., крали и брали. Но тут же отметим основную черту этого железнодорожного грабежа. Это был разбой без «честных спекуляций». Это был разбой в порядке хозяйственной подрядной системы. Во главе строительства стояли генералы. Работы выполнялись армией подрядчиков, которые наживались всеми средствами, но сами представляли подчиненное звено в строительной системе. Питалась взятками, повидимому, всего больше средняя и низовая часть чиновничьей братии.

Бездорожье, как средство обороны, оказалось стратегической палкой о двух концах, и удар противоположным концом этой палки николаевская система пребольно почувствовала, когда из-за отсутствия железных дорог провалилась оборона Севастополя. В последовавшую затем эпоху «великих реформ» железнодорожное строительство играет главную роль. Капитал устремляется прежде всего в эту область. В 1857 г. сеть железных дорог составляла 671 версту, а в 1867 г.— 3.408, а в 1876 г. уже 16.700 верст,

Железнодорожное строительство было самой яркой, самой выразительной чертой первого десятилетия пореформенной экономики. Три четверти всех капитальных вложений в народное хозяйство шло на железные дороги. Железнодорожник во всех своих видах был героем капиталистического дня. Промышленник только следовал по его пятам. Железнодорожное строительство создавало базу для металлургической промышленности, железнодорожное движение придавало капиталистическому землевладению широчайший размах, открывая перед экспортным хлебом вновь создаваемые порты.

Железнодорожное строительство требовало капиталов и на первых порах эти капиталы могли притечь только из-за границы. Экономическая теория, принятая к официальному руководству, требовала поощрения частной, инициативы. Почти все строительство производилось в порядке выдачи правительством концессий предпринимателям-капиталистам, которым государственная казна гарантировала верный доход и еще давала субсидии под разными соусами.

Эта система частных концессий на железные дороги не представляла ничего оригинального. Смущенный характером железнодорожного строительства в России, экономист-народник Николай Даниельсон (Николай-он), известный первый переводчик марксова «Капитала», делился с Марксом своими впечатлениями. Маркс писал ему в ответ:

«Система, введенная во Франции Луи-Филиппом и заключавшаяся в передаче железных дорог небольшой шайке финансовых аристократов, в даровании им всяческих прибылей из народного кошелька и пр., была доведена до своих крайних пределов Луи-Бонапартом, правление которого в действительности покоилось существенным образом на торговле железнодорожными концессиями, при чем он был так щедр, что даже отдал в дар некоторым из железно-дорожных компаний государственные каналы и пр.» [1]

Правительство Александра второго заимствовало эту систему во всех ее деталях. Конец 60-х и первая половина 70-х гг. — это время неслыханной и в таких размерах уже неповторявшейся вакханалии концессионного предпринимательства. Открылся богатейший источник спекулянтской наживы. Задача заключалась в том, чтобы

[1] Письмо Маркса и Энгельса к Николаю-ону. Петербург. 1908. стр. 23.

какими бы то ни было средствами раздобыть концессию на железнодорожную линию. Концессия становилась предметом торга, продаж и перепродаж. Вопрос о доходности будущей дороги и о характере строительства играл роль второстепенную. Правительство не только гарантировало доход предприятия, иногда заведомо убыточного, но сплошь и рядом путем облигационных займов давало средства на постройку. Золото буквально падало с неба, и миллионеры росли под этим дождем как грибы. Именно в это время со сказочной быстротой вырастают будущие столпы русской буржуазии. Неграмотные десятники на постройках, скромные подрядчики чуть ли не за одну ночь превращаются в именитых миллионеров.

Частные капиталисты строят значительно дешевле, чем строила казна, хотя и значительно дороже того, что действительно стоила бы дорога при иных условиях. В накладные расходы входят колоссальное взяточничество и неофициальная цена концессии, полученной через титулованных сиятельных посредников. Дорога строится на живую нитку — для того, чтобы можно было поскорее сбыть ее и взяться за новую концессию. Беспощадная эксплоатация рабочих-крестьян, только что «освобожденных», превращается в сплошной грабеж. Путем обсчитывания рабочих покрываются расходы по подкупу сановников. Концессионная горячка сопровождается эпидемией железнодорожных крушений.

Основной чертой этого разбоя в отличие от разбоя хозяйственного, подрядного, является участие в нем придворных и правительственных верхов. Раздачей концессий формально ведали высшие правительственные органы, фактически, — как увидит это читатель из книги воспоминаний Дельвига, ведал этим двор. Зимний дворец превратился в лавку, где великие князья, фрейлины

и фаворитки Александра второго бойко торговали концессиями. Концессионеры и подрядчики легко проникали в такие палаты, в которые обычно вход простым смертным был наглухо закрыт. Самодержец всероссийский покровительствовал одним капиталистам, прогонял других, нисколько не справляясь с существующими законами и предоставляя послушным министрам прикрывать взяточнические операции их величеств и высочеств.

За царем, великими князьями и принцами стремились урвать свою долю министры и генералы. Разбой шел сверху, распространяясь по всем слоям бюрократии и буржуазного общества — вплоть до профессуры и либеральной печати. Концессионный разврат стал виднейшим общественным явлением. Он отразился в художественной литературе «Современниками» Некрасова, сатирическими очерками Салтыкова. В эту именно эпоху создавались первые кадры промышленного капитала и буржуазной интеллигенции в России. Они сразу восприняли последнюю выучку капиталистической Европы по части биржевого и концессионного жульничества, еще не овладев грамотой промышленной техники.

Барон А. И. Дельвиг, автор предлагаемых читателю мемуаров, был главным правительственным инспектором частных железных дорог в эту эпоху. На его глазах и при его непосредственном участии происходила концессионная вакханалия. Сказанного достаточно, чтобы определить общественную важность его свидетельских показаний. История русского капитализма еще не написана, в этой истории 60-е и 70-е годы займут виднейшее место, а книга Дельвига дает историку богатый материал.

В историческом суде над русским капитализмом Дельвиг выступает как «свидетель защиты». Иным он

не может быть по своему положению. Он был «своим» человеком для бюрократии двух царствований, доверенным лицом на ответственных постах у Николая первого и Александра второго. Он проводил железнодорожную политику своего правительства не за страх, а за совесть. Он был убежденным сторонником частного железнодорожного строительства, в этом был его либерализм. Царское правительство, со своей стороны, ценило заслуги Дельвига, и он в общем исправно получал причитающиеся верным слугам чины и ордена.

Однако, этот свидетель «защиты» в своих мемуарах выступает как свидетель обвинения, и его показания убийственны для царя, придворных кружков, для правительства и для всей капиталистической верхушки того времени. Мы получаем в спокойном обстоятельном рассказе барона Дельвига колоритную картину этого периода капиталистического накопления, который либеральными историками был фальсифицирован под названием «эпохи великих реформ». Со стороны экономической этот период был «разбоем под видом честных спекуляций».

Соединяя в своем лице свидетеля защиты со свидетелем обвинения, автор мемуаров не может быть, конечно, ни вполне последовательным, ни до конца откровенным разоблачителем происходившего на его глазах разбоя. Он был и сам, если и не непосредственным участником, то, во всяком случае, благожелательным сообщником в концессионном грабеже. У него была репутация честного человека, слегка подмоченная слухами о взяточничестве. По понятиям своего круга он был действительно честным человеком. Он мог составить себе миллионное состояние, а составил, между тем, капитал всего в 200.000 руб. Он клевал как скромная курица учредительские акции, в то время как его товарищи и начальники рвали как волки.

Читатель мемуаров Дельвига не пожалеет, если одновременно с этим чтением он освежит в своей памяти «Современников» Некрасова и некоторые главы «Современной Идиллии» и «Дневника провинциала в Петербурге» Салтыкова. Злая сатира на деятелей этой эпохи (в том числе и на самого Дельвига) доскажет то, о чем деликатно умалчивает Дельвиг, щадя и своих друзей и самого себя.

Д. Заславский.

РАЗОБЛАЧЕННАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

(вместо введения)

В опубликованных за время революции записках, воспоминаниях и архивных документах сообщались столь изумительные факты из истории обирания народа представителями правящих кругов при последних Романовых, что новые разоблачения казались невозможными. В различных публикациях приводились такие подробности из истории обогащения дворянства в России, в том числе первых дворян, семьи Романовых, что дальше, казалось, итти некуда. Так ярко и всесторонне освещены были в печати обстоятельства и подоплека правительственных назначений и мероприятий в области крупной промышленности и земельной политики, что дальнейшие публикации как будто не могли внести в литературно-научный обиход ничего нового.

И все-таки наши архивы хранят еще много ценного и занимательного, много важных фактов и любопытных подробностей из истории обогащения правящего класса за счет трудового народа ждут опубликования. Историки общественно-экономических отношений последних десятилетий царской России найдут в необследованных архивных «делах» любопытнейший материал для новых выводов или для пересмотра прежних заключений.

Но порою пересмотр старых публикаций и сверка напечатанного текста с авторской рукописью имеют не меньшее значение, чем включение в литературно-научный оборот самых сенсационных новых мемуаров

или архивных документов. Иногда такой пересмотр придает совершенно другой историко-научный и общественно-политический смысл печатному произведению с определенной репутацией.

В новом освещении предстают перед читателем факты и события, дополнительными штрихами характеризуются исторические деятели. И сами эти деятели, и сущность того или иного явления по-новому вырисовываются на фоне этих штрихов, как бы незначительно ни было количество дополнений по отношению к общей массе известных фактов. В таких случаях важен удельный вес нового материала. Иногда он невероятно велик в сравнении с удельным весом опубликованных прежде фактов и сообщений не только в рассматриваемом произведении, но и во всей литературе предмета.

Таково также значение публикуемых в настоящем издании дополнений к выпущенным в 1912—1913 годах «Моим воспоминаниям» барона А. И. Дельвига.

Современник Пушкина, двоюродный брат известного поэта А. А. Дельвига, автор «Воспоминаний» был близок к литературным кругам пушкинской эпохи и оставил интереснейшие сообщения о своих встречах в этой среде. Исследователи жизни и деятельности Пушкина (М. Л. Гофман, Н. К. Замков и др.) отмечают не только первостепенную важность фактических сообщений А. И. Дельвига, но и удивительную точность автора «Моих воспоминаний», заслуживающего полного доверия со стороны читателя.

Даровитый и трудолюбивый инженер, умный и энергичный организатор, А. И. Дельвиг, благодаря своим незаурядным способностям выдвинулся в первые ряды администраторов 60—70-х годов прошлого столетия и занимал видные должности по государствен-

ному управлению, вплоть до руководства всей деятельностью министерства путей сообщения. Это совпало с эпохой развития железнодорожного строительства в России, отмеченного хищнической наживой разного рода дельцов.

Наблюдения в этой области дали Дельвигу возможность сделать в своих воспоминаниях изумительные разоблачения об участии высших представителей правящих кругов в таких хищнических операциях.

Свои «Воспоминания» А. И. Дельвиг завещал Московскому публичному и Румянцевскому музеям (ныне Всесоюзная публичная библиотека им. В. И. Ленина), которым предоставил также право на издание его рукописи. И по смыслу этого завещания, и по целому ряду заявлений самого Дельвига в разных местах его «Воспоминаний» видно, что своим писаниям он придавал значение документа большой историко-общественной ценности. Хорошо сознавая, что эту ценность имеет лишь незначительная по объему часть его «Воспоминаний», та часть их, которая посвящена историко-литературным и общественно-политическим явлениям в описываемое им время, но желая, чтобы опубликованы были также его рассказы о себе самом, А. И. Дельвиг завещал своим издателям определенную сумму денег, как «воспособление по печатанию означенных воспоминаний».

Воля завещателя была выполнена, и в назначенный им самим срок были выпущены четыре тома «Воспоминаний» А. И Дельвига, общим объемом в 144 печатных (авторских) листа. В соответствии с оставленными автором средствами «Воспоминания» были изданы в чрезвычайно ограниченном количестве экземпляров — около пятисот — и давно уже сделались библиографической редкостью.

В дореволюционную эпоху цензура относилась очень строго к попыткам сообщать в изданиях, общедоступных по цене, по объему или по способу изложения, факты, освещающие эксплоататорскую или грабительскую природу правящих кругов. Но к изданиям типа «Воспоминаний» А. И. Дельвига отношение было снисходительное. В такого рода книгах, особенно малотиражных, многообъемных и дорого стоющих, разрешалось печатать вещи, которые не позволялось даже перепечатывать из этих книг в других, более доступных, изданиях.

По самому существу рассказов Дельвига можно было полагать, что такова же будет цензурная участь его огромной рукописи. На деле оказалось не то. «Воспоминания» А. И. Дельвига опубликованы с такими пропусками, что не только нарушена воля завещателя, но совершенно искажены его первоначальные намерения и извращен подлинный смысл сообщаемых им фактов. И такое искажение не было даже оговорено в заявлении от редакции.

Больше того: в предисловии к четвертой части «Воспоминаний», в рассказе о техническом распределении материала пятитомной рукописи А. И. Дельвига в четырех книгах рассматриваемого издания, сообщалось:

«Технические, а частью финансовые соображения заставили отступить от этого плана барона А. И. Дельвига и все его записки напечатать в четырех, вместо пяти, томах. Таким образом, разница получилась только в количестве томов, которые вышли пообъемистее предположенных самим автором. Но эта разница нисколько не отразилась на самом содержании записок, на объеме их и даже на количестве глав: «Мои воспоминания» барона А. И. Дельвига целиком и в полном своем объеме вошли в изданные четыре тома.

Необходимо, однако, заметить, что буквальное напе-

чатание записок барона А. И. Дельвига представило непреодолимые затруднения. Его откровенное и резкое перо иногда позволяло себе выражения, недопустимые по отношению к лицам высокопоставленным и особенно ныне здравствующим. Иногда барон сообщал сокровенные пружины событий и разоблачал совсем интимные подробности жизни своих современников. А один раз, и именно, рассказывая о событиях своей жизни в 1871 году, барон записал такие подробности, которые едва ли увидят свет и через сто лет.

Во всех подобных случаях, при печатании приходилось выкидывать иногда слова, иногда выражения, а иногда и страницы записок. Впрочем, таких выкидок сделано немного, и по объему они незначительны».

На счет ста лет те лица и учреждения, по вине которых «Воспоминания» барона А. И. Дельвига были опубликованы в искаженном виде, немного ошиблись. Менее чем через четыре года после напечатания записок Дельвига в измененном виде получилась возможность свободно писать о всех тех высокопоставленных лицах, о которых Дельвиг выражался так откровенно.

Получился также просчет и относительно объема выкидок. При сверке печатного текста «Воспоминаний» с авторской рукописью я нашел в последней не менее двух с половиной печатных (авторских, по 40 000 знаков) листов записей Дельвига, которые по содержанию своему не только выше содержания 144 листов, напечатанных в 1912 — 1913 годах, но коренным образом меняют смысл всего напечатанного, вносят резкие изменения в характеристики упоминаемых Дельвигом лиц, действительно вскрывают сокровенные пружины событий!

И все эти выкидки не были отмечены в печатном тексте воспоминаний. При наличии приведенного выше

заявления от редакции отсутствие отметок о выкидках, а порою замена, без оговорок, резких выражений Дельвига более «цензурными» ввели в заблуждение исследователей, писавших, что Дельвиг умолчал о некоторых явлениях, связанных с описанными им событиями.

Какие же подробности интимной жизни современников А. И. Дельвига, которые относились к 1871 году, не могли быть напечатаны в 1913 году и «едва ли» должны были «увидеть свет» даже в 2013 году?

Кто эти современники, кто эти высокопоставленные лица, о которых Дельвиг писал в семидесятых годах прошлого столетия в выражениях, недопустимых ни в 1913, ни в 2013 году?

Почему упоминание современников Дельвига и описание подробностей их интимной жизни в том виде, как это сделал автор, представлялись столь ужасными, что пропуски в тексте ничем не были отмечены?

Это сделано было потому, что надо было оградить высокопоставленных лиц и интимные подробности их жизни от простого любопытства рядовых читателей и от научных выводов исследователей общественно-экономических отношений второй половины XIX столетия. Для этого решились не только исказить «Воспоминания» А. И. Дельвига, но и злостно фальсифицировать их. Было кого и что ограждать!

Генерал-лейтенант и сенатор барон Дельвиг, руководивший министерством путей сообщения при императоре Александре втором и много лет стоявший в центре государственного управления, самым положительным образом доказывает, что этот император не только заставлял своих министров отдавать концессии на постройку железных дорог тем подрядчикам, которые обещали миллионные взятки царской фаворитке, что не только жена, братья и сыновья импера-

тора входили в подобные сделки с железнодорожными дельцами, что не только император приказывал выдавать из народной казны содержание фавориткам его сыновей, что не только грабили трудовой народ многие придворные императора и другие лица, принадлежавшие к правящим кругам, — но что император Александр второй приказал отпечатать для него на огромную сумму ценных бумаг с фальшивыми номерами серий и старался выменять эти серии по их номинальной стоимости на действительные деньги!

Когда же эти мошенничества были случайно обнаружены ревизией, император приказал скрыть результаты ее и выказал гнев не в меру усердным и недогадливым своим приближенным.

В устраненных из предшествующего издания сообщениях А. И. Дельвига имеются также любопытные подробности из жизни императора Николая первого. Есть несколько рассказов о том, какая дама или девица из придворных кругов была фавориткой императора и как использовали родственники этих высокопоставленных дам и девиц свое положение для получения по царскому приказу миллионных подачек из народной казны под видом возмещения убытков по различным подрядам и поставкам.

Есть рассказы о том, как наживали свои богатства другие представители правящих кругов, вроде различных предводителей дворянства, рассказы о борьбе дворян-крепостников с теми представителями своего класса, которые в интересах самосохранения готовы были жертвовать некоторыми кастовыми преимуществами и правами.

Наконец, имеются интересные неопубликованные подробности из литературной и частной жизни Пушкина и его друзей, а также различных государствен-

ных деятелей при Александре первом и Николае первом. Эти подробности среди других сообщений А. И. Дельвига, приведенных в печатном тексте воспоминаний, довольно любопытны и хорошо восполняют материал, не казавшийся опасным в 1913 году.

Конечно, не все 150 печатных листов воспоминаний А. И. Дельвига представляют интерес для современного читателя. Вряд ли нужны теперь подробные его рассказы о том, какой сад был при доме Лопухиной, какая умная и религиозная женщина была его мать, какой красивый молодой человек был его отец, как уважали и чтили в семье Дельвига мощи святого Тихона Задонского, как и сколько раз вырезали полипы в носу автора, по какой системе велась отчетность при производстве земляных работ в 1832 году, чем болела жена автора и кто ее лечил, как веселился народ на парижских бульварах, как проводил Дельвиг время в Карлсбаде и на других курортах, как плохо кормили приезжих в Берлине, как русская великая княгиня из немок любила православие и заставляла русских барынь жертвовать деньги на постройку в Германии православных церквей, какие глупости делал нижегородский губернатор Урусов и т. п.

Пришлось подвергнуть огромную рукопись А. И. Дельвига значительным сокращениям, пришлось отобрать из всей массы рассказанного им наиболее ценное в историко-общественном и историко-политическом отношениях.

В соответствии с нынешними издательскими возможностями и задачами этот редакторский отбор был очень строг. В результате отсеивания всего частного и преходящего, всего того, что имеет некоторое историческое, но второстепенное, значение (подробности устройства московского водопровода, история железно-

дорожного строительства в России), получились два тома «Воспоминаний», насыщенных содержанием, дающих поразительную по своей яркости картину общественно-политических отношений замечательной эпохи русской жизни. Если кое-где оставлены мелочи, то исключительно относящиеся к лицам, имеющим крупное историческое значение.

Перед читателем проходит полвека русской истории, литературной и общественной, с ее многообразием действующих лиц — от Пушкина и его окружения с их умственными интересами и дружескими связями до членов семейств Николая первого, Александра второго и всей правящей клики с их фаворитками, министрами, прихлебателями, продажными публицистами, с их алчной погоней за деньгами, с их прислуживанием представителям биржи и капитала.

Время, охваченное «Воспоминаниями», — 1820 - 1870 годы. Автор сообщает любопытные подробности о самом Пушкине, о поэте А. А. Дельвиге, об известной «вавилонской блуднице» А. П. Керн, о жене поэта Дельвига — С. М. Салтыковой-Боратынской, об А. С. Хомякове и многих других. Рассказывает о том, как оплачивали своих фавориток Николай первый и Александр второй, приводит изумительные примеры жестокости Николая первого, яркие примеры недомыслия Александра II, говорит о денежной бесчестности и нравственной распущенности царских министров, приводит обычные для того времени примеры несправедливости классового суда, рассказывает о земельных операциях дворянства, об эксплоатации помещиками крестьян и рабочих, о волнениях последних при Николае первом, дает очень ценный материал к истории развития капитализма в России и хищнической эксплоатации народного хозяйства, показывает, как вредно отражалось на

обороноспособности государства и на внутреннем управлении семейное начало при замещении высших правительственных должностей, ярко и красочно описывает он быт провинциального дворянства, положежение учебно-воспитательного дела в правительственных школах и в частных дворянских пансионах.

Много бархатных, шитых золотом и мишурой портьер отдергивает Дельвиг, много блестящих масок срывает он. Убедительнее резких памфлетов и гневных агитационных брошюр показывает генерал и министр императорского правительства всю гниль верхов буржуазного общества, самым ярким, законченным отражением которого были правящие круги царской России.

Как уже отмечалось выше, все рассказанное Дельвигом строго фактично и вполне достоверно. Не без основания было высказано соображение о том, что воспоминания А. И. Дельвига представляют собою позднейшую переработку своевременно веденного их автором дневника. Во всяком случае, он в течение всей своей жизни собирал материалы и документы.

Тем более убедительны обличения А. И. Дельвига, что сам-то он вовсе не противопоставляет себя обличаемой среде, как классу, что он любит и уважает этот класс. Автор хочет показать, что больные овцы портят все правящее стадо, что если бы к управлению призывались одни только благомыслящие и в соответственной степени умеренные люди, то и отдельные крестьяне благоденствовали бы, платя посильный оброк, и вся страна в целом процветала бы, а владельцы железнодорожных облигаций спокойно стригли бы в положенные числа купоны и умножали бы свое скромное достояние. С твердой верой в закономерность спекулятивно-биржевых экономических отношений рассказывает А. И. Дельвиг о том, как удачным, благодаря знаком-

ству с закулисной стороной дела, приобретением акций и облигаций нажил он двести тысяч рублей золотом, начав свою служебную карьеру нищим прапорщиком.

С пафосом веры в святость табели о рангах и божественную мудрость деления человечества на природных баронов и простых смертных, говорит он о своей принадлежности к рыцарскому сословию, о своих удачах или неудачах при раздаче чинов и орденов. Любопытны также его постоянные уверения в искренней религиозности и в истинно-русском патриотизме.

Автор «Воспоминаний» сам не замечает, что, опорочивая отдельных представителей правящего круга, он дает картину распада и гниения всего класса.

Тем более убедительны обличения А. И. Дельвига.

Интерес и занимательность изображаемой им картины, кроме ценности сообщаемых в книге фактов, обусловливаются еще значительной одаренностью автора «Воспоминаний»: наряду с наблюдательностью и вдумчивостью он обладал писательским дарованием и с этой стороны оправдал свою близость к литературному кругу друзей Пушкина.

Отразилась также в «Воспоминаниях» личная порядочность автора: не даром он пользовался уважением А. И. Герцена, с которым часто виделся в Лондоне и которому, конечно, сообщал многое для обличения русской бюрократии.

Андрей Иванович Дельвиг родился 13 марта 1813 года. О годах его учения, о служебной карьере и личной жизни достаточно говорится в настоящем издании «Воспоминаний». Другие подробности — в предшествующем, четырехтомном издании. Умер он 20 января 1887 года. К настоящему изданию прилагается снимок с портрета А. И. Дельвига масляными красками работы И. Е. Репина.

Кроме сверки текста с рукописью и восстановления пропусков, объясняемых условиями времени и другими обстоятельствами, сопровождавшими прежнее издание «Воспоминаний» А. И. Дельвига, кроме сокращений, обусловленных упомянутыми выше издательскими возможностями и задачами нашего времени, моя редакторская работа проявилась еще в следующем: все приложения, отнесенные в рукописи по условиям ее составления в конец каждой главы, но тесно связанные с основным текстом, внесены в последний; непонятные для современного читателя места книги объяснены краткими историко-литературными подстрочными примечаниями; в некоторых случаях редакторские пояснения даны в самом тексте, в прямых скобках; во II томе дан указатель имен; название книги дано по ее содержанию, автор назвал ее: «Мои воспоминания». Все пропуски прежнего издания, за исключением мелких редакторских поправок, заключены здесь в светлые звездочки. Примечания самого автора оставлены и соответственно помечены. В виду многочисленности выкидок совершенно невозможно было отмечать их. Порою приходилось вставлять в текст, для пояснения его, два-три слова из выкинутого отрывка. (Конечно, текст приводимых здесь стихов Пушкина не может служить для целей литературоведческих — для этого см. издание стихотворений Пушкина под ред. М. А. Цявловского, М. 1930). Иностранные фразы в тексте, весьма немногочисленные и случайные, даны в русском переводе. Постраничные заголовки составлены по содержанию.

При подготовке этого издания к печати я пользовался дружескими указаниями Н. О. Лернера и Н. К. Пиксанова и содействием моей жены Надежды Владимировны.

С. Штрайх.

А. И. ДЕЛЬВИГ

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ЖИЗНИ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1813 — 1826 г.

Родился я 13 марта 1813 г. в с. Студенец, в двух верстах от большого села Патриарши, в Задонском уезде, Воронежской губернии; назван я Андреем в честь отца моей матери.

Предок отца моего, родом из Вестфалии, в XV столетии присоединился к тем рыцарям, которые в XIII и XIV столетиях завоевали Прибалтийское прибрежье, населенное литвинами, эстами и латышами, — частию язычниками, а частию уже принявшими православие. Мечом обратили они все население в католиков, а впоследствии, перейдя сами в лютеранство, обманом обратили все туземное население в лютеран.

При покорении первых двух провинций Петром великим, многие из нашей фамилии были на государственной службе в Швеции, которой эти провинции тогда принадлежали; один из Дельвигов был полковником и принимал какое-то участие при заключении Ништадтского мира, конечно, со стороны Швеции.

Фамилия наша принадлежала к матрикулированному дворянству Лифляндской губернии в Риге; кажется, в Домкирхе теперь еще красуется наш герб между прочими гербами по-

томков рыцарей ордена меченосцев, но я его не видал.

Не имея никакого состояния, отец мой барон Иван Антонович поступил очень рано в военную службу, в 1807 г. в войну против французов был сильно ранен, так что принужден был оставить военную службу в чине майора.

У него был один брат барон Антон Антонович, две родные сестры и одна сестра по матери от первого ее брака. Одна из родных сестер Христина была замужем за Паткулем, другая, Катерина—за Куцевичем, а последняя за Гурбандтом. Дядя мой был гораздо старее отца, состоял в 1807 г. в должности московского плац-майора, которую он занимал до 1816 г. Он был женат на Красильниковой, которая приходилась двоюродной сестрой моей бабки, а следовательно теткою моей матери. Здесь встретил ее мой отец. Он был очень красивый и ловкий мужчина и умел понравиться моей матери, которая отличалась красотой и многими необыкновенными достоинствами; состояние же ее было весьма ограниченное. Она полюбила страстно моего отца, что будет видно из дальнейшего рассказа, но уже ясно из того, что она решилась выйти замуж за человека без всякого состояния, за лютеранина, с которым сверх того состояла в свойстве, что было не совсем правильно по тогдашним понятиям. При твердости характера моей матери и ее религиозных убеждениях эта решимость еще более имеет значения.

Мать моя, урожденная княжна Волконская, принадлежала к потомству Рюрика, св. князя

Владимира равноапостольного и замученного в орде св. Михаила Черниговского. Отец ее, князь Андрей Александрович (умер в 1813 г.), был сын князя Александра Григорьевича и внук князя Григория Ивановича, бывшего при Петре великом бояриным, а впоследствии генералом от кавалерии, начальником всех драгунских полков и обер-комендантом Москвы, Тулы и Ярославля. Он получил за свою службу несколько имений от Петра великого и, между прочим, вышеупомянутый Студенец, в котором я родился. За скорое сформирование девяти драгунских полков и приведение их под Азов Петр великий пожаловал ему богатую кружку, которая хранится у меня. В семействе покойного моего двоюродного брата Николая Александровича Замятнина хранится целая книга писем временщика князя А. Д. Меньшикова к князю Г. И. Волконскому. В этой же книге имеются и два письма Петра великого к нему же. Из писем Меньшикова можно видеть, какие многосложные поручения возлагались на князя Волконского и как с постепенным возвышением временщика изменялся тон его писем, бывший вначале самым почтительным, а при конце сделавшийся повелительным.

Довольно значительное имение князя Григория Ивановича делилось между его потомками и на долю внука его, а моего деда, досталось около тысячи душ крестьян в Московской, Воронежской, Орловской и Пензенской губерниях, из коих выделена моей матери, при ее замужестве, законная часть, 14-я доля, 70 душ в Саранском уезде, Пензенской губернии. У нее

было три брата: Александр, Николай, Дмитрий и четыре сестры: Татьяна, Надежда, Прасковья и Настасья. Последняя умерла в начале 20 годов, вскоре по выходе из московского Екатерининского института, а князь Николай, служивший в конной артиллерии, умер во время Турецкой войны 1828—1829 годов.

Весьма ограниченное состояние моих родителей побудило их, вскоре после свадьбы, ехать в Петербург для приискания отцу моему места в государственной службе.

В это время учредилось Главное управление путей сообщения и первым главным директором был назначен принц Георгий Ольденбургский, муж великой княгини Екатерины Павловны. Он принял отца моего к себе на службу и впоследствии назначил смотрителем судоходства в Моршанске.

В этой должности мой отец оставался недолго, вышел в отставку надворным советником и умер в начале 1815 г. в имении тетки моей Прасковьи Андреевны, состоявшей тогда под опекою старшего своего брата Александра, — с. Шарапове Подольского уезда, Московской губернии, а похоронен в Москве на старом лютеранском кладбище. Матери моей было тогда 26 лет от роду. Она осталась вдовою с четырьмя малолетними детьми: Александром 5 лет, Александрою 3 лет, мною 2-х лет и Николаем 5-ти месяцев, почти без всякого состояния, так как в продолжение последних лет родители мои должны были войти в некоторые долги.

В бытность императорской фамилии в Москве, мать со всеми четырьмя детьми подала на двор-

цовом крыльце императору Александру I прошение о помещении старшего моего брата Александра в Царскосельский Лицей, откуда только что вышел двоюродный брат мой. При подаче прошения мы все стояли на коленях и были обласканы императором. Однако же брата в лицей не определили, а назначили кандидатом в Костромской кадетский корпус.

Отделенные матери моей при ее замужестве крестьяне были поселены в деревне, которой большая часть, по смерти моего деда, досталась брату ее князю Дмитрию. Ему она продала и свою часть и жила впоследствии процентами с полученного ею капитала, менее 30 р. ассигнациями. При всей бережливости и уменьи жить, конечно, этих процентов было весьма недостаточно, и потому мать со всеми нами, по приглашению ее брата Николая, переехала жить в доставшееся ему по наследству после деда село Студенец, в котором я родился. Часть же зимних месяцев мы проводили в Москве, где останавливались у кого-либо из родных.

В деревне мы вели жизнь очень тихую. Помню, что часто гостили в с. Борках, Задонского же уезда, у откупщика Алексея Феодоровича Викулина, бывшего в молодости простым целовальником и нажившего очень большое состояние. Он постоянно считал себя обязанным нашему семейству. В люди он вышел с помощью родного деда моей матери Филиппа Ивановича Ярцева, бывшего долго Воронежским вице-губернатором в чине генерал-майора. От первого

брака Викулин имел двух сыновей, Семена и Андрея и нескольких дочерей.

Он вступил во второй брак с внучатною сестрою моего деда княжною Кугушевою, от которой имел трех сыновей: Владимира, Сергея и Ивана, и нескольких дочерей. При вступлении во второй брак А. Ф. Викулин не был еще дворянином. Подобная женитьба показалась бы необыкновенною и в наше время, а тем более считалась такою в прошедшем столетии. Старший сын его Семен, также пользуясь покровительством моих родных, рано был зачислен в службу и в 20 лет состоял обер-интендантом в подполковничьем чине, что и дало возможность его отцу купить на имя С. А. Викулина село Хмелинец, ныне принадлежащее сыну последнего Семену Семеновичу. В начале XIX столетия А. Ф. Викулин, получив Владимирский крест, сделался, по тогдашним узаконениям, дворянином и купил с. Борки с другими деревнями.

Крестьяне в этих имениях не хотели повиноваться своему новому владельцу по причине его низкого происхождения. Дошло до бунта, как тогда принято было называть всякое ничтожное непослушание со стороны крепостных людей, и усмирения его войсками. Чтобы избегнуть подобной беды на будущее время, все значительное населенное имение А. Ф. Викулина было им переписано на имя моего деда, князя А. А. Волконского, без всякой гарантии со стороны последнего в том, что имение это принадлежит Викулину, с представлением, конечно, самому Викулину всех доходов с имения. По прошествии нескольких лет, когда можно было

надеяться, что крестьяне покорятся их действительному владельцу, имение снова было передано А. Ф. Викулину и это незадолго до смерти моего деда.

Мать сама начала учить нас очень рано: брата Александра, когда ему было 3 года от роду, а меня вместе с сестрою, когда мне было 4 года. Учили нас целый день и требовали очень строго, чтобы мы были внимательны и знали задаваемые нам уроки. Вообще вели нас, и в особенности старшего брата и сестру, чрезвычайно строго: никакая вина, даже ошибка не проходила без наставления и взыскания, доходило и до телесных наказаний. Странно, что я никогда не подвергался последним.

Учение наше было начато так рано и шло так успешно, что я даже не помню себя незнающим арифметики. Помню только, как брат Александр показывал мне, шестилетнему мальчику, тройное правило и нахождение наибольшего общего делителя. Мы много знали наизусть: стихов, басен и почти всего «Дмитрия Донского» Озерова. Нас весьма часто заставляли говорить стихи перед родными и знакомыми, из которых многие нас экзаменовали и постоянно удивлялись нашим знаниям. В числе последних был командир конно-артиллерийской батареи, стоявшей в Задонске, часто бывавший у Викулиных и у нас, Николай Онуфриевич Сухозанет (впоследствии бывший военным министром).

Дядя мой был добрейший человек, очень кроткий. Его все любили, в особенности были к нему расположены дамы за его веселость и добродушие. Такой отзыв о нем я постоянно

слышал в Москве, где его многие знали, так как он прослужил в ней двадцать лет. Дядя мой иногда ездил после обеда осматривать караулы с целью найти какие-либо беспорядки, и когда находил их, то, возвратясь домой, рассказывал о том, что караул не так выбежал, как следовало, что барабанщик пробил дробь неправильно, и о взысканиях, им наложенных. Конечно, провинившимся барабанщику и нижним чинам отсыпалось известное количество палочных ударов. Как понять в таком кротком и хорошем человеке, каким был дядя, ту легкость, с которою он приказывал бить палками солдат? Это объясняется только тем, что не только тогда, во время учреждения военных поселений, но и гораздо позже, наказание нижних чинов палками было для многих не только вещью очень обыкновенною, но даже и удовольствием. Последнему трудно верить, но, к сожалению, это было так. Страшно вспомнить об этом времени.

Проездом в Кострому, мать моя оставила дочь свою в Ярославле у князя Василия Алексеевича Урусова, который был в первом браке женат на родной тетке моей матери, Анне Филипповне Ярцевой, давно умершей. Служа в Воронеже, он женился во второй раз на бедной дворянке Анне Ивановне Семичевой. Она в особенности понравилась ему, страстному охотнику драматического искусства, в трагических ролях, которые она разыгрывала на домашних спектаклях.

Самые близкие наши родные в Задонском уезде были три сына брата моего деда, князя

Льва Александровича Волконского, и сын его сестры Феодор Ардалионович Лопухин. Князь Л. А. Волконский, женатый на своей крепостной женщине, не дал сыновьям никакого воспитания. Они слыли в уезде за очень дурных людей, чуть не за разбойников, и мать моя, ее братья и сестры не только с ними никогда не видались, но постоянно избегали встречи с ними.

Лопухин имел в Москве богатую родственницу, вдову Дарью Николаевну Лопухину, которой досталась часть огромного имения князя Потемкина. Д. Н. Лопухина имела двух сыновей: Петра и Андриана Феодоровичей, женившихся впоследствии на двух родных сестрах красавицах, дочерях генерала барона Удома, и двух дочерей: Екатерину, вышедшую впоследствии замуж за генерал-майора Скордули, и Прасковью, умершую в девицах. Сначала Лопухина приняла нескольких воспитанников и воспитанниц из бедных дворян для обучения вместе с ее детьми. Но впоследствии число этих воспитанников и воспитанниц увеличилось первых до 12-ти, а вторых — до 20-ти. Они были на полном ее иждивении, так что образовалось два учебных заведения: мужское и женское. Курс мужского заведения равнялся бывшему тогда гимназическому курсу, но новые иностранные языки, французский и немецкий, были и практически и теоретически лучше изучаемы: воспитанники говорили довольно свободно на обоих языках.

Окончившие курс в этом заведении легко выдерживали экзамен в студенты Московского университета, где они продолжали пользоваться денежным пособием от Д. Н. Лопухиной, а

некоторые получали эти пособия, состоя и на службе. Понятно, что мать моя желала определить меня в это заведениие и хлопотала об этом через общего ее и Д. Н. Лопухиной родственника, но последняя решительно отказала, ссылаясь на то, что она не хочет увеличивать комплекта мужского заведения, что она принимает только самых бедных детей, и что я имею, по ее мнению, богатых дядей и вообще богатых родственников, которые могли бы меня воспитывать. Наконец, она согласилась посмотреть на меня, но не хотела принимать моей матери.

В феврале 1821 г. мать моя привезла меня в ее дом, нас приняла старшая ее дочь и меня скоро позвали к Дарье Николаевне. Дом ее, близ Солянки, в Лопухинском пер. (по крайней мере, так он назывался тогда), впоследствии принадлежавший Кокореву, а теперь Морозову, довольно большой, но мне ребенку, привыкшему видеть небольшие дома, он показался громадным. Из анфилады комнат, обращенных в большой сад, открывается прекрасный вид на Кремль, и так как в обоих концах этой анфилады стояли большие зеркала, то мне казалось, что комнатам нет конца.

Д. Н. Лопухина провела меня по всей анфиладе. Выраженное мною удивление при виде такого дома было ей приятно. По этой причине или по какой другой я ей понравился, и она выслала сказать своей дочери, что принимает меня в свое учебное заведение, но не желает видеться с моей матерью. Несколько дней спустя, мать моя привезла меня для поступления в это заведение, в которое я был отведен старшею

дочерью Д. Н. Лопухиной, так как она сама никак не хотела видеться с моею матерью, вскоре уехавшею в Студенец.

Директором заведения был Юрий Петрович Ульрихс, бывший тогда инспектором классов в Московском воспитательном доме и лектором немецкого языка в Московском университете, а впоследствии профессором всеобщей истории. Он был человек очень добрый, сколько я могу помнить, не дальний, но занимавшийся ревностно принятою на себя обязаностью. Он очень любил меня. Для преподавания наук и языков были приглашены лучшие учителя гимназии, лекторы и даже адъюнкт-профессоры Московского университета.

Танцовать учил Иогель, впоследствии замененный очень искусным и красивым французом Флаге.

При вступлении моем в заведение мне было почти 8 лет. Я оказался всех моложе и посажен в низший класс. Я так хорошо приготовлен был дома, что учение в этом классе было для меня весьма легко, так что я, даже ленясь, был первым учеником и любим всеми учителями. Легкость, с которою я мог быть первым в этом заведении, еще более развила во мне природную всем Дельвигам лень.

По субботам Ю. П. Ульрихс внимательно, в нашем присутствии, рассматривал отметки, хвалил получивших хорошие, внушал лучше учиться получившим посредственные, а получивших дурные бранил и подвергал разным взысканиям, даже иногда сек розгами. Но и

в этом заведении, в котором я пробыл пять лет, я избегнул телесного наказания.

В начале августа, после молебна о благополучном путешествии в присутствии Д. Н. Лопухиной, ее семейства, всех воспитанников и воспитанниц ее заведений, ее управляющих, многочисленной прислуги, которой вообще при доме было, сколько помнится, до 200 человек, и многих знакомых, она с семейством уехала в имение свое Шполу, Киевской губернии. Отъезд ее мотивировали желанием сократить расходы, ближе наблюдать за этим значительным имением, а главное быть ближе к богатому своему дяде Высоцкому, в надежде получить от него наследство.

Я очень мало знаю об ее пребывании в Шполе; знаю только, что младшая ее дочь Прасковья вскоре по приезде в Шполу умерла, что оба сына ее с нею вскоре поссорились; дядя ее Высоцкий принял их сторону и после смерти предоставил свое имение не ей, а ее сыновьям, которых она хотела лишить наследства, предоставив большую часть своего имения дочери Екатерине, вышедшей после ее смерти замуж за генерал-майора Скордули. Братья завели с нею процесс. Она с своей стороны заявила о незаконном их браке на двух родных сестрах баронессах Удом, несмотря на то, что известный киевский митрополит Евгений не только не преследовал Лопухиных за эти браки, но и ее уговаривал не начинать дела, которое очень долго длилось, стоило Лопухиным много денег и принесло им много нравственных потрясений. Кон-

чилось тем, что генерал Удом отказался от той из дочерей, которая вышла позже замуж, утверждая, что его настоящая дочь вскоре по рождении умерла, но чтобы не огорчить его жены, бывшей очень слабой после родов, она была подменена другою девочкою, в чем и предоставил свидетелей. В числе последних был благороднейший и честнейший Сталь, бывший в то время московским комендантом, который подтвердил показание Удома, сколько помнится, под присягою.

В бытность мою на службе в Москве молодым офицером, П. Ф. Лопухин приезжал в Москву с женою. Я бывал у них, и нельзя было насмотреться на жену его, истинную красавицу. Она вскоре умерла, а потом умер и муж ее. Их дочь впоследствии вышла замуж за Николая Васильевича Исакова, впоследствии генерал-адъютанта и начальника главного управления военно-учебных заведений.

В 50-х годах, когда я жил в Москве, А. Ф. Лопухин с женою и детьми и Е. Ф. Скордули с мужем жили также в Москве и уже помирились. В Москве Скордули умер, а А. Ф. Лопухин и его жена, имея несколько детей, из которых старшие сыновья были на службе, а старшая дочь — взрослая девица, разошлись и говорили друг про друга такие вещи, что я не хочу и передавать их, не зная насколько было в них правды, и тем более, что я пишу не их, а свою биографию. Общественное мнение, впрочем, обвиняло А. Ф. Лопухина в страшном преступлении. Всего страннее то, что после многих лет разлуки и постоянно скверных рассказов мужа о жене, а жены о муже, они сошлись.

Мы видели, как большою процессиею провезли из деревни известного графа Дмитриева-Мамонова в Москву, где его лечили как сумасшедшего, капая на бритую голову холодною водою. Причина заарестования Дмитриева-Мамонова осталась до сего времени для меня неразгаданною [1].

Между воспитанниками многие хорошо рисовали. В этом искусстве я был кажется, ниже всех. Хорошие рисунки воспитанников обделывались в рамки и висели на стенах классных комнат. Один из таких рисунков, поясной портрет французского короля Людовика XVIII, висел на видном месте в зале высшего класса. Учитель Перон, проходя мимо портрета, всегда в присутствии воспитанников бранил короля выражениями неудобными для повторения на письме и многим из нас тогда непонятными. Раз по прочтении поутру главы из евангелия, он начал ругать короля и пустил чем-то в висевший портрет, так что разбил стекло в его рамке.

Перон разными средствами застращал всех воспитанников. Приведу в пример одно из этих

[1] Граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (род. 1790 г., ум. 1863 г.), сын фаворита Екатерины второй. Был одним из основателей Союза благоденствия, большинство членов которого участвовали в заговоре декабристов. Принадлежал к той группе аристократов — членов тайных обществ, которые стремились ограничить самодержавие для устройства олигархического правления. В 1817 году психически заболел и до смерти содержался под домашним арестом, хотя временами проявлял признаки здравого смысла. *С. Ш.*

средств. Он всех воспитанников поодиночке спрашивал, не преданы ли они известному пороку. Некоторые из воспитанников, и в том числе я, даже не понимали о чем он спрашивал. Сознавшимся он, конечно, пригрозил сильным наказанием и даже исключением из заведения. Непонимавшим же его вопросов он объявлял, что видит по глазам, что они преступники, и грозил тем же. Зная его влияние на Ю. П. Ульрихса, и тѣ и другие ему покорялись, исполняя все его требования и вынося всякую брань и несправедливые взыскания, между прочим, битье линейкою по телу, часто по руке и кончикам пальцев и долгое стоянье на коленях, иногда на сухом горохе.

Он имел постоянные ссоры вне заведения и иногда вызывал некоторых своих знакомых в заведение и тут при воспитанниках ругал их и даже бил, а потом выгонял. Однажды позвал он какого-то француза, своего знакомого, в нашу рекреационную залу; после нескольких слов он накормил этого француза оплеухами, повалил его на землю, топтал ногами, таскал за волосы по всей зале. Мы все стояли, как ошеломленные.

Француз жаловался полиции и вечером к нам пришел пристав мясницкой части. К этому времени прибыл Ю. П. Ульрихс, вероятно, вызванный Пероном, так как Ульрихс по вечерам бывал у нас очень редко; с ним приехал и Кенике. Частный пристав рассыпался в вежливостях перед Кенике и Ульрихсом. Они вчетвером пошли в особую комнату, и я не знаю, что там происходило и чем кончилось это дело. Воспитанников ни о чем не спрашивали, и

Перон оставался у нас надзирателем еще долгое время после этого побоища.

Снисхождение Ю. П. Ульрихса к Перону тем более необъяснимо, что это происходило после того, как Перон, ходивший часто к одной из гувернанток женского заведения, соблазнил одну из старших воспитанниц, очень красивую и лучше других учившуюся. По открытии ее беременности, ее отвезли в Шполу к Д. Н. Лопухиной, а Перон отделался тем, что дал Ульрихсу обещание на ней жениться, которое исполнил, но спустя лишь несколько лет, когда, потеряв место, он поехал в Шполу, потому что рад был как-нибудь себя устроить. Оставаясь все еще нашим надзирателем, он успел соблазнить еще одну из воспитанниц, заставляя другую воспитанницу сторожить во время его любовных свиданий.

Только после этого Перон был прогнан и заменен другим надзирателем французом, а жен ское заведение переведено в Шполу, где число воспитанниц было еще увеличено.

Среда, в которой жила мать моя, не могла не иметь на нее влияния, а теперь страшно вспомнить как мой дядя, князь Дмитрий, весьма вспыльчиваго характера, колотил своих людей, в особенности камердинера своего Спиридона. От золотухи, еще в ребяческие его годы, у дяди согнулась левая нога, и он всегда ходил на костыле, большею частью из черного дерева. Этим костылем часто бивал он своих людей. Это не мешало ему быть религиозным и набожным. Дядя кончил курс в Харьковском университете,

но его образование было весьма не завидное: иностранных языков он не знал.

Другой дядя князь Александр, хотя не кончивший курса в Московском университетском пансионе, был гораздо умнее и образованнее, легко читал французские книги. Он также был вспыльчив до невероятности и больно колотил своих людей. Вообще он был добрее младшего брата. Оба пользовались в отношении крепостных девок тогдашними слишком мало ограниченными правами владельцев людей. Дядя князь Николай, говорят, был гораздо лучших свойств во всех отношениях, но я его мало знал.

От нас требовали полного уважения к родным и вообще к старшим. Царь был для нас вполне священным лицом. Малейшего суждения о религиозных предметах, о царской фамилии, о старших отнюдь не допускалось. Россию представляли нам первою державою; веру нашу религиею высшею всех прочих; русский народ — наилучшим народом. В нашей истории все прошедшее было торжественно; одна наша земля производила святых; у нас героев всякого рода было множество; цари были благодетели. Петр великий — герой преобразователь; Ломоносов — герой ученый; Суворов — герой полководец.

Эти идеи были присущи и при воспитании предшествовавшего нам поколения, но после наших политических и военных подвигов 1812—13—14 годов, конечно, они приняли еще большее развитие, чему много способствовала и издаваемая в то время «История государства Российского» Карамзина, которую мы прилежно читали, зная в то же время наизусть многое из

Державина, Петрова, Дмитриева, Капниста и др. и повторяя с первым «Россия, бранная царица, каких в тебе героев нет» и проч. тому подобное.

Из всех наших знакомых наиболее посещали мы Зуевых, дальних наших родственников. Авдотья Осиповна Зуева, вдова бывшего псковского губернатора, очень старая женщина, нанимала дом на Остоженке в переулке, смежном с Штатным. При ней находились старые две дочери, Екатерина, вдова Белухо-Кохановская, и Марья девица и сын — старый холостяк, отставной моряк; они жили довольно бедно. Другой сын, также очень старый, отставной полковник Сергей с женою Варварою Ивановною и двумя малолетними детьми Леонидом и Мариею жил в одном с нами переулке в собственном доме.

Семейство Зуевых могло бы служить хорошим типом для романиста.

А. О. Зуева, о молодости которой, как я узнал впоследствии, имелись не очень благоприятные предания, была чрезвычайно строга к обеим своим уже старым дочерям и к сыновьям. Все перед ней ходило по струнке и с чрезвычайным к ней уважением. В старости она пользовалась им и от посторонних, в том числе и от моей матери, которая называла ее тетушкою. Пятидесятилетние ее дочери не имели права никуда отлучаться без ее позволения; она неохотно их отпускала из дома и не иначе как с дамами ей хорошо известными, например, с моею матерью, которую она очень любила и уважала.

Во время праздников коронации императора Николая, мать моя старалась доставить им неко-

торое развлечение и каждый раз с трудом выпрашивала у А. О. Зуевой отпустить ее дочерей на бывшие народные праздники. Когда мать моя просила отпустить их на какой-то большой парад или ученье, бывшее в Хамовниках, то А. О. Зуева нашла не только то, что они слишком часто пользуются развлечениями по милости моей матери, но что и не совсем прилично ехать смотреть на маршировку множества мужчин, а младшей ее дочери девице было тогда за 50 лет.

В одно из наших посещений А. О. Зуевой, осенью 1825 г., дочери ее писали письма в Петербург к своему родному племяннику Александру Павловичу Зуеву, бывшему тогда капитаном корпуса инженеров путей сообщения. В то время почта ходила из Москвы в Петербург только три раза в неделю, и так как следующий день был не почтовый, то мать моя спросила писавших письма, зачем они торопятся. Они объяснили, что письма посылаются не по почте, а через полковника Еаренцова, приехавшего в Москву с главнокомандующим путями сообщения, герцогом Александром Виртембергским, который выезжал в Петербург на другой день.

Мать моя упрекала их, что они ей прежде не сказали о приезде герцога в Москву, так как она располагала меня отдать в инженеры путей сообщения, но они ей объяснили, что ничего от нее об этом не слыхали. Мать немедля решилась лично подать герцогу прошение об определения меня в институт корпуса инженеров путей сообщения и узнав, что он остановился в доме Дмитрия Дмитриевича

Шепелева, на Швивой горке,[1] сейчас поехала к своей приятельнице Анне Ивановне Шепелевой, племяннице владельца дома. А. И. Шепелева жила в доме сестры своей Марии Ивановны Сухово-Кобылиной,[2] в приходе Харитония в Огородниках; третья их сестра Софья Ивановна была за дальним родственником моей матери, бывшим тогда в отставке генерал-майором Николаем Ивановичем Жуковым.

Герцог находил, что я по моим летам не могу еще вступить в институт инженеров путей сообщения, куда, по существовавшему тогда положению, не принимали моложе 16 лет, удивлялся, что я так много уже знаю из математики и поручил мне сказать моей матери, что он прикажет инженер-полковнику Янишу, бывшему тогда управляющим III (московским) округом путей сообщения, меня проэкзаменовать. Затем герцог со мною простился; я, видимо, произвел хорошее впечатление.

По донесению Яниша о выдержании экзамена и о том, что мать моя не имеет средств для

[1] Огромный дом этот был выстроен тестем Шепелева, Иваном Родионовичем Баташевым, весьма богатым заводчиком. В бытность французов в 1812 году в нем жил Мюрат, но и он пострадал от пожара. Баташев после того отделал его великолепно, употребив на это несколько сот тысяч руб. асс. В 1826 г. во время коронации императора Николая I в нем стоял герцог Девонширский, посол Великобритании. *Авт.*

[2] Мать известного драматурга А. В. Сухово-Кобылина и писательницы Е. В. Салиас-де-Турнемир. См. книгу Л. П. Гроссмана «Преступление Сухово-Кобылина», Лен. 1928 г. *С. Ш.*

дальнейшего моего образования, герцог Виртембергский, имея в виду, что я по летам не могу поступить в институт, назначил меня в 1827 г. в строительное училище путей сообщения.

В титуле указа об определении меня в строительное училище значилось: «по повелению его величества государя императора Константина Павловича», и это дает мне повод рассказать о впечатлении, произведенном смертью императора Александра I.

По получении известия о его кончине, совершенно неожиданной, нам в заведении Лопухиной казалось все мрачным и страшным. Не помню, было ли это следствием того, что мы были поражены смертью человека, которого считали всемогущим и благодетелем нашего отечества, или того настроения, которое было общее всему московскому обществу, ожидавшему каких-то невзгод от перемены царствующего лица. Вскоре это тревожное состояние оправдалось полученным известием о 14-м декабря, о тайных обществах, о смутах в разных краях России и аресте нескольких лиц в Москве и во всей России. Я с другими воспитанниками видел, как полиция взяла одного из членов тайного общества из дома Глебова. Двор этого дома находился против окошек того флигеля, который занимало наше заведение.

Об этом времени у меня осталось самое грустное воспоминание. Не только никто не старался в своих суждениях оправдать по возможности деятелей тайных обществ, но все их осуждали и кара правительственная, конечно, не превосходила той кары, которая на них налагалась

мнением общества, по крайней мере того общества, которое мне было тогда доступно, [1] чему явным доказательством может служить то, что известия о наказаниях, к которым были приговорены члены бывших тайных обществ и которые были неоднократно перечитаны, не вызывали сострадания.

Приведение к присяге сначала Константину Павловичу, а через несколько дней Николаю Павловичу, было принято всеми, а тем более нами, мальчиками, без всякого удивления. Оставление империи по секретному завещанию младшему брату помимо старшего всем мне известным лицам казалось делом правильным.

Перед провозом тела императора через Москву носились слухи, что будут разные смуты, грабительства и нападения на гроб для доказательства, что Александр умер не своею смертью. Жители Москвы очень опасались этого и правительство приняло предупредительные меры. Но все обошлось тихо. Я видел церемонию провоза тела и ходил ему поклониться.

Манифест нового государя о порядке престолонаследия был читан в обществе моих родных со слезами умиления. Они говорили, что он написан самим государем, не считая возможным, чтобы кто-нибудь, кроме его, мог

[1] По свидетельству других современников, в различных кругах тогдашнего русского общества, преимущественно среди разночинцев, относились сочувственно если не к делу декабристов во всей его политической сложности, то к личной их участи. Но большинство дворянского общества относилось к идеям декабристов враждебно. *С. Ш.*

решиться упоминать о предположениях смерти государя, его сына и брата.

В начале 1826 года мать моя взяла меня из заведения Д. Н. Лопухиной, и для сестры и для меня пригласили учителей. По ее бедному состоянию плата им за уроки была выше ее средств.

Закону божьему учил нас священник московского коммерческого училища Соловьев, отец известного профессора и историка. Учиться танцовать меня и сестру возили к Гвоздевым, у которых было много детей. У них же вместе с нами учились сын и дочь князя А. С. Меньшикова, из которых ничего путного не вышло. Сын теперь генерал-адъютантом, а дочь была за Вадковским. Они приезжали с матерью. Отец их был послан тогда в Персию и привез войну, так же, как из посольства в Константинополь в 1853 году.

Перед коронацией императора Николая I мы поехали к дяде князю Александру в с. Ишенки и с ним в с. Рожествено, принадлежавшее Николаю Ивановичу Жукову. В его прекрасном доме, окруженном садами, мы провели несколько дней. В это время через с. Рожествено проходил в Москву киевский гренадерский полк, которым перед этим командовал Н. И. Жуков, а настоящим его командиром был полковник Фролов (впоследствии генерал от инфантерии), замечательный тем, что все были уверены, что он послужил Грибоедову типом Скалозуба в его превосходной комедии «Горе от ума». В каком порядке были погончики, петлички у всех чинов

полка, и как новый командир хотел выказаться перед прежним — и говорить нечего.

Во время моего детства полиция играла в Москве большую роль, не говоря уже об обер-полицеймейстере Шульгине 1-м, который был всем известен и в 1825 г. заменен Шульгиным 2-м, бывшим впоследствии с.-петербургским военным генерал-губернатором. Кто не знал полицеймейстеров полковников Ровинского и Обрезкова? Про первого ходила бездна анекдотов, расскажу некоторые. Говорили, что он требовал, чтобы пожарные команды выезжали из дворов, в которых они помещаются, за четверть часа до пожара; что при разъездах из театров он пробирался через публику, толкая всех своими плечами и приговаривая: «по должности»; что на гуляньях полицейскому жандарму, который, не добившись установки чьего-нибудь экипажа в ряд, предоставлял ему ехать произвольно, говаривал: «жандарм, ты не беспристрастен»; что с воцарением Николая Павловича, он заявляя, что гордился при покойном императоре Александре именем своим Александра Павловича, просил его переименовать в Николая Павловича; что, так как он при разъездах из театров и собраний беспрестанно кричал кучеру стоявшей у подъезда кареты «пошел», несколько молодых людей, отворив в карете, стоявшей у подъезда, обе двери, садились в нее и, выйдя из другой двери, опять приходили садиться со стороны подъезда; после каждого вошедшего в карету, Ровинский кричал «пошел», не понимая обмана и говоря, что в карету насело уже слишком много людей и т. д.

В самом начале 1826 г. дядя Дмитрий ездил в Петербург, где провел несколько времени. Вернулся он в Москву еще во время моего учения в заведнии Лопухиной, куда по возвращении из Петербурга приехал со мною повидаться. Он рассказывал моим гувернерам при мне о своем путешествии, о Петербурге и о том, что меня скоро возьмут из заведения, а осенью пошлют в Петербург не к двоюродному моему брату Антону Антоновичу Дельвигу, а к полковнику Филиппу Алексеевичу Викторову, начальнику придворного экипажного заведения. Он объяснял, что это он устроил в мою пользу по следующему поводу.

По его мнению все поэты современники должны быть люди безнравственные. Он не признавал в них и таланта, так как они писали не по образцу знаменитых его любимцев Державина, Хераскова, Петрова и др. Безнравственность Антона Антоновича Дельвига, в то время только что женившегося, он доказывал тем, что, во время его пребывания в Петербурге, Дельвиг не навестил его ни разу, что, по его мнению, Дельвиг обязан был сделать по степени родства. Он считал Дельвига своим племянником, потому что сестра его, а моя мать была вдовою дяди Дельвига. Тут родства не было. Если уже считать родство дяди Дмитрия с А. А. Дельвигом, то проще вспомнить, что их матери были двоюродные сестры, а следовательно они внучатные братья, но этого родства дядя Дмитрий не хотел вспоминать, чтобы не потерять прав дяди над Дельвигом.

Оказалось впоследствии, что Дельвиг и не знал о приезде дяди в Петербург, а то, конечно,

не ожидая его визита, был бы у него. Последний не допускал возможности, чтобы в Петербурге могли не знать о его приезде. Он привык к тому, что в провинциальных городах в то время немедля узнавалось о приезде каждого.

В заключние дядя рассказывал, что Дельвиг не живет дома, уходит в леса, скрывается там в ветвях деревьев, поет разные неприличные вещи и сам еще об этом пишет. Конечно, все это дяде померещилось и частью выводилось им из следующих стихов Дельвига, впоследствии послуживших эпилогом к первому изданию его сочинений:

Так певал без принужденья,
Как на ветке соловей,
Я живые впечатленья
Первой юности моей.
Счастлив другом, милой девы
Все искал душою я
И любви моей напевы
Долго кликали тебя.

Из этого рассказа читатель может получить понятие о степени развития моего дяди Дмитрия. Все это дядя толковал по-русски моим гувернерам французу и немцу, слушавшим со вниманием monsieur le princ'a и herr'a fürst'a, но мало понимавшим по-русски. Впрочем, они вообще мало поняли бы этот рассказ, имея самое ограниченное понятие о всякой литературе и о наших родственных отношениях; они вообще были мало развиты.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1826—1838 гг.

Мы приехали в Петербург на рассвете в последней половине октября 1826 г., так что меня при въезде не могла поразить красота петербургских улиц. Я удивлялся только их ширине. Остановились мы в угольных комнатах бельэтажа гостиницы „Лондон“, которая помещалась тогда на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади. Меня изумило великолепие Зимнего дворца, Главного штаба и длина здания старого адмиралтейства, которые все были видны из наших окон. Из училища я хаживал иногда к Викторовым. Викторовы жили скромно. Мне у них было не весело. Я только и думал о том, как бы поскорее оставить их дом или по крайней мере как можно чаще отлучаться. Последнее представлялось возможным, так как я воскресенья и праздники, а иногда и будни, проводил у двоюродного брата моего барона А. А. Дельвига.

В доме Дельвига открылся для меня новый мир, о котором я не думал и не гадал, и я к этому миру привязался всей душою.

В первую же субботу я был отпущен из дома Викторовых к Дельвигу. Это было 30 октября,

день его свадьбы, бывшей за год перед тем. Тогда я видел у Дельвига многих его знакомых, приехавших вечером его поздравить.

Помню что между ними был поэт Петр Александрович Плетнев со своею первою женою, бывший впоследствии ректором С.-Петербургского университета, товарищи Дельвига по лицею: Михаил Лукьянович Яковлев, одного с ним выпуска, т.-е. первого, и князь Эристов, второго лицейского выпуска; Сергей Львович Пушкин с женою Надеждою Осиповною, родители поэта Пушкина, и младший брат последнего, Лев Сергеевич.

Дельвиг принял меня совершенно по-родственному, так же как и жена его, и я с первого же дня был у них совершенно как в своем семействе. Дельвиг был очень добрый человек, весьма мягкого характера, чрезвычайно обходительный со всеми.

Во время моего приезда в Петербург ему было 28 лет от роду. Большая часть его стихотворений была уже написана и он по некоторым из его песен и романсов считался лучшим в этом роде стихотворцем. Музыка ко всем его песням и романсам была написана лучшими тогдашними композиторами. Песня:

Соловей, мой соловей,
Голосистый соловей,
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночку пропоешь и т. д.

была распеваема везде не только русскими, но и знаменитой приезжей певицей Зонтаг, а впоследствии и другими приезжавшими к нам зна-

менитостями. При необыкновенной лени, как физической, так и умственной, у Дельвига было много поэтического такта, так что друзья его, Пушкин и Боратынский, многие из своих стихотворений до напечатания читали ему или посылали к нему для оценки и большею частью принимали во внимание сделанные им замечания. Молодые петербургские писатели, как-то: барон Розен, Подолинский, Щастный и другие, в подражание первостепенным поэтам, также просили его замечаний на их произведения.

Даже Крылов и Жуковский высоко ставили оценку Дельвигом произведений изящной словесности. Если бы все критические статьи, писанные Дельвигом для издававшейся им в 1830 г. «Литературной газеты», были за его подписью, то легко было бы понять причины вышесказанного мною уважения к мнениям Дельвига. Эти статьи, помещавшиеся в газете без подписи, не вошли в полное собрание сочинений Дельвига, изданное Смирдиным, равно как и многие его стихотворения, а теперь трудно критические статьи Дельвига отличить от помещавшихся в той же газете таких же статей Пушкина и Вяземского. Но не все принимали замечания Дельвига с удовольствием, так что после очень близких отношений барон Розен и Подолинский совсем разошлись с Дельвигом, собственно вследствие сделанных им замечаний на поэму Розена «Рождение Иоанна Грозного» и на поэму Подолинского «Нищий», несмотря на то, что эти замечания были высказаны весьма мягко и вследствие их собственного желания.

Впрочем, впоследствии Дельвиг и печатно, без подписи, строго раскритиковал «Нищего» в издававшейся им «Литературной газете».

Стихотворения Дельвига составляют весьма небольшой том; весьма многие в нем не помещены, а некоторые, вероятно, утратились. Он был одним из слагателей лицейских песен, которых множество было сочинено воспитанниками первого лицейского выпуска.

Эти песни, в которых часто мало складу, были очень любимы лицеистами и охотно ими пелись. Воспитанники первого лицейского выпуска собирались каждый год 19 октября праздновать день учреждения лицея и тогда они певали много песен, написанных в лицее. На этом празднике, пока еще было много живых воспитанников первого выпуска, они никого из посторонних не допускали, даже лицейских воспитанников следующих выпусков. Очень жаль, что я тогда не собрал лицейских песен. Приведу только некоторые отрывки одной из этих песен, сложенной перед самым выпуском из лицея по тому случаю, что лицеисты, окончив курс, не знали, что с ними будет далее. При учреждении лицея не было определенно, как это делалось позже при учреждении других учебных заведений, каким чином и куда будут выпущены воспитанники. Узнав, что приказано составить им список сообразно успехам в науках, они составили следующую песню:

Этот список сущи бредни,
Кто там первый, кто последний,

Все нули, все нули,
Ай люли, люли, люли.
Пусть о нас заводят споры
С Энгельгардтом профессоры,
Те ж нули, те ж нули,
Ай люли, люли, люли.
Покровительством Минервы
Пусть Вальховский будет первый,
Все нули, все нули,
Ай люли, люли, люли.
Дельвиг мыслит на досуге,
Можно спать и в Кременчуге,
Все нули и пр.
С сердцем пламенным во взоре,
Данзас почтальон в Ижоре,
Все нули и пр.

Других куплетов не помню. Приведенные же мною объясняются следующим образом: Энгельгардт был в то время директором лицея; Вальховский (бывший впоследствии начальником штаба кавказского корпуса) и князь Горчаков (ныне государственный канцлер) учились одинаково хорошо, но Вальховский лучше Горчакова занимался военным науками и потому «покровительством Минервы» был поставлен первым.

Отец Дельвига был в 1817 г. командиром бригады, стоявшей в Кременчуге, а Дельвиг был очень ленив и любил много спать, и потому ему было можно спать и в Кременчуге.

Данзас, известный впоследствии тем, что был секундантом Пушкина, учился очень дурно и лицеисты решили, что он ничем иным быть не

может, как «почтальоном в Ижоре», почтовой станции в 10 верстах от Царского села, где находился лицей.

Некоторые из лицейских песен состояли просто из разных речений, которые чаще всего повторяли лицейские надзиратели (гувернеры) и учителя. Так переданы слова, часто повторявшиеся Левашевым (впоследствии графом и председателем государственного совета), тогда полковником лейб-гусарского полка, наблюдавшим за верховой ездой лицеистов.

Bonjour, Messieurs, потише,
Поводьем не играй,
Уж я тебя потешу!
A quand l'equitation?

Требования немца-гувернера, чтобы лицеист Матюшкин по утрам вставал с постели в назначенный час, переданы следующим образом:

Вставайте, хер Матюшкин,
А я вам и скажу.
Ну, к чорту! Как вам можно
Мне это и сказать.

Песня эта была очень длинная.

Матюшкин имел страсть к морю, и потому вышел на службу во флот, где пробыл два года до производства в мичманы, участвовал в четырехлетнем полярном путешествии барона Врангеля и других морских путешествиях; теперь он адмиралом и сенатором.

В составлении лицейских песен, конечно, участвовали многие из воспитанников первого выпуска. Поэтами в лицее считались: Пушкин,

Дельвиг, Вильгельм Карлович Кюхельбекер, бывший впоследствии политический преступник 1825 г., Алексей Демьянович Илличевский и Михаил Лукьянович Яковлев. Последний, по выходе из лицея, совсем оставил литературное поприще, но в лицее считался хорошим баснописцем.

В последние годы пребывания в лицее, конечно, Пушкин высоко стал над всеми товарищами по своим поэтическим произведениям, но в первые годы он не очень смело пускался в поэзию. Великая заслуга Дельвига, что он понял всю силу гения своего молодого товарища и, подружившись с ним с самого вступления в лицей, постоянно ободрял его. Это было, конечно, и причиною того, что дружба их никогда не изменялась до самой смерти Дельвига. УтверВердительно можно сказать, что Пушкин никого не любил более Дельвига. Этому могли бы служить явным доказательством бесчисленные его письма к Дельвигу, к прискорбью уничтоженные[1] немедля после смерти Дельвига, по причинам, которые расскажу в своем месте.

Дельвиг далеко не в совершенстве знал французский и немецкий языки: на первом говорил дурно, а на последнем вовсе не говорил. Но он был хорошо знаком с литературами этих языков и еще в лицее побуждал Пушкина заниматься немецкой литературой, но в этом не

[1] В изданиях переписки Пушкина (В. И. Саитова, Б. Л. Модзалевского) напечатано около 20 писем Пушкина к Дельвигу, некоторые с подлинников, другие с черновиков. *С. Ш.*

успел, так как Пушкин предпочитал французскую.

В составившемся кружке лицеистов некоторые из них обязаны были по очереди рассказать целую повесть или, по крайней мере, начать ее. В последнем случае следующий рассказчик ее продолжал и т. д. Дельвиг первенствовал в этой игре воображения. Интриги, завязка и развязка в его рассказах были всегда готовы. Пушкин далеко не имел этой способности.

Дельвиг начал рано печатать свои стихотворения. В журналах, издававшихся А. Е. Измайловым в 1814 и 1815 гг., помещено 15 пьес Дельвига. Первое напечатанное его стихотворение в июне 1814 г. в «Вестнике Европы»: «На взятие Парижа» было за подписью «Русский», вполне соответствовавшею глубоко вкорененным патриотическим чувствам Дельвига, не оставлявшим его до самой смерти. Дельвиг был истинный поэт в душе, но мало производивший. Способность его придумывать содержание поэм давала повод ожидать от него много не осуществившегося. Жуковский и Пушкин восхищались его рассказами о замышляемых им поэмах. Пушкин негодовал на публику, встретившую с негодованием первые произведения Дельвига.

Дружбу Пушкина к Дельвигу и цену, которую он придавал таланту последнего, можно проследить в посланиях его к Дельвигу. Из них же можно видеть, насколько Дельвиг был ленив с самых молодых лет: его необыкновенная лень прославлена стихами его знаменитого друга.

Вот что писал Пушкин еще в лицее в 1814 г., 15-ти лет от роду, в стихотворении под заглавием: «Пирующие студенты»:

Дай руку, Дельвиг... Что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный;
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни! здесь круг твоих друзей,
Бутыль вином налита,
За здравье нашей музы пей,
Парнасский волокита!

Дельвиг по своему добродушию никогда не ссорился со своими товарищами и был очень любим ими всеми. По мечтательности и рассказам Дельвига, они признали его поэтом еще в самой первой юности. Пушкин любил говорить с ним о литературе, всегда сознавал, что он много обязан поощрениям Дельвига, к которому питал редкую дружбу. Всегда строгий к себе, он ставил Дельвига выше действительного его достоинства. Укажу на некоторые другие послания Пушкина к Дельвигу; одно из них начинается стихами:

Блажен, кто с юных лет увидел пред собою...

Другое, когда 16-летний Пушкин собирается умирать [«Мое завещание»]:

Приди, певец мой дорогой,
Воспевший Вакха и Темиру,
Тебе дарю и песнь и лиру,
Да будут музы над тобой и пр.

Дельвиг не только горячо любил Пушкина, но восторгался им и первый предсказал 15-летнему поэту его славу, что видно из стихов:

Пушкин! Он и в лесах не укроется,
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

За сим новое послание Пушкина к Дельвигу, начинающееся стихом:

Послушай, муз невинных
Лукавый духовник,
Жилец полей пустынных! и пр.

Приведу следующие стихи из послания Пушкина к Дельвигу, писанного в 1815 г.:

Да ты же мне в досаду
(Что скажет белый свет)
Стихами до надсалу
Жужжишь Икару вслед:
«Смотрите — вот поэт!»
Спасибо за посланье,
Но что мне пользы в нем? и пр.

В 1817 г. Пушкин начинает свое послание к Дельвигу следующими стихами:

Любовью, дружеством и ленью
Укрытый от забот и бед,
Живи под их надежной сенью,
В уединении ты счастлив: ты поэт.

Дельвиг, конечно, имел большое влияние только на начальные опыты Пушкина в поэзии, но мы еще обязаны ему тем, что он направил к поэзии Боратынского и был первым его ру-

ководителем. Боратынский также написал несколько посланий к Дельвигу. Приведу первую строфу из второго послания, написанного в 1819 г.

Где ты, беспечный друг, где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой веселою мелькнувших.

Выпуск из лицея был в июне 1817 г. Дельвиг был по успехам третьим с конца, а Пушкин четвертым. Торжественный акт в присутствии императора Александра I заключился длинною прощальною песнью воспитанников, сочиненною Дельвигом. Привожу последнюю строфу этой песни:

Шесть лет промчались как мечтанье
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества признанье
Гремит нам: шествуйте сыны.
Простимся братья! рука в руку!
Обнимемся последний раз!
Судьба на вечную разлуку
Быть может породнила нас!

В течение двадцати лет эта песня пелась при следующих выпусках из лицея.

В частной жизни Дельвиг был ленив и беспечен до крайности. В изданных и в неизданных стихотворениях он обличает свою лень, кототорою, казалось, он даже гордился. В посланиях к нему тогдашних поэтов всегда упоминалось об этой лени. Приведу первую строфу из послания к нему Плетнева в 1825 г.

Дельвиг, как бы с нашей ленью
Хорошо в деревне жить,
Под наследственною сенью
Липец прадедовский пить.

В стихотворении 19 октября 1825 г. Пушкин обращается к Дельвигу со следующими стихами:

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной,
И ждал тебя, вещун Пермеских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О, Дельвиг мой, твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.
С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали,
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел.
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты гордый пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Конечно, в этом мастерском обращении к Дельвигу видно дружеское пристрастие, но нельзя же было Пушкину так относиться к Дельвигу, если бы он не признавал в нем таланта, достойного уважения. Множество эпиграмм и юмористических статей, написанных на Дельвига Булгариным, А. Измайловым, Бестужевым-Рюминым, Сомовым и другими, впрочем довольно вздорных, осмеивают его главный недостаток:

лень. В некоторых из них его представляют под имени «Лентяева».

Впоследствии Пушкин высоко ценил гекзаметры Дельвига и в 1829 г., посылая ему в подарок бронзового сфинкса, приложил четверостишье под заглавием «Загадка»:

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто Славянин молодой, Грек духом, а родом Германец?
Вот загадка моя, хитрый Эдип, разреши.

Когда Пушкин в своих стихотворениях под заглавием «19 октября» обращается к некоторым из своих лицейских товарищей, то в их числе непременно упоминает о Дельвиге в самых дружеских задушевных выражениях.

Многие из воспитанников первого выпуска умерли вскоре по выходе из лицея. Только некоторые прожили до глубокой старости: теперь (1872 г.) осталось их пятеро в живых, а именно: вышеупомянутые князь Горчаков, Матюшкин и, кроме них, барон Корф, которому при увольнении его 1 января 1872 г. от должности председателя департамента законов государственного совета пожаловано графское достоинство; Малиновский и Комовский, оба в отставке, первый живет в харьковском своем имении, а последний в С.-Петербурге.

Дельвиг жил несколько времени с известным поэтом Евгением Абрамовичем Боратынским в Семеновском полку, где они и вместе и порознь писали много стихов, не попавших в печать. Там сочинена пародия на стихотворение Рылеева:

Так в Семеновском полку
Жили они дружно...

К этому же времени принадлежит и пародия на «Славься, славься», с припевом:

Славьтесь цензорской указкой,
Таски вам не миновать.

Некоторые из стихотворений Дельвига, известных тогда в рукописи, были приписываемы другим поэтам. Мне помнится, что к этому числу принадлежит песня «Давыд», которую часто певали; из нее приведу следующие стихи:

Любил плясать король Давыд,
А что же Соломон?
Он о прыжках не говорит,
Вино все хвалит он,
Великий Соломон!

и перевод из Беранже с припевом:

Je veux, mes enfants, que le diable m'emporte,
Чорт побери меня, ей-богу.

Этот перевод тогда всех очень занимал.

Несмотря на свою лень и кажущуюся апатию, Дельвиг в обществе был любезен. Его рассказы были всегда полны ума, какого-то особенного добродушия, и он нравился дамам. Были минуты, в которые он очень легко подражал стихам других поэтов. В начале 20 годов молодые поэты очень ухаживали за С. Д. Пономаревой, сестрой одного из воспитанников учрежденного при лицее пансиона. У нее собиралось общество литераторов. Один день у нее бывали литераторы одного кружка, а другой день другого. Впрочем,

случалось литераторам разных кружков встречаться у ней, но встречи эти никогда не были поводом к неудовольствиям. Из одного кружка она, видимо, предпочитала Измайлова, из другого Дельвига, на поэтическое дарование которого имела большое влияние. Он ей написал несколько посланий и других стихотворений. К большому горю всех ее знакомых, С. Д. Пономарева скончалась в мае 1824 г. Когда Жуковский написал «Замок Смальгольм», все прельщались этим стихотворением и, между прочим, Пономарева, которая раз сказала Дельвигу, что он не в состоянии написать ничего подобного. Дельвиг, конечно, в шутку отвечал, что, напротив, ничего нет легче и, ходя по комнате, с книгою, в которой был напечатан «Замок Смальгольм», он его пародировал очень удачно. Впоследствии появилось много пародий на это стихотворение. Приведу только несколько стихов из пародии, составленной Дельвигом:

До рассвета поднявшись, извощика взял
Александр Ефимович с Песков
И без отдыха гнал чрез Пески, чрез канал,
В желтый дом, где живет Бирюков.[1]
В старом фраке был он, был тот фрак запылен,
Какой цветом нельзя распознать;
Оттопырен карман, в нем торчит как чурбан
Двадцатифунтовая тетрадь.
Вот к полудню домой возращается он
В трехъэтажный Моденова дом,

[1] А. С. Бирюков—один из самых тупоумных тогдашних цензоров в Петербурге. *С. Ш.*

Его конь опенен, его Ванька хмелен
И согласно хмелен с седоком.
Бирюкова он дома в тот день не застал и проч.

Далее:

Подойди, мой Борька, мой трагик плохой,
И присядь ты на брюхо мое;
Ты скотина, но право скотина лихой
И скотство понутру мне твое.

Для объяснения этих стихов скажу, что упомянутый в них Александр Ефимович был Измайлов, известный тогда баснописец и издатель журнала «Благонамеренный», о котором Пушкин в Онегине сказал, что он не может себе представить русскую даму с «Благонамеренным» в руках. Измайлов любил выпить, и потому он в пародии представлен возвращающимся домой пьяным, из этого делается заключение, что «не в литературном бою, а в питейном дому, был он больно квартальным побит».

На одном из вечеров Дельвига, он прочитал эту пародию Жуковскому, который ее не знал прежде. Она понравилась Жуковскому и очень его забавляла.

Борька в последнем приведенном куплете пародии на Смальгольмский замок,—это Борис Михайлович Федоров, который и теперь (1872 г.) еще жив. В свое время он писал всякого рода стихи очень плохо, заслужил следующую эпиграмму от Дельвига:

У Федорова Борьки
Мадригалы горьки,

Комедии тупы,
Трагедии глупы,
Эпиграммы сладки
И, как он, всем гадки.

На эту эпиграмму Федоров отвечал:

У Дельвига Антонки
Скверны стишонки.

Из приведенных стихов я, может быть, некоторые перековеркал, и не трудно: прошло более 40 лет, что я оставил общество литераторов и был деятельно занят совсем на другом поприще.

Последние два приведенных стиха:

Ты скотина, но право скотина лихой
И скотство понутру мне твое.

были написаны в виде эпиграфа на сборнике статей под заглавием «Хамелеонистика», которые являлись в журнале «Славянин», издававшемся известным тогда литератором и публицистом, автором «Сумасшедшего дома», Александром Федоровичем Воейковым.

Эти статьи Дельвиг приказывал вырывать и сшивать вместе. Остальные статьи «Славянина» не читались, а выбрасывались. Раз Воейков, найдя в кабинете Дельвига раскрытую связку статей «Хамелеонистики», вообразил, что это номер его «Слявянина», чему очень обрадовался, но впоследствии заметил свою ошибку, прочитав эпиграф на обертке брошюры. Воейков, знаменитый своим «Сумасшедшим домом», вообще пользовался дурною репутациею, но кружок лучших тогдашних литераторов держал его при себе на привязи, чтобы в известных случаях,

как цепную собаку, выпустить на противную литературную партию.

Жена Дельвига, София Михайловна, была дочь Михаила Александровича Салтыкова, известного в своей молодости красавца, и жены его Елизаветы Францовны, урожденной Ришар, также красавицы. Салтыков воспитывался при графе Ангальте в I кадетском корпусе, из которого выпущен поручиком в 1787 г. и был в 1794 г. подполковником. Это быстрое повышение объясняется тем, что он находился в 1789 и 1790 гг. при князе Потемкине.

В 1790 годах по рассказам, за достоверенность которых не могу ручаться, он был вызван ко двору императрицы Екатерины II, но, по нежеланию пользоваться благосклонностью * старухи *, вышел в отставку, жил до 1801 г. в своей смоленской деревне, где обогатил свой природный ум обширными познаниями, а в означенном году пожалован был императором Александром I в действительные камергеры, звание, дававшее 4 класс в государственной службе, с причислением к коллегии иностранных дел. В 1812 г. он назначен был попечителем Казанского учебного округа; в этой должности пробыл недолго, и так как ему не удалось попасть в дипломаты, чего он очень желал, то оставался без должности до 1827 г., когда был назначен сенатором в Москву, а впоследствии и почетным опекуном. [1]

[1] Т. н. «случай» Салтыкова у Екатерины II относится к 1794 г., когда ей было 65 лет, а Салтыкову — 28 л. Салтыков был членом литерат. об-ва «Арзамас», был близок к членам тайных обществ, из которых возник заговор декабристов. О нем — еще по указателю. *С. Ш.*

Салтыков был весьма горд и с молоду неуживчивого характера. Он умер в Москве в апреле 1852 г. Внук его Алексадр Михайлович Салтыков теперь (1872 г.) флигель-адъютант и делопроизводитель военно-походной его величества канцелярии.

С. М. Дельвиг ко времени моего приезда в Петербург только что минуло 20 лет. Она была очень добрая женщина, очень миловидная, симпатичная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто делала такие сцены своему мужу, что их можно выносить только при его хладнокровии. Она много оживляла общество, у них собиравшееся.

Дельвиги в то время не имели детей и вскоре полюбили меня, как сына. Жена Дельвига, как умная и деятельная женщина, занялась моим воспитанием, насколько это было возможно в короткие часы, которые я проводил у них.

Дельвиг очень оскорбился тем, что мать моя прислала меня не к нему, а к постороннему человеку; писал к ней о том, что нельзя ли это изменить, но в виду того, что до поступления моего в строительное училище оставалось всего четыре месяца, эта мысль была оставлена, и я продолжал жить у Викторовых, а бывал у Дельвигов только по воскресеньям и праздникам. У них были назначены для приема вечера в среду и воскресенье. Я никак не мог в воскресенье оторваться от их общества и возвращался к Викторовым только в понедельник рано утром. Эти вечера были чисто литературные.

На них из литераторов всего чаще бывали А. С. Пушкин, Плетнев, князь Одоевский,

писавший тогда повести в роде Гофмана, Щастный, Подолинский, барон Розен и Илличевский. Жена Плетнева, урожденная Раевская, и жена Одоевского, урожденная Ланская, также иногда бывали у Дельвигов. На этих вечерах говорили по-русски, а не по-французски, как это было тогда принято в обществе. Обработка нашего языка много обязана этим литературным собраниям. Суждения о произведениях русской и иногда иностранной литературы и о писателях меня очень занимали. Впрочем, на этих вечерах часто играли на фортепиано. Жена Дельвига, которая долго продолжала учиться музыке, хотя уже была хорошей музыкантшей, и некоторые из гостей занимались серьезной музыкой.

Песни же и романсы певались непременно каждый вечер. В этом участвовал и сам Дельвиг, а особенно отличались М. Л. Яковлев и князь Эристов. Сверх того они оба умели делать разные штуки, фокусы, были чревовещателями и каждый раз показывали что-нибудь новенькое. В этих изобретениях особенно отличался Эристов, который, впрочем, бывал не так часто, как Яковлев; последний почти каждый день обедал у Дельвигов и проводил вечера. Он называл себе даже приказчиком Владимирской волости, так как Дельвиги жили на Владимирской улице и, действительно, по совершенному неумению Дельвига распоряжаться хозяйством и прислугою, Яковлев часто входил в его домашние дела, за что очень не любим был людьми Дельвига, которые называли его дьячком,

Один из самых частых посетителей Дельвига в зиму 1826—1827 г. был Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта. Он был очень остроумен, писал хорошие стихи и, не будь он братом такой знаменитости, конечно, его стихи обратили бы в то время на себя общее внимание. Лицо его белое и волосы белокурые, завитые от природы. Его наружность представляла негра, окрашенного белой краской. Он был постоянно в дурных отношениях к своим родителям, за что Дельвиг часто его журил, говоря, что отец его хотя и пустой, но добрый человек, мать же и добрая и умная женщина. На возражение Льва Пушкина, что «мать его не рыба, не мясо», Дельвиг, однажды, разгорячившись, что с ним случалось очень редко и к нему нисколько не шло, отвечал: «Нет, она рыба». Конечно, спор после этих слов кончился общим смехом. Лев Пушкин вел не только рассеянную, но и дурную жизнь, при чем издерживал более, чем позволяли средства. Он любил много есть и пить вина, вследствие чего Дельвиг одно из своих стихотворений, написанных им вместе с Боратынским, начал следующею строфою:

Наш приятель, Пушкин Лев,
Не лишен рассудка,
И с шампанским жирный плов
И с груздями утка
Нам докажут и без слов,
Что он более здоров
Силою желудка (bis).

За этою строфою следовала строфа о поэте Федоре Николаевиче Глинке, известном тогда перелагателе в стихи псалмов царя Давида,

* Федор Глинка молодец.
Псалмы сочиняет
Внемлет ему бог отец,
Бог сын потакает,
Дух святой, известный льстец,
Говорит, что он певец
Болтает (bis) *

Затем следовали строфы о других лицах и, между прочим, о Соколове [П. И.], непременном секретаре бывшей Российской академии.

* Непременный секретарь, Соколов Россейской,
О, залачканная тварь
С харей фарисейской и т. д. *

Льву Пушкину было более 20 лет и по ограниченности состояния необходимо было служить вне Петербурга, а потому он определился юнкером в Нижегородский драгунский полк, которым командовал приятель его брата, Николай Николаевич Раевский, и уехал в феврале 1827 г. на Кавказ. Он уже в дорожном платье заезжал проститься с Дельвигом и его женою, при чем было много выпито шампанского, и я в первый раз от роду также выпил много для юноши, которому не было еще 14 лет.

В зиму же 1826—1827 г. приехал из Москвы в Петербург молодой литератор Дмитрий Владимирович Веневитинов, человек с большими дарованиями, отлично образованный и весьма красивый собою. Он был у Дельвига, как в своей семье. Его очень любили, ласкали и уважали. Он, конечно, по молодости увлекался молодыми и умными дамами, за что подсмеивались над

ним прямо в лицо, но заочно не могли нахвалиться этим молодым человеком. Я его также очень любил. По поступлении моем в военно-строительное училище путей сообщения на первой неделе великого поста в 1827 г., Дельвиг мне прислал горестное известие о неожиданной смерти Веневитинова, умершего 15 марта на 22 г. от рождения. В первое воскресенье, когда я был отпущен из училища, я нашел Дельвига и его жену в большом горе. Брат Веневитинова, Алексей Владимирович, умер 14 января 1872 г. в звании сенатора и обер-шенка.

На литературных вечерах Дельвига никогда не говорили о политике, потому что большая часть общества была занята литературою, а частью и потому, что катастрофа 14 декабря была еще очень памятна. Размножившиеся же вновь учрежденные жандармы и шпионы III отделения собственной его величества канцелярии, в числе которых были и литераторы, не давали о ней забывать. Вообще Дельвиг избегал разговоров об этой катастрофе. Расскажу теперь же все, что я о ней от него слышал.

С Рылеевым, в котором он мало признавал поэтического таланта, он последнеее время несколько разошелся, частию потому, что быв женихом, ему некогда было посещать Рылеева, а также и по следующему обстоятельству. Рылеев и Александр Бестужев, собрав произведения разных писателей в прозе и стихах, помещали их в альманахах под названием: «Полярная звезда». Издателем же этих первых альманахов в России, в 1823 и 1824 гг., был известный тогда книгопродавец Иван

Васильевич Сленин, который за право издания платил Бестужеву и Рылееву определенную сумму.

Последние задумали издать «Полярную звезду» на 1825 г. без участия Сленина, который, не желая лишиться получаемых им доходов с издаваемаго альманаха и имея в виду хорошее знакомство Дельвига с Жуковским, Гнедичем, Крыловым и дружеские отношения с Пушкиным, Боратынским и другими писателями, посоветовал ему издавать такой же альманах. Дельвиг немедля сообщил эту мысль Рылееву, который ничего не имел против нее, но когда вышел альманах «Северные цветы» на 1825 г. и когда он имел значительный успех, Рылеев, по словам Дельвига, был видимо недоволен тем, что многие произведения лучших поэтов украсили эту книгу, через что, конечно, много потеряла «Полярная звезда».[1] В 1825 г. Рылеев, А. Бестужев и Дельвиг редко видались и это обстоятельство, может быть, спасло Дельвига от участи, постигшей членов тайных обществ. Дельвиг, по своей лени, не мог быть действительным членом ни-

[1] Доказательством неудовольствия издателей «Полярной звезды» на Дельвига за то, что он предпринял издание «Северных цветов», служит следующий отрывок из письма к Рылееву 11 ноября 1824 г. от жившего на его квартире Сомова, в котором последний, описывая наводнение Петербурга 7 ноября 1824 г., говорит, что между прочими последствиями наводнения и «Северные цветы» подмокли в луковицах и, вероятно, не скоро расцветут. Александр (Бестужев) говорил, что они, вероятно, были прежде очень сухи, а теперь слишком водяны (Сочинения и переписка Рылеева, изд. 1872 г., стр. 341), Сомов ошибся: «Северные цветы» вышли в конце декабря 1824 года. Авт.

какого общества, а по его политическим понятиям, насколько я мог их узнать, не поступил бы в тайные общества. Рылеев, при частых свиданиях, мог бы ему сказать об их существовании и, конечно, Дельвиг не донес бы о них правительству и мог бы подвергнуться той же участи, какой подверглись тогда многие, знавшие только о существовании тайных обществ. В своем месте я расскажу, как Дельвиг, пять лет спустя, потерпел не только без вины, но и без всякой причины.

Считаю не лишним прибавить, как Булгарин, более близкий к кружку Рылеева, чем к кружку Дельвига, в издаваемых им «Литературных листках» объявлял об издании «Полярной звезды» на 1825 г. и о замедлении в ее выходе:

«Северные цветы», издание книгопродавца Сленина, вступили в непосредственное соперничество с «Полярною звездою», издатели которой, предоставляя этому альманаху благоприятное время выхода в свет, желают ему еще благоприятнейшаго успеха. Понятно, что издатели «Полярной звезды» не могли иметь желания предоставить «Северным цветам» благоприятного времени выхода в свет, а по другим причинам опоздали выпуском своего альманаха, который появился только в апреле 1825 г., четыре месяца после «Северных цветов» на этот год».

Дельвиг после женитьбы жил на Большой Миллионной улице в доме Эбелинга. 14 декабря, узнав, что большие толпы народа и войска собираются на Дворцовой площади, он пошел посмотреть на то, что делалось; прошел мимо

войск и перед возмутившимся батальоном лейб-гвардии московскаго полка и видел только одного офицера этого полка князя Щепина-Ростовскаго; более никого не было. Многие из участвовавших в мятеже были в кондитерской, бывшей тогда на углу площади и Вознесенской улицы, где теперь кафе-ресторан. Он в нее не входил. Новый император Николай Павлович находился близ дворца, верхом, с большою свитою. Слова государя, которые Дельвигу удалось расслышать, дали ему понять важность происходившаго и он поспешил домой, чтобы успокоить жену. Вскоре по его возвращении домой началась пальба, а когда она окончилась, он, чтобы узнать подробности, пошел к живщему в одной с ним улице молодому поэту князю Одоевскому [А. И.], но не застал его: он был уже арестован.

Впоследствии от Ореста Михайловича Сомова, жившего вместе с Александром Бестужевым, адъютантом бывшего главноуправляющаго путями сообщения герцога Александра Виртембергскаго, в доме Российско-американской компании, я слышал, что в тот же день 14 декабря полиция забрала бумаги Рылеева, бывшаго директором означенной компании и жившего в том же доме. Вскоре после того пришел к Сомову известный тогда поэт, издававший «Мнемозину», Вильгельм Карлович Кюхельбекер, лицеист первого выпуска. Он казался потерянным и хотел спрятаться в квартире Сомова, который с трудом уговорил его уйти, заявив, что полиция уже забрала бумаги Рылеева и очень легко может быть, что вскоре явятся за бумагами Бестужева и тут же арестуют

Кюхельбекера. Известно, что последний, сумев, несмотря на свою неловкость и неуклюжесть, долго скрываться от розысков полиции, был пойман уже в Варшаве, и что хотя он был приговорен к каторжной работе на срок, но весь срок просидел в крепости, из которой только по его окончании был сослан на поселение в Сибирь, где женился. Я знал сестер и мать Кюхельбекера; последняя была, сколько я помню, кормилицею великаго князя Михаила Павловича, который постоянно помогал всему семейству.

Сомов отгадал, что скоро придут за бумагами Бестужева: явился дежурный штаб-офицер корпуса путей сообщения полковник Варенцов с полициею. Он очень учтиво просил Сомова отделить бумаги Бестужева и взял их с собою, но вскоре снова пришла полиция и арестовала самого Сомова. Он был в числе прочих политических преступников представлен государю, который спросил его «где он служит», и на ответ: «в Российско-американской компании», сказал: «Хороша собралась у вас там компания. Впрочем, вы взяты по подозрению и только что удостоверятся в противном, вы будете отпущены». Тем не менее Сомова посадили в сырую и темную комнатку Алексеевскаго равелина и только через три недели выпустили. У него на квартире жил в его отсутствие полицейский чиновник, которому было поручено сохранение имущества. Сомов, воротясь домой, не нашел у себя ни одной ценной вещи. Конечно, их было немного и ценности небольшой, но все было похищено, даже бронзовые часы и чернильница.

Еще слышал я, что известный тогда писатель, Фаддей Венедиктович Булгарин, после окончания суда над политическими преступниками, чтобы отвлечь от себя подозрение, выдал двух сыновей родной своей сестры, но донос не понравился императору Николаю Павловичу, и молодые люди отделались тем, что были посланы на службу в отдаленные города. [1]

Упомянув об альманахе «Северные цветы», я намерен сказать подробнее об его дальнейшей участи. Он с таким же успехом, как и в 1825 г., выходил с 1826 г. по 1831 г. включительно. В нем постоянно помещались произведения лучших тогдашних писателей, в особенности в поэтическом отделе, а именно: Пушкина, Жуковскаго, Гнедича, Батюшкова, Плетнева, Подолинскаго, барона Розена, Щастнаго и других. Из большого числа стихотворений Пушкина помещены были отрывки из неизданных еще глав «Евгения Онегина», весь «Нулин», котораго Пушкин до его напечатания прочитал сам в рукописи жене Дельвига в моем присутствии, более при этом никого не было. Пушкин не любил читать своих новых произведений при родном моем брате Александре, так как последний, имея необыкновенную па-

[1] Племянник Булгарина — Дм. Ал. Искрицкий, поручик гвард. ген. штаба, был членом Северного тайного общества, в восстании 14 декабря участия не принимал и потому отделался только указанным здесь наказанием. Есть и другие указания о том, что Булгарин донес на Искрицкого. Врат его совсем не принадлежал к заговору. *С. Ш.*

мять, услыхав один только раз хорошее стихотворение, даже довольно длинное, мог его передать почти буквально.

В «Северных цветах» на 1829 г. были помещены переведенные Жуковским 600 стихов из Илиады. В это время перевод всей Илиады Гнедича не был еще напечатан. Дельвиг обыкновенно посылал по экземпляру вновь вышедших «Северных цветов» в подарок некоторым писателям и в том числе Гнедичу. Последний, получив в самый день новаго 1829 г. «Северные цветы», в которых был помещен отрывок Илиады, переведенный Жуковским, возвратил его Дельвигу при записке, в которой резко выразил свое неудовольствие на Жуковскаго и на Дельвига и, сколько помню, писал в ней, что не хочет даже видеться с ними до того времени, пока не будет напечатан его перевод. Гнедич так поторопился этою запискою, что Дельвиг получил ее в день новаго года, не вставая еще с постели. До этой размолвки Гнедич бывал часто у Дельвига. Он читал превосходно стихи, но как-то слишком театрально. Я помню его декламирующим: «На все смотрю я мрачным оком», а так как он был крив, то это производило на меня особое впечатление.

О неприятностях между Гнедичем и Дельвигом остались следы в печати. По выходе Илиады Гнедича в 1830 г. «Литературная газета» объявила об этом с должною похвалою. Какой-то журнал назвал это объявление воззванием, обнаруживающим дух партии, так как и Гнедич в предисловии к своему переводу Илиады похвалил гекзаметры Дельвига. Вследствие этого

заявления Пушкин напечатал в «Литературной газете», что объявление об Илиаде написано было им в отсутствие Дельвига, что отношения Дельвига к Гнедичу не суть дружеские, но что это не может вредить их взаимному уважению, что Гнедич по благородству своих чувств, откровенно сказал свое мнение на счет таланта Дельвига. Вышеприсанное же обвинение журналиста Пушкин находил не только несправедливым, но и не благопристойным.

После смерти Дельвига мать его с детьми осталась в очень бедном положении. Пушкин вызвался продолжать издание «Северных цветов» в их пользу, о чем и было заявлено. «Северные цветы» были изданы только один раз на 1832 г. и сколько отчислилось от их издания, я никогда не мог узнать. Без сомнения, не было недостатка в желании помочь семье Дельвига, но причину неисполнения обещания поймет всякий, кто знал малую последовательность Пушкина во многом из того, что он предпринимал вне его гениальнаго творчества. В 1834 г., когда Пушкин приехал на время в Москву, он встретил меня в партере Малаго театра, где давался тогда французский спектакль, и дружески меня обнял, что произвело сильное впечатление на всю публику, бывшую в театре, с жадностью наблюдавшую за каждым движением Пушкина. Из театра мы вместе поехали ужинать в гостинницу Коппа, где теперь помещается гостинница «Дрезден». Пушкин в разговорах со мною скорбел о том, что не исполнил обещания, даннаго матери Дельвига, уве-

рял при том, что у него много уже собрано для альманаха на следующий новый год, что он его издаст в пользу матери Дельвига, о чем просил ей написать, но ничего из обещаннаго Пушкиным исполнено не было.

В подражание «Полярной звезде» и «Северным цветам» тогда же появилось много других альманахов. Отсутствие в большей части из альманахов стихотворений наших тогдашних поэтов первой величины было причиною малаго их успеха. Только в некоторых из них, как-то в «Деннице», изданной Максимовичем, и в «Царском селе», изданном бароном Розеном и Коншиным, с приложением в 1830 г. портрета А. А. Дельвига, помещались стихотворения лучших тогдашних поэтов: Пушкина, Боратынскаго, Вяземскаго, Языкова, Дельвига и проч. Но они не достигали богатства и разнообразия «Северных цветов». «Невский альманах» появился одним из первых. Издатель его Аладьин очень упрашивал Пушкина поддержать второй год его издания присылкою стихов. Пушкин послал ему эпиграмму на «Невский альманах», а он, вероятно, не понял этого, и не только ее напечатал, но даже дал ей место, сколько помню, перед заглавным листом, по его мнению, наиболее почетное. Вот эти стихи:

Н. Н.

(При посылке ей «Невского альманаха»).

Примите Невский Альманах,
Он мил и в прозе и в стихах:

Вы тут найдете Полевова,
Великопольского, Хвостова. [1]
Княжевич, дальний ваш родня,
Украсил также книжку эту:
Но не найдете вы меня:
Мои стихи скользнули в Лету.
Что слава мира?.. дым и прах,
Ах, сердце ваше мне дороже!
Но, кажется, мне трудно тоже
Попасть и в этот альманах.

Дельвиг же, напротив, так много получал стихотворений лучших писателей, что в 1829 г. перед светлой неделей издал еще особый альманах, под названием «Подснежник», в котором была напечатана повесть моего родного брата Александра, под заглавием «Маскарад».

А. А. Дельвиг, помещая эту повесть, не знал, что она—произведение моего родного брата, и дурно отзывался о ней при авторе, хотя при тогдашней бедности литературы нашей, за исключением произведений писателей первой величины, нельзя было ее считать очень нехорошею, чему служит доказательством и то, что она попала в «Подснежник». Замечания Дельвига не понравились моему родному брату и они вследствие этого долго не виделись. Такие распри между ними случались довольно часто по необыкновенной вспыльчивости моего родного

[1] По другому списку: Василья Пушкина, Маркова. Авт. В другом варианте вместо Маркова—Хвостова. В тексте стихов у Дельвига ошибки в 7 и 8 строках; здесь ошибки исправлены, как и в других местах. *С. Ш.*

брата и по охоте А. А. Дельвига дразнить его. Этот случай делания замечаний на литературные произведения по незнанию, что автор налицо, напоминает мне другой следующий случай.

В «Северных цветах» 1829 г. была помещена повесть под заглавием «Уединенный домик на Васильевском острове», подписанная псевдонимом: «Тит Космократов», сочиненная В. Титовым (ныне членом государственного совета). Вскоре по выходе означенной книжки гуляли по Невскому проспекту Жуковский и Дельвиг; им встретился Титов. Дельвиг рекомендовал его, как молодого литератора, Жуковскому, который, вслед за этой рекомендацией, не подозревая, что вышеупомянутая повесть сочинена Титовым, сказал Дельвигу: «охота тебе, любезный Дельвиг, помещать в альманахах такие длинные и бездарные повести какого-то псевдонима». Это тем более было неловко, что Жуковский отличался особым добродушием и ко всем благоволительностью.

В письме из Рязани от 29 августа 1879 г. к А. В. Головнину Влад. Павл. Титов говорит следующее о статье Т. Космократова, помещенной в «Северных цветах» 1829 г. «Уединенный домик на Васильевском острове»:

«В строгом историческом смысле это вовсе не продукт Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове, поздно вечером, у Карамзиных, к тайному трепету всех дам, и в том числе обожаемой тогда самим Пушкнным и всеми нами Екат. Никол., позже бывшей женою кн. Петра Ив. Мещерскаго. Апокалипсическое число 666.

игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанные под высокие парики,—честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая однако быть ослушником ветхозаветной заповеди «не укради», пошел с тетрадью к Пушкину в гостинницу Демут, убедил его прослушать от начала до конца, воспользовался многими, по ныне очень памятными его поправками, и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в «Северные цветы».[1]

Выше уже сказано, что на первой неделе великаго поста 1827 г. я поступил в военно-строительное училище путей сообщения.

Учреждение инженеров путей сообщения, на подобие ingénieurs des ponts et chaussées во Франции, было давно задумано императором Александром I, чему служит доказательством то, что он, при свидании в Тильзите с императором Наполеоном I, просил его прислать в Россию четырех лучших инженеров, кончивших курс в политехнической школе и потом в школе мостов и дорог в Париже. Вследствие этой просьбы в 1809 г. присланы были Базен, Фабр, Потье и Дестрем, действительно лучшие из последне-выпущенных этими школами учеников. Первые

[1] Сообщение Дельвига дало возможность включить этот рассказ в прозаическое наследство Пушкина. Критические исследования упоминаемого Дельвигом текста у Н. О. Лернера («Северные записки», 1913, январь) и у П. Е. Щеголева (отд. издание «Уединенного домика на Васильевском» со статьей Ф. К. Сологуба, Спб. 1913). *С. Щ.*

двое были приняты на службу младшими инженерами 1 класса, а последние младшими же инженерами 2 класса.

Фабр, во время учреждения военных поселений, был прикомандирован к штабу этих поселений, остальные трое продолжали службу в корпусе инженеров путей сообщения. Из них Базен и Потье впоследствии были генерал-лейтенантами и директорами, один после другого, института инженеров путей сообщения, а Дестрем был инженер-генералом и директором департамента проектов и смет главного управления путей сообщения. Все трое были и членами совета этого управления.

Польза, ими принесенная, не подлежит сомнению. Они оставили после себя разные ученые труды, в особенности по чистой математике. Дестрем и в особенности Базен отличались замечательным красноречием.

Вскоре по прибытии в Россию они посланы были в разные местности для ближайшего ее изучения. При нашествии же в 1812 г. Наполеона на Россию их удалили из Петербурга в Ярославль, где они были очень хорошо приняты губернатором, но после вторжения Наполеона во внутренние губернии сочтено было нужным их отправить в Иркутск, куда они были отвезены без предуведомления, так что они не знали, куда их везут. В Иркутске, они занимались преподаванием математических наук и французского языка, а Базен и в особенности Дестрем, изучением русского языка, на котором впоследствии говорили хорошо с небольшим акцентом. Дестрем и писал по-русски превосходно.

Через несколько месяцев после взятия Парижа вспомнили о них и приказали вернуть в Петербург, но на пути их возвращения получено было приказание снова везти их в Иркутск. Это приказание последовало вследствие бегства Наполеона с острова Эльбы, слух о котором до них не дошел, и потому, не зная, чему приписать их возвращение в Сибирь, они пришли в страшное отчаяние. По отсылке Наполеона на остров св. Елены, они возвратились на службу в Петербург. Условленное содержание они получали во время ссылки вполне и, конечно, ничего не потеряли в производстве их в следующие чины.

Совершенный недостаток в инженерах путей сообщении, при образовании главного управления, был причиною того, что в число их были приняты не только разные лица из других ведомств, но и иностранцы, которых, по случаю эмиграции из Франции во время революции, было много в России. Из них некоторые, но не многие, были действительно полезны, как-то Рекур, первый преподаватель курса построения по составленному им руководству в институте инженеров путей сообщения. Чтобы дать понятие, как легко было тогда при протекции попасть в высшие чины нового корпуса инженеров путей сообщения, приведу два примера: Сеновера, жившего в России, который, как я слышал, был ничего более, как табачный торговец, приняли прямо генерал-майором и сверх того назначили директором института инженеров путей сообщения. Воспитанники этого заведения любили рассказывать, что два француза эмигранта, не имев-

шие ни куска хлеба, ни пристанища, узнав, что в институте инженеров путей сообщения есть вакансии инспектора классов и швейцара, бросили жребий, кому из них занять ту и другую должность. Место инспектора классов досталось Резимону, который был принят прямо младшим инженером 1 класса (майором), а другой поступил в швейцары. Я их обоих застал в институте. Первый был ревностный служака и хороший педагог, только отличался клерикальным направлением. Говорили, что он был аббатом во Франции, а по приезде в Россию был гувернером в каком-то богатом семействе. Поступивший же в швейцары института знал все европейские языки настолько, что мог говорить по нескольку слов со всеми лицами дипломатического корпуса, который почти в полном составе ежегодно посещал публичный экзамен воспитанников первых трех классов института.

Такой крайний недостаток в инженерах путей сообщения побудил правительство в одно время с образованием главного управления путей сообщения учредить институт инженеров путей сообщения, воспитанники которого, по окончании курса, должны были поступать на службу в корпус инженеров путей сообщения.

В институте назначено было преимущественно преподавать высшие математические науки в таком объеме, как их не преподавали еще в России, и военные науки. Профессора были большею частью французы, а потому, за исключением закона божия и русской словесности, преподавание наук шло на французском языке. Заведение

было открытое. Для него был куплен дом, близ Обухова моста, с большим садом, нынешний дом министра. Часть этого дома была занята главным начальником института генерал-лейтенантом Бетанкуром, происхождением испанец, из значительной аристократической фамилии, служившим прежде во Франции и впоследствии бывшим с 1818 по 1823 г. главным директором путей сообщения в России. Воспитанники были разделены на 4 класса, называвшиеся бригадами. Первые два носили обер-офицерские серебряные эполеты; воспитанники первого класса с одною шитою золотом звездочкою на поле эполет (подпоручики), а 2 класса с чистым полем без звездочек (прапорщики), треугольные шляпы с черными султанами и ботфорты со шпорами. Воспитанники низших двух классов носили также офицерскую форму, но без эполет и не имели шпор на ботфортах.

Все поступающие на военную службу должны были начать ее с нижних чинов, юнкерами или кадетами в кадетских корпусах и при этом носить солдатскую форму; следовательно для инженеров путей сообщения было сделано исключение.

Желание учиться у лучших иностранных профессоров, на языке с детства хорошо изученном в аристократических и других богатых русских семействах, а может быть частью и желание прямо надеть офицерский мундир, побудило многие из этих семейств отдать своих сыновей во вновь образованный институт. Назову двух братьев баронов, впоследствии графов Строгановых (Сергея и Александра Григорьеви-

чей), двух братьев баронов Мейендорф, Шабельского.[1] Но все они, увидев, что в ведомстве путей сообщения нельзя сделать карьеры, вскоре перешли в другие ведомства.

В России всегда была отличаема военная служба. После войны 1812—1815 гг. военные еще более возгордились и потому первый порыв аристократических и богатых родителей к определению их сыновей в институт скоро остыл, тем более, что в институт инженеров путей сообщения дозволялось поступать и сыновьям купцов первых двух гильдий.

В начале 20-х годов офицерская форма воспитанников института заменена кадетскою. Он преобразован в закрытое заведение, при чем переведен во вновь отстроенный дом на Обуховском проспекте, где помещается и теперь, а дом, в котором он помещался прежде, отдан весь под помещение главноуправляющего путями сообщения герцога Александра Виртембергского.

Институт путей сообщения ежегодно выпускал немного инженеров на службу, и так как воспитанникам его давались превратные понятия об их дальнейшей карьере, недостаток, впрочем, общий со всеми тогдашними учебными заведениями, то выходили они большею частью белоручками. Вскоре почувствовалась необходимость дать им помощников, наподобие кондукторов во Франции, и для образования этих второстепенных

[1] В числе других учились здесь будущие декабристы Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, вышедшие из института в военную службу. *С. Ш.*

деятелей по техническим работам ведомства путей сообщения было образовано особое училище.

Страсть ко всему военному высказалась и в этом случае. Заведение, которое должно было готовить мирных деятелей, назвали военностроительным училищем путей сообщения и дали его воспитанникам кадетскую форму, при чем учили маршировать и тесачным приемам, каковое обучение было введено и в институте путей сообщения, когда воспитанникам его дали кадетскую форму.

Лето 1827 г. А. А. Дельвиг с женою провели в Ревеле, и потому я в это время проводил праздничные дни у брата Александра, или вместе с ним у мужа нашей умершей тетки, Егора Михайловича Гурбандта.

Летом 1827 г. я начал чувствовать в обеих ноздрях твердые наросты, постоянно увеличивающиеся. К сентябрю эти полипы уже поравнялись с нижней частью ноздрей.

В это время вернулся из Ревеля А. А. Дельвиг с женою и для производства операции и моего лечения у него на дому он испросил увольнения меня из училища на несколько недель. Операцию делал мне лейб-хирург Николай Федорович Арендт, который вырвал несколько полипов из обеих ноздрей с значительной болью и сильным истечением крови. Находя нужным лечить меня после операции, А. А. Дельвиг оставил меня у себя, и я прожил у него три месяца. Первое время, действительно, меня чем-то лечили, а потом просто без надобности держали, и я, конечно,

не хлопотал о возвращении в училище. Долгим своим отсутствием из училища я немного терял в учении, потому что предметы, преподававшиеся в 3 классе военностроительного училища, за исключением начал архитектуры, были мне известны, а в рисовании и черчении, по моей неспособности, я все равно нисколько бы не успел. Только это трехмесячное ничегонеделание еще более развило во мне распущенность и лень, хотя с другой стороны общество, собиравшееся у Дельвига, не могло не произвести на меня полезного действия.

* Я выше говорил из кого состояло это общество, каждый день бывал у Дельвига кто-нибудь из старых лицеистов или литераторов, но более бывали по середам и воскресеньям вечером *.

В это время несколько раз обедал у Дельвига инженер путей сообщения, полковник Карелин, заведывавший художественными заведениями главного управления путей сообщения. Он был человек очень хороший, весьма образованный, приятный в обществе и известный своим обжорством, так что он всегда уведомлял заранее Дельвига о том, что приедет обедать, и тогда заказывали обед на 12 человек, хотя нас обедало всего четверо или пятеро. Он брал каждого кушанья постольку же, как и другие, но когда блюда обнесут вокруг стола, то и их ставили перед Карелиным, и он покончивал все, что на них оставалось.

Пушкин после дозволения, данного ему в мае 1827 г., бывать в обеих столицах, приехал первый раз в Петербург летом 1827 г., но за отсутствием

Дельвига, я его тогда не видал. Я его увидел в первый раз в октябре, когда он снова приехал из своего уединения, с. Михайловского.

17 октября праздновали день моих именин. Пушкин привез с собой, подаренный ему приятелем Вульфом, череп от скелета одного из моих предков, погребенных в Риге, похищенного поэтом Языковым, в то время дерптским студентом, и вместе с ним превосходное стихотворение свое: «Череп», посвященное А. А. Дельвигу и начинающееся строфою:

Прими сей череп, Дельвиг: он
Принадлежит тебе по праву;
Тебе, поведаю, барон,
Его готическую славу;

и оканчивающееся строфою:

Прими ж сей череп, Дельвиг; он
Принадлежит тебе по праву.
Обделай ты его, барон,
В благопристойную оправу.
Изделье гроба преврати
В увеселительную чашу,
Вином кипящим освяти
Да запивай уху да кашу!
Певцу Корсара подражай
И скандинавов рай воинской
В пирах домашних воскрешай,
Или, как Гамлет-Боратынской,
Над ним задумчиво мечтай:
О жизни мертвый проповедник,
Вином ли полный, иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой.

Пили за мое здоровье за обедом из этого черепа, в котором Вульф, подаривший его Пушкину, держал табак. Череп этот должен и теперь находиться у вдовы Дельвига, но едва ли он по совету Пушкина, обделан «в благопристойную оправу».

За обедом в мои именины было много лицеистов, и в том числе Пушкин, которые собирались через день праздновать 19 октября, день учреждения лицея. Известно, что Пушкину, при императоре Александре, был запрещен выезд из его имения Псковской губернии, с. Михайловского. Император Николай, сняв это запрещение в 1826 г. в Москве, спросил у Пушкина, отчего он мало пишет, и вследствие ответа последнего, что не может ничего печатать по строгости цензуры ко всему им написанному, заявил, что он будет его цензором. С тех пор все стихотворения свои Пушкин доставлял Дельвигу, от которого они были отсылаемы к шефу жандармов, генерал-адъютанту Бенкендорфу, а им представлялись на высочайшее усмотрение. Само собою разумеется, что старались посылать к Бенкендорфу по нескольку стихотворений за-раз, чтобы не часто утруждать августейшего цензора.

Стихотворения, назначенные к напечатанию в «Северных цветах» на 1828 г., были в октябре уже просмотрены императором, и находили неудобным посылать к нему на просмотр одно стихотворение «Череп», которое однако же непременно хотели напечатать в ближайшем выпуске «Северных цветов». Тогда Пушкин решил подписать под стихотворением «Череп» букву «Я», сказав: «Никто не усумнится, что Я — Я».

Но между тем многие усомнились и приписывали это стихотворение поэту Языкову. Государь впоследствии узнал, что «Череп» написан Пушкиным, и заявил неудовольствие, что Пушкин печатает без его цензуры. Между тем, по нежеланию обеспокоивать часто государя просмотром мелких стихотворений, Пушкин многие из своих стихотворений печатал с подписью П. или Ал. П.

Пушкин в дружеском обществе был очень приятен и ко мне с самого первого знакомства очень приветлив. Дельвиг со всеми товарищами по лицею был одинаков в обращении, но Пушкин обращался с ними разно. С Дельвигом он был вполне дружен и слушался, когда Дельвиг его удерживал от излишней картежной игры и от слишком частого посещения знати, к чему Пушкин был очень склонен.[1] С некоторыми же из своих товарищей лицеистов, в которых Пушкин не видел ничего замечательного, и в том числе с М. Л. Яковлевым, обходился несколько надменно, за что ему часто доставалось от Дельвига. Тогда Пушкин видимо на несколько времени изменял свой тон и с этими товарищами.

Несколько позже приехал в Петербург Сергей Александрович Соболевский, уже известный тогда своими едкими эпиграмами и острыми словами. Он был незаконнорожденный сын Александра Николаевича Соймонова. В 1827 г.

[1] Об этом сообщает в своих знаменитых записках о Пушкине и декабрист И. И. Пущин, который также удерживал поэта от излишнего ухаживания за представителями т. н. «высшего света». См. С. Я. Штрайх— «Первый друг Пушкина», М. 1930. *С. Ш.*

он ехал путешествовать за границу. Сколько мне помнится, он тогда не был еще так близок с Пушкиным и другими современными поэтами, но был очень нахален и потому, так сказать, навязывался на дружбу известных тогда людей. Нахальство его не понравилось жене Дельвига и потому, дабы избегнуть частых его посещений, она его не принимала в отсутствии мужа. Но это не помогло: он входил в кабинет Дельвига, ложился на диван, который служил мне кроватью, и читал до обеда, а когда Дельвиг возвращался домой, то он входил вместе с ним и оставался обедать.

Читая, лежа на диване, Соболевский часто засыпал. Раз он заснул, читая песни Беранжера. Книга выпала из его рук и была объедена большою собакою Дельвига. По этому случаю за обедом была сочинена песня с припевом

Собака съела Беранжера,
А Беранжер собаку съел;

т.-е. Беранжер большой мастер писать песни: он на этом, как выражаются в простонародьи, собаку съел.

Соболевский меня называл «барончиком» и продолжал так меня называть даже и в то время, когда мне было 55 лет от роду. Он, сумел разбогатеть и, покончив свои дела, переехал жить в Москву с значительным капиталом. В то время как я служил в Москве с 1852 г. по 1861 г., он начал было ездить ко мне, но тон его не понравился жене моей, и мы впоследствии видались только в английском клубе.

В 1827 г., не помню по какому случаю, был у Дельвигов ужин, тогда как обыкновенно у них не ужинали. За ужином был Соболевский, который шутками своими оживлял все общество. Он меня в этот день поил много, и я в первый раз от роду был немного пьян. За ужином была Анна Петровна Керн, которая сама напечатала воспоминания об ее знакомстве с Пушкиным, написавшим к ней в 1825 г. стихотворение, начинающееся стихами:

Я помню чудное мгновенье;
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

А. П. Керн, дочь Петра Марковича Полторацкого, была отдана 15-ти лет от роду замуж за старого генерал-лейтенанта Керна, человека не очень умного. Она с ним жила недолго, имела от него дочь, которая в 1827 г. была уже в Смольном монастыре.[1] Разойдясь с мужем, А. П. Керн жила несколько времени у Прасковьи Александровны Осиповой, по первому мужу Вульф, в с. Тригорском, по соседству с с. Михайловским, в котором Пушкин проводил время своего изгнания.

Во время пребывания своего в Петербурге старуха П. А. Осипова с своими дочерьми посещала Дельвигов, шутя сознавалась, что влюблена в Дельвига, и меня очень любила, так что в шутку уверяла, что она изменила Дель-

[1] См. А. П. Керн. — «Воспоминания», под ред. Ю. Н. Верховского, изд. «Academia», Лен. 1929. С. Ш.

вигу и меня полюбила так же страстно. Дельвиг уверял, что ему счастье только на старух и что мне предстоит, вероятно, такая же участь.

Пушкин написал несколько посланий к П. А. Осиповой и к ее дочерям. Вот первая строфа послания к первой, написанного в 1825 г.:

Быть может, уж недолго мне
В изгнаньи мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.

Вот начало послания к одной из дочерей П. А. Осиповой, написанного в 1828 г.:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.

В 1827 г. А. П. Керн была уже менее хороша собою, и Соболевский, говоря за упомянутым ужином, что на Керн трудно приискать рифму, ничего не мог придумать лучшего, как сказать:

У мадам Керны
Ноги скверны.

Жена Дельвига, несмотря на значительный ум, легко увлекалась, и одним из этих увлечений была ее дружба с А. П. Керн, которая наняла небольшую квартиру в одном доме с Дельвигами и целые дни проводила у них, а в 1829 г. переехала к ним и на нанятую ими дачу. Мне почему-то казалось, что она

с непонятною целию хочет поссорить Дельвига с его женою, и потому я не был к ней расположен. Она замечала это и меня не долюбливала. Между тем она свела интригу с братом моим Александром и * сделалась беременною *. Вскоре они за что-то поссорились. В 1829 г., когда А. П. Керн была уже в ссоре с братом Александром, она вдруг переменилась ко мне, * часто зазывала в свою комнату, которую занимала на даче, нанятой Дельвигом, ласкала меня, заставляла днем отдыхать на ее постели. Я, ничего не зная об ее связи с братом Александром, принимал эти ласки на свой счет*, что, конечно, нравилось мне, тогда 16-летнему юноше, но эти ласки имели целию через меня примириться с братом, что однако же не удалось. Возбужденные во мне ее ласками надежды также не имели последствий.[1] С дачи А. П. Керн переехала на квартиру, ею нанятую далеко от Дельвигов, и они более не виделись.* Дошел ли до жены Дельвига слух об ее связи с братом или по другой причине они разошлись, я не мог узнать *. Я продолжал у нее бывать, но

[1] А. Н. Вульф несколько раз упоминает в своих дневниках (изд. М. Л. Гофмана в 1915 г. и П. Е. Щеголева в 1929 г.), что пока он сам ухаживал за С. М. Дельвиг и старался, по его циничному выражению, украсить лоб барона, А. И. Дельвиг в соседней комнате «волочился» за А. П. Керн. По поводу дружеских отношений С. М. Дельвиг к последней Вульф пишет: «Рассудив, что по дружбе ее с Анной Петровной и по разным слухам она не должна быть строгих правил, решился я ее предпочесть». В дневнике много записей об отношениях Вульфа и С. М. Дельвиг при жизни ее мужа. *С. Ш.*

очень редко; впрочем произведенный в 1830 г. в прапорщики, был у нее у первой в офицерском мундире.

Впоследствии я у нее бывал в 1831 и 1832 гг., когда она была в дружбе [1] с Флоранским, о котором говорили, что он незаконнорожденный сын Боратынского, одного из дядей поэта. В старости я ее встречал в 60-х гг. в Петербурге у Николая Николаевича Тютчева и в последний раз в декабре 1868 г. в Киеве, где она жила со вторым мужем, уволенным от службы учителем гимназии, Виноградским, в большой бедности. Теперь (1872 г.) они живут в Лубнах.

В эту же зиму начал ездить к Дельвигам Орест Михайлович Сомов. Живя до 14 декабря 1825 г. в одном доме с Рылеевым и на одной квартире с Александром Бестужевым, он был знаком с Дельвигом и прежде. Но их разлучила в 1825 г. небольшая размолвка Дельвига с Рылеевым и Бестужевым по вышеупомянутому мною случаю.

Выпущенный в начале 1826 г. из крепости и лишившись места секретаря Российско-американской компании, жалованьем которого он жил, а вместе с тем и почти всего своего движимого имущества, Сомов не знал, что ему препринять, тем более, что считал обязанностию поддерживать любовницу Александра Бестужева, на которой лет через пять женился.

[1] В подлиннике: связи. См. об этом «Воспоминания» А. П. Керн, изд. «Academia», стр. XXXIV. *С. Ш.*

Сомов никогда не служил на государственной службе и не имел чина, за что в знаменитом стихотворении Воейкова «Сумасшедшем доме» назван безмундирным. Тогда было чрезвычайною редкостию, чтобы образованный дворянин не служил. После содержания в Петропавловской крепости, конечно, он и не нашел бы нигде казенной службы. Во всяком случае, не имея чина, жалованье на этой службе он мог бы получать самое ничтожное. Он уж был известен, под псевдонимом «Порфирия Байского», многими повестями, написанными хорошим слогом и с некоторым талантом (например, повесть под заглавием «Гайдамаки»), а потому решился заниматься исключительно литературою. Сочинением повестей, конечно, не мог он содержать себя и единственным путем в то время для приобретения денег в литературе было поступление на службу к Николаю Ивановичу Гречу и Фаддею Венедиктовичу Булгарину, издававшим газету «Северная пчела» и два журнала: «Сын отечества» и «Северный архив». Последние два впоследствии слились в один журнал.

В этих журнале и газете помещались разные нападки на Пушкина и поэтов, его последователей, и между прочим в первом была помещена длинная прескучная повесть под заглавием: «Мортирин и барон Шнапс фон-Габенихтс»; под этими именами подразумевались Пушкин и барон Дельвиг. Греч и Булгарин приняли Сомова в сотрудники, как человека им весьма полезного, но зная, до какой степени он находился в нужде, обходились с ним

весьма дурно и даже обсчитывали. Наконец, терпение Сомова лопнуло и он, оставив лагерь Греча и Булгарина, обратился к Дельвигу, от которого при малой его литературной деятельности, конечно, не мог предвидеть получения большого содержания, но был уверен в лучшем с ним обращении.

Булгарин был тогда всеми признан за шпиона, агента III отделения собственной канцелярии. Греч часто говаривал, что Булгарин ему необходим по общей их литературной деятельности, и уверял, что к несчастию, связавшись с таким подлым человеком (что будто бы его весьма тяготит), он не может с ним расстаться. Но этим уверениям придавали мало веры, и все считали Греча также агентом III отделения, но в несколько высшей сфере, чем Булгарин.

Сомов, в лагере Греча и Булгарина, а прежде в лагере Измайлова, писал эпиграммы и статьи против Дельвига, и потому появление его в обществе Дельвига было очень неприятно встречено этим обществом. Наружность Сомова была также не в его пользу. Вообще постоянно чего-то опасающийся, с красными, точно заплаканными глазами, он не внушал доверия. Он не понравился и жене Дельвига. Пушкин выговаривал Дельвигу, что тот приблизил к себе такого неблагонадежного и мало способного человека. Плетнев и все молодые литераторы были того же мнения.

Между тем все ошибались на счет Сомова. Он был самый добродушный человек, всею

душою предавшийся Дельвигу и всему его кружку и весьма для него полезный в издании альманаха «Северные цветы» и впоследствии «Литературной газеты». Дельвиг не мог бы сам издавать «Северные цветы», что прежде исполнялось книгопродавцем Слениным, а тем менее «Литературную газету». Вскоре однако же все переменили мнение о Сомове. Он сделался ежедневным посетителем Дельвига или за обедом, или по вечерам. Жена Дельвига и все его общество очень полюбили Сомова. Только Пушкин продолжал обращаться с ним с некоторою надменностию.

Несмотря на свое крайнее добродушие, Сомов, в критических разборах разных литераторов, умел иногда относиться к ним довольно язвительно и даже писал эпиграммы, из которых привожу две, написанные на известного тогда издателя «Дамского журнала» и «Московских ведомостей» князя Шаликова:

Не классик ты и не романтик,
Но что же ты в своих стихах?
На козьих ножках старый франтик,
С указкой детскою в руках.
Дрожащий под ферулой школьник,
Тебя ль возьму себе в пример?
Ты говоришь, что я раскольник,
Я говорю, ты старовер.

Живя у Дельвига, я довольно часто бывал с ним и его женою у поэта слепца И. И. Козлова, талант которого тогда высоко ценили. Раз Дельвиг поехал к нему на извощичьих дрожках. Сломалась ось. Дельвиг расшиб себе

руку и, по причине тучности, долго не мог оправиться. Немедля, по возвращении Дельвига домой, он меня послал к Козлову сказать о случившемся с ним. На слепых глазах Козлова показались слезы, и он сильно горевал тем более, как он выразился, что это случилось в то время, как Дельвиг ехал к нему.

Наконец, решились меня отпустить в военно-строительное училище, где в начале 1828 г. я перешел во 2-ой класс. По праздникам я продолжал бывать у Дельвигов, у Гурбандта и у брата Александра. Так как к 9-ти час. вечера надо было возвращаться в училище, а общество Дельвига по воскресеньям собиралось только к 8 часам, то я всегда уходил с большою грустью.

В феврале 1828 г. Дельвиг получил поручение от министерства внутренних дел отправиться в Харьков, откуда он, возвращаясь в Петербург, заезжал в Чернскую деревню к своей матери. В его отсутствие я по праздникам бывал у Гурбандта и у брата Александра, а и иногда и у других знакомых.

По излечении сломанной кости в руке, оказалось, что носовые полипы снова выросли. Дельвиги для операции взяли меня снова к себе, но в этот раз я оставался у них не более месяца. Операцию делал тот же Арендт и тем же способом. Впоследствии в 1829 и 1830 гг. полипы снова выросли и еще скорее прежнего. Арендт мне в эти годы делал несколько раз операции у себя на дому по праздникам, так что я для операции не отлучался из института

инженеров путей сообщения, в который я был переведен в 1829 г.

В тот месяц, который я провел в 1828 г. у Дельвигов, я очень часто у них видел польского поэта Мицкевича. Все были от него в восхищении. Кроме огромного поэтического таланта, он прекрасный рассказчик. Раза по три в неделю он целые вечера импровизировал разные большею частию фантастические повести в роде немецкого писателя Гофмана.[1] В это время у жены Дельвига часто болели зубы. Кроме обыкновенных зубных лекарей, которых лекарства не помогали, призывали разных заговорщиц и заговорщиков и между прочим кистера какой-то церкви, который какою-то челюстью дотрагивался до больного зуба и заставлял пациентку повторять за собою: «солнце, месяц, звезды», далее не помню. Он все слова произносил, не зная русского языка, до того неправильно, что не было возможности удержаться от смеха. Мицкевич уверил Дельвигов, что есть какой-то поляк, живущий в Петербурге, который имеет способность уничтожать зубную боль. Послали меня за ним. Он жил на Большой Миллионной, и я застал его за игрою в карты. Но он, узнав от меня о причине моего приезда, сейчас бросил игру, переоделся и с перстнем на пальце

[1] А. П. Керн пишет в своих воспоминаниях: «На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич. Вот кто был постоянно любезен и приятен. Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал». *С. Ш.*

направился со мною на извозчике и всю дорогу, расфранченный и надушенный чрез меру, с большим бриллиантом, выговаривал мне, что я, при значительном холоде, так легко одет. Я был в фуражке и в суконной шинели не только не на вате, но и без подкладки. Тогда кадеты не имели более теплой одежды. С появлением поляка, высокого и полного мужчины, утишилась зубная боль у жены Дельвига, что сейчас же приписали действию перстня и магической силе того, кто его имел на пальце.[1]

Поляк остался пить чай. Он говорил очень дурно по-русски. В это время скончалась императрица Мария Феодоровна, и он говорил, что он видел великолепный воз (так он называл колесницу), приготовленный для перевозки ее тела из дворца в Петропавловский собор. Дельвиги, Мицкевич и я с трудом удерживались от смеха и, когда не могли более удержаться, уходили хохотать в другую комнату. Мицкевич смеялся более всех.

Ночью снова болели зубы у жены Дельвига, и он послал за настоящим зубным лекарем. Вдруг в 4-м часу ночи послышался запах духов. Явился расфранченный и сильно надушенный поляк. Слуга Дельвига, слышав накануне, что этот поляк зубной лекарь, вместо того, чтобы привезти настоящего лекаря,

[1] А. Н. Вульф рассказывает — об этом поляке: «11 декабря 1828 г. весь день я пробыл у барона. Там был и поляк Жельверт, который приезжал заговаривать зубную боль Софьи; он очень смешил нас своим обращением». *С. Щ.*

привез его. Дельвиг, встав с постели, извинялся, что слуга перепутал, так как посылали будто бы для меня за доктором, боясь чтобы у меня не было горячки, а что зубы жены Дельвига, по милости поляка, совсем перестали болеть. Поляк сказал, что он предвидел мою болезнь и выговаривал мне за то, что я был слишком легко одет.

Я в это время лежал на диване в гостинной и хотел было итти помочь Дельвигу извиниться перед поляком, не зная, что Дельвиг уверяет его в том, что я заболел горячкою. Хорошо, что я поленился встать, а то ввел бы Дельвига в большое затруднение. Мицкевич, которому в тот же день рассказали об этом ночном визите поляка, очень много смеялся.

Странным покажется, что Дельвиги, столь развитые, прибегали не к помощи ученых зубных лекарей, а к разным шарлатанам заговорщикам, но это объясняется тем, что в это время было еще более суеверия, чем теперь, а в особенности тем, что Дельвиг был постоянно суеверен. Не говоря о 13-ти персонах за столом, о подаче соли, о встрече с священником на улице и тому подобных общеизвестных суевериях, у него было множество своих примет. При встречах с священниками он не пропускал случая, чтобы не плюнуть им вслед. Протоиерей Павский, бывший законоучителем в лицее, а в это время законоучителем наследника, нынешнего государя, был очень любим и уважаем Дельвигом. Когда они встречались, то Павский говаривал Дельвигу: «плюнь, отплюйся же, Антон, а после поговорим».

Мать А. А. Дельвига осталась после смерти мужа в бедности. У нее было три сына и четыре дочери, все остались на ее руках, кроме старшего сына и дочери Марии, бывшей замужем за бедным витебским помещиком Родзевичем. Пушкин написал ей, еще будучи в лицее, стихотворение, под заглавием «К Маше», начинающееся строфою:

Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать
И мне в награду обещала
Спасибо в прозе написать.

Другое стихотворение, написанное к ней также в лицее, в 1815 г. и озаглавленное «Баронессе Марье Антоновне Дельвиг», начинается следующими стихами:

Вам восемь лет, а мне семнадцать было,
И я считал когда-то восемь лет;
Они прошли. В судьбе своей унылой,
Бог знает, как я ныне стал поэт.

Чтобы облегчить положение матери и дать образование своим братьям, которые слишком двадцатью годами были его моложе, Дельвиг привез их в Петербург. Братья эти, Александр и Иван Антоновичи, жили у него и учились на его счет. Старший выказывал много способности в учении и хороший характер; младший ни в том, ни в другом не походил на брата. Во всяком случае присутствие этих детей еще более оживило дом Дельвига.

А. А. Дельвиг и в особенности брат Александр обращали неоднократно внимание на

то, что на отпускных из училища билетах меня писали просто Дельвигом без титула, и требовали, чтобы я, поступая в институт, записался в нем с принадлежащим мне баронским титулом. В день поступления моего в институт дежурным ротным офицером был подпоручик Мец (впоследствии генерал-майор и директор Александровского кадетского корпуса в Царском селе, уже умерший). Мы все четверо явились прямо к нему. Он спросил наши фамилии и, по сделанному мною ответу, записал меня бароном Дельвигом.

В числе четверых, перешедших в институт, были из 1-го класса училища я и Сивков (Алексей Дмитриевич, бывший впоследствии членом кабинета его величества и тайным советником, ныне находящийся в отставке; он через женитьбу приобрел огромное состояние), а другие двое были из низших классов.

Мец, зная, что в 1-м классе строительного училища преподавались собственно специальные науки по строительной части, так что воспитанники этого класса, как поступившие только в него, так и окончившие в нем курс, имеют достаточные познания для поступления в 3-ю бригаду (так назывался в институте высший класс воспитанников портупей-прапорщиков), посадил меня и Сивкова в этот класс. Когда пришел ротный командир полковник Лермантов (Владимир Николаевич, впоследствии генерал-майор, теперь (1872) в отставке) и увидал нас сидящими в 3-й бригаде, грозно спросил, кто смел посадить нас в эту бригаду без экзамена, и прогнал нас в 4 бригаду (2-й класс

воспитанников), при чем с насмешкою и упреком сказал мне: «Знайте, г. барон, что здесь нет князей, графов и баронов, а все равны, и вашего титула здесь употреблять не будут».

Инспектор классов, полковник Резимон, прислал к нам экзаменаторов, у которых мы выдержали экзамен, требующийся для поступления в 3-ю бригаду, куда и были переведены Резимоном.

В тот же день приехал директор института генерал-майор Базен и когда Лермантов ему представлял вновь поступивших в институт, на вопрос Базена о том, как он нас находит, отвечал про Сивкова, что он, кажется, добрый малый, про меня же ничего не сказал, а только пожал плечами, как-то неприятно улыбаясь.

В первое воскресенье после моего поступления в институт, А. А. Дельвиг, живший тогда на даче близ Крестовского перевоза, прислал за мною человека на извозчике, как это он делал в бытность мою в училище, не зная, что воспитанникам института воспрещено ездить. Лермантов, подойдя ко мне, сказал, что за мною прислали дрожки, что ездить не дозволяется, а что если мои баронские ножки могут пропутешествовать к Крестовскому перевозу и в тот же день обратно, так как отпуски на ночь не дозволялись, то я могу надеть кивер и тесак и отправиться, но предварительно должен остричь свои баронские волосики. Надо было видеть, как все это говорилось, чтобы понять, в какое отчаяние можно было прийти молодому юноше от этих слов.

Несколько дней после награждения меня серебряным темляком пришел в институт Пассек Диомид Васильевич (убитый в чине генерал-майора на Кавказе в экспедиции 1845 г.). Он в 1829 г. кончил с особым отличием курс в Московском университете с званием кандидата физико-математических наук и желал поступить воспитанником в институт.

Пассек вскоре поступил в 3-ю бригаду, что было очень неприятно Лермантову, тем более, что в одно время с ним поступил еще старее его летами с отличием окончивший курс в Виленском университете кандидат физико-математических наук Ястржембский Николай Феликсович, ныне (1872 г.) полковник в отставке. Лермантов терпеть не мог обоих вновь поступивших и в особенности Пассека, которого не называл иначе, как иронически г. штабс-капитаном. Кандидаты имели право на 10-й класс в гражданской службе, соответствующий в военной службе чину штабс-капитана. Лермантов постоянно придирался к Пассеку. Осматривая воспитанников перед отпуском из института в праздничные дни, он часто находил, что Пассек дурно одет, и приказывал ему снять амуницию и оставаться в институте.

Общество, собиравшееся у А. А. Дельвига по воскресеньям, с наступлением мне 16 лет, сделалось мне еще интереснее, и потому я с трудом от него отрывался, и чрез то несколько опаздывал. Пассек также опаздывал, но все же приходил несколько ранее меня, и ему объявлялось, что он в наказание в следующий празд-

ник не будет отпущен. Когда же я приходил позже его, то мне Лермантов только делал замечание, что ему тем неприятнее мое опаздывание, что, не взыскивая с меня, он не может взыскивать и с Пассека. Но случалось так, что в следующий праздник Пассек, освобожденный ради меня от наложенного на него наказания, был во время осмотра перед отпуском оставляем по придирке к какой-нибудь неисправности в одежде. Это очень бесило Пассека, от природы очень вспыльчивого; но он, в виду скорого производства в офицеры, отмалчивался, что ему стоило больших усилий.

Инспектор классов института был переименован в помощники директора по учебной части и к штату института был прибавлен помощник директора по хозяйственной и строевой частям. Последним был назначен бывший директор военностроительного училища генерал-майор Шефлер.

Шефлер в новой должности вздумал продолжать порядки училища. При нем остался прежний эконом института отставной полковник Пфефер. Он ходил в мундире без эполет и в треугольной шляпе с султаном, из которого высыпались перья, и потому воспитанники громко называли его «рябчик». Пфефер начал кормить хуже, хотя по новому штату института сумма на пищу воспитанникам не была убавлена и было еще легче хорошо кормить 240 человек, чем 120. Хорошие повара, бывшие в институте, отпущены и заменены солдатами-поварами, бывшими в училище. Они раз сварили суп из

гороху, которого нельзя было взять в рот: никто не ел его, несмотря на увещания и требования Лермантова и Шефлера. Воспитанники, выйдя из-за стола, кричали: «пусть рябчик сам ест этот горох». Базен, узнав об этом, приехал в институт. Он, выстроив воспитанников 1-й роты, сделал им выговор и обратил наше внимание на то, что он привык в нас видеть людей развитых, что он надеется, что мы, постигая как важно всякое непослушание с нашей стороны, будем вести себя безукоризненно, и прибавил с особенным французским акцентом: «напрасно вы не кушаете горох; очень хорошее кушанье горох, и я ем горох, и его королевское высочество кушает горох». Базен приказал нам давать несколько дней сряду горох. Мы его не ели, но, из уважения и любви к Базену, более не шумели, и тем дело это кончилось.

Ученье ружейным приемам шло в институте очень успешно. Воспитанники, за исключением Пассека и князя Максутова (младшего брата), в три недели изучили эти приемы, так что могли быть выведены на смотр. Эти же двое воспитанников оказались неспособными: Максутов по малому росту, а Пассек по какому-то неуклюжеству, за что Лермантов ему делал постоянные выговоры, говоря, что он никогда не будет военным, а как нарочно Пассек, один из всех нас, вышел отличным военным, что он доказал на Кавказе. Воспитанники, товарищи Пассека, лучше угадали его будущность. Несмотря на то, что он готовился строить мосты и каналы, они за исполинский вид и грозные

речи прозвали его в шутку «Победителем Кавказа», чему не удалось однако же исполниться за преждевременною его погибелью в экспедиции 1845 г.[1]

Император Николай и великий князь Михаил Павлович очень не любили инженеров путей сообщения, а вследствие этого и заведение, служившее их рассадником. Эта нелюбовь основывалась на том мнении, что из института выходят ученые, следовательно вольнодумцы. Была еще и другая причина их нерасположения к институту. В 1819 г. было учреждено главное инженерное училище и главным начальником его был назначен главный инспектор по инженерной части, великий князь Николай Павлович, по вступлении которого на престол это звание перешло к великому князю Михаилу Павловичу. При всем видимом их нерасположении к ученым, им было однако же очень досадно, что главное инженерное училище, по преподаванию в нем наук, стояло постоянно ниже института. Сверх того, в то время институт был единственное заведение, образованное вполне на военную ногу и не подчиненное великому князю Михаилу Павловичу. *Конечно, в моих

[1] Диомид Вас. Пассек (1808-1845), окончил также курс военной академии; одержал на Кавказе много блестящих побед; убит во время экспедиции к аулу Дарго. Напечатал очерк о Карле XII и Петре великом (в «Очерках России» его брата Вадима, женатого на известной Татьяне Пассек, двоюродной сестре Герцена). Биограф говорит, что обаяние его в армии было равно обаянию М. Д. Скобелева в 70-е годы. *С. Ш.*

воспоминаниях не место объяснять в подробности взгляд императора Николая на учение и причины, его породившие, но не могу не оговориться, что в великом князе Михаиле Павловиче эта нелюбовь к ученым была напускная. Он сам, говорят, много читал и знал, а только как первый подданный своего брата во всем следовал его указаниям, и надо сознаться—роль свою разыгрывал превосходно*.[1]

При преобразовании института в 1830 г. постановлено было, что один высший класс воспитанников сохраняет название портупей-прапорщичьего, остальные же три класса названы кадетскими. Но в новом положении института не было сказано, чтобы в нем дозволялись телесные наказания. Шефлер, принимая в соображение, что кадет во всех кадетских корпусах секут розгами, и, привыкнув к этой операции в военностроительном училище, в феврале 1830 г. высек, не знаю за какую вину, четырех кадет 2 роты из числа воспитанников, поступивших в институт из военностроительного училища. В это время все портупей-прапорщики были из числа воспитанников прежнего института, так как все воспитанники училища, которые могли бы поступить в портупей-прапор-

[1] Ф. Ф. Вигель в своих знаменитых записках оставил характеристику Михаила Павловича, более соответствующую общеизвестным отзывам о нем: «Ничего ни письменного, ни печатного он с малолетства не любил. Но при достаточном уме с живым воображением любил он играть в слова и в солдатики. Полагал, что военный порядок достаточен для государственного управления». См. отд. издание их под ред. С. Я. Штрайха, т. I и II. М. 1928. *С. Ш.*

щичий класс, были до присоединения к институту училища выпущены на службу прапорщиками в строительный отряд.

Небывалое, даже немыслимое в институте телесное наказание, когда о нем узнали в 1-й роте, взволновало всех воспитанников и ожесточило их против Шефлера. Решено было выказать ему неудовольствие и добиться, чтобы впредь подобное наказание, уже осрамившее институт, не могло повториться. До 1-го января 1830 г., при входе начальников, воспитанники им кланялись, а с этого времени, со введением ружей, установлено было отвечать начальникам, когда они поздороваются, словами: «здравия желаем», с прибавлением тем, которые состоят в генеральских чинах, слов: «ваше превосходительство». Это исполнялось беспрекословно, но когда Шефлер, после совершенной им экзекуции, вошел в 1-й класс и поздоровался, то ему никто не отвечал. Он повторил еще два раза: «здравствуйте, господа», и все молчали. Тогда Шефлер разразился бранью, уверяя, что заставит с ним здороваться. * Но его брань прошла со стороны воспитанников молчанием *. Это случилось около половины двенадцатого часа дня, когда обыкновенно разносили по классам булки; каждый воспитанник для завтрака получал по одной булке. Шефлер * взбешенный тем, что не получил ответа на здорование *, приказал во избежание того, что иной воспитанник может взять, вместо одной, две булки, всем выстроиться во фронт и тогда раздать булки воспитанникам. * Немедля несколько голосов закричали: «не надо строиться», но

вскоре слова эти были заглушены криком: «нельзя не строиться, но не брать никому булок»; эти слова были переданы немедля и в низшие классы *. По выстроении 1-ой роты во фронт в коридоре между классами начали в присутствии Шефлера и эконома Пфефера раздавать из корзины булки, но никто их не брал. Это еще более взбесило Шефлера. Он совал булки в руки воспитанникам, а они бросали их снова в корзинку, отговариваясь тем, что не хотят есть. Шефлер заставлял некоторых воспитанников откусывать булки, что они, по его приказанию, делали, но немедля выплевывали откусанное.

Шефлер кричал, шумел, бранился, но ничто не помогло, и он должен был удалиться с Пфефером и булками, не добившись, чтобы хотя один воспитанник взял булку. Лермантов, узнав об этом происшествии, не приходил до обеда, сказавшись больным, а после обеда пришел в сюртуке, будто вследствие болезни (он всегда приходил в институт в мундире). Когда, по заведенному порядку, старший дежурный унтер-офицер подошел к нему с дневным рапортом, он его не допустил до себя, объявив, что после случившегося он более не ротный командир, при чем прочитал выстроенной во фронт роте приличное наставление.

Вскоре приехал Базен, сказавший нам, до какой степени неприличен наш поступок в отношении к заслуженному генералу Шефлеру; что же касается до того, что мы не хотели брать булок, то своим французским акцентом сказал: «они не хотят булок, то не давать им булок».

Затем он начал лично производить следствие о том, кто подал первую мысль не отвечать на здорованье Шефлера и почему именно не отвечали. На делаемые Базеном вопросы большая часть воспитанников отвечали, что они при приходе Шефлера не были в классе, одни вышли для умывания, другие для наклейки бумаги на чертежные доски, третьи для других надобностей; некоторые же отвечали, что, будучи сильно заняты изучаемыми ими предметами, не заметили, как Шефлер вошел, а только слышали его ругательства.

Я был один из числа наименее рослых и потому во фронте стоял из последних. Когда Базен спросил меня: «Вы не отвечали генералу Шефлеру, когда он здоровался?», я прямо сказал: «не отвечал». На вопрос, почему я не отвечал Шефлеру, я откровенно сказал, что был поражен, узнав о наказании Шефлером воспитанников института и вследствие этого не был расположен с ним здороваться. На вопрос, не было ли предварительно условлено, чтобы не отвечать Шефлеру, я, так же как и все прочие воспитанники, заявил, что предварительного условия не было и следовательно нечего и отыскивать зачинщиков. Этим откровенным ответом я заслужил общую любовь и уважение товарищей, которые сорок лет спустя, когда хотели похвалить мои добрые качества, говорили, что я был всегда таков и в доказательство указывали на вышеприведенный ответ Базену.

По Петербургу в тот же день разнесся слух о бунте в институте путей сообщения, который дошел и до государя. Он присылал

к герцогу Виртембергскому спросить о случившемся, и герцог, узнав о результате расспросов Базена, приказал непременно найти зачинщиков. Употребляли разные способы, чтобы их назвали, но тщетно. Тогда объявили, что выпуск оставят на целый год без производства в офицеры и сверх того выберут нескольких воспитанников, которых подозревают наиболее виновными, и разжалуют их в рядовые, а если зачинщики будут указаны, то обещали их подвергнуть по возможности легкому наказанию. Лермантов явно намекал, что между имеющими быть разжалованными в рядовые будет Пассек, так как он неоднократно замечал, что Пассек любит перорировать [болтать] и имеет влияние на воспитанников.

После этого некоторые из воспитанников, и в том числе Пассек, только что поступивший в институт и не сжившийся еще с новыми товарищами, а имевший более всех причины опасаться подвергнуться сильному наказанию, не выдержали и начали уговаривать некоторых воспитанников, чтобы они приняли вину на себя. Нашлись три жертвы: Страковский, Хилевский и князь Максутов (старший брат). Сначала грозили им исключением из института, но Базен уговорил герцога ограничиться карцером на продолжительное время, и когда герцог хотел их оставить на год в том же классе, то Базен его убедил не усиливать наказания. Впрочем при этом Базен мог руководиться и другими соображениями. Понятно было, что институт, в ряду других военно-учебных заведений, ыл аномалией, что требовалось, при воору

жении его воспитанников ружьями и при изменении возраста приема воспитанников с 16-летнего на 13-летний, хотя несколько согласить порядки института с порядками других подобных заведений. Дух старого института обыкновенно сохранялся между старыми воспитанниками, остающимися на второй год в 1-м классе. А потому решено было в этот год весь первый класс произвести в инженер-прапорщики. Один из воспитанников, Бирнбаум, так дурно учился, что его выпустить в инженеры было невозможно, и его произвели в прапорщики бывшей военно-рабочей бригады путей сообщения. Сами воспитанники 1-го класса, из которых были избраны фельдфебель и все унтер-офицеры 1-ой роты, по обычной недружбе между 1-м и 2-м классами, много помогли начальству в перемене его обращения. То, что проходило без замечания для воспитанников 1-го класса, ставилось фельдфебелями и унтер-офицерами, которые были из воспитанников этого класса, в вину воспитанникам 2-го класса, и когда эти последние перешли в 1-ый класс, в котором не оставалось ни одного из прежних воспитанников, то новое отношение к ним начальства не было для них совершенною новостью.

Из пострадавших по означенному делу двое были польского происхождения. Хорошо, что оно происходило в начале, а не в конце 1830 г., когда началось возмущение в царстве Польском, а то это дело могло бы разыграться очень дурно для пожертвовавших собою.

Впрочем, надо прибавить, что по окончании следствия по означенному делу Базен в присут-

ствии Шефлера и всего 1-го класса сказал, что во все время его заведывания институтом он никогда не имел подобного неудовольствия, тем более ему горького, что оно причинено его ближайшим товарищем, и хотя Шефлер и объяснял, что напрасно 1-й класс возмутился понесенным наказанием кадет, так как в нем все портупей-прапорщики, которые ни в каком случае не могли подвергнуться такому наказанию, но он, Базен, решительно считал телесное наказание и для кадет института неприличным. Таким образом, цель наша была достигнута, и сколько мне помнится до произведенного в 1843 г. знаменитого сечения по распоряжению графа Клейнмихеля, о котором расскажу ниже, таковаго в институте не бывало.

Почти все лето 1829 г. до поступления моего в институт я провел на даче у Дельвигов, которую они нанимали близ Крестовского перевоза, в переулке, против дачи, бывшей Кожина. В строительном училище уже знали о моем переводе в институт, что облегчило мой отпуск из училища. Это лето провели у Дельвигов очень весело; у них постоянно бывало много посетителей.

Вскоре по поступлении моем в институт в тот день, когда я был у Дельвигов, подъехал к даче директор института Базен с Эльканом. Дача была низенькая, все гости были в комнате, окна на улицу были отворены; некоторые из гостей пели с акомпанементом фортепиано. Подъехавшие в коляске не могли не видеть хозяев, а между тем Дельвиг выслал им сказать,

что его нет дома. Базен потребовал меня к себе и ожидал меня в саду дачи Кожина, бывшей напротив дачи Дельвига. Я, надев кивер и тесак, к нему представился. Базен мне сказал, гуляя со мной по саду, что он видел в окно Дельвига и жену его и что он очень понимает причину, по которой его не приняли, именно, что он приехал с Элькаом. Но Дельвиг, равно как и многие другие, вполне ошибается насчет Элькана, считая его даже шпионом, тогда как он человек очень умный и весьма приятный в обществе. Легко понять, до какой степени было неприятно мое положение. Базен в это время, сверх должности директора института, был председателем комиссии строений в Петербурге, а Элькан, кажется, был его секретарем. После этого визита знакомство Базена с Дельвигом прекратилось.

Элькан был крещеный еврей, служил впоследствии чиновником в министерстве путей сообщения, большой нахал и, по общему мнению, долго был агентом III отделения, т.-е. шпионом. Он описан в повести, помещенной в каком-то периодическом издании, под заглавием: «Л. Кан». Элькан жил очень долго, мало изменился в старости, а потому его звали вечным жидом. Он недавно умер. В 60-х годах я его встретил у министра путей сообщения Мельникова, с которым он был на приятельской ноге. К светлой неделе 1863 г. он получил какой-то крест на шею, несмотря на то, что никогда ничего не делал, а только считался на службе и получал жалованье. В один из вечеров означенной светлой недели, когда у Мельникова было много гостей,

он за чайным столом обратился к Элькану с вопросом, благодарил ли он за полученную им награду одну из племянниц Мельникова, дочь его брата, женатого на Викторовой, так как, прибавил Мельников, из начальствующих лиц в министерстве никто не видит Элькана, и его могла представить к награде только племянница Мельникова. [1]

В зиму 1829 — 1830 г. прежнее же общество посещало Дельвигов. Я забыл упомянуть о близких родных жены Дельвига, впрочем бывавших у нее довольно редко, а именно: о сестрах графа Петра Андреевича Клейнмихеля и о бывшей с ним в разводе жене его Варваре Александровне, урожденной Кокошкиной, сестре бывшего петербургского обер-полицеймейстера, а потом малороссийского генерал-губернатора, о тетке вдове Ришар и дочери ее Александре Осиповне, бывшей тогда замужем за лейб-гусарским полковником Мусиным-Пушкиным. Родство всех этих лиц объясняется очень просто. Мать Клейнмихелей, Анна Францовна, и мать С. М. Дельвиг, Елисавета Францовна, были родные сестры Ришара, мужа упомянутой вдовы Ришар и отца Мусиной-Пушкиной. П. А. Клейнмихель перед свадь-

[1] Александр Львович Элькан, сын известного еврейского педагога, писатель по вопросам театра и искусства (в «Пет. вед.», в «Сев. пчеле» и в театральных изданиях), действительно не пользовался уважением современников — считался агентом III отделения. О нем, как о прототипе героев Грибоедова (Загорецкий в «Горе от ума») и Лермонтова (Шприх в «Маскараде»)— у Н. О. Лернера (Ежемесячное приложение к «Ниве», 1914, № 1 и «Русская старина», 1908, № 12). *С. Ш.*

бой увез Кокошкину, но вскоре они разъехались, чему приводили в публике разные причины, а кажется, довольно было одной: всем известного, в высшей степени безобразного характера Клейнмихеля. * В публике же наиболее распространено было: между одними, что Клейнмихель не способен был к супружеским обязанностям; между другими, что жена его имела такого рода устройство, которое мешало исполнять эти обязанности. Между тем оба они впоследствии имели много детей; но Клейнмихель женился во второй раз на вдове, а Булдаков, второй муж В. А. Кокошкиной, был человек сильный. Надо полагать, что и слабосилие Клейнмихеля и особое расположение его первой жены, так что они не годились друг для друга, действительно были первоначальною причиною их ссоры и впоследствии — развода *. Родные Клейнмихеля не видались более с Варварой Александровной, одна С. М. Дельвиг осталась с нею в приязни. Варвара Александровна очень ласкала меня. Каждый раз, когда приходила к Дельвигам, приносила мне конфекты. Формальные разводы были тогда очень затруднительны. Клейнмихель согласился выставить себя неспособным, или вообще виновным, и немедля после развода жена его вышла замуж за Булдакова, который был впоследствии симбирским губернатором.

Из новых лиц, которых я видел в эту зиму, всех замечательнее были Михаил Данилович Деларю и Сергей Абрамович Боратынский.

М. Д. Деларю вышел из царскосельского лицея в 1829 г. и, наравне со всеми лицеистами, был предан Дельвигу и даже более других, как

поэт, которого первые стихотворения напоминали музу Дельвига, и как юноша, который лицом был похож на последнего. Он очень часто бывал у Дельвига и меня очень любил.

С. А. Боратынский, младший брат поэта и друга Дельвига, слушал курс медицины в Москве во время последнего через нее проезда Дельвигов. Весьма красивый, очень умный, с пылкими глазами, этот молодой человек полюбился Дельвигам, и мужу, и жене. Он приехал с ними повидаться и действительно, во время пребывания в Петербурге, целые дни проводил у них, не бывая ни у кого из своих родных и даже скрывая от них о своем приезде. * С. А. Боратынский еще в этой главе «моих воспоминаний» будет играть значительную роль *.

В начале весны я выдержал переходный экзамен во 2-ой класс, т.-е. приобрел право на производство в инженер-прапорщики, но некоторые воспитанники первых трех классов, в том числе и я, должны были еще подвергнуться публичному экзамену. Этот экзамен был учрежден с явною целью бросить пыль в глаза публике, а в особенности дипломатическому корпусу, собиравшемуся на экзамен в полном составе. Экзаменом этим хотели показать иностранцам: «на, посмотри, какие у нас есть учебные заведения и каким премудростям в них учат».

В 1830 г. публичный экзамен был 7-го мая. Только что я кончил его и следовательно был вполне уверен, что месяца через два надену эполеты, как получил радостное известие, что у Дельвигов родилась дочь. Они были женаты

уже $4^1/_2$ года и не имели детей, а потому понятна их радость. Я поспешил их поздравить и потом пошел к старшему брату моему Александру, жившему в казармах лейб-гвардии Павловского полка, объявить ему о двух радостях. Брат, перед этим за что-то поссорившийся с А. А. Дельвигом и долго не бывший у него, сейчас пошел к ним. А. А. Дельвиг и брат обнялись, и все прошедшее было забыто. По вспыльчивому характеру брата Александра ссоры между ними происходили довольно часто, тем более, что А. А. Дельвиг, всегда отменно хладнокровный, любил выводить брата из терпения с целью отучить его от излишней вспыльчивости. Зная доброе сердце и благородство брата Александра, А. А. Дельвиг был уверен, что никогда не дойдет между ними до совершенной размолвки и считал, что если кто может исправить брата, то он один, потому что брат всякого другого за малейшую шутку, которая показалась бы ему оскорбительною, непременно вызвал бы на дуэль.

Пушкин, получивший в начале сентября 1826 г. дозволение пользоваться советами столичных докторов, немедля выехал из Михайловского в Москву, где, среди забав и торжественных приемов, прочел в первый раз свою трагедию «Борис Годунов» и очень хлопотал об издании нового журнала. К «Московскому телеграфу», издававшемуся Н. А. Полевым, он не имел сочувствия, а альманахи считал пустыми сборниками без направления. О необходимости издания нового журнала Пушкин думал еще

в Михайловском. Следствием этого было появление с 1827 г. журнала: «Московский вестник», под редакциею М. П. Погодина. Много усилий и увещаний употребил Пушкин на поддержание этого журнала.

Пушкин однако же недолго оставался доволен критическими статьями «Московского вестника». Редактор его М. П. Погодин, молодой литератор и профессор истории в Московском университете, отличался тогда, как и теперь (1872 г.), своеобразною резкостью выражений. Ему ничего не стоило наполнять десятки страниц пошлою бранью, не идущею к делу. Не того хотелось Пушкину. Несмотря на довольно большое число издававшихся тогда журналов и помещавшихся в некоторых из альманахов обозрений нашей словесности за минувший год, у нас не было критики, которая могла бы установить общественное мнение в литературе и в которой не было бы грубых личностей.

Сверх того русской литературой в Петербурге завладели Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин, издававшие журналы «Сын отечества» и «Северный архив» и газету «Северная пчела» * Первый из них был сильно заподозреваем в шпионстве, а последний был положительно агентом III отделения канцелярии его величества, т.-е. шпионом. Они оба употребляли всякого рода средства, чтобы не допускать новых периодических изданий и держать литературу в своих руках.

Конечно, необходимо было ее вырвать из таких непотребных рук и начать новый орган, который отличался бы беспристрастными суждениями о нашей словесности и был бы, в про-

тивоположность всем прочим тогдашним журналам, журналом благопристойным, т.-е. не употребляя бы бранных слов и не наносил бы, из нелитературных видов, личных оскорблений *. Они оба употребляли всякого рода средства, чтобы не допускать новых периодических изданий и держать литературу в своих руках.

В конце 1829 г. эта мысль созрела и ее разделяли Пушкин, Жуковский, Крылов, князь Вяземский, Боратынский, Плетнев, Катенин, Дельвиг, Розен и многие другие. Таким образом появилась мысль об издании с 1830 г. «Литературной газеты». Весьма трудно было найти редактора для этого органа. Пушкин был постоянно в разъездах, Жуковский занят воспитанием наследника престола, ныне царствующего императора Александра II, Плетнев обучением русской словесности наследника и в разных заведениях, князь Вяземский и Боратынский жили в Москве, Катенин в деревне. Хотя Дельвиг, по своей лени, менее всего годился в журналисты, но пришлось остановиться на нем, с придачею ему в сотрудники Сомова.

Все означенные литераторы любили Дельвига и уважали его вкус и добросовестность в суждениях о произведениях литературы. Вместе с этим надеялись, что этот новый орган послужит отпором с каждым днем увеличивающейся бессовестности Греча и Булгарина. Не трудно было однако же предвидеть, что «Литературная газета» не будет иметь успеха. Хотя в ней обещались участвовать самые даровитые поэты и несколько даровитых прозаиков, но было очевидно, что их произведений будет

недостаточно для газеты, которая должна была выходить через каждые пять дней листом большого формата, напечатанным довольно мелким шрифтом.

Печатание вообще, а периодического издания в особенности, еще более затруднялось тогдашними цензурными правилами, по которым не пропускались многие слова, между прочими: республика, мятежники, о чем не сообщалось журналистам, а только цензорам. Номера «Литературной газеты» цензировались в корректуре накануне их выхода. Означенные слова и многие другие вычеркивались цензором. Надо было заменить статью, в которой они заключались, другою, но некогда уже было, в ночь перед выходом номера, набирать новую статью. Оставалось одно средство: заменить вычеркнутые слова другими, и таким образом слово «республика» заменялось словом «общество», а слово «мятежник» заменялось словом «злодей», отчего выходила галиматья. Случалось, по болезни Дельвига, мне заниматься корректурою, и помнится, что на мою долю выпали эти замещения, так что мне пришлось произвести в дельной статье галиматью.* Было время, что цензоры не пропускали слов: бог, ангел, с большими первоначальными буквами*. Не легко было добыть дозволение на издание нового периодического журнала, но оно было получено чрез ходатайство Жуковского, и 1-го января 1830 г. вышел первый номер «Литературной газеты», в котором первой статьей был отрывок из романа «Магнетизер» Погорельского (псевдоним Перовского), автора романа «Монастырка», а второю отры-

вок из VIII гл. «Онегина», начинающийся стихом:

Прекрасны вы, брега Тавриды.

Дельвиг,* высоко уважаемый своими товарищами и любимый, как собиравшимися у него литераторами, так и остальными знакомыми за свою любезность, добродушие и веселость, в особенности приятную видеть в человеке апатичном*, подвергался беспрерывным сатирическим выходкам тогдашних журналистов.* Это должно приписать их зависти к дружбе Пушкина и Боратынского с Дельвигом, восхвалению первыми двумя таланта Дельвига выше меры, часто весьма метким остротам Дельвига на счет этих журналистов и какому-то аристократическому не столько по происхождению, сколько по чувству собственного достоинства, отношению к ним Дельвига, как в личном обращении, так и в ответах своих на брань, которою изобиловали их критики на стихотворения Дельвига и на его дружбу с великими поэтами*.

Впереди всех в этом отношении стоял Булгарин, с которым после 1825 г. прерваны были всякие сношения.[1] Благородные чувства Дельвига ложились тяжелыми камнями на подобного человека. Явившийся в 1829 г. роман Булгарина «Иван Выжигин», который был расхвален другом автора Гречем, не мог нравиться Дельвигу, и Булгарин очень опасался, что Дельвиг

[1] Н. И. Второв записал в Дневнике, что еще в ноябре 1827 г. он застал у Дельвига одновременно Булгарина и Пушкина. См. «Литер. салоны и кружки», под ред. Н. Л. Бродского, изд. «Academia», стр. 191, 263 и др. *С. Ш.*

раскроет недостатки романа публике, которая пленилась произведением нового рода в русской литературе. Греч хотя и уверял, что Булгарин его ссорит с порядочными людьми, но как бы то ни было подчинялся влиянию последнего. А. Е. Измайлов и Бестужев-Рюмин, всегда грязные и большею частью пьяные, не могли выносить аристократическую фигуру Дельвига, который, хотя и любил покутить с близкими, но держал себя чинно. Измайлов не любил поэтов новоромантической, как тогда выражались, школы и называл их литературными баловниками, а Дельвига баловнем-поэтом, и в особенности сердился на последнего за пародию на «Замок Смальгольм». Беспрестанные, задорные и недоброжелательные выходки в издаваемом Измайловым журнале «Благонамеренный» и в других журналах не вызвали со стороны Дельвига ни одного печатного возражения. Он как будто боялся загрязнить себя ответом на них, и это равнодушие было весьма больно противникам. На все эти выходки Дельвиг отвечал только один раз посланием к Измайлову, которого и талант и добродушие ценил, но и этого послания не напечатал. Вот оно:

Мой по Каменам старший брат,
Твоим я басням цену знаю;
Люблю тебя, но виноват,
В тебе не все я одобряю.
К чему за несколько стихов,
За плод невинного веселья,
Ты стаю вооружил певцов,
Бранящих все в чаду похмелья?

Твои кулачные бойцы
Меня не вызовут на драку.
Они, не спорю, молодцы;
Я в каждом вижу забияку;
Во всех их взор мой узнает
Литературных карбонаров.
Но, друг мой, я не Дон-Кихот,
Не посрамлю моих ударов.

Бестужев-Рюмин беспрестанно печатно ругал Дельвига и в издававшейся им в 1829 г. «Северной звезде» дошел до нелепости, уверяя, что половина стихов последнего принадлежит Пушкину, а другая — Боратынскому.

С появлением «Литературной газеты», в одном из первых номеров которой было сказано, что она «у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношением являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов», брань журналистов против Дельвига усилилась. Они в этом заявлении увидели какое-то аристократическое стремление участников газеты и разразились бранью, но уже не на одного Дельвига, но и на Пушкина.

Я не буду приводить выписок из тогда написанного против друзей-поэтов, тем более, что этот предмет очень хорошо разработан в замечательной монографии «Дельвиг», составленной В. Гаевским и помещенной в «Современнике» 1853 г. и 1854 г. Я ограничусь только дополнением к этой монографии того, что в ней упущено по незнанию автора, или не помещено по причинам цензурным, и что необходимо для связи в моем рассказе.

Пушкина приводила в негодование народившаяся в 20-х годах особого рода французская литература, состоявшая из записок и воспоминаний самых безнравственных и грязных личностей. В одном из первых номеров «Литературной газеты» он упоминает о скором появлении «Записок парижского палача Сампсона», которых он ожидает с отвращением и спрашивает между прочим: «На каком зверином реве объяснит Сампсон свои мысли?»

Но эта статья о записках Сампсона, написанная Пушкиным в Петербурге и напечатанная в отсутствие Дельвига в Москву, была только подготовлением к другой, присланной Пушкиным из Москвы к Дельвигу с тем, чтобы последний ее напечатал в том номере, который должен был выйти в день светлого Христова воскресения, 6-го апреля, в виде красного яичка для Булгарина. Эта статья, мастерски написанная, говорит о появлении книги «Записки шпиона Видока». Приведу ее почти всю с показанием сходства между Видоком и Булгариным; это сходство я припишу от себя в скобках. Вот эта статья:

«В одном из №№ «Литературной газеты» упоминалось о записках парижского палача: нравственные сочинения Видока (Булгарин только что напечатал нравственно-сатирический роман), полицейского сыщика (Булгарин был шпионом), суть явление не менее отвратительное, не менее любопытное.

Представьте себе человека без имени и пристанища (Булгарин, после службы в польском легионе французской армии, был прислан в Петербург под надзор полиции), живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему

званию обязан он иметь присмотр (Булгарин был женат на публичной женщине), отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного (Булгарин обвинялся в воровстве у офицеров того легиона, в котором служил), и потом вообразите себе, если можете, что должны быть нравствннные сочинения такого человека. «Видок» в своих записках именует себя патриотом, коренным французом, un bon français (Булгарин, поляк по происхождению, всячески выставляет себя русским патриотом), как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество! Он уверяет, что служил в военной службе (Булгарин действительно служил и в русской военной службе), и как ему не только дозволено, но и предписано всячески переодеваться, то и щеголяет орденом почетного легиона (Булгарин, служа во французской армии, получил почетного легиона, а в русской — анненскую саблю; он часто носил и легион и маленькую саблю в петлице), возбуждая в кофейнях негодование честных бедняков, состоящих на половинном жалованье, officiers à la demi-solde. Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей (Булгарин в это время беспрестанно хвастался дружбою Грибоедова), находившихся в сношении с ним. Кто молод не бывал? А Видок, человек услужливый, деловой. Он с удивительною важностью толкует о хорошем обществе (Булгарин точно также), как будто вход в оное может быть ему дозволен, и строго рассуждает об известных писателях (Булгарин точно также), отчасти надеясь на их презрение, отчасти по рассчету; суждения Видока о Казимире де ла Вине, о Б. Констане (Булгарина о Пушкине, Карамзине) должны быть любопытны именно по своей нелепости.

Кто бы мог поверить? Видок честолюбив! Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв

журналистов о его слоге (Булгарин точно также); слог г-на Видока! Он при сем случае пишет на своих врагов доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует, не в шутку, о благородстве чувств и независимости мнений (Булгарин во всем этом поступал точно также). Раздражительность смешная во всяком другом писаке, но в Видоке утешительная, ибо видим из нее, что человеческая природа, в самом гнусном своем уничижении, все еще сохраняет благоговение перед понятиями священными для человеческого рода».

Книжная лавка Сленина, который, в противоположность большей части книгопродавцев, заботился не только о своих выгодах, но и о пользе литературы, помещалась тогда на Невском проспекте, близ Казанского моста, во втором этаже дома Кожевникова. Журналисты и литераторы очень часто посещали ее. Дельвиг, когда был здоров, и я, когда жил у него, бывали в лавке у Сленина каждый день и иногда у него завтракали. Но мы никогда не сходились в ней с Гречем и Булгариным: часы посещения были разные. На третий день появления выше прописанной статьи Пушкина мы зашли к Сленину, который нам рассказал, что накануне у него был Булгарин, взбешенный этою статьею, божась, крестясь и кланяясь низко перед висевшею в лавке иконою, хотя он был католик, что между Видоком и им ничего нет общего. Потом спрашивал: «Неужели в этой статье хотели представить меня?» и прибавлял: «нет, я в кофейнях не бываю».

Статья эта наделала много шуму, но только литераторам был понятен намек в ней на Бул-

гарина. Чтобы сделать его понятным и публике, были написаны разные эпигрaмы и стихотворения, в которых имя Видока ставили рядом с Фиглярином, под которым Булгарин был довольно известен всей читающей публике.

С этою целью была написана Пушкиным, ходившая в рукописи в Москве и Петербурге, эпиграмма, начинавшаяся стихами:

Не то беда, что ты поляк;
Костюшка лях, Мицкевич лях,

и кончавшаяся стихом:

Но то беда, что ты Видок Фиглярин.

Булгарин, опасаясь, чтобы эта эпиграма не появилась в печати и чтобы чрез это не объяснились намеки на него в статье Пушкина о записках шпиона Видока, напечатал ее в издававшемся им и Гречем журнале «Сын отечества» и «Северный архив» и последний стих изменил следующим образом:

«Но то беда, что ты Фаддей Булгарин»,

через что потерялась вся соль и цель эпиграммы и она делалась пасквилем.

Булгарин при этом замечал, что поэт, которого прославляют великим, распускает в публике сочиняемые им пасквили

Пушкин был очень рассержен этим поступком Греча и Булгарина, говорил, что непременно подаст на них жалобу за напечатание, без его согласия, написанного им стихотворения, и на сделанное ими в нем изменение. Пушкин был уверен, что их подвергнут взысканию и, между прочим, по какому-то неизвестному мне закону,

внесению в приказ общественного призрения по 10 руб. ассигн. за каждый стих, а так как они один стих ошибкою разделили на два, то за эту ошибку с них взыщут еще лишних 10 р., что особенно его забавляло. Чем это дело кончилось, я не знаю.

В это время Пушкин, вследствие беспрестанных нападков на его аристократическое направление, написал знаменитое стихотворение под заглавием «Моя родословная», в котором первые шесть строф посвящены роду Пушкиных, а последние три строфы,* которые привожу здесь, так как в них также указывается, что Пушкин в вышеприведенной статье под Видоком разумел Булгарина*, роду Ганнибала, от которого происходила мать Пушкина.

* Вот эти строфы:

Видок-Фиглярин, сидя дома,
Решил, что дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Корме родного корабля.
Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный араб
Возрос усерден, не подкуплен,
Царю наперсник, а не раб.
И был отцом он Ганнибала,
Пред кем, средь гибельных пучин,
Громада кораблей вспылала
И пал впервые Наварин*.

Решил Фиглярин вдохновенной:
Я во дворянстве мещанин,
Что ж он в семье своей почтенной?
Он?.. Он в Мещанской дворянин.

Последний стих намекает на то, что жена Булгарина была взята из тех непотребных домов, которыми изобилует Мещанская улица.

Для пояснения же первых двух строф служит предание, что будто Петр великий, получивший в 1705 г. в подарок десятилетнего араба от русского посланника в Константинополе, отдарил его бутылкою рома. Араб этот был впоследствии отправлен в числе многих других молодых людей из России в чужие края для обучения; по возвращении был любимцем Петра, дослужился до адмиралов; сын его, также адмирал, командовал флотом в Наваринской битве при императрице Екатерине II.

В 1830 г. было написано много эпиграмм на Булгарина разными стихотворцами; большею частью их приписывают Пушкину. Следующая эпиграмма, ходившая в рукописи и приписывавшаяся ему, принадлежит без всякого сомнения князю Вяземскому:

Фиглярин, вот поляк примерный,
В нем истинных сарматов кровь,
Смотрите, как в груди сей верной
Хитра к отечеству любовь.
То мало, что из злобы к русским,
Хоть от природы трусоват,
Бродил он за орлом французским,
И в битвах жизни был не рад.

Патриотический предатель,
Расстрига, самозванец сей,
Уже не воин, уж писатель,
Уж русский к сраму наших дней.
Двойной присягою играя,
Поляк в двойную цель попал,
Он Польшу спас от негодяя,
А русских братством запятнал.

Для объяснения этой эпиграммы скажу, что данное в эпиграмме Булгарину название «расстриги, самозванца» намекает на роман Булгарина «Дмитрий Самозванец». В 1829 г. начали выходить «Сочинения Булгарина» в переводе на немецкий язык, встреченные немецкими литераторами по их достоинству. Издатели «Северной пчелы» и «Сына отечества» старались всеми способами скрыть суждения немцев об этих сочинениях, но они появлялись в переводе на страницах «Литературной газеты» с упреком издателям вышеозначенных журналов за их неполный перевод немецких суждений. Так в конце апреля в «Литературной газете» помещен перевод из «Галяевской литературной газеты» суждения о сочинениях Булгарина. Выписываем из него только несколько строк: «Известие автора о самом себе вовсе не занимательно, по крайней мере для иностранных читателей, кроме того, что обнаруживает благодарность автора к образователям его ума. Мы узнаем только, что автор воспитывался в первом кадетском корпусе в Петербурге; после вступил в военную службу; участвовал в походе 1806 — 1807 г. против Наполеона, быв тогда уланским корнетом, и

в финляндском походе 1809 г. под начальством Барклая де-Толли; далее по необыкновенному случаю (неизвестно по какому?) принужден был оставить военную службу (неизвестно в каком положении) и приняться за перо; при чем известный литератор Греч помогал ему в русском языке, от которого он отвык, учась (?) иностранным языкам во время своего продолжительного пребывания за границею, и наконец, соединил с журналом Греча свой прежний «Северный архив».

Впоследствии Булгарин сам писал и печатал, что он перешел после 1809 г. во французскую военную службу, конечно, без разрешения русского правительства и получил орден почетного легиона.

Вот еще эпиграмма, приписываемая также Пушкину и напечатанная в «Литературной газете», а принадлежащая, кажется, Сомову:

Весь свет уверить хочешь,
Что с Чацким был ты всех дружней,
Ах ты бесстыдник, ах злодей,
Ты и живых бранишь людей,
Да и покойников порочишь.

Большую часть эпиграмм я пишу на память, а потому, может быть, в них есть и неверности.[1] Хотя я помню еще много эпиграмм на Булгарина,

[1] Эпиграммы «Фиглярин — вот поляк примерный» и «Ты целый свет уверить хочешь» (у Дельвига ошибки в передаче текста) — обе написаны П. А. Вяземским, хотя иногда ошибочно включались в собрания сочинений Пушкина (см. у Н. О. Лернера, «Русская старина», 1908, № 1). *С. Ш.*

написанных в это время, но не буду приводить их здесь. Ограничусь только строфами из «Сумасшедшего дома» Воейкова, в это же время написанными на Греча и на Булгарина.

Книгопродавец Смирдин, переводя свой магазин в новое помещение, пригласил к обеду на новоселье до 120 человек. Между ними были Крылов, Жуковский, Плетнев, Сомов, Воейков, Греч, Булгарин. Дельвига в это время уже не было в живых. После обеда, когда порядком выпили, некоторые из гостей потребовали, чтобы Воейков прочитал строфы, написанные им в последнее время в дополнение к весьма знаменитому тогда его стихотворению: «Сумасшедший дом». Воейков, сидевший против Греча и Булгарина, долго отказывался, но, наконец, согласился и прочел следующее:

Тут кто? Греч, нахал в натуре,
Из чужих лохмотьев сшит,
Он цыган в литературе,
А в торговле книжный жид.
Вспоминая о прошедшем,
Все дивлюся я тому,
Да зачем он в сумашедшем,
Не в смирительном дому?
Тут кто? Гречева собака
Увязалась как-то с ним,
То Булгарин забияка,
С рылом мосичьим своим.
Но на чем же он помешан?
Совесть ум убила в нем;
Все боится быть повешен
Или высечен кнутом.

На этом Воейков остановился. Когда говорили ему, что есть еще несколько стихов о Булгарине, он уверял противное, но, наконец, согласился исполнить общее требование и прочел следующие стихи:

Сабля в петле, а французский
Крест зачем же он забыл?
Ведь его он кровью русской
И предательством купил.

Как нарочно в этот день Булгарин в петлице фрака имел анненскую саблю, а французского креста на нем не было.

Последние стихи, прочтенные Воейковым, были про Полевого:

Он благороден, как Булгарин,
Он бескорыстен так, как Греч.

Эта сцена разнеслась по городу и дошла до императора, который был ею недоволен, что, как говорили, и выразил Жуковскому.

Еще в 1829 г. во многих журналах стихотворения Пушкина подвергались брани, а в некоторых задевали и личность автора, но в 1830 г., с появлением «Литературной газеты», брань сделалась еще ожесточеннее. Конечно, вместе с Пушкиным такому же ожесточенному преследованию журналистов подвергались Дельвиг, Боратынский и некоторые из сотрудников «Литературной газеты». Писались целые статьи о Ряпушкине, Африкане, Желтодомове, Фоме Пищалине, Мортирине, бароне фон Габених, Лентяеве; под этими именами подразумевались Пушкин и Дельвиг.

* Также нападали в журналах на Боратынского и других сотрудников «Литературной газеты» *.

Но ничто так не возбудило общего нападения на Дельвига, как одно выражение, употребленное Иваном Васильевичем Киреевским в его обозрении русской словесности за 1829 г., помещенном в альманахе «Денница на 1830 г.». Выписываем из этого обозрения несколько строк:

«Муза Дельвига была в Греции; она воспиталась под теплым небом Аттики; она наслушалась там простых и полных, естественных, светлых и правильных звуков музы греческой, но ее нежная краса не вынесла бы холода мрачного Севера, если бы поэт не покрыл ее нашею народною одеждою; если бы на ее классические формы он не набросил душегрейку новейшего уныния».

Киреевскому было тогда 23 года от роду; он был энтузиаст, получивший большое образование; он тогда же начал издавать журнал «Европеец», который вполне следовал направлению идей европейского Запада и был запрещен на второй книжке. Киреевский, оставаясь до смерти энтузиастом и благороднейшею личностью, сделался впоследствии отъявленным славянофилом, всегда высокоуважаемым и так называвшимися западниками.

Выражение Киреевскаго «душегрейкою новейшего уныния», о котором говорит Пушкин, что это «выражение, конечно смешное; зачем не сказать было просто: в стихах Дельвига отзывается иногда уныние новейшей поэзии», — подало повод к насмешкам во многих журналах. Я не буду приводить их; скажу только, что критические разборы в «Литературной газете»

романов Булгарина «Иван Выжигин» и «Дмитрий Самозванец» и появившейся тогда «Истории русского народа» Полевого подлили еще более масла в ожесточенную борьбу этих двух журналистов, а за ними и других.

*Критические разборы, помещенные в «Литературной газете», большею частью были написаны Дельвигом, хотя тогда приписывались Пушкину, который в этом отделе газеты мало участвовал, а присылал редакции свои прелестные мелкие стихотворения и принимал живое участие в заметках, помещаемых в смеси и вообще в обсуждении направления, которое должно было дать газете.

В ней высказывалось энергичное противодействие критике других журналов, основанной на одних личных соображениях издателей, не имевших ничего общего с литературой. Меткие выстрелы в этом споре были всегда на стороне «Литературной газеты», которая проходила совершенным молчанием разные неприличные выходки других журналов против сотрудников газеты; все это еще более раздражало ее противников*.

Дельвиг, при объявлении в октябре 1830 г. об издании «Литературной газеты» в следующем 1831 г., ограничился следующим ответом неприязненным ему журналистам:

«Несколько журналистов, которым «Литературная газета» кажется печальною и очень скучною, собираются нанести ей решительный по их мнению удар; они хотят в конце года обрушить на нее страшную громаду брани, доведенной ими до nec plus ultra неприличия и

грубости и тем отбить у нее подписчиков. Издатель «Литературной газеты», привыкший хладнокровным презрением отвечать на их отчаянные выходки, надеется спокойно выдержать и сей в тайне приготовляющийся бурный натиск. Он не будет отбраниваться даже и тогда, когда сверх всякого чаяния демон корыстолюбия им овладевает, ибо вышеупомянутые журналисты без всякого постороннего участия вредят себе, ежедневно хвастая перед читателями положительным своим невежеством и ничуть не любезными душевными качествами».

Лето 1830 г. Дельвиги жили на берегу Невы, у самого Крестовского перевоза. У них было постоянно много посетителей. Французская июльская революция тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати. Пушкин большой охотник до этих посещений, но постоянно от них удерживаемый Дельвигом, которого он во многом слушался, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать знать хотя ежедневно и привозить вести о ходе дел в Париже.[1] Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением и был постоянно весел, как говорят, в своей тарелке. Посетивши те дома, где могли знать о ходе означенных дел, он почти каждый

[1] Подробности об отношении Пушкина к революции 1830 года — в книге «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. 1827 — 1832», Лен. 1927; со статьями М. Д. Беляева, Н. В. Измайлова, Б. Л. Модзалевского и Б. В. Томашевского. *С. Ш.*

день бывал у Дельвигов, у которых проводил по нескольку часов. Пушкин был в это время уже женихом.

Общество Дельвига было оживлено в это лето приездом Льва Пушкина, — офицера Нижегородского драгунского полка, — проводившего почти все время у Дельвигов. Я в начале мая окончил экзамен, а в конце июня надел офицерский мундир и таким образом мог жить у Дельвигов. Брат Александр, по окончании лагерного времени, также бывал у них каждый день.

Время проводили тогда очень весело. Слушали великолепную роговую музыку Дмитрия Львовича Нарышкина, игравшую на реке против самой дачи, занимаемой Дельвигами. Такая музыка могла существовать только при крепостном праве; с его уничтожением, она сделалась, по моему мнению, невозможною, а потому такой уже более в России * слава богу * не услышат. Но нельзя не сказать, что хор роговой музыки Нарышкина, состоявший из очень большого числа музыкантов, был доведен до совершенства.

Чтение, музыка и рассказы Дельвига, а когда не бывало посторонних — и Пушкина, занимали нас днем. Вечером, на заре закидывали невод, а позже ходили гулять по Крестовскому острову. Прогулки эти были тихие и покойные. Раз только вздумалось Пушкину, Дельвигу, Яковлеву и нескольким другим их сверстникам по летам показать младшему поколению, т.-е. мне 17-летнему и брату моему Александру 20-летнему, как они вели себя в наши годы и до какой степени молодость сделалась вялою относительно прежней.

Была уже темная августовская ночь. Мы все зашли в трактир на Крестовском острове; с нами была и жена Дельвига. На террасе трактира сидел какой-то господин совершенно одиноким. Вдруг Дельвигу вздумалось, что это сидит шпион и что его надо прогнать. Когда на это требование не поддались ни брат, ни я, Дельвиг сам пошел заглядывать на тихо сидевшего господина то с правой, то с левой стороны, возвращался к нам с остротами насчет того же господина и снова отправлялся к нему. Брат и я всячески упрашивали Дельвига перестать этот маневр. Что ежели этот господин даст пощечину? Но наши благоразумные уговоры ни к чему не повели. Дельвиг довел сидевшего на террасе господина своим приставаньем до того, что последний ушел.

Если бы Дельвиг послушался нас, то, конечно, Пушкин или кто-либо другой из бывших с нами их сверстников по возрасту заменил бы его. Тем страннее покажется эта сцена, что она происходила в присутствии жены Дельвига, которую надо было беречь, тем более, что она кормила своею грудью трехмесячную дочь. Прогнав неизвестного господина с террасы трактира, мы пошли гурьбою, а с нами и жена Дельвига, по дорожкам Крестовского острова, и некоторые из гурьбы приставали разными способами к проходящим мужчинам, а когда брат Александр и я старались их остановить, Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из Лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах, и глумились над нами, юношами, не

только ни к кому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые 10-ю и более годами нас старее. Я очень боялся за брата Александра, чтобы он не рассердился на пристававших к прохожим, а в особенности на глумившихся над нами Пушкина и Дельвига, и, по своей вспыльчивости, не поссорился бы с кем-либо, но все обошлось благополучно. [1]

Прочитав описание этой прогулки, можно подумать, что Пушкин, Дельвиг и все другие с ними гулявшие мужчины, за исключением брата Александра и меня, были пьяны, но я решительно удостоверяю, что этого не было, а просто захотелось им встряхнуть старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению. Я упомянул об этой прогулке собственно для того, чтобы дать понятие о перемене, обнаружившейся в молодых людях в истекшие 10 лет.

Я выше говорил об аристократическом направлении, в котором журналисты упрекали Пушкина и Дельвига. В июне 1830 г. им до того это надоело, что они решили отвечать двумя заметками, помещенными в смеси «Литературной газеты». Шутя, в моем присутствии, они составили следующие заметки, конечно, нисколько не ожидая тех грустных последствий, которым они были первою причиною. В виду этих по-

[1] А. Н. Вульф пишет в дневнике об одном своем знакомом, очень молодом, но степенном и рассудительном, человеке: «другие называют это недостатком, как например, Пушкин, и хотят в молодости находить и буйность». *С. Ш.*

следствий, которые я расскажу ниже, привожу здесь вполне обе заметки. [1]

Первая заметка:

«С некоторых пор журналисты наши упрекают писателей, которым не благосклонствуют, их дворянским достоинством и литературною известностью. Французская чернь кричала когда-то «les aristocrates à la lanterne». Замечательно, что и у французской черни крик этот был двусмыслен и означал в одно время аристократию политическую и литературную. Подражание наше не дельно. У нас, в России, государственные звания находятся в таком равновесии, которое предупреждает всякую ревнивость между ними. Дворянское достоинство в особенности ни в ком не может возбуждать неприязненного чувства, ибо доступно каждому. Военная и статская служба, чины университетские легко выводят в оное людей прочих званий. Ежели негодующий на преимущества дворянские не способен ни к какой службе, ежели он не довольно знающ, чтобы выдержать университетские экзамены, жаловаться ему не на что. Враждебное чувство его, конечно, извинительно, ибо необходимо соединено с сознанием собственной ничтожности, но выказывать его неблагоразумно. Что касается до литературной известности, упреки в оной отменно простодушны. Известный баснописец, желая объяснить одно из жалких чувств человеческого сердца, обыкновенно скры-

[1] Н. К. Замков в своем исследовании «К цензурной истории произведений Пушкина» («Пушкин и его современники», вып. 29-30, стр. 55) доказывает, что обе заметки принадлежат одному только Пушкину. Вообще о полемике Пушкина с Булгариным см. Н. О. Лернер «Труды и дни Пушкина», изд. 1910 г. *С. Ш.*

вающееся под какою-нибудь личиною, написал следующую басню:

Со светлым червячком встречается змея
И ядом вмиг его смертельным обливает.
«Убийца! — он вскричал: — за что погибнул я?»
— «Ты светишь» — отвечает.

Современники наши, кажется, желают доказать нам ребячество подобных применений и червяков и козявок заменить лицами более выразительными. Все это напоминает эпиграмму, помещенную в 32-м № «Литературной газеты».

Привожу также и эту эпиграмму Боратынского:

Он вам знаком. Скажите, кстати:
— Зачем он так не терпит знати?
— Затем, что он не дворянин. —
— Ага, нет действий без причин.
Но почему чужая слава
Его так бесит? — Потому,
Что славы хочется ему,
А на нее бог не дал права,
Что не хвалил его никто,
Что плоский автор он. — Вот что.

Вторая заметка, напечатанная в начале августа, была следующего содержания:

«Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии столь же недобросовестны, как и прежние. Ни один из известных писателей, принадлежащих будто бы этой партии, не думал величаться своим дворянским званием. Напротив, «Северная пчела» помнит, кто упрекал поминутно Полевого тем, что он купец,[1] кто заступился за него,

[1] Конечно, Греч и Булгарин. Авт.

кто осмелился посмеяться над феодальною нетерпимостью некоторых чиновных журналистов.[1] При сем случае заметим, что если большая часть наших писателей дворяне, то сие доказывает только, что дворянство наше (не в пример прочим) грамотное: этому смеяться нечего. Если бы же звание дворянина ничего у нас не значило, то и это было бы вовсе не смешно. Но пренебрегать своими предками из опасения шуток гг. Полевого, Греча и Булгарина не похвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо. Недворяне (особливо не русские), позволяющие себе насмешки насчет русского дворянства, более извинительны. Но и тут шутки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия (которых впрочем ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно) приуготовили крики: «аристократов к фонарю», и ничуть не забавные куплеты с припевом: «повесим их, повесим». Avis aux lecteurs [2].

Вскоре по напечатании последней заметки, которая, казалось, была равно как и первая вполне согласна с тогдашним направлением нашего правительства, Дельвиг был потребован в III отделение собственной канцелярии государя. Требования в это отделение были, конечно, неприятны в высшей степени каждому. Для Дельвига же эта неприятность увеличивалась необходимостью встать рано и немедля выехать из дома, что при его лени было ему невыносимо. В III-м отделении бывший шеф жандармов граф Бенкендорф дал строгий выговор

[1] Конечно, Пушкин и Дельвиг. *Авт.*

[2] Вниманию читателей *С. Ш.*

Дельвигу за означенные заметки и предупреждал, что он вперед за все, что ему не понравится в «Литературной газете» в цензурном отношении, будет строго взыскивать и, между прочим, долго добивался, откуда Дельвиг знает песню: «les aristocrates à la lanterne». Конечно, Бенкендорф не читал заметок, за которые выговаривал Дельвигу, а вызвал последнего по доносу Булгарина, бывшего тогда шпионом III отделения и обязанного по этой должности доносить преимущественно на литераторов. В этом же случае Булгарин не только исполнял свои служебные обязанности, но и увлекался чувством ненависти к Дельвигу и желанием уничтожить его газету.

Вообще III отделение канцелярии государя было в то время очень придирчиво к печати, но эта придирчивость еще более усилилась со времени последней французской революции.

Впоследствии еще раза два Бенкендорф призывал к себе Дельвига и выговаривал ему за статьи «Литературной газеты», не имевшие ничего противоцензурного, чего не допустил бы ни сам Дельвиг, потому что это было совершенно противно его понятиям, ни цензора газеты Щеглов и Семенов, из которых первый цензировал «Литературную газету» с ее начала до половины августа и снова после нижеописанной катастрофы с «Литературной газетой», а последний с половины августа до этой катастрофы, которая состояла в следующем.

В настоящее время последние страницы газет легко пополняются объявлениями, печатание оторых составляет одну из главных статей

дохода издателей. В то же время, когда оставалось пустое место в конце газеты, встречалось затруднение, чем его наполнить. Так случилось и с номером «Литературной газеты», вышедшим в конце октября 1830 г. Ко времени печатания этого номера Дельвиг получил письмо из Парижа, в котором сообщалось четверостишие, напечатанное в конце газеты следующим образом:

«Вот новые четыре стиха Казимира де-ла-Виня на памятник, который в Париже предполагается воздвигнуть жертвам 27, 28 и 29 июля:

France, dis-moi leurs noms. Je n'en vois point paraître
Sur ce funèbre monument;
Ils ont vaincu si promptement
Que tu fus libre avant de les connaître.[1]

Казалось, что в этом четверостишии нет ничего противоцензурного; но вышло совсем напротив. Правительство сделало распоряжение, чтобы ничего касающегося последней французской революции не появлялось в журналах, но не дало об этом знать журналистам, а только одним цензорам. В ноябре Бенкендорф снова по-

[1] В упомянутых выше «Письмах Пушкина к Е. М. Хитрово» (стр. 146.) подробно изложена вся история напечатания этого четверостишия в «Литературной газете» и закрытия самой газеты. Там же перевод стихов: «Франция, скажи мне их имена. Я их не вижу на этом могильном памятнике; они так быстро победили, что ты стала свободной раньше, чем успела их узнать». См. еще работы Н. К. Замкова: «К истории «Литературной газеты» барона А. А. Дельвига», в «Рус. старине» 1916, № 5, и «К цензурной истории произведений Пушкина», «Архивные мелочи о Пушкине» в сб. «Пушкин и его современники», вып. 29-30. *С. Ш.*

требовал к себе Дельвига, который введен был к нему в кабинет в присутствии жандармов. Бенкендорф самым грубым образом обратился к Дельвигу с вопросом; «Что ты опять печатаешь недозволенное?»

Выражение ты вместо общеупотребительного вы не могло с самого начала этой сцены не подействовать весьма неприятно на Дельвига. Последний отвечал, что о сделанном распоряжении не печатать ничего относящегося до последней французской революции он не знал, и что в напечатанном четверостишии, за которое он подвергся гневу, нет ничего недозволительного для печати. Бенкендорф объяснил, что он газеты, издаваемой Дельвигом, не читает, и когда последний, в доказательство своих слов, вынув из кармана номер газеты, хотел прочесть четверостишие, Бенкендорф его до этого не допустил, сказав, что ему все равно, что бы ни было напечатано, и что он троих друзей: Дельвига, Пушкина и Вяземского уже упрячет если не теперь, то вскоре, в Сибирь. Тогда Дельвиг спросил, в чем же он и двое других названных Бенкендорфом могли провиниться до такой степени, что должны вскоре подвергнуться ссылке, и кто может делать такие ложные доносы. Бенкендорф отвечал, что Дельвиг собирает у себя молодых людей, при чем происходят разговоры, которые восстановляют их против правительства, и что на Дельвига донес человек, хорошо ему знакомый. Когда Дельвиг возразил, что собирающееся у него общество говорит только о литературе, что большая часть бывающих у него посетителей или старее его, или одних

с ним лет, так как ему всего 32 года от роду, и что он между знакомыми своими не находит никого, кто бы мог решиться на ложные доносы, Бенкендорф сказал, что доносит Булгарин и если он знаком с Бенкендорфом, то может и подавно быть знаком с Дельвигом. На возражение последнего, что Булгарин у него никогда не бывает, а потому он его не считает своим знакомым и полагает, что Бенкендорф считает Булгарина своим агентом, а не знакомым, Бенкендорф раскричался, выгнал Дельвига со словами: «вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь».

Так или почти так происходила эта сцена, но она в общем виде верна.

Дельвиг приехал домой смущенный, разогорченный и оскорбленный. Подобная сцена произвела бы такое действие на каждого, но она еще сильнее действовала на Дельвига по впечатлительности его натуры и потому, что он был предан душею не только России, но государю и его правительству, никогда не вдаваясь в обсуждения дурных распоряжений последнего и замечая тем, кто при нем вдавался, весьма редко, в подобные осуждения, что трудно осуждать, не имея возможности знать всех подробностей делаемых распоряжений; а если и делаются ошибки, то это в натуре человека, и что где, кто и когда их не делал.

Немедленным последствием этой сцены было запрещение продолжать издание «Литературной газеты» и отставка цензора Семенова, который извинялся в сделанном им пропуске четверостишия тем, что хорошо зная о направлении

Дельвига, который никогда не подведет цензора под ответственность, не обратил внимания на то, что четверостишие относилось к последней французской революции, а не к революции прошедшего столетия, о которой не упоминалось в сделанном правительством распоряжении. Извинение несколько странное в виду того, что в предшествовавших четверостишию строках «Литературной газеты» именно были упомянуты 27, 28 и 29 июля.

Как объяснить грубое обращение Бенкендорфа с Дельвигом и постоянное преследование его и его друзей? Казалось бы, что при внимании, которое Бенкендорф обращал на них, он должен был знать о пламенной любви Дельвига ко всему русскому, о баснословной в наше время верноподданнической его преданности государю и о вышеописанном образе мыслей Дельвига относительно распоряжений правительства. Самое направление «Литературной газеты» вполне соответствовало изложенному нами образу мыслей Дельвига, а что он был человек прямой, честный, благородный, не умевший ни притворяться, ни льстить, должно было также быть известно Бенкендорфу. Помещенные в «Литературной газете» в том же октябре два стихотворения показывали и образ мыслей Дельвига, и направление его газеты.

Когда в первый раз посетила Москву холера, уносившая ежедневно большое число жертв и наведшая страх почти на всех, государь немедля отправился в Москву для ободрения народа и наблюдения за принятыми мерами к пользованию заболевающих и ее скорейшему прекращению.

Дельвиг восхищался этим бесстрашием государя и очень рад был, когда получил означенные два стихотворения, которые поспешил напечатать. Привожу оба эти стихотворения, первое под заглавием «Утешитель», а второе «Царь-отец».

УТЕШИТЕЛЬ

Москва уныла: смерти страх
Престольный град опустошает.
Но кто в нее, взывая прах,
Навстречу ужаса взлетает?
Петров потомок, царь, как он,
Бесстрашный духом, скорбный сердцем,
Летит, услыша русский стон,
Венчаться душ их самодержцем.

Москва.

ЦАРЬ-ОТЕЦ

Раздался-ль гром войны в предгории Балкана,
Кого встречаем мы средь русских знамен стана?
Под Шумлой — в зареве огней,
Под Варной, посреди морей?
Не из дворцов Невы роскошной
Предводит Кесарь-Полунощный
Своих воинственных сынов;
Он грудью встал против врагов.
Развился-ль язвы бич над древнею Москвою,
Кого встречает там с надеждою святою
Народ признательный, и в умиленьи зрит?
Се царь-отец к нему отрадою спешит.

С.-Петербург 16-го октября.

* Грубое обращение Бенкендорфа с Дельвигом и постоянное преследование его и его друзей покажется еще тем менее понятным, что в пу-

блике вообще считался Бенкендорф за доброго и образованного человека и что он принадлежал к тому же слою общества, к которому принадлежали означенные преследуемые им лица. Но ведь доброта вещь относительная; говорили про Бенкендорфа, что он добрый, сравнивая его конечно с Аракчеевым; но с другой стороны, он, не имея ни усердия к делам, ни ума последнего, был в постоянной зависимости от своих подчиненных, чему еще далее в «Моих воспоминаниях» будет представлен разительный пример. О степени его обращения я ничего не могу сказать, но если он не разделял мнения многих русских государственных людей того времени, что образование пригодно только для высшего класса, то, как немецкий уроженец наших остзейских губерний, наверно считал ненужным образовать русский народ, созданный по понятиям немцев для того, чтобы быть управляемым ими. Вдруг оказывается кружок литераторов, в котором говорят преимущественно по-русски, который полагает возможною к достижению целию поставить русских на один уровень с другими европейскими народами, даже с немцами.

Бенкендорф, конечно, не занимался русскою литературою и в Пушкине, и в плеяде окружавших его литераторов он видел что-то новое, не соответствующее, по его мнению, самодержавному правлению. На это могут возразить, что Пушкин, Дельвиг и их общество не были же первые и единственные литераторы в России; отчего же преследование Бенкендорфа тяготело более на них, чем на других? Конечно,

были литераторы и до них и в их время и также в высшем слое общества, но все эти литераторы высшего общества, при неотъемлемых литературных дарованиях, вместе с тем были или чиновники, желавшие повышений, или лица, состоявшие при дворе. Назову только некоторых из них, живших в нашем столетии: Державин, Дмитриев, Карамзин, Жуковский. Другой разряд литераторов казался не вредным по малому влиянию своему на общество, частию по незначительности лиц, его составлявших, частию потому, что некоторые из них были пьяницы. Наконец, последний разряд литераторов, к счастию малочисленный, был, как мы видели выше, употребляем Бенкендорфом для шпионства, и потому был ему полезен.

Кружок же литераторов, не искавших ни чинов, ни орденов, ни повышений по службе, позволявший себе считать русского человека не ниже немца и надеявшийся своим примером с каждым годом увеличивать число людей, одинаково с ним мыслящих, а своими литературными трудами споспешествовать образованию русского народа, — не мог, по понятиям Бенкендорфа, не быть вредным до того, что необходимо было искоренить его в самом начале ссылкою, как он выразился, в Сибирь Пушкина, Вяземского и Дельвига; последний в особенности должен был быть неприятен Бенкендорфу, так как ему было известно, что Дельвиг служил звеном, связывавшим весь этот кружок, и тем более, что, будучи немецкого происхождения, не должен был до такой степени обрусеть, чтобы заботиться только о русском обществе

и народе, изменив чрез это своей **великой национальности***.

Даже после сцены Бенкендорфа с Дельвигом нисколько не изменились чувства последнего к России и образ мыслей его о русском правительстве; приведу этому доказательства.

26-го ноября 1830 г. брат мой Александр, бывший в это время батальонным адъютантом лейб-гвардии Павловского полка, должен был итти на развод, куда очень звал и меня. Тогда вовсе не было странным видеть офицера корпуса инженеров путей сообщения на разводах, и я уже не раз бывал на них, но в этот раз не пошел, о чем впоследствии сожалел. В этот день император Николай, тогда цветущий здоровьем и красотою, после развода пригласил всех бывших на разводе генералов и офицеров окружить его. Государь был верхом. Как только генералы и офицеры окружили его, он им сказал, что получил донесение от цесаревича Константина Павловича № 2, так как донесение № 1 пропало (можно вообразить себе удивление офицеров при таком торжественном обращении к ним государя и о возможности пропажи донесения цесаревича к государю), что цесаревич доносит о возмущении в Варшаве, которую заставили его покинуть, и выразил уверенность, что русские войска, и в том числе и гвардейский корпус, если понадобится его послать для укрощения мятежа, покажут известную всему миру их доблесть и преданность отечеству и государю.

Генералы и офицеры при общих громогласных криках «ура» бросились целовать руки

государя и его лошадь. Сцена была самая торжественная.

В этот же день брат рассказывал эту сцену за обедом у Дельвига, который, заявив в самых сильных выражениях свое неприязненное чувство к врагам России и мятежникам против ее государя, настаивал на том, что всякий русский должен стать в ряды войска и что он готов итти юнкером в любой полк, который пошлют против мятежников.

Это было сказано без всякого притворства, несмотря на счастие Дельвига в семейной жизни, увеличившееся рождением за полгода дочери, которая уже тогда была очень на него похожа и которую он страстно любил. Но глядя на его толстую фигуру и зная его постоянное и в это время увеличившееся нездоровье, сидевшие за обедом самые близкие люди к Дельвигу не могли не улыбнуться, услышав его предположение, на котором он сильно настаивал. Не надо думать, что это предположение Дельвига было следствием отчаяния, в которое могла его поставить сцена с Бенкендорфом. Нет, он постоянно отделял отечество и государя от исполнителей, не всегда удачно.

Трагедия Пушкина «Борис Годунов» вышла к 1-му января 1831 г., и Дельвиг начал писать ее разбор, не оконченный за его смертью. В первой статье этого разбора, помещенной в 1-м № «Литературной газеты» на 1831 г., Дельвиг, говоря о великих поэтах, которых участь была провести всю жизнь на черством хлебе и на воде, присовокупляет:

«Благодаря бога, Пушкин не ровен с сими светилами горькою участью. Просвещенный монарх, которого недавнее царствование ознаменовано уже столькими необыкновенными событиями, кои могли бы прославить целое пятидесятилетие, несмотря на разнообразные царственные заботы, находит мгновения обратить живительное внимание свое на произведения нашего поэта. Счастливо время, в которое таланты не низкою лестию, а достоинством не искательным приобретают высокое покровительство, и в которое правда так богата истинною поэзией».

Знав хорошо Дельвига, смею уверить, что это написано было им не для того, чтобы исправить то положение, в которое он был поставлен запрещением ему издавать газету; нет, он на это не был способен. Это было продиктовано ему глубоким чувством преданности к своему государю, чего может быть уже никто не поймет в наше время, а тем более тогда, когда эти записки сделаются общим достоянием, и подобных-то людей преследовали наши правительственные деятели.

Сцена между Бенкендорфом и Дельвигом сделалась вскоре известна всему городу. Из людей, близких Дельвигу и имевших некоторое значение при дворе, были министр юстиции Дашков, у которого Дельвиг в это время состоял на службе, товарищ министра внутренних дел Блудов и Жуковский.

Дашкова не было в Петербурге, следовательно он не мог принять участия в защите Дельвига. На Жуковского, как на литератора, хотя и

воспитателя наследника, не всегда смотрели дружелюбно. Оставался один Блудов, который несколько раз приезжал к Дельвигу отговаривать его от подачи жалобы государю на Бенкендорфа, говоря, что можно жаловаться государю на всех, даже на самого государя, но не на Бенкендорфа, что подобная жалоба поведет Дельвига только к большим неприятностям, а он, имея жену и дочь, обязан стараться их избегать. Блудов при этом брал на себя объяснить все Бенкендорфу и довести его до того, что он приедет извиниться перед Дельвигом и что дозволено будет продолжать издание «Литературной газеты». Дельвиг, в душе уверенный в справедливости государя, с трудом согласился не подавать жалобы.

Действительно, вскоре приехал к Дельвигу служивший при III отделении канцелярии государя чиновник 4-го класса Боголюбов (боюсь, не изменила ли мне память, не ошибаюсь ли я в фамилии этого чиновника) и приказал доложить, что он с поручением от Бенкендорфа. Означенный чиновник имел репутацию класть в свой карман дорогие вещи, попадавшиеся ему под руку в домах, которые он посещал. Дельвиг вследствие этого сказал мне, чтобы я убрал со стола дорогие вещи, но таковых, кроме часов и цепочки, не было, и я ушел с ними из кабинета Дельвига, так как его разговор с чиновником должен был происходить без свидетелей.

По отъезде чиновника Дельвиг сказал мне, что Бенкендорф прислал заявить, что сам по нездоровью не может приехать, а прислал извиниться в том, что разгорячился при последнем

свидании с Дельвигом и что издание «Литературной газеты» будет разрешено, но только под редакцией Сомова, а не Дельвига, так как уже состоялось высочайшее повеление о запрещении издания под его редакциею.

Пушкин был тогда в Москве и долго ничего положительного не знал о происходившем, удивляясь только долгому замедлению в выходе «Литературной газеты».

Греч в это время рассказывал, что Дельвиг напрасно так огорчается поступком Бенкендорфа, что все-таки время сделало свое и Бенкендорф мог обойтись с Дельвигом хуже, приводя в пример обращение с ним, Гречем, графа Аракчеева по поводу статьи, помещенной некогда в издаваемом им «Сыне отечества» о конституции, хотя он не преминул в этой статье упомянуть, насколько всякая конституция была бы вредна для такого государства, как Россия. Аракчеев позвал к себе Греча, пригласил его сесть и когда он не садился, то схватил его за оба плеча и, насильно посадив, спросил его: что такое он напечатал о конституции, и, не выслушав ответа Греча, сказал ему: «Ведь ты, Николай Иванович, учился у ученых немцев, а я у пономаря», и, ударив Греча по носу книжкою, в которой была помещена статья о конституции, прибавил: «А он учил меня, что конституция кнут; так, по нашему конституция — кнут, ученый Николай Иванович».

Греч это рассказывал, как бы в утешение Дельвигу, и кажется ему лично, но наверное не помню; может быть, это передано кем-нибудь из общих знакомых.

Извинение Бенкендорфа нисколько не подействовало на Дельвига к лучшему. Он, всегда хворый и постоянно принимающий лекарства, заболел сильнее прежнего, так что пользовавший его доктор запретил ему выходить из дома. Нравственное состояние Дельвига было самое грустное. Он впал в апатию, не хотел никого видеть, кроме самых близких, и принимал посторонних лиц весьма редко.

В это время ежедневно у него обедали М. Л. Яковлев, Сомов, брат Александр и я, иногда князь Эристов, Плетнев, Щастный и некоторые другие близкие. Сомов, брат Александр и я оставались до ночи. Прежде никогда не играли в карты в доме Дельвига, теперь же каждый вечер последние трое и Дельвиг садились играть в бостон, за которым ставили все ремизы и игра не оканчивалась. К концу года ремизы дошли до очень значительной цифры, а в последний день этого года брат Александр ушел в польский поход. Так эта игра осталась без рассчета: двое из участвовавших в ней, Дельвиг и брат Александр, умерли в продолжении следующего года, а Сомов вскоре последовал за ними. Брата Александра провожал я пешком до Красного кабачка, где мы с ним распрощались. Брат был и нравственно и физически вполне живым человеком. Мне и в голову не приходило, что это был последний поцелуй на вечную разлуку.

Брат Александр перед этим походом печатал «Ундину», свой перевод под псевдонимом Влидге. Мне оставалось просмотреть последний корректурный листок. Переплет первых экземпляров этой книги, вышедшей в половине января

1831 г., был траурный по случаю кончины Дельвига.

Здоровье Дельвига в ноябре и декабре 1830 г. плохо поправлялось. Он не выходил из дома. Только 5-го января 1831 г. я с ним был у Сленина и в бывшем магазине казенной бумажной фабрики, ныне Полякова, где Дельвиг имел счета. На этих прогулках он простудился и 11-го января почувствовал себя нехорошо. Однако утром еще пел с аккомпанементом на фортепиано, и последняя пропетая им песня была его сочинения, начинающаяся следующею строфою:

Дедушка, девицы
Раз мне говорили,
Нет ли небылицы
Иль старинной были?

Когда в этот день Дельвигу сделалось хуже, послали за его доктором Саломоном, а я поехал за лейб-медиком Арендтом. Доктора эти приехали вечером, нашли Дельвига в гнилой горячке и подающим мало надежды к выздоровлению.

Слушая в это время курс в институте инженеров путей сообщения, я должен был ежедневно там бывать от 8 час. утра до 2-х пополудни и от 5 до половины 8-го вечером, так что я мог оставаться при больном Дельвиге только между 3-мя и 5-ю час. дня и по вечерам.

14-го января, придя по обыкновению в 8 часов вечера к Дельвигу, я узнал, что он за минуту перед тем скончался. Не буду описывать

того, до какой степени был я поражен этою смертию, явлением для меня тогда новым, нисколько не ожиданным, — равно страшной скорбью его жены и всех знавших его близко, *которые были преданы ему всею душою и понимали, как велика была потеря человека добродушного и служившего связью как для известного благороднейшего кружка литераторов, друга талантливейших из них и поощрителя менее талантливых и вообще начинающих, так и для лицеистов, к какому бы слою общества они не принадлежали. И те и другие понимали, что их кружки, по неимению средоточия, распадутся*.

17-го января в день именин Дельвига были его похороны. Встречавшиеся, узнав кого хоронят, очень сожалели о потере сочинителя песен, которые были тогда очень распространены в публике. Тело Дельвига похоронено на Волковском кладбище. На преждевременной его могиле был в ту же весну поставлен его вдовою памятник.

Боясь, что смерть Дельвига убьет его мать и желая ее хотя несколько к этому подготовить, просили Булгарина, чтобы он в первом выходящем номере, издаваемой им «Северной пчелы», не извещал о смерти Дельвига, но Булгарин не исполнил этой просьбы.

Таким образом мать Дельвига узнала о его смерти из «Северной пчелы». Она надеялась, что в этом извещении говорилось не об ее сыне, основываясь на том, что в извещении Дельвиг был назван надворным советником, а его семейство не знало о производстве его в этот чин. Она полагала, что умер кто-либо другой, хотя в извещении Дельвиг был назван

известным нашим поэтом. Тогда не было ни железных дорог, ни телеграфов, и потому известие о смерти Дельвига могло быть получено в деревне Чернского уезда Тульской губернии, где жила его мать, гораздо позже 17-го января, дня его именин. В этот день в церкви ошибкою поминали не за здравие, а за упокой души барона Антона, что сильно встревожило мать и сестер Дельвига, от которых я это слышал. Я не упомянул бы об этой легко объясняемой ошибке, если бы в жизни Дельвига не происходило постоянно многого кажущегося чудным. Дельвиг весьма болезненный, со дня рождения, вовсе не говорил до четвертого года. Он заговорил в Чудовом монастыре, приложившись к мощам Алексия митрополита. С тех пор воображение Дельвига сильно развилось насчет умственных способностей, развивавшихся весьма медленно. Он сделался рассказчиком и пяти лет от роду рассказывал очень ясно о каком-то чудесном видении. Это и после повторялось. Пушкин объясняя, что в лицее память у Дельвига была тупа, понятия ленивы, но заметна была живость воображения, присовокупляет:

— Однажды вздумалось ему (Дельвигу) рассказать нескольким из своих товарищей поход 1807 г., выдавая себя за очевидца тогдашних происшествий. Его повествование было так живо и правдоподобно и так сильно подействовало на воображение молодых слушателей, что несколько дней около него собирался кружок любопытных, требовавших новых подробностей о походе. Слух о том дошел до нашего директора В. Ф. Малиновского, который захотел услышать

от самого Дельвига рассказ о его приключениях. Дельвиг постыдился признаться во лжи столь же невинной, как и замысловатой, и решился ее поддержать, что и сделал с удивительным успехом, так что никто из нас не сомневался в истине его рассказов, покамест он сам не признался в своем вымысле. В детях, одаренных игривостию ума, склонность ко лжи не мешает искренности и прямодушию. Дельвиг, рассказывающий о таинственных своих видениях и о мнимых опасностях, которым будто бы подвергался в обозе отца своего, никогда не лгал в оправдание какой-нибудь вины, для избежания выговора или наказания.

Директор лицея Малиновский скончался в начале 1814 г., следовательно Дельвиг рассказывал о походе 1807 г., когда ему было не более 15 лет. Если на кружок его товарищей лицеистов сильно подействовал этот рассказ, так что в продолжение нескольких дней они, а впоследствии директор Лицея, заставляли его повторять этот рассказ, не подававший никому сомнения в его истине, то можно утвердительно сказать, что воображение рассказчика было сильно развито, так как не только он, но и отец его не участвовал в походе 1807 г., и Дельвиг мог слышать несколько рассказов об этом походе от участвовавшего в нем моего отца. Отец Дельвига был в это время московским плац-майором.

В бытность в 1828 г. в Петербурге Мицкевича он часто бывал у Дельвига по вечерам и часто импровизировал разные рассказы. Дельвиг также иногда, по просьбе Мицкевича, рассказы-

вал о разных видениях своих и изображал разные приключения весьма живо и плавно.

Н. В. Левашев с семейством приехал в Петербург летом 1830 г. и поселился в доме близ Владимирской церкви, ныне (1872 г.) принадлежащем Каншину. Дельвиг был очень дружен с этим семейством и, живя очень близко, почти каждый день с ним видался. Дельвиг и Н. В. Левашев условились в том, что кто первый из них умрет, тот обязан явиться к оставшемуся в живых с тем, что если последний испугается, то немедля удалиться. Левашев совершенно забыл об этом условии, как спустя немного времени после смерти Дельвига, вечером, читая книгу, увидел приближающегося к нему Дельвига. Левашев так испугался, что немедля побежал сказать о своем видении, конечно, исчезнувшем, жене своей, которая напомнила ему о сделанном между ними условии.

Я это несколько раз слышал от Левашева и от жены его, на дочери которых я впоследствии женился, при чем замечу, что Левашев не только не был человеком впечатлительным, но по его образу мыслей и характеру подобное видение могло ему пригрезиться менее, чем всякому другому. Да не подумает читатель, что я легко верю во все чудесное. Я только полагал, что не должно умалчивать о вышеупомянутых рассказах.

Литераторы, близкие к Дельвигу, выразили печатно свою скорбь о его потере.

В № 4 «Литературной газеты» 16 января 1831 г., который начинался статьею «Женщины» с подписью Н. Гоголь, в первый раз

появившеюся в печати, были помещены «Некролог Дельвига», написанный Плетневым, и «К гробу барона Дельвига» В. Туманского. Выписываем несколько строк из некролога.

«Ум Дельвига от природы был более глубок, чем остер. Полнота и ясность литературных сведений Дельвига были залогами успехов его на новом (журнальном) поприще. Рассматривая новые книги, он уже изложил несколько главнейших своих мыслей о разных отраслях словесности».

Далее в том же некрологе:

«От одного присутствия Дельвига одушевлялось целое общество. Ежели он увлекался разговором, то обнимал предмет с самых занимательных сторон и удивлял всех подробностию и разнообразием познаний».

В той же газете были напечатаны стихотворения: «На смерть Дельвига» Гнедича, «Полет души» М. Деларю; его же «К могиле Дельвига», «Б. С. М. Д—г» (Баронессе Софье Михайловне Дельвиг) и «К Лизаньке Дельвиг» (дочери покойного) и барона Розена «Баронессе Елисавете Антоновне Дельвиг» и «Тени друга».

Пушкин был поражен смертью Дельвига. Он находился тогда в Москве. Не могу не выписать здесь отрывка из его письма к Плетневу от 21 января 1831 г.

«Ужасное известие получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Салтыкову (тестю Дельвига) объявить ему все — и не имел духу. Вечером получил твое письмо. Грустно. Тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд;

я глубоко сожалел о нем, как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Боратынский болен от огорчения».

Глубокая горесть видна во всех письмах Пушкина, в которых он упоминает о потере Дельвига. Так 31-го того же января он, между прочим, пишет Плетневу:

«Я узнал его (Дельвига) в лицее; был свидетелем первого, не замеченного развития его поэтической души и таланта, которому еще не отдали мы должной справедливости. С ним читал я Державина, Жуковского, с ним толковал обо всем, что душу волнует, что сердце томит. Жизнь его богата не романическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым, чистым разумом и надеждами».

Извещая 21 февраля Плетнева о своей женитьбе, Пушкин, между прочим, пишет:

«Память Дельвига есть единственная тень моего светлого существования».

Десять месяцев после смерти Дельвига Пушкин заканчивает свое 19-е октября 1831 г. строфою:

И мнится, очередь за мной...
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и честных помышлений,
Туда, в толпу теней родных,
На век от нас ушедший гений.

Скорбное воспоминание о Дельвиге везде преследует Пушкина. Так, в мастерской ваятеля, описанной в стихотворении «Художнику», он обращается к Дельвигу:

Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник;
Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!

Упомяну еще о помещенных в «Северных цветах» на 1832 г., изданных Пушкиным, стихотворениях Боратынского и Языкова, относящихся к этой же потере.

Первое из стихотворений Языкова начинается следующею строфою:

А. А. ДЕЛЬВИГУ.

Там, где картинно обгибая
Брега, одетые в гранит,
Нева, как небо, голубая,
Широководная шумит,
Жил-был поэт. В соблазны мира
Не увлеклась душа его;
Ни в чем не видел он кумира
Для вдохновенья своего,
И независимая лира
Чужда была страстям земным,
Звуча наитием святым.

Другое стихотворение Языкова, озаглавленное «Песня», начинается следующею строфою:

Он был поэт; беспечными глазами
Глядел на мир и миру был чужой,
Он сладостно беседовал с друзьями,
Он красоту боготворил душой,
Он воспевал счастливыми стихами
Харит, вино, и дружбу, и покой.

«Литературная газета» после Дельвига просуществовала всего полгода.

Незадолго до смерти Дельвига приехал в Петербург брат его жены, Михаил Михайлович Салтыков. Он служил в гусарском полку, стоявшем в западных губерниях, где женился на дочери помещика Россиенского уезда и вышел в отставку. Отец его был очень недоволен этою свадьбою, полагая по своим аристократическим понятиям, что сын его, очень красивый молодой человек, мог бы сделать лучшую партию. М. А. Салтыков, по этим же понятиям, не очень был доволен и замужеством дочери за Дельвига, который не имел никакого состояния и не мог сделать служебной карьеры. [1] Он строг был в этом отношении к своим детям, а не к себе, так как он, как уже было выше сказано, был женат на француженке Ришар, конечно, не из аристократической фамилии.

М. М. Салтыков, по приезде в Петербург, найдя Дельвига больным, очень был этим недоволен, объясняя, что он приехал покутить с Дельвигом и что это не удастся. Он очень редко бывал у Дельвига и всегда на короткое время.

[1] О замужестве С. М. Салтыковой, об ее любви (до выхода замуж за А. А. Дельвига) к декабристу П. Г. Каховскому, о самом М. А. Салтыкове — любопытные подробности в книге Б. Л. Модзалевского «Роман декабриста Каховского», Лен. 1926. О тех же лицах и об отношениях С. М. Дельвиг к Пушкину и его друзьям — в исследовании Б. Л. Модзалевского «Пушкин, Дельвиг и их друзья в письмах С. М. Дельвиг», включенном в его книгу «Пушкин», Лен. 1929. *С. Ш.*

В ночь после смерти Дельвига М. М. Салтыков, М. Л. Яковлев и я спали в одной комнате на полу. Классы инженеров путей сообщения начинались в 8 часов утра, а потому я к этому времени был уже в институте, где, объяснив инспектору классов Резимону о понесенной мною потере, получил позволение не приходить в институт до похорон Дельвига.

Я очень скоро вернулся в квартиру, занимаемую Дельвигами, и только что вошел в нее, как был поражен известием, переданным мне Салтыковым и Яковлевым, что не достает денег, по их расчету, более 60 тысяч рублей ассигн. Они основывались на том, что Дельвиг получил в приданое за женою 100 тысяч руб. ассигн., что его тесть сверх того прислал при рождении дочери Дельвига, ей в подарок, как обыкновенно выражаются, на зубок, 5 тыс. руб. ассигн., а что нашлось заемных писем на разных лиц всего до 40 тыс. руб. и немного наличными.

Это известие не только огорчило меня, но и удивило в том отношении, что как могли успеть в каких-нибудь два часа узнать об этой потере, зачем было так скоро разбирать бюро покойного, в котором хранились разные бумаги, вместо того, чтобы его опечатать, как это водится обыкновенно. Салтыков и Яковлев не нашли нужным дождаться моего возвращения из института для осмотра со мною бумаг, вероятно потому, что считали меня за мальчика и знали, что у Дельвига не было никакой собственности. Однако же я был офицер, и потому было бы приличнее осмотреть бюро Дельвига при мне.

По роду жизни Дельвига деньги эти не могли

быть им прожиты, тем более, что по удостоверению Петра Степановича Молчанова, бывшего статс-секретарем при императоре Александре I и в это время слепого старца, Дельвиг за два месяца перед смертью получил от него значительную сумму, которую Молчанов был должен Дельвигу и которую последний положил в петербургский Опекунский совет, как тогда называли сохранную казну. Билеты этой казны на предъявителя, или как было принято называть на неизвестного, видели у Дельвига не задолго до его смерти; ни одного такого билета в бюро найдено не было.

Трудно предположить, чтобы билеты сохранной казны были потеряны Дельвигом, так как он, по получении долга от Молчанова, почти не выходил из дома. Наконец, если бы он их обронил, то при всей своей беспечности, конечно, сейчас бы это заметил и стал бы их отыскивать.

Остается одно предположение, что билеты были украдены из бюро, которое не всегда бывало заперто. Но Дельвиг последние дни свои лежал в кабинете, где стояло бюро, и около больного всегда было так много лиц, что едва ли кто-либо решился бы разбирать в бюро бумаги и вынуть некоторые из них. Весьма трудно делать в подобных случаях какие бы то ни было предположения, но я приведу те, которые тогда приходили в голову некоторым лицам. Первое подозрение пало на камердинера Дельвига, но он был неграмотный, и потому не мог различить билетов сохранной казны на предъявителя от частных заемных писем, а последние были целы.

Конечно, нельзя было знать, все ли они были на лицо, но почему-то тогда же решили, что недостает собственно билетов сохранной казны на предъявителя и что если действительно они украдены, то человеком грамотным, а потому неграмотного камердинера Дельвига оставили в покое, и даже о пропаже не было заявлено полиции, что также не в порядке вещей.

Салтыков, родной брат владелицы этих денег, и Яковлев, друг Дельвига, были вне подозрения не только по родству и дружбе, но и как люди вообще признаваемые за честных. Они однако же не ушли от нарекания некоторых лиц, уверявших, что билеты унесены Яковлевым с тем, чтобы вдову Дельвига, на которой, как вскоре оказалось, он полагал жениться, поставить в такое положение, чтобы она не могла отказать ему. Салтыков мог не знать о таком поступке Яковлева, а если знал, то допустил его потому, что также желал, как это вскоре объяснилось, чтобы сестра его вышла вскоре замуж за Яковлева. Но все это весьма невероятно. М. М. Салтыков жил впоследствии в Москве, где в пятидесятых годах мы бывали друг у друга. Мало знакомый с московским обществом, он всегда однако же слыл за доброго и благородного человека.

В самый день открытия пропажи денег Яковлев ездил в Александро-невскую лавру, где вдова Дельвига желала похоронить мужа, но хотя могила стоила по узаконенной таксе только 800 руб. ассигн., все другие расходы на отпевание и проч. доходили до 10.000 р., а потому объяснили вдове Дельвига, что эта издержка превышает ее средства, столь уменьшенные оказавшеюся пропажею,

и тогда решили похоронить Дельвига на Волковом кладбище.

Жена Дельвига не имела никогда никакого понятия о денежных делах своих и потому не могла ничего расъяснить. Говорили, что Дельвиг записывал билеты в календарь, но такой записи не нашли. Председателем Опекунского совета был в то время Сергей Сергеевич Кушников, друг отца С. М. Дельвиг. Он приказал отыскать, не была ли внесена Дельвигом или кем-либо месяца за два до смерти Дельвига на его имя или на предъявителя сумма приблизительно равная той, которую считали пропавшею, но все было тщетно, и эта значительная сумма пропала без следа.

М. А. Салтыков, очень скупой, в сильных выражениях обвинял покойного Дельвига в том, что он истратил эти деньги, а если не истратил, то все же не умел сберечь.[1]

Пропажа билетов подала повод рассмотреть все бумаги Дельвига, которых у него накопилось весьма много, так как он не рвал и не бросал большую часть получаемых им писем. Время было тогда трудное, очень опасались, что жандармы заберут бумаги Дельвига и во множестве сохранившихся писем найдут такие вещи, которые

[1] С. М. Дельвиг писала после смерти мужа (3-II-1831 г.) своей подруге А. Н. Семеновой-Карелиной: «Во время болезни покойного у меня украли ломбардные билеты на 55 тыс. р., и у меня остается 44 тыс. капиталу... Я произвела всевозможные розыски этих билетов, — все было тщетно... Отец подозревает, что капитал растратили и мой муж, и я...» (См. Б. Л. Модзалевский «Пушкин», Лен. 1929). *С. Ш.*

могут скомпрометировать писавших. Читать эти письма считали неприличным. К тому же читать было некогда, боялись каждую минуту прихода жандармов. Поэтому брали письма и другие бумаги целыми пачками и, удостоверясь, что в них нет денежных документов, бросали их в большие корзины, и десятки этих корзин побросали в печь.

Г. Гаевский в своей монографии: «Дельвиг», говорит: «по смерти Дельвига в 1831 г. оба поэта (Пушкин, Боратынский), разбирая бумаги покойного и не желая, чтобы переписка их перешла в недостойные руки, уничтожили (говорят) свои письма, и таким образом русская литература лишилась, может быть, образцовых и во всяком случае весьма замечательных произведений». К этому Гаевский присовокупляет: «это сведение, весьма впрочем сомнительное, сообщено чрез посредство барона А. И. Дельвига (т.-е. меня) вдовою поэта».

Не знаю, почему Гаевский усомнился в уничтожении означенных писем, которое производилось в моем присутствии. Он только неправильно указал на то, что будто бы письма Дельвига были уничтожены Пушкиным и Боратынским, чего я ему никогда не мог сообщить. Они были уничтожены Яковлевым, Щастным и некоторыми другими лицами в моем присутствии, чем они занимались беспрерывно в продолжение нескольких вечеров, и это делано было без согласия Пушкина и Боратынского, бывших в это время в Москве.

Вскоре после смерти Дельвига вдова его переехала с Владимирской улицы в дом, находящийся

рядом с Владимирскою церковью в Кузнечном переулке, ныне (1872 г.) принадлежащий Каншину. Она наняла небольшую квартирку на дворе. Фас на улицу был занят хорошими ее знакомыми Левашевыми. С. М. Дельвиг полагала в начале лета уехать в Москву к отцу, а потом в деревню к свекрови, и тогда распорядиться дальнейшею своею жизнью. Она часто сравнивала свое положение с положением моей матери, так как отец мой умер почти в тех же летах, как и А. А. Дельвиг, и так как мать моя осталась вдовою тех же лет, как и она, но при средствах еще меньших и с четырьмя детьми. Мать моя всецело посвятила себя воспитанию своих детей. С. М. Дельвиг также хотела посвятить всю свою остальную жизнь своей дочери, которой при смерти ее отца было всего 8 месяцев.

По недостатку средств она не могла более платить в пансион за малолетних братьев покойного ее мужа, которые остались жить у нее. Обучение их я принял на себя, для чего каждый день, по окончании в 2 часа пополудни лекций в институте, в котором я слушал тогда курс, приходил к С. М. Дельвиг, занимался с ними полтора часа и, пообедав, возвращался в институт, где были лекции по вечерам, кроме субботы, от 5 до $7^1/_2$ ч. Приняв на себя обучение моих двоюродных братьев, я должен был покинуть преподавание математических наук, которым я занимался для увеличения моих денежных средств, так как я не мог жить получаемым содержанием, всего 710 р. асс. в год, и незначительным пособием, получаемым от моей матери.

Все знакомые Дельвига продолжали посещать его вдову. Всех чаще бывали Плетнев и Деларю. Сомов же и Яковлев бывали почти каждый день. Я обедал у нее каждый день и проводил вечера, а под воскресенья и праздники, когда мне не надо было рано утром спешить в институт, оставался ночевать.

Дядя Е. М. Гурбандт бывал попрежнему редко. Он был очень обижен тем, что в последние три дня опасной болезни Дельвига ему, близкому родственнику и доктору, не дали о ней знать. На другой день смерти Дельвига он убеждал вдову последнего, чтобы она не горевала, так как хотя его и жалко, но все же он был «вертопрашник», так как все Дельвиги, по его мнению, были «вертопрашники». Плохо говоря по русски, он таким образом искажал слово «вертопрах». Это наименование вполне было бы справедливо применить к нему, а вовсе не ко всем Дельвигам.

Не прошло двух месяцев после смерти Дельвига, как вдова его получила от Яковлева письмо, в котором он делал ей предложение выйти за него замуж. Она была и огорчена и оскорблена этим письмом по весьма понятным причинам; не говоря уже о том, что Яковлев в доме Дельвига всегда считался каким-то низшим существом, и если к нему были расположены в обществе Дельвига, то только потому, что он был его товарищем по лицею и забавным подчас шутником. Письмо Яковлева было очень длинное. После объяснения в страстной любви и предложения, он на нескольких страницах сообщал о своих денежных средствах и описывал план будущего житья, если С. М. Дельвиг согласится на его

предложение, при чем не упустил сказать, что при таковом согласии является и то удобство, что до их свадьбы у него может оставаться принадлежащая С. М. Дельвиг мебель, которая, при переезде ее на небольшую квартиру, не могла в ней поместиться и была на время перевезена к Яковлеву, жившему в доме II отделения собственной канцелярии государя, находившемся тогда на Литейной, в казенном доме, принадлежащем ныне (1872 г.) Пелю.

Письмо Яковлева было поддержано М. М. Салтыковым; он к этому же времени прислал из деревни письмо к сестре своей, в котором убеждал ее согласиться на предложение Яковлева.

С. М. Дельвиг не знала, что ей делать по письму Яковлева. Воспитанная в пансионе, она сохранила, при своем большом уме и образовании, многие понятия женских институтов и пансионов и вовсе не понимала условий практической жизни. Она не могла им научиться, проведя все время своего замужества в мужском обществе, очень редко посещая или принимая у себя дам. Конечно, и после смерти Дельвига она видела то же общество, т.-е. почти одних мужчин. У нее не было в Петербурге ни одной женщины, подруги или по крайней мере настолько ей близкой, чтобы она могла с нею посоветоваться в затруднительных случаях.

Она, не зная, что делать с полученным ею письмом, не хотела об этом советоваться с кем-либо из знакомых мужчин. Пришлось советоваться с одним мною, 17-летним юношею, столь же мало знакомым, как и она, с условиями общественной жизни. Она мне сказала, что намерена

написать Яковлеву отказ, при чем, принимая во внимание отношения его к ее покойному мужу, смягчить выражение этого отказа. Я находил, что подобные письма следует оставлять без ответа, а С. М. Дельвиг, по своим пансионским понятиям, полагала, что не отвечать на письма неучтиво, но последовала моему совету. Яковлев перестал ходить к ней и через неделю, не получая ответа, снова прислал письмо, в котором, повторяя изложенное в первом письме о своей любви, присовокупляет, что, понимая и разделяя вполне ее горе, он готов ожидать сколько ей будет угодно того времени, когда она его осчастливит своим согласием, и просил только, чтобы она ему ответила и подала ему хотя некоторую надежду. Письмо это, также огорчившее С. М. Дельвиг, осталось, как и первое, без ответа.

* Никто так не любил и не ласкал маленькую дочь Дельвига, как ее мать и я *.

Каждый день, по приходе из института, перед занятиями с двоюродными моими братьями, я варил ей на канфорке кашку. Эта любовь моя к дочери С. М. Дельвиг, мои ежедневные посещения и ее одиночество связали нас еще большею дружбою, и понятно, что в 17-летнем юноше эта дружба вскоре заменилась другим чувством. Я не хотел разыгрывать роли Яковлева и скрывал это чувство от всех, но раз, варя кашку племяннице при С. М. Дельвиг, вероятно, проговорился, сам того не замечая. С. М. Дельвиг мне очень сурово заметила мой поступок и показала вид, что желает, чтобы я ее оставил.

Придя домой, я был в отчаянии. Никак не мог припомнить, что из сказанного мною могло так сильно ей не понравиться. В то же время мне показалось, что всегдашний мой друг А. И. Баландин сделался ко мне холоднее. Мне необходимо было с кем-нибудь из близких поделиться моими чувствами, и я написал длинное письмо к Баландину, в котором говорю, что я нахожусь в самом несчастном положении, потеряв Дельвига, разойдясь с его вдовою и видя холодность Баландина ко мне, при чем умолял его возвратить мне прежнюю дружбу и тем поддержать меня. Это письмо было преисполнено самым глубоких чувств, очень удачно выраженных. Впоследствии я уже не писал более таких поэтических посланий, частью потому, что по роду моих занятий я отстал от поэтического направления и что с летами вообще чувства притуплялись. Баландин уверил меня, что и не думал изменяться в отношении ко мне; неприятные отношения мои к С. М. Дельвиг также очень скоро изменились. Я вскоре начал снова к ней ходить ежедневно и проводить у нее время попрежнему. 7 мая, в день рождения моей племянницы, я вечером уехал в Москву, куда вскоре собиралась ехать С. М. Дельвиг с дочерью. Следовательно, мы расстались не надолго.

Теперь перехожу к описанию моего рода жизни вне семьи Дельвига и моего учения в институте в 1830 г. и 1831 г.

* По производстве в прапорщики, большая часть вновь произведенных отправлялись в дома терпимости, и я последовал общему примеру.

Упоминаю об этом, чтобы указать на дурное в этом отношении направление большей части тогдашней молодежи. Ограниченность наших денежных средств заставила нас посетить и по наружности грязную трущобу. Казалось бы, это должно было бы вселить отвращение, но принятый обычай ежегодно повторялся.*

В Петергофе 1 июля, по случаю празднования дня рождения императрицы Александры Феодоровны, была великолепная иллюминация и общий ужин во дворце. На этом гулянье все должны были быть в полной парадной форме. К этому дню у меня еще не была сшита офицерская шинель. Я гулял все время в одном мундире, перевязанный серебряным шарфом. Опоздав на пароход, я принужден был итти под дождем почти через весь Петергоф пешком, пока нашел извозчика до Петербурга. Ехали мы тихо, а дождь не переставал. Я приехал в Петербург промоченный насквозь до рубашки. Серебряные петлицы на мундире были совсем попорчены. Треугольную пуховую шляпу пришлось бросить. Для человека с малыми денежными средствами это была не последняя беда. Всегда довольно неряшливый в одежде, я вдруг очутился в старом мундире, тогда как у всех товарищей все было ново с иголочки, что во мне развило еще бо̀льшую неряшливость. Не так скоро я собрался со средствами, чтобы сшить себе новый мундир. Треугольную шляпу мне подарил Лев Пушкин, который в это время уезжал на Кавказ. Шляпа была фабрики Циммермана лучшего сорта и стоила тогда новая 60 руб. асс. По незначительном ее исправлении она сделалась как бы

новою; я не мог бы иметь такой франтовской шляпы на свои средства.

31 декабря 1830 г. брат Александр ушел в польский поход. Из казарм я переехал в Кузнецкий переулок в дом Сивкова, рядом с старообрядческою церковью св. Николая. Тогда на дворе этого дома был довольно большой деревянный флигель, в котором жил сам домовладелец, мой товарищ по институту, и деревянный сарай; над ним была устроена очень простая комната, в которую вела наружная крутая лестница. Эту комнату я нанял, рассчитывая, что в ней буду только спать, проводя целые дни в институте или у Дельвига, жившего на Владимирской по близости. Через две недели его не стало, но квартира, нанятая его вдовою, была еще ближе к моей квартире.

Кроме Дельвигов и Гурбандта я бывал часто у Плетнева, у которого литературные вечера при жизни Дельвига были по субботам, а после его смерти по воскресеньям и средам. По этим дням литературные вечера Плетнева постоянно продолжались в течение 25 лет до отъезда его по болезни за границу. На эти вечера, впрочем, являлось менее литераторов, чем к Дельвигу.

Резимон, поручая одному из учителей математики преподавать всеобщую историю, очень был недоволен его отказом, основанным на том, что этот преподаватель никогда сам не учился истории. Резимон говаривал: «Всякий должен быть всегда готов к преподаванию всех наук, за исключением математических; прикажите

мне завтра преподавать китайский язык, и я буду учить ему».

Учение мое в прапорщичьем классе шло еще хуже, чем в портупей-прапорщичьем. Большою помехою к ученью было: желание бывать по возможности часто у Дельвигов, а по смерти Дельвига у вдовы его; уроки, даваемые мною из математики за деньги для поддержания своего существования, а по смерти Дельвига обучение его двух братьев; дурное помещение в Павловских казармах и еще худшее, нанятое мною с 1-го января. Приняв в соображение, что 17-летний юноша вырвался на свободу, можно будет понять, что он, при означенной обстановке, раз уйдя из дома, в него возвращался только для сна, вследствие чего слушанные в институте лекции почти никогда не повторялись мною.

Выше я уже объяснил, что для ответов на публичном экзамене оставляли в Петербурге только лучших офицеров и что вперед можно было довольно верно сказать, кто из какой науки будет опрошен на этом экзамене.

Из аналитической механики должны были на публичном экзамене отвечать инженер-прапорщики Ястржембский и Пассек. Затем из всех других предметов мои баллы были до того посредственны, что я вполне был уверен, что на этот раз избавлюсь от публичного экзамена. Действительно, я уже был назначен на практику к изысканиям по устройству шоссе от Москвы до Бобруйска, производившимся под управлением инженер-майора Павла Филипповича Четверикова, получил подорожную и прогонные

деньги до Москвы и уже откланялся Резимону, как вдруг получил от него приказание явиться в институт. Он мне объяснил, что инженер-прапорщик Лев Ропп, которому предполагалось отвечать на публичном экзамене из военных наук, заболел, и что я должен его заменить.

Я получил особенную благодарность герцога (Виртембергского), который на этом же экзамене прогнал от доски Пассека за то, что на заданный ему по-французки вопрос из аналитической механики, он начал отвечать по-русски. Пассеку особенно не счастливилось у герцога. В то время пехота не носила усов. Когда к празднику Пасхи вышло высочайшее повеление о ношении усов пехотою, мы на третий день Пасхи являлись поздравлять герцога с праздником. Заметив, что Пассек отпустил усы, герцог выгнал его из своей залы, заявив, что он не отдавал еще приказа по корпусу о ношении усов, а вслед за тем объявил в приказе, что высочайшее повеление об усах не распространяется на корпус путей сообщения.

Только в 1848 г. было разрешено носить усы офицерам этого корпуса по настоянию генерала Дестрема, который, уверяя, что потеря зубов мешает ему сбривать усы, просил или дозволить их носить при мундире инженеров путей сообщения, или дать ему другой мундир, при котором ношение усов разрешено.

Герцог Виртембергский в 1831 г. был лет 60 от роду, очень высокий ростом и чрезвычайно полный, а огромная шишка на лбу еще более его уродовала. Он был очень вспыльчив, не понимал русского языка. Уверяли, что он по

русски знает только два слова: «сто палик», которые он назначал нижним чинам когда был ими недоволен.

В половине июня я получил известие о производстве меня в подпоручики.

Между Москвою и Подольском на бывшей почтовой дороге находилось с. Бицы, принадлежавшее князьям Трубецким. По приближении наших изысканий к этому селу, мы приехали в него. В господском доме жил тогда заведывающий делами князей Трубецких Василий Дмитриевич Корнильев, у которого я часто бывал и гулял по прекрасным садам, окружающим господский дом.

Корнильев был очень знаком с Боратынским и Дельвигом, когда они жили в Петербурге, потом он надолго уехал управлять какими-то делами в Сибири и когда после 1826 г. вернулся в Москву, из которой иногда приезжал в Петербург, то часто бывал у Дельвига, и одно лето, во время отсутствия последнего из Петербурга, жил в его городской квартире. Корнильев был человек не большого образования и не светский, но Дельвиг любил его, вероятно, за доброту, хотя часто над ним подшучивал. Упомяну об одном из любимых рассказов Дельвига про Корнильева. Последний перед своей женитьбой извещал Дельвига письмом из Москвы, что он женится на Надежде Осиповне, без обозначения фамилии невесты, и что он об этом сам известит Сергея Львовича (Пушкина, отца поэта). Жена Сергея Львовича была также Надежда Осиповна, и выходило по смыслу письма, что будто бы Корнильев женится на ней.

Семейство Левашевых, прожив целый год в Петербурге, вернулось в Москву, где и поместилось в собственном доме на Новой Басманной, окруженном старым садом, наполненным цветами. Мать моя не была знакома с Левашевыми. Мать Н. В. Левашева была родная сестра Гавриила Александровича Замятина, отца мужа моей тетки Прасковьи, так что последняя по мужу была двоюродною сестрою Н. В. Левашеву. Она и мать моя познакомились с Левашевыми по возвращении их из Петербурга.

Левашевы с большим нетерпением ожидали приезда С. М. Дельвиг из Петербурга, но она откладывала свой выезд со дня на день. Еще с большим нетерпением ждал свою дочь с внучкою М. А. Салтыков, у которого я бывал додольно часто и который сердился на постоянное откладывание приезда дочери.

Наконец, С. М. Дельвиг ириехала с малолетнею дочерью и двумя братьями мужа в конце июля и остановилась у отца, который жил тогда в небольшой квартире на Маросейке. Встреча с отцом после потери мужа, конечно, была грустная, но еще поразительнее была встреча с моею матерью. Вся в слезах, она сравнивала свое положение с положением, в котором осталась моя мать после мужа, говорила, что посвятит всю свою жизнь дочери и, взяв мою мать в образец, последует ей во всем.

В этом она постоянно уверяла и отца своего. Матери же моей прибавляла, что родных ее мужа она будет любить так же, как любила при

его жизни. Мать и сестра мои, зная сколько я ей обязан, конечно, обласкали ее и много с ней горевали об ее потере.

В одно время с С. М. Дельвиг приехал в Москву Сергей Абрамович Боратынский, которого я, по дороге из Петербурга в Москву, встретил 8-го мая утром на станции Померани, едущего в дилижансе в Петербург.

Боратынский в Москве каждый день бывал у С. М. Дельвиг и оставался у нее очень поздно. Эти посещения крепко не нравились ее отцу, который это явно выказывал, и даже когда Боратынский и я засидимся поздно вечером, он просто нас выпроваживал от себя разными намеками, из которых легко было видеть, что неудовольствие его относилось не ко мне, а к Боратынскому. Последний довольно бесцеремонно обходился с С. М. Дельвиг в отсутствии ее отца, что меня не поражало, потому что я видел, что он и при жизни Дельвига был совершенно своим человеком, как с ним, так и с его женою. Меня поражало только то, что Боратынский дозволял себе разные остроумные выходки насчет Салтыкова в присутствии его дочери и беспрерывно распевал песню Баранже с припевом:

Ah, Monsieur le Sénateur,
Votre très-humble serviteur. [1]

Когда поздно вечером мы уходили вместе от Салтыкова, случалось нам заходить в магазин Депре, где в одной из задних комнат выпивали

[1] Ах, господин сенатор, я ваш покорнейший слуга. *С. Ш.*

бутылку хорошего вина. Пить вино в магазине, конечно, не дозволялось по закону. Боратынский пользовался этим правом, вероятно, по особому знакомству с Депре, которое он сделал во время пятилетнего слушания курса медицинских наук в Москве. Депре тогда начинал свою торговлю и может быть этим не совсем законным способом привлекал к себе покупщиков вина. Впрочем, продаваемое им вино постоянно одобрялось и в настоящее время одобряется всеми знатоками.

Пробыв несколько времени в Москве, С. М. Дельвиг должна была ехать к своей свекрови в Чернскую деревню и там окончательно устроиться насчет своей дальнейшей жизни. Мать моя, сестра и я намеревались проститься с ней в имении моей тетки Надежды Волконской, Масловке, находящейся на Тульской дороге в 55 верстах от Москвы. Наступил вечер дня, назначенного для приезда С. М. Дельвиг в Масловку, и потому мы ее более не ожидали, как вдруг она приехала с дочерью и двумя братьями ее мужа совершенно голодными. Тетка была в отчаянии, что нечем их накормить, потому что обед, так как их более не ожидали, был съеден. Вскоре однако же появились на столе более десяти простых, но вкусных и свежих блюд. Таково было тогда гостеприимство и у бедных помещиков.

При прощании со мною, и в особенности с моей матерью, С. М. Дельвиг снова с чувством повторила обещание всю свою жизнь посвятить единственной дочери, взяв в образец себе мать мою.

По приезде к своей свекрови, она осталась у нее в деревне более месяца и все время была очень ласкова к свекрови и к ее дочерям, так что всем казалось, что они долго проживут вместе. Вдруг, как дошло до меня впоследствии, явились признаки беремености С. М. Дельвиг. Она поспешила уехать с дочерью, оставив двух братьев мужа у их матери, и вскоре написала последней из Тулы, что она вышла замуж за Боратынского, что она попрежнему будет любить свою свекровь и ее детей и всех родных ее первого мужа и что она надется на полную от них взаимность. Она писала о том же и ко мне в Петербург, куда я приехал к 1-му сентября, к началу курса в институте инженеров путей сообщения.

Как объяснить все это поведение моей умной и доброй воспитательницы? Мне было больно, что все называли ее притворщицею; какая же цель была ей притворяться пред нами? Но еще больнее было мне то, что, зная ее вспыльчивость и также пылкий характер ее второго мужа, я предвидел для нее грустную жизнь, так как она была избалована необыкновенным добродушием и хладнокровием ее первого мужа. Женщина у нее служившая и оставшаяся в Петербурге, подтвердила мое мнение. Она мне рассказала, что Боратынский был в Петербурге у С. М. Дельвиг в первый раз на другой день моего отъезда из Петербурга, что вскоре, как выражалась эта женщина, у них дошло до ножей и что С. М. Дельвиг очень сожалела о моем отъезде. Конечно, она сожалела, думая, что мои советы могли быть ей полезны для того, чтобы

отделаться от Боратынского, которого стоило видеть один раз, чтобы понять всю пылкость страсти, к какой он может быть способен.

Вот каково было ее положение, что она могла надеяться только на советы 18-летнего неопытного юноши. Это положение было следствием того, что она не только не имела ни одной подруги, но даже очень мало бывала в женском обществе, где конечно приобрела бы более опытности, чем в обществе мужчин, из которых большая часть были связаны с ее мужем только литературными занятиями.

Я объяснял ее поведение с моею матерью, с ее свекровью и всеми нами следующим образом. Она думала прожить в имении своей свекрови все время малолетства своей дочери и тем разрушить связь с Боратынским. Правильно ли, неправильно ли мое предположение, я, мало думая о нем, поспешил ответить С. М. Боратынской в самых нежных выражениях, что я желаю ей полного счастия в ее новой жизни, что преданность моя и благодарность к ней за все, чем я ей обязан, никогда не изменятся. Наша переписка была довольно частая и всегда самая приятная.

Как было принято ее замужество в моем семействе, я хорошенько не знаю, потому что был в это время уже вдали от него, в Петербурге, но когда приехал снова в Москву в мае 1832 г., то заметил в моем семействе нерасположение к С. М. Боратынской и обвинение ее в притворстве. Находили ее замужество чуть не преступлением, и дядя мой, Александр Волконский, увидав, что я надписываю к ней конверт, просто

согласно нашему уговору: «Софье Михайловне Боратынской», заметил, что в сношениях с женщиной, потерявшей себя в общественном мнении, надо соблюдать все принятые формы приличия, и заставил меня переменить конверт, надписав на нем адрес по обычной тогда форме «Ее высокоблагородию милостивой государыне Софье Михайловне Боратынской». Мать моя никогда ни к кому не относившаяся дурно, вовсе не говорила о С. М. Боратынской, из чего я мог заключить и об ее неудовольствии. Отец Софьи Михайловны, М. А. Салтыков был, в особенности в первое время, взбешен ее замужеством и даже при посторонних позволял себе говорить, что дочь проституировалась перед простым лекарем. Так было поражено его чувство отца и аристократа. Впоследствии он поневоле простил ее. С. М. Боратынская относительно родных ее первого мужа вполне сдержала свое обещание: она была в постоянной переписке со своею свекровью, которая умерла недавно, и с сестрами своего первого мужа. Дочь ее от первого брака была горячо любима ею и сделалась любимицею всего семейства Боратынских и в том числе своего брата и трех сестер, детей от второго брака ее матери. [1]

[1] С. М. Боратынская писала подруге в октябре 1831 г.: «Я вышла замуж за Боратынского, младшего брата поэта... Я более, чем когда-либо нуждаюсь в нежности и снисходительности друга, такого, как ты, я нуждаюсь в утешении... Никогда я не забуду этого человека [А. А. Дельвига]... и я вновь вышла замуж через 6 мес. после его смерти... человек этот [С. А. Боратынский] любил меня 6 лет... В один день он появляется предо-

В Петербурге к 1831 и 1832 гг. я чаще всего посещал единственный родственный мне дом дяди Гурбандта. Бывал часто и у Баландина, вышедшего в 1831 г. на службу поручиком и остававшегося в Петербурге репетитором в институте инженеров путей сообщения.

Из литературного знакомства я сохранил только дома Плетнева, Сомова и Деларю, а из лицеистов бывал у Яковлева и князя Эристова. У Сомова я читал все, что тогда появлялось нового в нашей литературе. У него же прочитал два новые стихотворения Пушкина: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Патриотическое чувство было во мне до того восторженно, а сердце так поражено смертию брата, что я, прочитав эти стихотворения, с первого раза их запомнил и не забыл до сего времени.

На вечерах Плетнева я видал многих литераторов и в том числе А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Пушкин и Плетнев были очень внимательны к Гоголю. Со стороны Плетнева это меня нисколько не удивляло, он вообще любил покровительствовать новым талантам, но со стороны Пушкина это было мне вовсе непонятно.

мною в Петербурге, говорит, что не может даже сносить неизвестность, которая его убивает, и просит у меня моей руки. Это было в конце мая.. Его отчаяние... одна минута слабости, — все это решило мою судьбу, и я не могла получить от нетерпеливости Сергея отсрочки, которая требовалась хотя бы приличием... Перед моим отъездом из Петербурга мы обвенчались тайно... Я умерла для всех, так как все, конечно, меня презирают...» *С. Щ.*

Пушкин всегда холодно и надменно обращался с людьми мало ему знакомыми, не аристократического круга и с талантами мало известными. Гоголь же тогда не напечатал еще своего первого творения «Вечера на хуторе близ Диканьки» и казался мне ничем более, как учителем в каком-то женском заведении, плохо одетым и ничем на вечерах Плетнева не выказывавшимся. Я и не подозревал тогда в нем великой гениальности.

Пушкин бывал иногда у Плетнева и с женою. Он не приглашал меня к себе и я у него не бывал. Гоголь жил в верхнем этаже дома Зайцева, тогда самого высокого в Петербурге, близ Кокушкина моста, а так как я жил в доме Дружинина, вблизи того же моста, то мне иногда случалось завозить его. По прошествии нескольких лет, когда уже была напечатана первая часть «Мертвых душ», я встретился с ним в Москве у сапожника Таке, у которого он очень хлопотал о том, чтобы сапоги ему были красиво сшиты, и в тот же день в английском клубе, где мы сидели на одном диване. Не узнал ли он меня, или не хотел узнать, но мы не говорили друг с другом, как в этот раз, так и во все следующие наши встречи в Москве.

*Упомянув о сапожнике Таке, не могу не сказать, что он был художник своего дела. Сапоги, им шитые, были и прочны, и изящны; со всех работанных им сапогов у него были колодки, расположенные в известном порядке. Это был своего рода музей, так как в его долговременную и большую практику у него набралось множество колодок. Постарев и нажив хо-

роший капитал, он продал свой магазин, бывший на Большой Дмитровке*.

Приехав в 1831 г. в Петербург, я нанял квартиру в доме Колотушкина у Обухова моста, вместе с инженер-поручиком Лукиным, который произведен был в прапорщики годом ранее меня, но оставался два года в прапорщичьем классе. В одно время с нами в доме Колотушкина жила знаменитая танцовщица Истомина, прославленная стихами Пушкина. Почти ежедневно собирались у нас играть в карты.

Перед выпускным экзаменом кому-то пришла мысль поручить наилучшим из нас повторить все лекции подпоручичьего курса с тем, что эти лекции могут слушать все подпоручики, и выбрали для повторения Ястржембского, Пассека, Глухова, младшего брата Роппа и меня. На мою долю достались астрономия, стратегия и та часть строительного искусства, в которой преобладают математические выкладки.

Резимон был против преподавания астрономии. Он, говорят, находил, что эта наука учит не веровать в бога.

Когда он заставал меня преподающим астрономию моим товарищам, то обыкновенно спрашивал, где по моему мнению центр вселенной, и на мой ответ, что солнце центр нашей планетной системы, указывал пальцем в разные стороны, говоря, что центр вселенной во всех местах, где он укажет пальцем. Резимон, впрочем, был человек образованный и остроумный. Он часто говорил, что божий мир создан так, что в нем перемежаются поколения разумных

людей поколениями сумасшедших. Последние поднимают бездну новых вопросов, не разрешив одних, переходят к другим и доводят все до хаоса. Тогда являются поколения разумных людей, которые из означенного хаоса выбирают только положительно полезное и отбрасывая все прочее, приводят хаос в порядок, но нового ничего не начинают, а так как этот покой, это отсутствие движения было бы равносильно смерти и следовательно невозможно ни в физическом, ни в нравственном мире, то являются вновь поколения сумасшедших, и таким образом для возможности существования мира поколения одного рода сменяются поколениями другого.

В 1832 г. учреждена была военная академия генерального штаба. Нам, кончившим курс в институте, предлагали поступить в эту академию, но никто не согласился, несмотря на преимущество службы в генеральном штабе: так всем надоело двухлетнее слушание курсов в институте в офицерских чинах. Впоследствии, года через четыре, только один из моих товарищей Пассек поступил в эту академию.

В начале мая 1832 г. я назначен был на действительную службу в III (московский) округ путей сообщения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1832 — 1838 г.г.

В Москве остановился я у дяди князя Александра Волконского, который нанимал каждую зиму довольно поместительный дом. В то время у него гостили моя мать и сестра. Встреча с матерью была самая горестная: время еще не успело утишить ея горе после потери сына-первенца [Александра в 1831 г. в Польше в сражении с повстанцами].

Это горе чувствовала она еще живее потому, что младшего моего брата Николая за вину, которая ей не была известна, с зимы 1831—1832 г. перестали по воскресеньям и праздникам отпускать из кадетского корпуса, в котором он тогда находился. Мать моя была у директора корпуса генерала Годейна, чтобы узнать о вине, за которую брат был наказан и, если возможно, испросить ему прощение, но генерал Годейн, ничего не объясняя, резко сказал ей, что он разжалует брата в солдаты, от чего мать моя упала в обморок, а он, оставив ее в таком положении, удалился в свои внутренние комнаты. Вина брата состояла в том, что он грубо отвечал кому-то из офицеров корпуса. Несмотря на то, что брат перед этим учился и вел себя очень хорошо, так что был фельдфебелем одной

из рот корпуса, его разжаловали из фельдфебелей, оставив унтер-офицером, высекли, несмотря на его 17-летний возраст, и лишили права на отпуск из корпуса на целый год. Первые два наказания были скрыты от моей матери. В Москве я получил извещение, что 9 июня 1832 г. я по успехам в науках произведен в поручики.

Полагаю уместным здесь дать хотя краткое описание московского водопровода, столь важного для обитателей столицы.

Русские императрицы в прошедшем столетии совершали свои пешеходные путешествия из Москвы в Троицкую лавру для богомолья следующим образом. Оне проходили несколько верст от Троицкой заставы по дороге к лавре за ними следовали экипажи, в которых они на ночь возвращались в Москву. На другой день они в экипажах доезжали до того места, с которого накануне вернулись и, пройдя еще несколько верст вперед по направлению к лавре, садились в экипажи и в них доезжали до ближайшего путевого дворца (на этой дороге было устроено два таких дворца). На третий день возвращались к тому месту, где накануне сели в экипажи и т. д.

Существует предание, что во время путешествий императрицы Екатерины II с нею возили для питья хорошую воду, что в одно из ее путешествий в Троицкую лавру позабыли взять воду и в с. Больших Мытищах подали императрице воду из ключа, находящегося близ этого села. Императрица похвалила свежесть, с которою сохранили воду. Только спустя несколько

дней сознались, что воду подавали из Мытищинского ключа. Императрица тогда же изъявила желание, чтобы эта вода была проведена в Москву. Работы по сооружению водопровода начаты в 1779 г. по проекту и под наблюдением инженер-генерала Баура и с продолжительными неоднократными перерывами продолжались до 1805 г.

В начале декабря мать моя с сестрою поехали в с. Васильевское Подольского уезда, к Александру Васильевичу Васильчикову. У него были три дочери, из которых старшая Анна была очень дружна с моею сестрою. Вскоре приехал и я в с. Васильевское. Был первый час ночи и я, подъезжая к помещичьему дому, видел его вполне освещенным. Меня ввели в кабинет хозяина чрез освещенные комнаты. Между тем он извинился передо мною, что я должен был пройти в темноте, так как у него в обычае тушить все огни в полночь, и он только что получил донесение о том, что все огни потушены. Точно так же в известные часы дня приходили к нему с докладом, что весь дом осмотрен и везде все в порядке, а равно и о числе градусов на дворе. Казалось, порядок примерный, но все это был пуф: никто дома не осматривал, огней не тушил и даже число градусов никто не поверял по термометру, а говорилось то, что на ум приходило.

Такой же порядок был и в управлении имением, над которым уже была назначена опека. А. В. Васильчиков и два его брата наследовали имение их дяди Александра Семеновича

Васильчикова, которое было ему пожаловано Екатериною. Он жил не роскошно, в карты не играл и вообще не имел страстей, кроме одной страсти обменивать имевшиеся у него вещи на другие, которые он видел у кого-либо из его гостей. За бездельную вещицу он часто давал более дорогую, при чем еще приплачивал деньгами, так что некоторые из имевшихся у него вещей, весьма малоценных, обошлись ему очень дорого. Этою страстью пользовались некоторые из помещиков и в особенности из посещавших его в деревне уездных чиновников. Конечно, не она была причиною его раззорения, а беспорядок в ведении дел и совершенное неумение управлять имением.

Зимою 1832—1833 г. в Москве мать моя часто ходила, как и прежде, в церковь, езжала с сестрою и со мною к родным и знакомым с визитами, на обеды и вечера, для чего иногда нанимала экипаж, а иногда пользовались экипажами дядей Александра и Дмитрия и других родных и знакомых. Почти каждый вторник ездили мы на балы благородного собрания и, сверх того, нередко бывали у родных и знакомых на балах и танцовальных вечерах. Сестра, при ее хорошеньком лице и прекрасной талии, была везде заметна. Она была всегда хорошо одета, что при весьма ничтожных средствах моей матери было не легко. Конечно, все шилось и перешивалось дома: сестра была большая мастерица одеться к лицу. Кавалеров на балах и вечерах в Москве всегда было мало. Приезжали на зиму несколько гвардейских офицеров которые играли главную роль; вслед за ними

отличались на балах офицеры корпуса путей сообщения, а потому и я играл не последнюю роль. Но я на этих вечерах был не на своем месте. Более шести лет прошло с того времени, как я учился танцовать, и с тех пор, за исключением балов в Петербурге в немецком клубе, куда заходил очень редко, не видал даже танцующих. К дамскому обществу я вовсе не привык, так как дам в числе гостей у Дельвига почти не бывало. Я чувствовал себя неловким в танцах и вообще в дамском обществе. Сверх того, принимая в соображение мою бедность, мое ограниченное содержание и невозможность сделать даже ничтожную карьеру в корпусе инженеров путей сообщения, в котором производство было чрезвычайно медленно, я понимал, что всем этим порхающим барышням, а равно и их маменькам, я должен был казаться весьма ничтожным существом, что впрочем я от некоторых испытал, приглашая их на танцы: они видимо старались найти кавалеров более богатых, а может-быть, по их понятиям, и более занимательных.

Е. Г. Левашева была очень образованная и умная женщина. Несмотря на жестокую болезнь, заставлявшую ее каждый месяц дней по десяти лежать в постели, она всегда была ровного характера, умела занимать всех посещавших ее и вести свою многочисленную прислугу в порядке, не употребляя ни крика, ни телесных наказаний, бывших тогда в общем употреблении. Муж ея, Н. В. Левашев, был добрый человек, читал постоянно французские газеты или играл в шахматы, более молчал, и жена его

умела делать так, что и он казался человеком образованным. Они оба, а в особенности Екатерина Гавриловна, меня очень любили.

У Левашевых я бывал часто и видал у них знаменитого поэта Дмитриева [И. И.], М. А. Салтыкова, М. Ф. Орлова, А. Н. Раевского (демона А. С. Пушкина), П. С. Полуденского, знаменитого хирурга Гильдебрандта, докторов Лана, Н. Х. Кечера, поэтов Е. А. Боратынского и М. А. Дмитриева и многих других. Во флигеле их дома в разное время долго жили Сергей Николаевич Муравьев, мало известный младший брат очень известных декабристов Александра, Николая (Карского), графа Михаила и Андрея (незванного, которому дали это прозвище в противоположность его патрона Андрея первозванного), М. А. Бакунин, известный агитатор, Г. А. Замятин и П. Я. Чаадаев. Последний остался в этом доме после продажи его и в нем умер в 1856 г. В доме же Левашевых постоянно останавливался с своим семейством М. Н. Муравьев, бывший тогда курским военным губернатором. [1] Когда он уезжал в Петербург, жена

[1] Из названных здесь лиц были декабристами, вернее — членами тайных обществ, принимавшими то или иное участие в их деятельности: М. Ф. Орлов — избегнувший тяжелого наказания в виду заслуг его брата Алексея перед Николаем первым в день 14 декабря и живший в опале в Москве; Александр Н. Раевский, брат жен декабристов С. Г. Волконского и М. Ф. Орлова, избегнувший наказания в виду того, что не участвовал в заговоре, и в виду боевых заслуг его отца, знаменитого генерала Н. Н. Раевского; Александр Н. Муравьев — основатель тайных обществ и деятельный заговорщик, избегнувший тяжелого нака-

его с детьми по нескольку месяцев гостила у Левашевых.

Я не буду описывать всего, что знаю об упомянутых лицах, с которыми я видался у Левашевых; биографии многих из них написаны другими; упомяну только о том, что особенно меня в них поразило, о том, что могло быть не известно о них другим лицам, и об их отношениях к Левашевым.

И. И. Дмитриев был очень чопорный старик. Он всегда приезжал к Левашевым во фраке со звездами. М. А. Салтыков, отец баронессы С. М. Дельвиг, не менее чопорный старик, имел прекрасную наружность. В бытность мою в Москве я продолжал часто посещать его в доме Левашевых. Поссорившись в доме Левашевых с Чаадаевым из-за каких-то пустяков, Салтыков перестал ездить к Левашевым.

М. Ф. Орлов был человек очень образованный и добрый. Наружность его была весьма замечательная. Вследствие участия его в тайном обществе, из которого вышел задолго до 1825 г.,

зания в виду своего полного раскаяния, позднее он принимал деятельное участие в уничтожении так наз. крепостного права, о нем ниже, см. т. II, главу 7-ю прим.; его брат Михаил Н. Муравьев — основатель тайных обществ, избегнувший наказания в виду неучастия в заговоре и сделавший потом большую государственную карьеру усмирением польских восстаний тридцатых и шестидесятых годов, т. н. Муравьев-вешатель; их брат Николай Н. Муравьев (Карский) — участник тайных обществ первого периода, сделавший большую военную карьеру. Салон Левашевой и ее образ мыслей привлекали внимание III отд. См. М. К. Лемке «Николаевские жандармы», 423 и др. *С. Ш.*

он был отставлен от службы и сослан в деревню. Впоследствии ему дозволено было жить в Москве. Натура его требовала деятельности, которую он, по тогдашнему состоянию нашего общества, не мог употреблять на что-либо дельное. Это было причиною того, что он любил в обществе высказывать свои знания, а иногда и такие, которых он не имел. Так, любил он цитировать стихи древних поэтов, едва ли зная древние языки, и даже пускался в математические толки, тогда как он положительно не знал высшей математики. Приведу один пример того, как он любил выказывать свои знания. Говоря о каких-то двух лицах, он выразился, что они во всем так противоположны, что не могут встретиться, как ассимптоты гиперболы. По уходе Орлова и присутствовавшего при означенном разговоре П. Я. Чаадаева, я заметил Е. Г. Левашевой, что Орлов ошибается, говоря, что ассимптоты гиперболы не встречаются, что они напротив идут из одной точки, что незадолго перед этим вышел какой-то роман Бальзака, в котором он рассказывает, что герой романа и двор Людовика XVIII не могли никогда сойтись, как две ассимптоты гиперболы, но математику нельзя же изучать в романах Бальзака.

Левашева передала мое замечание Чаадаеву, который будучи уверен в познаниях Орлова, заявил сожаление о том, что в России плохо учат и что инженер, кончивший курс в высшем учебном заведении, не знает даже такой простой вещи. Левашева рассказала мне это после того, как я женился на ее дочери, и

я должен был в доказательство справедливости моего замечания, на чертеже, приложенном к курсу аналитической геометрии, показать ей, что такое гипербола и ее ассимптоты. Впрочем, все же Орлов, хотя и не знал математики, был человек образованный, а главное весьма добрый и приветливый.

Граф Карл Феодорович Толь очень любил и уважал М. Ф. Орлова. В 1834 г. я слышал от него, что Россия в 1825 г. потеряла в лице Орлова человека очень способного командовать во время войны.[1]

А. Н. Раевский был также человек образованный и, в противоположность Орлову, женатому на его сестре, мало высказывающийся. Впрочем, мне случалось с ним говорить по целым часам с глаза на глаз. Он был женат на Киндяковой, которая была богата, давал балы, на которых я и танцовал и играл в карты, в ландскне, куш по 10 р. асс. Эта игра далеко превышала мои денежные средства, но как-то она мне удачно сходила с рук. На одном из балов Раевского, во время танцев, получена была грустная весть о кончине А. С. Пушкина.

Доктор Лан, лечивший Левашеву, имел трех сыновей и двух дочерей. Один из сыновей его Фредерик, был моим товарищем в институте инженеров путей сообщения. Дочери Лана были очень хороши собою; старшая вышла замуж за

[1] Мих. Фед. Орлов (1788 — 1842), один из образованнейших участников тайных обществ первой четверти XIX столетия, основатель союза благоденствия. О нем исследование М. О. Гершензона в книге «История молодой России», М. 1923. *С. Ш.*

И. Ф. Гильдебрандта, а младшая за моего товарища по институту князя П. Н. Максутова и впоследствии вторым браком за генерал-адъютанта Посьета. Они, а равно Варвара Петровна Полуденская и сестра моя служили украшением танцовальных вечеров, дававшихся Левашевыми в зиму 1832—1833 г.

С. Н. Муравьеву и мне очень нравилась В. П. Полуденская и мы вместе ходили на гулянья, чтобы встретить ее, но она вскоре была помолвлена за Ф. Н. Лугинина. Мы ее встречали тогда под Новинским под руку с женихом. Спустя несколько лет Лугинины разошлись. Н. Х. Кетчер, которого Герцен очень живо и верно описал, бывал каждый день у Левашевых. Он имел чрезвычайно неприятную наружность и неприятные манеры: не знаю, что могло в нем нравиться Левашевой. Кетчер постоянно играл в шахматы с Н. В. Левашевым.

*Я еще встречусь с ним в «Моих воспоминаниях»; теперь же не могу не заметить, как * Кетчер для меня и для многих других служил загадкою в том отношении, что он, участвуя в начале 30 годов во всех происшествиях, за которые Герцен и многие другие были наказаны административным порядком, не подвергался никаким преследованиям. В 1836 г. он перевел с французского языка наделавшее много шуму «философское письмо» Чаадаева, за которое последний объявлен сумашедшим, журнал «Телескоп», в котором помещен этот перевод, запрещен, редактор журнала и цензор пострадали,—один переводчик остался без преследования, даже никто не спросил о том, кто пере-

водил письмо Чаадаева и с дозволения ли последнего этот перевод напечатан. Эта загадка относительно Кетчера осталась неразгаданною для меня и до сего времени. [1] Рукописное письмо Чаадаева по-французски читали в Москве очень многие, и никто им не оскорблялся; оскорбил же почти всех напечатанный перевод этого письма. Нет сомнения, что Чаадаев знал о переводе и о его печатании и этому не препятствовал, но не более. Письмо было напечатано с целью увеличить число подписчиков на журнал, т.-е. из-за денежных выгод, в которых Чаадаев не участвовал.

С. Н. Муравьев жил во флигеле дома Левашевых, вследствие их дружбы с братом Муравьева, Михаилом Николаевичем. Не знаю, почему у них же во флигеле жил М. А. Бакунин,

[1] Н. Х. Кетчер (1809 — 1886) — известный участник кружков Станкевича и Герцена. В 1828 г. выпустил перевод «Разбойников» Шиллера, затем много других переводов, перевел и издал по-русски всего Шекспира, редактировал издание сочинений Белинского. Пользовался уважением так называемых людей 40-х годов, но участие его в передовых кружках того времени сводилось к личным дружеским отношениям с членами этих кружков, к шумливой суете, сопровождавшейся не умеренными выпивками. Белинский называл Кетчера «несносным крикуном». Поэтому Кетчер не казался правительсту опасным в политическом отношении. Пушкин считал кетчеровский перевод чаадаевского письма превосходным, что он и высказал в письме к автору от 19 окт. 1836 г. Здесь и дальше Дельвиг отзывается о Кетчере пристрастно-отрицательно. Друзья оставили о нем воспоминания, как о человеке хорошем и отзывчивом, несмотря на некоторые его недостатки. *С. Ш.*

человек неприятный в обращении и которого многие называли «косматая порода». Он носил очень длинные волосы, которые были весьма густы, вились от природы, редко расчесывались. Во время его жительства у Левашевых, он был предан изучению Гегеля. Г. А. Замятин был родным дядею Н. В. Левашева. Промотав самым глупым образом довольно большое состояние, он остался без всяких средств к жизни и потому принужден был жить в чужих домах. Сначала жил он в домах родных жены своей, Викулиных, но необъяснимое желание своими сплетнями всех перессорить, возбуждать прислугу против господ, которые ему давали приют, толковать последней евангелие по школе Вольтера, в которой он был воспитан, побуждало всех расставаться с ним. Не находя более приюта у Викулиных, Замятин просил такового у Левашевых. Я передал Е. Г. Левашевой все, что знал о Замятине. Но она была уверена в том, что Замятину не удастся своими сплетнями поссорить ее не только с мужем, но и ни с кем из живущих в ее доме, и что он не может иметь особого влияния на ее прислугу. Конечно, он не успел поссорить ее ни с кем, но своими сплетнями делал разные неприятности ее дочерям, а в особенности их двум гувернанткам, которые были примерными женщинами.

В пример сплетничества Г. А. Замятина расскажу следующую его проделку. Когда сын последнего, назначенный жандармским штаб-офицером в Вятку, проезжал через Москву, Е. Г. Левашева просила его отвезти ее письмо

к Герцену, если Замятин не найдет этого неудобным, так как Герцен был сослан в Вятку под надзор полиции. Замятин не находил в этом никакого неудобства и взял письмо от Левашевой, которое позабыл на столе у отца. Последний вместо того, чтобы отдать его сыну, полюбопытствовал узнать, о чем может писать Левашева к Герцену, и распечатал письмо. Вскоре из писем Герцена Левашева увидала, что он ее письма, переданного А. Г. Замятину, не получил, чему она очень удивлялась и выражала свое удивление мне и отцу его, который вследствие этого решился запечатать письмо и отправить к своему сыну, давно забывшему об этом письме за хлопотами по переезду и по вступлению в новую, незнакомую ему должность. Последний, не обратив внимания на то, что письмо явно было распечатано, отослал его к Герцену, который при первой встрече с Замятиным очень резко заметил, что Замятин напрасно принял на себя подобное поручение от Левашевой и что, имея средства читать чужие письма так, чтобы это не было заметно, Замятину не было надобности дурным припечатанием письма выказывать так явно, что оно было читано. Замятин ничего не отвечал и только по обыкновению своему улыбался, что еще более бесило Герцена.

В 1858 году в Лондоне Герцен говорил мне, что он постоянно был всеми преследуем в России, что и побудило его оставить ее, что не преследовали его только бывший московский комендант Сталь и вятский жандармский штаб-офицер Замятин и что последний, несмотря

на дерзкое с ним поведение Герцена, много сделал для улучшения его положения. Герцен мне рассказывал это, вовсе не зная, что Замятин женат на моей родной тетке. Кроме хороших отзывов о Герцене, в установленные сроки представляемых шефу жандармов, [1] Замятину удалось помочь Герцену следующим образом.

Во время путешествия наследника (императора Александра II) по России, бывший вятский губернатор Тюфяев сделал распоряжение о сборе огромного количества крестьян для исправления дорог и для торжественной встречи во всех селениях Вятской губернии, через которые наследник должен был проезжать. Пора была самая рабочая, и Замятин просил губернатора отменить сбор народа для встречи в виду того, что полевые работы не могут быть отложены. Тюфяев не принял совета Замятина. Последний об этом донес своему начальству, и Тюфяев, на которого по другим поводам поступило много жалоб, был удален от должности. Замятину был поручен прием наследника, который оставался дня три в Вятке и должен был между прочим осмотреть приготовленную к его приезду выставку местных сельских произведений. Замятин доложил наследнику, что, состоя постоянно

[1] А. Г. Замятин сообщал своему жандармскому начальству, что Герцен чистосердечно раскаялся в своих заблуждениях и что его можно вернуть из ссылки в Москву. Сам Герцен говорит в письмах к друзьям (см. Сочинения под ред. М. К. Лемке. т. 22, указатель) об оказывавшейся ему Замятиным поддержке. *С. Ш.*

в военной службе, он ничего не может объяснить на выставке, что мог бы сделать весьма образованный человек Герцен, если на это наследник даст дозволение, так как Герцен сослан в Вятку под надзор полиции. Наследник согласился, и таким образом Герцен провел несколько часов с наследником, по просьбе которого государь приказал перевести Герцена во Владимир, с определением в государственную службу.

Когда проделка с письмом Левашевой к Герцену сделалась известна, Левашева спрашивала Г. А. Замятина, зачем он задержал ее письмо. Этот 70-летний старик по обыкновению своему вынимал табакерку, бил по ней пальцами и отвечал: «Да, задержал». На вопрос — зачем он распечатал письмо, отвечал также: «Да распечатал», и более нельзя было ничего от него добиться. Наконец, в доме Левашевых бесконечные сплетни Г. А. Замятина надоели, и он должен был оставить этот дом и поселиться в Москве на небольшой квартире. Он вскоре умер в имении Викулиных.

П. Я. Чаадаев познакомился с Левашевыми через М. А. Салтыкова и М. Ф. Орлова, скоро очень сблизился с ними и поселился в одном из флигелей их дома. Направление образования Левашевой и Чаадаева было одинаково и очень понятно, что они вскоре подружились. Чаадаев каждый день несколько часов проводил у Левашевых и почти каждый день у них обедал. Это сближение было необыкновенным счастьем для Чаадаева в особенности в то время, когда он был объявлен сумасшедшим и когда ему

запрещено было бывать у кого бы то ни было, но так как он жил на одном дворе с Левашевыми, то каждый день у них обедал и проводил у них почти все вечера. Прекрасный сад, которым был окружен дом Левашевых (впоследствии Шульца на Новой Басманной), больших любителей и знатоков садоводства, доставлял Чаадаеву в летнее время удобство для прогулок.

Если бы у Чаадаева не было этих ресурсов во время его мнимого сумасшествия, он действительно мог бы сойти с ума. В последнее время так много было писано о нем, что я, вполне согласный с теми, которые признают в Чаадаеве высокий ум и большое образование и которые справедливо оценивают его влияние на наше тогдашнее общество, ограничусь только несколькими о нем рассказами, поясняющими, до чего доходили его странности.

Чаадаев имел весьма приятное лицо, красивую наружность и вполне аристократические манеры. Достаточно было его видеть один раз, чтобы уже никогда не забыть. Он, растратив довольно значительное состояние, полученное от родителей и от разных родственников, оправдывал это тем, что ожидал скорой смерти и потому будто бы не берег состояния. Я думаю, что он был просто нерасчетлив, каковым остался и после своего раззорения.

Для поддержания своего существования он беспрерывно делал долги, возможность уплатить которые была весьма сомнительна. Имея уже весьма малые средства и живя во флигеле дома Левашевых, нанятом им за 600 р. асс. (171 р. сер.) в год, которых Левашевы никогда не получали,

он нанимал помесячно весьма элегантный экипаж, держал камердинера, которому дозволялось заниматься только чистою работою. Вся прочая работа по дому была поручена женщине и другому человеку, который не только чистил сапоги Чаадаева, но и его камердинера. Нечего и говорить, что Чаадаев был всегда одет безукоризненно. Перчатки он покупал дюжинами. Когда, надев первую перчатку купленной дюжины, он находил ее не вполне элегантною для его рук, то бросал всю дюжину, которою завладевал его камердинер и продавал в семье Левашевых.

Это напоминает мне следующий о Чаадаеве анекдот. В бытность лейб-гусарским офицером он зашел в Петербурге в магазин, чтобы купить какую-то безделицу. Продавец не обращал на него внимания, отвлеченный продажею довольно ценный вазы. Чаадаев, чтобы обратить на себя внимание, разбил эту вазу и немедля заплатил за нее.

В доме Левашевых Чаадаева, как нового знакомого и как человека действительно замечательного, принимали с особенным уважением. Он немедля воспользовался этим, чтобы играть в доме первостепенную роль, чем М. А. Салтыков был видимо недоволен. Чаадаев, поселясь во флигеле дома Левашевых, бывал у них чаще Салтыкова и завладел за обеденным столом, а также и в кабинете Левашевой, служившем постоянною гостиной, местами, которые занимал до него Салтыков, бывший годами двадцатью старше Чаадаева. Кончилось тем, что они поссорились, и Салтыков перестал ездить к Левашевым.

Чаадаев до того привыкал к местам, которые он выбирал для себя, что если пришедшие прежде его занимали эти места, то он ясно выказывал неудовольствие, был неразговорчив и скоро уходил. Это случалось с ним не только в доме Левашевых, но и в других домах, и в английском клубе, где он сидел обыкновенно на диване в маленькой каминной комнате. Когда его место было занято другими или когда в этой комнате, в которой обыкновенно не играли в карты, ставили стол для карточной игры, Чаадаев выказывал явное неудовольствие и во время крымской войны называл лиц, занимавших его место или игравших в этой комнате в карты, баши-бузуками.

В английский клуб Чаадаев приезжал всегда в определенные часы. К обеду по средам и субботам он приезжал, когда все уже сидели за столом. В другие дни он приезжал в клуб в полночь, и многие замечали, что он не входил в комнаты клуба прежде первого 12-часового удара.

С знакомыми Чаадаев был учтив, но вообще весьма сдержан; с людьми малого образования, не фешенебельными и в особенности с теми, которые не пользовались хорошею репутациею, он вел себя гордо, за что не был любим некоторою частью московского общества. Каждый понедельник по вечерам собиралось у него самое избранное мужское общество, несмотря на скромность помещения, занимаемого Чаадаевым, и на его отдаленность от центра города. Впоследствии это собрание было также по понедельникам, но между первым и пятым часом пополудни.

Все лица чем-нибудь замечательные, при проезде через Москву, непременно заезжали к Чаадаеву. Он даже замечал, что те из его прежних товарищей, значительно повысившихся в государственной службе, которые не заезжали к нему, не получали в следующий год служебной награды. Он обращал постоянное внимание на это повышение своих товарищей, часто находя, что они по своему образованию и способностям их не заслуживают, и говорил про дослуживпшихся до генеральских чинов, когда они получали новые награды; «а ведь я знал его просто капитаном», не обращая внимания на то, что времени прошли десятки лет.

Образ мыслей Чаадаева был либеральный в том смысле, как либерализм понимали у нас в то время. Он, конечно, желал свободы и просвещения, но это для избранного общества. Он не понимал нужд народной массы и, кажется, мало о ней заботился.

Тогда существовали две литературные партии, именно: западников и славянофилов. Обе очень уважали Чаадаева, который, конечно, принадлежал к первой партии. Он был с нею солидарен и в отношении к улучшению народного быта, так как между этими партиями была между прочим и та разница, что славянофилы поставили себе главною задачею освобождение крестьян из крепостной зависимости, а западники об этом мало думали. Вообще Чаадаев был человек не практичный. При этом мне припоминается частое его ко мне обращение после того, что я назначен был в 1852 г.

начальником московских водопроводов. Он говаривал мне:

— Вы знаете, как я вас люблю и как я рад, что вы живете в Москве, но право не могу понять вашего здесь назначения, я с ребячества жил в Москве и никогда не чувствовал недостатка в хорошей воде; мне всегда подавали стакан чистой воды, когда я этого требовал.

Эти слова вовсе не были с его стороны натяжкою. Он действительно полагал, что если он всегда имел чистую воду в Москве, то и все ее имели.

Чаадаев, гонимый правительством, постоянно был его оппонентом и любил это выказывать. Совершенное незнание России, потребностей народа и привычка к оппозиции довели его до того, что с воцарением императора Александра II, когда начали ходить слухи об освобождении крестьян от крепостной зависимости, он мне неоднократно говорил, что намерен запереться дома, так что только изредка будет видеться со мною и с самыми близкими ему людьми с тем, чтобы заняться сочинением, в котором он докажет необходимость сохранения в России крепостного права. К чести Чаадаева, постигшая его в начале 1856 г. смерть помешала ему написать это сочинение, если только он действительно намерен был осуществить свои слова.

Чаадаев был убежден, что его знакомство с А. С. Пушкиным с того времени, когда последний был еще в лицее, имело сильное влияние на развитие гения Пушкина, и потому всегда порицал тех, кто писал о Пушкине, не посоветовавшись предварительно с ним и в осо-

бенности сильно за это нападал на П. И. Бартенева (впоследствии издателя «Русского архива»).

Чаадаев очень гордился своим происхождением. Часто в московском английском клубе желавшие подразнить Чаадаева спрашивали его, как ему родня Михаил Иванович Чеодаев, бывший тогда генералом от инфантерии и командиром 6 пехотного корпуса. Чаадаев обыкновенно не отвечал на этот вопрос, но ближайшим своим знакомым говорил:

— Видите, до какой степени эти господа невежественны; они не знают, что я не Чеодаев, а Чаадаев, и не знают той роли, какую Чаадаевы играли в русской истории.

Генерал Чеодаев не имел никакого образования и разбогател злоупотреблениями по службе, а потому Чаадаев не только не был знаком с ним, но презирал его. Повторяю, Чаадаев был человек высокого ума и с большим образованием и если я описал только одни его странности, то это потому, что все, что можно было сказать о его уме, образовании и влиянии на тогдашнее общество, высказано во многих статьях, напечатанных в последнее время в разных журналах. [1]

[1] О Чаадаеве — исследование М. О. Гершензона (П. 1908), который издал также двухтомное собрание сочинений и писем Чаадаева (М. 1913 — 1914). Д. И. Шаховской розыскал в хранилищах Академии наук и в других архивах считавшиеся до наст. времени утраченными подлинники знаменитых философических писем Ч — ва, не только тех, которые были напечатаны но и целого ряда других, о существовании которых не было известно другим исследователям. *С. Ш.*

М. Н. Муравьев был женат на Шереметевой, Пелагее Васильевне. Мать последней, Надежда Николаевна Шереметева, также часто бывшая в Москве у Левашевых, была с ними дружна с давнего времени. Она имела поместье в Смоленской губернии по соседству с имением, в котором жили Левашевы до 1828 г. Вторая ее дочь, Анастасия Васильевна была замужем за двоюродным братом Е. Г. Левашевой, Иваном Дмитриевичем Якушкиным, сосланным в 1826 г. за участие в тайных обществах на каторжную работу. Жена его, молодая и красивая женщина, жила в Москве с двумя малолетними сыновьями.

Н. Н. Шереметева была женщина умная, добрая, но странная. Она в то время, когда дамы не ездили иначе, как в каретах и колясках, разъезжала по Москве в простых дрожках. Костюм ее был очень своеобразен. Она носила стриженные, хотя довольно длинные седые волосы и имела всегда костыль в руках. [1]

М. Н. Муравьев до 1826 г. жил в отставке, в деревне своей жены и, по дружбе последней с Левашевою, часто гостил с своим семейством в деревне у Левашевых. Муравьев мне неоднократно говорил, что он много обязан Левашевым тем, что когда упомянутое имение жены его было описано за долги, он жил с семейством у Левашевых, которые для того, чтобы избавить имение Муравьева от аукционной про-

[1] Над. Ник. Шереметева, рожд. Тютчева, тетка знаменитого поэта Ф. И. Тютчева, была приятельницей — «духовной матерью» — Н. В. Гоголя. *С. Ш.*

дажи, заложили свое смоленское имение. Тогда они сами не имели ничего более, так как отец Н. В. Левашева тогда еще ничего не отделил сыну из своего значительного состояния. Муравьев часто при мне напоминал об этом своим детям и сам помнил во всю свою жизнь.

Он никогда ни мне, ни жене моей не отказывал в наших просьбах, которые, конечно, бывали очень редки. Он меня очень любил и высоко ценил, как хорошего служаку, а потому постоянно желал, чтобы я служил под его начальством и даже в 1865 г., перед самым увольнением от должности генерал-губернатора северо-западного края, которого он нисколько не ожидал, будучи не в ладах со своим помощником генералом Потаповым, надеялся уговорить меня поступить на место последнего. Я же, зная строптивый характер Муравьева и не желая оставлять моей инженерной карьеры, постоянно не соглашался поступить под начальство Муравьева и тем менее мог бы согласиться заместить в 1865 г. Потапова, так как, по моему характеру, я вовсе не был способен к подобной должности в крае, состоявшем на военном положении. В бытность Муравьева гродненским военным губернатором старший сын Левашевых, Василий, состоял при нем на службе. По назначении Муравьева курским военным губернатором, он часто езжал в Петербург и во время его там пребывания жена его с детьми жила в Москве у Левашевых.

В одно из таких пребываний Муравьевой у Левашевых получено было известие о том, что государь, будучи доволен отчетом Муравьева по

Курской губернии, произвел его в генерал-лейтенанты. За обедом все поздравляли молодую генерал-лейтенантшу. Вскоре Муравьев воротился в Москву и, говоря со мною, заметил, что я будто бы как-то с особенным вниманием смотрю на его эполеты, и это, вероятно, потому, что нахожу на них две, а не три звездочки, обозначающие чин генерал-лейтенанта, и что это происходит оттого, что он действительно был произведен государем, но не благоволивший к нему военный министр граф Чернышев доложил государю, что он по списку генерал-майоров стоит очень низко и что его производством будут обижены многие старшие его весьма достойные, и затем производство Муравьева было отменено.

Странно, что подобная история повторилась с Муравьевым через несколько лет, а именно в 1842 г. Он в это время состоял директором департамента податей и сборов. По представлению министра финансов графа Канкрина, он был произведен в генерал-лейтенанты с назначением сенатором и получил уже уведомление об этом и поздравление от управлявшего тогда военным министерством, за отъездом графа Чернышена на Кавказ, графа Клейнмихеля. Но тот же Клейнмихель, не любивший Муравьева, доложил государю насчет производства последнего то же, что докладывал несколько лет назад Чернышев, и государь приказал отменить производство Муравьева в генерал-лейтенанты, а произвести его в соответствующий гражданский чин тайного советника.

В этом чине Муравьев состоял по 1849 г. и переименован был в этом году в генерал-лейте-

нанты по весьма странному случаю. Константиновский межевой институт, бывший прежде рядом с заведением Д. Н. Лопухиной, был переведен в весьма хороший дом на Старой Басманной. Задний двор этого дома был смежен с садом дома Левашевых, находившегося на Новой Басманной. Государь, по приезде в Москву, немедля посещал кадетские корпуса, куда проезжал через Старую Басманную улицу. Проездом в корпуса в 1849 г. он заметил на парадном крыльце межевого института швейцара, старого гвардейского унтерофицера с разукрашенною медалями грудью. При обратном проезде государь, увидав того же швейцара, вышел из коляски. Государь, назвав его по имени и спросив, что это за заведение и хорошее ли оно, вошел в классы, где было все готово для принятия высокого посетителя и были на лицо директор и инспектор института.

Государь был очень доволен заведением и нашел, что воспитанники не имеют надлежащей выправки, не получая фронтового образования, которое по его мнению им необходимо, и спросил у директора и инспектора о том, где они прежде служили. Узнав от них, что первый был на военной службе, а второй в корпусе инженеров путей сообщения, он сказал, что они должны быть переименованы в военные чины.

М. Н. Муравьев, бывший в то время главным директором межевого корпуса и находившийся в Москве, был позван к государю, который объявил ему, что он желает, чтобы Константиновский межевой институт был образован на военную ногу, при чем переименовал Муравьева

в генерал-лейтенанты. Вследствие этого повеления межевой институт преобразован по образцу института инженеров путей сообщения, выпускаемые из межевого института воспитанники получали военные чины с названием межевых инженеров и гл. директору межевого корпуса предоставлено представлять находящихся на службе землемеров, по его выбору, в военные чины, соответствующие их гражданским чинам. Таким образом М. Н. Муравьев добился чина генерал-лейтенанта и образовалось новое ведомство с военными чинами под названием межевого корпуса, который в 1867 г., вместе с корпусами инженеров путей собщения, горных инженеров и лесничих, был снова преобразован в гражданское ведомство.[1]

Сверх вышепоименованных мною лиц, с которыми я познакомился у Левашевых, я часто у них видал умную и образованную Анисью Федоровну Вельяминову-Зернову, вышедшую в 1837 г. на 50 году от роду за Кологривова и приезжавшую каждую зиму из Петербурга гостить несколько месяцев у Левашевых, Екатерину Петровну Дубянскую, также женщину большого ума и весьма образованную. Она была лучшим другом Е. Г. Левашевой, что и доказывала своими ежегодными приездами, ко-

[1] Очень интересную характеристику М. Н. Муравьева и любопытные подробности из его служебной карьеры, в том числе по поводу рассказанного здесь, приводит служивший при Муравьеве именно по межевому корпусу известный писатель Н. В. Шелгунов в своих воспоминаниях (изданы в 1923 г. под ред. А. А. Шилова). *С. Ш.*

торые без железной дороги были далеко не так удобны, как теперь. Эта Дубянская была вдова одного из братьев Дубянских, от которых получил большое наследство генерал-адъютант Николай Васильевич Зиновьев.

По возвращении в Колодезское, я ездил к моей воспитательнице, С. М. Боратынской, жившей в имении своего мужа в Кирсановском уезде, Тамбовской губернии. Ехал я на сдаточных и, останавливаясь в крестьянских избах на время, в которое меняли лошадей, видел грустный быт наших крестьян в одной из хлебороднейших губерний. В этом году крестьяне еще более обнищали по случаю сильного неурожая и чрезвычайно возвысившейся цены на хлеб. В деревне Боратынских жили, кроме С. М. Боратынской и ее мужа, мать последнего, больная старушка, которую я, во все мое у них пребывание, не наблюдал, и братья его: поэт Е. А. Боратынский с женою, урожденную Энгельгард, и детьми и Лев Абрамович Боратынский, который был женат на своей крепостной, не показывавшейся в семействе Боратынских. Он был большой пьяница. Все четверо братьев Боратынских любили выпить более должного. Четвертый их брат Ираклий Абрамович жил в Петербурге. Он, по званию адъютанта генерал-фельдмаршала графа Дибича, был прислан в Петербург с известием о сражении при Остроленке и, по смерти Дибича, был назначен флигель-адъютантом. Я в 1831 г. часто видал его у Дельвигов. С. М. Боратынская была чрезвычайно рада меня видеть, она, и совершенно по

праву, смотрела на меня, как на своего воспитанника. Ее ко мне отношение не вполне понималось ее вторым мужем, который впрочем выказал также удовольствие моему приезду.

Жизнь в деревне у Боратынских была устроена на английский манер, вероятно, в подражание их соседу Кривцову[1] большому англоману, человеку очень умному, но взбалмошному до неистовства, так что в бытность его губернатором советники губернского правления решились составить журнал, которым его самовольно отставили от должности. Вслед за тем он действительно был уволен от службы и жил в своем Кирсановском имении, устроенном по английскому образцу.

Утро в деревне Боратынских посвящалось занятиям каждого в своем помещении; все собирались к часу пополудни вместе завтракать; после завтрака некоторые оставались в общей зале, другие расходились до обеда, который подавали в семь часов вечера. После-обеденное время до полуночи все проводили вместе в разговорах и за карточной игрой. После полуночи С. А. Боратынский приглашал в свой кабинет меня в халате, и мы втроем, он также в халате и жена его в дезабилье, проводили часа полтора в полутемноте при пылающем камине. В это время мы оставались как бы в тесном семейном кругу, вспоминали прошедшее и пили хорошие

[1] Ник. Ив. Кривцов, друг Пушкина и брат декабриста С. И. Кривцова. О нем — в интересной книге М. О. Гершензона «Декабрист Кривцов и его братья», М. 1914. *С. Ш.*

вина. С. А. Боратынский хотел этими приглашениями показать мне, что он вполне понимает мою, так сказать, сыновнюю любовь к его жене, побудившую меня приехать к ним за несколько сот верст. Но мне казалось, что он вместе с тем ревниво наблюдает за моим обращением с его женою.

Во время после-обеденных разговоров Боратынские, а также и часто бывавший у них Кривцов, удивлялись моим разнообразным познаниям не только в положительных науках, но и в стратегии, о которой я прочем сам имел самое поверхностное понятие, и радовались, что образование нашего юношества приняло такое практическое направление и что оно уже выработало такую, по их мнению, замечательную личность, как моя и, конечно, многие другие.

В обратный путь я выехал за несколько дней до праздника рождества Христова в одно время с Кривцовым, с которым мы должны были расстаться в Тамбове, так как он ехал в Москву, а я в Задонск. Снег в то время был очень глубокий, а экипаж Кривцова был на колесах. Я советовал поставить его на полозья, но он уверял, что доедет до Москвы на колесах и бился со мною об заклад на 25 р. асс. Он столько натерпелся в проезд от деревни Боратынских до Тамбова, что последние, провожая нас, уговорили его поставить карету на полозья, говоря, что самое меньшее, что он может потерять при падении, это свою чрезвычайно искусно сделанную в Англии деревянную ногу, стоившую, кажется, 5000 р. асс. (1428 р. сер.), которая ему хорошо заменяла ногу, потерянную им

в Бородинском, помнится, сражении. Конечно, Кривцов заплатил мне заклад.

В 1833 г. выпущены из института путей сообщения мои товарищи барон Фиркс, впоследствии известный под псевдонимом Schedo-Ferroti (Шедо-Ферроти), и два брата князья Максутовы. Они все трое очень любили танцовать и в Петербурге ездили на публичные танцовальные вечера и в общества статских и действительных статских советников. Тем с большим рвением они пустились в танцы в Москве, где, по недостатку кавалеров, было им радо самое лучшее общество, так что Фирксу не было более надобности лгать, как он это делал в Петербурге, что он накануне был на балу chez la princesse ou chez la comtesse (у княгини или графини). Так между прочим он, протанцовав целую ночь в петербургском пансионе г-жи Паль, уверял на другой день своих товарищей по институту, что он был у графини Пален, пока бывшие с ним на вечере у г-жи Паль князья Максутовы не изобличили его во лжи. И к чему Фиркс так заботился уверять, что он принадлежал в Петербурге к аристократическому обществу? Большая часть его товарищей не придавали этому никакой цены, не потому, чтобы они были заражены демократическими идеями, а просто по непониманию, что такое аристократия и какое ее значение. Фиркс в Москве действительно посещал высшее общество, как он с особенным ударениям говорил: «la haute société», и потому бывал в обществе действительных графинь и в особенности

княгинь и княжен, которыми Москва очень обильна.

Помещики отдавали тогда в ученье разным мастерствам детей своих крепостных дворовых людей и даже крестьян. Богатые помещики, по окончании ученья этих мастеровых, брали их к себе во двор, бедные же пускали их по оброку, который назначался самими помещиками и был тем значительнее, чем мастеровые оказались способнее к своему мастерству. Мать моя имела такого человека, который был отличным сапожником, хорошего поведения и мог бы скоро сделаться хорошим хозяином сапожного мастерства. Он платил большой оброк, и мать моя, желая увеличить мои денежные средства, подарила мне его в день моего рождения, 13 марта. Но человек этот незадолго перед тем умер, и я скрывал его смерть; теперь я должен был сказать матери о смерти этого человека, что ее очень огорчило.

В 1833 г. умер герцог Александр Виртембергский, и в октябре этого года был назначен главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями генерал-адъютант граф К. Ф. Толь. Прибавление к титулу главноуправляющего слов «и публичными зданиями» произошло потому, что перед назначением Толя гражданская строительная часть империи перешла из министерства внутренних дел в главное управление путей сообщения.

Граф Толь был известен как отличный военный. Он играл значительную роль в 1812 г. в звании генерал-квартирмейстера действующих армий, будучи еще в чине полковника. Он

с отличием служил в 1813 — 1814 г., а также в должности начальника главного штаба армии в турецкую кампанию 1829 г. и польскую 1831 г. В последнюю он особенно отличился под Остроленкою, и ему приписывают скорое взятие штурмом Варшавы, так как главнокомандующий фельдмаршал Паскевич был контужен в самом начале штурма и сдал команду Толю.

Постоянные несогласия между Паскевичем и Толем, человеком весьма самостоятельным, заставили последнего покинуть армию и, кажется, без дозволения государя, который, по приезде Толя в Петербург, был к нему неблагосклонен. Через несколько месяцев Толь был приглашен во дворец к государю, и пока он дожидался приема, из кабинета государя вышел военный министр, генерал-адъютант граф Чернышев, который объявил Толю, что он призван государем для того, чтобы назначить его членом военного совета. Толь очень резко отвечал, что он этого звания не примет, так как военный министр председательствует в означенном совете, а между тем Чернышев моложе его в чине, что он находит это не только оскорбительным для себя, но и вредным для служебного порядка. Вслед затем он вышел из дворца и уехал в свое небольшое эстляндское имение. Государь, предполагая в 1833 г. назначить Толя главноуправляющим путями сообщения, не вызывал его в Петербург, а проезжая через Эстляндию, вызвал его на ближайшую от деревни Толя почтовую станцию, на которой и подписал указ о его назначении. Выбран же был Толь в эту должность потому, что слыл за весьма

строгого и сурового человека, когда состоял начальником штаба I армии, а государь не любил ведомства путей сообщения, полагая, впрочем очень неправильно, что в нем распространены либеральные идеи, и с большею справедливостью, что в нем распространено казнокрадство, и надеялся, что Толь в состоянии будет искоренить и то и другие.

Толь начал свое управление под этим впечатлением и в своих приказах выказывал разные строгости, между прочим дошел до того, что объявил в приказе, что он будет исключать из службы не только инженеров, провинившихся в чем бы то ни было, но даже и тех, которые подпадут под следствие по какому бы то ни было неблаговидному делу, хотя бы они оказались по следствию невиновными. Он особенно гнал высшие лица ведомства, как более приближенные к покойному герцогу. Так, он немедля заставил выйти в отставку начальника штаба корпуса путей сообщения Варенцова, директора департамента путей сообщения (тогда единственного в главном управлении) Борейшу, а вслед затем директора института инженеров путей сообщения Базена. Увольнением последнего он сделал большую ошибку. Через несколько дней Базен снова был принят на службу в военные инженеры, но по болезни службою более не занимался, уехал в Париж, где и умер.

Летом 1834 г. ездили верхом в Троицко-Сергиевскую лавру два князя Урусовы, из которых один князь Сергей Николаевич, теперь (1873 г.) председателем департамента законов

в государственном совете и главноуправляющим II отделением собственной его величества канцелярии, и братья Сухотины. Все они были тогда очень молоды и их одних не отпускали в лавру, а потому они упросили меня ехать с ними, в виде ментора. Таким образом я был в первый раз в лавре. С родителями Сухотиных, с матерью князей Урусовых и бабкою их Анастасиею Николаевною Хитрово мать моя была давно знакома. У последней, отличавшейся разными эксцентричностями, между прочими, приемом по утрам в постели, — бывали каждую зиму по четвергам танцовальные вечера и балы.

Конечно, с первой же зимы, по приезде моем в Москву, я посещал эти четверги и, окруженный обоими Урусовыми, Сухотиными и другими молодыми людьми, воспитанными в страхе божием и в ненависти к идеям французской революции 1789 г., убеждал их, что эта революция дала весьма благотворные для человечества последствия. Молодежь меня слушала со вниманием, но считала богоотступником, что мне нередко напоминал князь Сергей Урусов, с которым в 1869, 1870 и 1871 гг. мне часто приходилось заседать в государственном совете и в комитете министров. Конечно, родители этой молодежи не знали о моей проповеди, а то не отпустили бы ее со мною в лавру. Мать Урусовых, княгиня Ирина Никитична, была очень набожна и в особенной приязни с моею матерью, с которой очень часто встречалась в церкви Троицы в Зубове, в приходе которой был дом Урусовых, а дом дяди князя Волконского, в котором мать жила каждую зиму, был в одном переулке с этою церковью.

По отъезде моей матери из Москвы с тем, чтобы постоянно жить с дочерью, я сделался более свободным в выборе моих знакомых. В Москве процветало тогда заведение искусственных минеральных вод. Для пользования ими приехала в Москву жена Орловского помещика Елисавета Антоновна Цурикова. Ей сопутствовал ее сын Александр Сергеевич Цуриков, который, по отъезде его матери, остался в Москве. Я не помню, где и по какому случаю мы познакомились, но очень скоро сошлись и жили душа в душу.

Цуриков был воспитанником института инженеров путей сообщения, в котором он кончил курс в тот год, в который Гумбольдт посетил Россию. Цуриков отлично говорил по-французски и был вообще красноречив. Начальство института не упустило случая блеснуть таким воспитанником на публичном экзамене, на котором присутствовал Гумбольдт и много других знатных и ученых лиц. Цуриков заслужил тогда особое внимание Гумбольдта, но, несмотря на это, был выпущен подпоручиком, тогда как все выпускались поручиками. Причиною этого было недостаточное число баллов из поведения, бывшее последствием неаккуратного посещения Цуриковым лекций и его резкого обращения с некоторыми из профессоров. Он был назначен, по выпуске из института, на работы по устройству Виндавского сообщения, где произведен в поручики и, состоя в одном из отрядов, действовавших против польских мятежников в наших западных губерниях, получил орден св. Анны 3 ст. с бантом.

Тогдашние занятия инженера путей сообщения были совсем не по характеру Цурикова, и он, скучая в деревнях, в которых приходилось ему жить при производстве работ по Виндавскому каналу, предался разврату и в особенности пьянству, а также производил разные шалости, которые могли иметь для него дурные последствия. Все эти причины побудили его оставить службу по окончании польской кампании и поселиться в деревне его отца с. Лебедке, в 25 верстах от г. Орла. Строгость и суровость отца были причиною того, что он перебрался в Москву, где появление в высшей степени образованного и начитанного молодого человека, обладающего огромною памятью и замечательным красноречием, с необыкновенно живыми черными глазами и выразительною физиономией, произвело большой эффект. С самого начала нашего знакомства мы так полюбили друг друга, что я один мог себе позволять говорить Цурикову такую правду, за которую он, чрезвычайно вспыльчивый и резкий, с другим, конечно, стрелялся бы.

Цуриков скоро предложил мне жить вместе. Он получал от отца 6000 р. асс. (1714 р.) в год и следовательно имел более средств к жизни, чем я, и потому я не соглашался на его предложение. Но он, не принимая в соображение моих отговорок, переехал ко мне во флигель дома дяди моего князя Дмитрия Волконского.

Изобретенный мною способ устройства ключевых бассейнов и замеченные Цуриковым во мне познания в математике и литературе, которые он легко мог оценить, сделали меня

в его глазах первым инженером, каким он прокричал меня по Москве.

Составленную мною брошюру под заглавием: «Некоторые вопросы, относящиеся до старого московского водопровода», переведенную мною в 1835 г. на французский язык и которую я, по недостаточному знанию этого языка, хотел дать исправить какому-нибудь французу, Цуриков взялся немедля исправить. Но исправив одну страницу, он был ею недоволен и снова принимался за ее исправление, так что он не исправил этой маленькой брошюры до самой женитьбы моей в 1838 г., и вот почему эта брошюра, не вполне исправленная Цуриковым, появилась в печати только в 1839 г.

Цуриков, при разговорах никогда не затруднявшийся в выборе выражений и всегда говоривший хорошо, напротив того затруднялся при письме и всегда находил, что написанное им не довольно выразительно. Это была одна из множества странностей Цурикова.

Живя с ним, я полагал своим влиянием хотя несколько усмирить его страсти и воспользоваться для себя его блестящими разнообразными познаниями. Не знаю, насколько успел в последнем, а в первом не только не было успеха, но я сам увлекался вместе с Цуриковым. Мы много пили вина и пьянство доходило до того, что мы по ночам у Копа (где ныне гостиница «Дрезден»), выпив бутылок по шести на брата, еще отвозили домой несколько бутылок. Цуриков пьяный был шумлив. В этом виде ему случалось отправляться по ночам в гостинице Копа в 3 этаж буянить и стучаться в двери

своих знакомых, браня их. Конечно, двери не отворялись, а остановить Цурикова от подобных проделок не было возможности по причине его необычайной силы. Цуриков, напившись раз до пьяна у Копа, проезжая мимо дома московского военного генерал-губернатора князя Дмитрия Владимировича Голицына, которого он очень уважал и при котором состоял на службе, вылез из саней, ругался и лег на снег. Всегда хваставший своей силою, он валил длинные заборы у домов, конечно, уже несколько подгнившие.

Но не постоянно же мы пьянствовали и буянствовали; большую часть времени мы проводили в серьезном чтении, и в этом я руководился познаниями Цурикова.

Через меня Цуриков познакомился с моими товарищами бароном Фирксом и двумя братьями князьями Максутовыми, из которых полюбил младшего, Петра. Фиркс, видя успехи Цурикова в московском обществе, силою навязывался на дружбу с ним.

Между странностями Цурикова была следующая: он влюблялся в ту девицу которую объявляли невестою или которой жених был уже назначен общим говором.

В это время все говорили, что Фиркс, весьма некрасивый лицом, женится на Екатерине Александровне Соймоновой. Этого было достаточно для Цурикова, чтобы влюбиться в нее, хотя она при большом уме была и не молода и нехороша собою. Соймонов отец, не имея понятия о прибалтийской аристократии, не давал согласия на брак дочери с Фирксом, опасаясь мезальянса.

Цуриков казался ему гораздо лучшим женихом, и потому в бытность Цурикова в подмосковной Соймоновых, он был очень благосклонно принят родителями Е. А. Соймоновой, а вероятно и ею, потому что нельзя было не восхищаться умом Цурикова. Фиркс, по возвращении Цурикова от Соймоновых в Москву, находясь на работах по соединению рек Волги и Москвы, в 60 верстах от города, писал несколько длиннейших немецких писем к Цурикову, в которых объяснял свою горячую любовь к Е. А. Соймоновой и дружбу к Цурикову, надеясь, что последний не захочет сделаться преградою его счастию, и заканчивал свои письма следующими словами: «Катерину женою, а тебя другом, это мои два наибольшие желания».

Смеясь от всей души над этими немецкими элегическими посланиями, я насилу мог убедить Цурикова, что его внезапная любовь к Соймоновой существует только в его воображении на очень короткое время и чтобы он напрасно не тревожил Фиркса. Предположение о женитьбе Фиркса на Соймоновой продолжалось несколько лет до его отъезда из Москвы в Одессу и даже позже, в конце 40 годов, но женитьба эта не состоялась.

Точно также Цуриков, узнав, что княжна Наталья Александровна Урусова, которую он постоянно заочно бранил, помолвлена за графа Кутайсова, влюбился в Урусову и искал случая поссориться с Кутайсовым. Гораздо позже, приехав из деревни в Москву и узнав, что княжна Екатерина Александровна Черкасская, действительно, очень хорошенькая собою и

впоследствии очень прославившаяся своими эксцентричностями, должна вскоре выйти замуж за Рябинина, он решился увезти ее из отцовского дома. Я жил в это время с князем Петром Максутовым. Мы оба были очень больны и не выходили из комнаты.

Цуриков требовал от нас, чтобы мы немедля ехали ему помогать увозить Черкасскую, уверяя, что она будто согласна и ждет его, а им уже приготовлены лошади. Мы решительно отказались, ссылаясь на наше действительно болезненное состояние, чего Цуриков не хотел принимать в соображение и сильно настаивал на своем требовании. Вскоре свадьба Рябинина с Черкасскою состоялась. Я никогда более не затрагивал в разговорах с Цуриковым этого щекотливого вопроса, и потому не знаю, до какой степени справедливы его рассказы о согласии Черкасской уехать с ним из отцовского дома.

Осенью 1834 г. была свадьба дочери Е. И. Нарышкиной Екатерины Ивановны и графа Михаила Дмитриевича Бутурлина. Для свадьбы был нанят дом партизана Давыдова на Пречистенке, мне очень знакомый, так как я в нем бывал у Екатерины Александровны Бибиковой, матери известного генерал-губернатора Юго-западного края и впоследствии министра внутренних дел, которая как-то считала нас своею роднею и была очень ко мне расположена.

Молодая невеста была хороша собою и очень живая особа. Она мне весьма нравилась. Жених же хотя и не был стар, но изнеможенный, беззубый и очень ограниченного ума. Со стороны

невесты, которую я очень часто видал, не было никакой наклонности к жениху, но мать ее, бывшая воспитанница матери графа М. Д. Бутурлина, хотя впоследствии и вышла замуж за Нарышкина, двоюродного брата мужа последней, привыкла высоко ставить род Бутурлиных и потому сильно добивалась этой партии для дочери. Она рассчитывала и на богатство жениха, которое было мнимое, так как старший его брат, принявший римско-католическую веру и живший за границей, сильно обделил его, а сам жених, дурным управлением доставшейся ему части имения и безрасчетливою жизнию, совершенно его расстроил, что и оказалось вскоре после женитьбы в такой степени, что Бутурлиным нечем было жить, кроме доходов с небольшого имения, доставшегося Е. И. Нарышкиной и ее дочери от их мужа и отца. Опекуном над детьми Е. И. Нарышкиной был вместе с ней дядя мой князь Александр Волконский, который также был доволен замужеством молодой Нарышкиной. Дядя был человек умный, но всегда соглашался с мнением Е. И. Нарышкиной, довольно пустой женщины, которую он почему-то считал умною.

А. И. Нарышкин, с которым я подружился в 1832 г., приехал на свадьбу сестры. В два года, проведенные им на Кавказе, он был произведен в прапорщики Нижегородского драгунского полка и получил, еще юнкером, георгиевский крест. Я не встречал в свою жизнь человека, который умел бы так горячо любить. Его привязанность ко мне и моему семейству была постоянна до самой его смерти. Его самоотвержение для

друзей не имело пределов. При весьма красивой и замечательной наружности, в мундире Нижегородского драгунского полка, он производил такой эффект, что многие дамы, при появлении Нарышкина в театре, посылали узнавать его фамилию. Образование его было несолидное, но он говорил по-французски безупречно, и этого было весьма достаточно в известном классе тогдашнего общества. Он любил фрондировать и эта страсть впоследствии довела его до того, что он многое и многих бранил нещадно, в особенности действия правительства и правительственных лиц, так что все удивлялись тому, как он избежал нападений III отделения собственной его величества канцелярии, которое в то время действовало очень строго.

Нарышкину очень нравился французский театр, в котором и я бывал часто, употребляя иногда последние 5 р. асс. на покупку билета в кресло. Он влюбился во второстепенную актрису Annette и всюду за ней гонялся. Вообще он был очень подвижен, и мы смеялись, что нанятые им помесячно дрожки, запряженные парою лошадей, можно было видеть в одно и то же время в разных местах, отстоящих друг от друга на несколько верст. Я видался с Нарышкиным ежедневно.

Перед приездом дяди Дмитрия в Москву, который должен был занять те комнаты в своем доме, в которых жили я и Цуриков, мы наняли в приходе Неопалимой купины особый домик, принадлежавший моему начальнику, полковнику Максимову, который в это время перешел в купленный им дом Волкенштейна.

Еще в доме Волконского к нам приезжал Фиркс с работ по соединению рр. Волги и Москвы и гостил у нас по нескольку дней. Праздничные и воскресные дни проводил у нас мой внучатый брат, кадет московского кадетского корпуса Иван Николаевич Колесов, впоследствии тайный советник, член советов министерства финансов и управления главного общества российских железных дорог от того же министерства, а иногда и другой внучатый брат мой кадет того же корпуса Андрей Михайлович Золотницкий. Это продолжалось и в доме Максимова.

Фиркс проводил зимнее время в Москве и никогда не жил своим домом. Зиму 1833—1834 г. он прожил у братьев князей Максутовых. С ноября 1834 г. по май 1835 год он прожил у нас в доме Максимова. Все его расходы состояли в содержании экипажа и пары лошадей. Он сам покупал для них овес, сено и солому. Для этого с завитыми в бумажки волосами, он рано утром, в старой шинели и старой фуражке, отправлялся на рынок и всегда покупал фураж для лошадей очень дешево. Он обращался с прислугою очень резко, как большая часть его земляков, позволял себе даже драться с нею, так что Цуриков и я неоднократно повторяли ему, что мы не можем допустить подобного обращения. Он нанимал очень видного кучера, который после побоев отходил от него и потом снова поступал на службу к Фирксу. Впоследствии они заключили письменное условие, что Фиркс его бить не будет. Конечно, это условие было бесполезно.

Фиркс был большой болтун и хвастун. Большею частью говорил по-французски, делая много

ошибок, писал же на этом языке с грамматическими и орфографическими ошибками, так что если все написанное во множестве изданных им про Россию брошюр принадлежит его перу, что подлежит еще большему сомнению, то, конечно, кто-нибудь постоянно исправлял французский язык в его брошюрах. Он везде старался щеголять фразами, повторяя часто целиком фразы, принадлежавшие Цурикову, и своими познаниями в инженерном искусстве, при чем и меня, вместе с Цуриковым, прославлял первостепенным инженером, будто высоко ценящим его познания. Цурикову иногда приходило в голову наказать немца за его назойливость, и он в обществе очень едко острил над ним в его присутствии, а дома в те дни, когда у нас ночевал кадет Колесов, приказывал ему стлать постель на диване, на котором спал Фиркс, а последнему класть матрац на полу. Прожив у нас более 6 месяцев, не платя ни за квартиру, ни за стол, Фиркс накануне своего выезда из Москвы в мае 1835 г., по возвращении моем домой часу в 12 ночи, предъявляя мне счет в 16 р. асс. с копейками, издержанных им в продолжение 6-ти месяцев на покупку чая, сахара и свеч, вероятно, в то время, когда у нас был недостаток, сказал: «Любезный брат, я это издержал, а потому ты должен мне 5 руб.». Третья доля расхода Фиркса составляла ровно 5-рублевую ассигнацию, которая ходила тогда с лажем нескольких копеек. Я немедля такую ассигнацию дал Фирксу и лег спать. Вскоре приехал Цуриков, к которому Фиркс обратился с теми же словами, но тут вспыльчивый Цури-

ков не выдержал, разбранил Фиркса, указывая ему, что, живя у нас более полугода на всем готовом, мы конечно на него издержали не 16 р. асс., и не только не отдал ему 5 р., но требовал чтобы и я взял обратно отданную мною Фирксу ассигнацию.

Потом мы узнали, что Фиркс поступил таким образом не в первый раз. Директором работ по соединению рр. Москвы и Волги был инженер подполковник Николай Николаевич Загоскин, женатый на Мертвого, красивой и очень остроумной женщине. Загоскин жил в ее имении, в 2 верстах от Клина. Производители работ по соединению означенных рек часто проводили у него по нескольку дней, как для занятий по службе, так и просто гостями.

Однажды Фиркс приехал в имение Загоскина, который в это время был в Москве, и, прожив более недели у Загоскиной, собрался уехать накануне приезда ее мужа, при чем подал хозяйке счет сделанным им, в бытность у нее, расходам в несколько рублей. Трудно понять, чего могло не доставать Фирксу в хорошо обзаведенном доме Загоскина, и еще труднее понять подобный поступок Фиркса. Загоскина заметила ему с усмешкою, что он своим выездом накануне возвращения ее мужа сильно ее компрометирует; что же касается до сделанных им расходов, то они были напрасны, потому что все им купленное в Клину, в бытность в доме у Загоскиной, он мог бы потребовать от ее прислуги.

Между тем, несмотря на столь отвратительные поступки Фиркса, мы его не только

терпели, но и приголубливали. Чем это объяснить, не знаю: приголубливали да и только.

Цуриков и я иногда обедали дома и в эти дни у нас бывали наши знакомые, и между прочим, известный поэт и славянофил Алексей Степанович Хомяков. Этот даровитый человек, конечно, будет известен потомству не по одним моим воспоминаниям, и потому я скажу о нем только несколько слов. Совершенный христианин, исполняющий все обряды православной церкви, мягкий в обхождении со всеми, он был весьма образован и начитан. При замечательной памяти он легко запоминал все читанное, а привычка к точному обсуждению делала его живой разговор и приятным, и поучительным. Он очень любил спорить и сильно защищал приведенные им суждения. Замечу в нем один недостаток, а именно: чтобы не показаться незнающим чего бы то ни было, он готов был говорить и спорить о том, чего не знал. Понятно, что подобные два лица, Хомяков и Цуриков, должны были скоро сойтись. Большая часть их бесед относилась к историческим предметам и происходила по-французски. При одной из этих бесед присутствовал кадет Колесов, который, воспитываясь в младенчестве в доме Е. И. Нарышкиной, знал французский язык, но предмет беседы был для него совершенно непонятен. Это побудило его приняться серьезнее за учение. На малые деньги, которые присылала ему находившаяся в бедности мать его, он купил несколько исторических книг и изучал их по ночам, а вместе с тем принялся и

за изучение тех предметов, которые преподавались в корпусе, так что вдруг перешел через два класса. Кроме бессонных ночей, это досталось Колесову с большими затруднениями, потому что в корпусе запрещалось заниматься по ночам, а еще более читать книги, не входившие в курс корпусного учения. Но каково было удивление мое, Цурикова и Хомякова, когда, при спорах этих последних об исторических предметах, в них принял участие, и весьма разумное, кадет Колесов.

В зиму 1834—1835 г. я ездил, как и в прошедшие годы, по балам и танцовальным вечерам, на которых Фиркс считался одним из первых кавалеров. Цуриков, никогда не учившийся танцам, вовсе не танцовал. Затем и я стал танцовать менее прежнего.

В начале января 1836 г. я от Викулиных прямо проехал в имение С. В. Цурикова с. Лебедку, согласно сделанному им мне лично в прошедшем декабре приглашению. С. В. Цуриков был преисполнен странностями. Его быт заслуживал быть описанным пером И. С. Тургенева. Он был человек большого ума, говорил вообще красноречиво, а по-французски безупречно, и вообще получил очень хорошее образование. Он служил не долго и наследовал 1000 душ в наилучших наших губерниях: Орловской, Курской и Воронежской, поселился в с. Лебедке, в котором считалось 500 душ. Он вскоре женился на какой-то француженке гувернантке, нажил детей и сделался деспотом семьи своей, своих крепостных крестьян и даже

окружавших его имение однодворцев (тогдашних крестьян-собственников), оттягивая всеми, часто не только незаконными, но весьма суровыми и беспощадными способами, принадлежащие им клочки земли, смежные с его владениями и необходимые, по его мнению, для округления последних.

Он образовал несколько контор по управлению имением, которые по самым пустым предметам составляли протоколы с изложением дела, справками, соображениями и заключениями, на которых он писал: «согласен» С. Ц. (Сергей Цуриков), а в случае несогласия клал другую резолюцию. Чтением этих протоколов и наложением резолюций Цуриков занимал все утро, для чего вставал необыкновенно рано. Не зная еще об этих порядках, я в разговоре с ним осуждал сложную переписку и отчетность по работам ведомства путей сообщения и не мог понять, почему присутствовавшие при моем рассказе сын его и Нарышкин очень сконфузились и всячески старались прекратить мой рассказ. Чтобы показать, по каким мелочам составлялись протоколы в конторах Цурикова, требовавшие его утверждений, расскажу следующий случай. На другой день моего приезда в с. Лебедку я долго не мог добиться воды для умывания. Впоследствии я узнал, что мне не смели дать воды до утверждения протокола конторы по управлению домом Цурикова, в котором она указывала, какую воду должны мне доставлять для умыванья. Не знаю, на каком основании назначена была для моего умыванья другая вода, чем назначенная моему дяде князю

Александру Волконскому, который был посаженым отцом Нарышкина и приглашен С. В. Цуриковым жить у него в Лебедке.

Дядя мой приехал ранее меня и, хотя невеста Нарышкина ему понравилась, был недоволен всем происходившим в доме Цурикова. Последний, будучи занят целое утро рассматриванием протоколов различных контор по управлению, приходил в комнату дяди только в третьем часу пополудни, пред самым обедом, и каждый день извинялся своими занятиями. Наконец это ежедневное повторение так надоело дяде, что он намекнул Цурикову, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, а если Цуриков сделает ему честь побывать в его деревне, то увидит, как он принимает гостей. И действительно дядя на это был большой мастер.

Сын и дочери Цурикова, из которых старшая уже была замужем за Саввою Васильевичем Абазою, страшно боялись отца, не смея при нем разинуть рта, ходили около его кабинета на цыпочках. Говорили даже, что дочери, чтобы его не беспокоить при проходе мимо его кабинета, снимали башмаки. Во всем доме царствовал его произвол и скупость. Он обещался выдать в приданное за дочерью Нарышкиною 40 тыс. р. асс. (11428 р. сер.), но он вычел из них все расходы, сделанные им на свадьбу по приему гостей и даже на сальные свечи, употребленные для приготовлений к свадьбе, чему велся аккуратный счет. Сверх того, означенные деньги он выдал Нарышкину не вдруг, а по частям, вычитая из них лаж, который постоянно до 1839 г. увеличивался, на бывшие

тогда в обращении ассигнации. С. В. Цуриков часто повторял, что он всею своею жизнию пожертвовал своему семейству, что жена его истинная страдалица, которую он всевозможными способами успокаивает, а между тем из ее девичьей комнаты сделал совершенный гарем.

Впоследствии мы узнали, что в день свадьбы Нарышкиных он пред благословением дочери требовал, чтобы она ради мужа никогда не оставляла отца и мать, и на уклончивый ответ дочери, что она будет стараться исполнить долг свой относительно родителей насколько ей позволит новое положение, он очень рассердился и сказал, что в церкви, во время совершения таинства, он не перекрестит лба, что буквально исполнил и даже стоял все время в церкви боком к образам и спиною к бракосочетавшимся, хотя по наружности был богомолен. Из церкви мы поехали обедать в с. Егорьевское к Нарышкину, у которого не было еще никакого хозяйства, а потому сделано было распоряжение, чтобы белый хлеб к обеду был прислан из с. Лебедки, но С. В. Цуриков, недовольный уклончивым ответом своей дочери во время ее благословения, отменил означенное распоряжение. Только что узнали об этом в с. Егорьевском, сейчас послали в Орел за белым хлебом, тем более необходимым, что дядя мой князь Александр Волконский вовсе не ел черного хлеба; но белый хлеб из Орла прибыл после обеда, так что дядя должен был обедать без хлеба.

Воротясь в Москву из полутора-месячного отпуска, я с Цуриковым нанял дом Балка на

Плющихе. Вскоре приехали в Москву сестра Викулина с мужем и матерью. Брат Николай также взял отпуск, чтобы повеселиться в Москве. По красивой его наружности и ловкости в танцах его приглашали на все балы и вечера, и он провел свой отпуск в Москве очень весело. Мне также приходилось с ним часто ездить на балы, хотя мне они и не доставляли особого удовольствия. Брат жил у нас, а потому мы не могли приютить у себя Фиркса, который жил эту зиму у братьев Максутовых. Упоминая о жизни Фиркса у Максутовых, нельзя не рассказать про него следующего анекдота. Максутовы нанимали небольшую квартиру. В одной из комнат в стене был шкап для вешания платья. Увидав подъезжавшего к крыльцу А. Н. Соймонова, Фиркс просил Максутовых принять Соймонова и сказать, что его нет дома. Через несколько минут по входе Соймонова явился Фиркс, объясняя, что у него рядом с Максутовыми довольно большое помещение и что он, вернувшись домой и узнав, что Соймонов сидит у Максутовых, поспешил к нему. Все это Фиркс солгал: он просто в темном и узком шкапе сумел одеться и снять свои бумажные папильотки.

В Москве я снова жил с Цуриковым, нанявшим порядочную квартиру на Арбате. Вскоре приехал Фиркс из-за границы, куда он ездил не знаю на чей счет. Он приехал с чемоданами и просил нас дозволить жить с нами. На это Цуриков отвечал, что, конечно он должен поселиться у нас, потому что иначе куда же ему деваться, но с условием, чтобы Цуриков не

видал никакого счета, иначе он выбросит из окошка (квартира наша была во втором этаже) этот счет, за ним полетит сам немец (Фиркс), а затем и его вещи.

Фиркс немедля рассказал нам, что у него недостает конца одного пальца на руке, что он его потерял близ Дрездена на дуэли с каким-то немцем, бранившим в его присутствии русских, и что секундантом его на дуэли был известный литератор Николай Иванович Греч. Мы привыкли не верить Фирксу, хотя все относившееся до дуэли было им рассказано до мельчайших подробностей. В этот же день, когда Фиркс куда-то уехал, пришел к нам производитель работ по устройству Бабьегородской плотины на р. Москве, инженер-поручик Леон Ропп. Он рассказал нам, что получил письмо от своей матери, соседки по курляндскому имению с имением отца Фиркса, в котором она подробно описывает, каким образом Фиркс, быв на охоте с другими соседями, по собственной неосторожности выстрелом из ружья, оторвал конец своего пальца. Мы передали Роппу рассказ Фиркса о его дуэли и просили Роппа дождаться возвращения Фиркса, чтобы услышать от него рассказ о дуэли и уличить его во лжи. По приезде Фиркс повторил свой рассказ, и тогда Ропп ему очень хладнокровно сказал: «зачем ты всегда хвастаешь», и показал ему бывшее с ним письмо матери, весьма подробно описывавшей случай, бывший с Фирксом на охоте. Это мало подействовало на Фиркса, который продолжал в московском обществе хвастаться своею дуэлью.

После посещения моего в 1833 г. С. М. Боратынской я вел с нею довольно частую переписку и большею частью по-французски. Спустя с полгода после означенного посещения написал я к ней, что в юности я действительно был в нее влюблен, что пишу об этом, так как это дело прошлое, но что муж ее пусть это себе мотает на ус, если он носит усы. Ответ на это, писанное в шуточном тоне, письмо я получил в конверте, подписанном женою поэта Е. А. Боратынского. Софья Михайловна мне писала, что если бы мое письмо попало в руки ее мужа, то могли бы выйти весьма неприятные последствия, из чего видно было, что он очень ревнив, и чтобы я вообще осторожнее был в моих письмах, так как Кирсановский почтмейстер читал из любопытства все письма, получаемые в Кирсановской конторе, и что недавно приехала к нему его дочь, воспитывавшаяся в каком-то институте, которую он заставляет переводить французские письма, так что и французский язык с некоторого времени не помогает сохранению содержания писем в тайне. После этого ответа переписка наша все продолжалась так же часто, но, как обыкновенно бывает, мало-по-малу делалась реже и, наконец, совсем прекратилась.

Е. А. Боратынский, живший с матерью и братьями в тамбовском имении во время моего посещения, вскоре переехал в Москву. Я бывал у него редко, но, сверх того, видался с ним и его женою у Левашевых. Зайдя к Е. А. Боратынскому осенью 1836 г., я был чрезвычайно удивлен, встретив у него С. М. Боратынскую

с мужем, которая уже несколько недель была в Москве и не подумала дать знать мне об этом. Вообще она обошлась со мною холодно. Я был однако же у нее еще несколько раз. Не знаю, чему приписать ее тогдашнюю холодность, тогда как спустя 20 лет мы встретились в Москве с той же горячею дружбою, как и в молодости, и я видался с нею и с необыкновенно милыми ее дочерьми почти ежедневно.

В продолжение этого 20-летнего промежутка она хотя и приезжала в Москву, но в такое время, когда меня не было в этом городе. С мужем ее, когда он приезжал в Москву один, мы видались в клубе и у знакомых, но он ко мне не заезжал.

В конце 1836 г. Цуриков уехал в деревню к отцу и потом в Петербург, а я переехал жить с товарищем моим, князем Петром Максутовым. Он был вообще очень добрый малый, помогал мне, насколько сам имел средств, в моих затруднительных денежных обстоятельствах и вел все домашнее хозяйство, видя мою совершенную неспособность им заниматься. Будучи очень вспыльчив и очень малого роста, он найдя счета повара преувеличенными, становился на стул и бил по щекам повара, который подчинялся этим побоям без отговорок, хотя и жил у нас по найму. Но тогда и вольные люди покорялись обычаям крепостного права, и добрые господа, каким был Максутов, позволяли себе без зазрения совести следовать этим гнусным обычаям.

Мы от скуки, особливо когда бывали оба больны, играли в карты. Максутов постоянно

меня обыгрывал, но когда сумма моего проигрыша была слишком значительна, он продолжал игру, чтобы проиграть все выигранное. Вообще наша игра кончалась безделицею.

В карты я играл не с одним Максутовым и иногда довольно счастливо. Играя, между прочим, с богатым и весьма скупым человеком, Михаилом Александровичем Смирновым, я выиграл у него дрожки с парою лошадей и упряжью и, приехав к нему на извозчике, уехал в собственном экипаже. Кучер Смирнова, который отвез меня в этом экипаже, вернулся к барину своему пешком. Смирнов, как и многие из тогдашнего общества, говорил по-французски дурно. Он был охотником до лошадей и часто употреблял слово cheval (лошадь), которое дурно произносил, так что Цуриков говорил ему: «Сам ты шваль!»

На вечерах А. Н. Раевского я также вел довольно большую игру «ландскне».

Окончив поручение по заготовлению материалов для работ по постройке Тульского оружейного завода, я поехал в отпуск в Петербург, где остановился у брата Николая, слушавшего курс в военной академии. Мы с ним виделись в последний раз летом 1836 г. в проезд его через Тулу из Задонска в Петербург. Во время пребывания моего в Петербурге я неоднократно призывал к себе доктора очень искусного и был чрезвычайно удивлен, когда он не взял денег, которые я хотел ему дать за его визиты. На мое настояние взять деньги доктор отвечал мне: «По вашей обстановке вижу, что вы люди не богатые, и потому приберегите ваши деньги

на другие надобности; с меня довольно и того, что я получаю от богатых». Этот доктор был медик гвардейского морского экипажа. Невольно сравнивал я этого доктора со многими, известными мне московскими докторами, которые не только с меня, но и с гораздо беднейших, постоянно брали за визиты, а к неимущим платить и вовсе не ездили.

Из моих старых петербургских знакомых я не застал в живых дяди моего Гурбандта, отца М. Д. Деларю и Сомова. Сын Гурбандта, женившийся на воспитаннице своего отца, уехал служить в Херсон. Сын Деларю служил в Одессе. Оба в проезде через Москву виделись со мною. Из знакомого мне литературного круга оставался один Плетнев, у которого я был в мое настоящее пребывание несколько раз. На его вечерах было мало литераторов.

В имении Тейлса я был свидетелем шумной и очень разгульной жизни. У теток в Калуге и в Чернском уезде было слишком спокойно; в деревне же Тейлса шум и разгул дошли до ужасающих размеров. Н. Д. Тейлс был снова женат. Вторая жена его, хотя была не так умна, не так красива и образована, как первая, но все же была женщина не глупая, хорошенькая собой, имевшая собственное небольшое имение и довольно образованная, а главное — очень добрая. Она занималась детьми от первого брака ее мужа, как своими собственными. Этой женщине, не умевшей останавливать пылких страстей мужа, досталась горькая чаша, и кто не был свидетелем бывших при мне сцен, не поверит моему рассказу.

В тот день, как я приехал к Н. Д. Тейлс, он рано позавтракал и был уже полупьян. К обеду пришел из г. Крапивны, расстоянием в 7 верстах от имения Тейлса, какой-то уездный, невзрачный собою, чиновник, большой ростом, толстый и плохо одетый. После обеда Тейлс призвал дворовых и крестьянских песенников, танцовщиков, песенниц и танцовщиц, заставил их при своей жене и при мне петь и пел вместе с ними разные неприличные песни, а также вместе с ними упражнялся в танцах в одной рубашке и подштанниках, а женщин раздевал почти до-гола.

Попойка в это время не останавливалась, и при мне Тейлс научал пришедшего из Крапивны человека любезничать со своей женой. Чиновник хватал ее где попало, лез целовать ее в губы и т. п., что очень смешило Тейлса. Когда жена его хотела уйти, он ее цинически разругал и приказал остаться. Чтобы избавить ее от щупаний чиновника, я сел между ними. Между тем попойка, пляска и пение продолжались все в более и более отвратительном виде. Тот кто запоет или запляшет не так, как угодно барину, бывал им обруган и даже получал тумаки. Жена Тейлса говорила мне, что она пробовала останавливать эти гнусные сцены, но всегда была обругиваема мужем и отталкиваема, а он бросался одетый во что попало на тройку и, сам правя, уезжал на несколько дней, приказав за собой ехать нескольким тройкам с песенниками и песенницами и пропадал с ними на несколько дней. Все эти сцены происходили на виду у малолетних детей Тейлса

от первой жены. Мне было очень жаль их и вторую его жену, но помочь было нечем, и я поспешил оставить это жилище разврата.

Я уже говорил, что живший со мною А. С. Цуриков был большой фразер и любил отпускать разные остроты. Эти остроты часто касались наших религиозных обрядов. Между тем, в то же время Цуриков был богомолен: часто молился, ходил к обедне и даже в дальние монастыри на богомолье. Это было началом того ханжества, которому он вполне предался в последствии. Еще в 1835 г,. когда мы, живя в доме дяди моего князя Дмитрия Волконского, говели вместе, он, читая целую неделю одни священные книги, требовал, чтобы и я оставил всякое другое занятие, и был очень недоволен, когда я говел только до четверга: он требовал, чтобы я говение продолжал до субботы. Исповедывался я в своем приходе. Священник на исповеди сказал мне, что он знает мои грехи и что, если на его вопрос я дам обещание не впадать в них более, это значило бы заставить меня говорить новую ложь и еще стоя перед престолом божиим (он исповедывал меня в алтаре), а так как все же лучше, что я прибегаю к церкви, чем если бы я совсем забыл ее, то он разрешает меня от грехов, советуя наблюдать за собою и стараться не впадать в прегрешения и в особенности остерегаться от таких, в которые я еще не впадал, что при доброй воле и некоторой энергии, как он полагает, не представит затруднения.

Я рассказал об этой исповеди Цурикову, который был ею недоволен и пошел в пятницу вечером исповедываться у священника другой ближайшей к нам церкви во имя троицы в Зубове. Вдруг прибежал он домой взбешенный донельзя и, позабыв все свои приготовления к св. причастию, разразился самою неприличною бранью, объяснив мне, что он думал найти в лице его исповедывавшего — священника, а нашел жандарма в голубой рясе (намекая на голубой цвет жандармских мундиров), который спросил у него, не принадлежит ли он к какому-либо тайному обществу, замышляющему недоброе против государя. Тем говение и кончилось.

В 1837 г. Цуриков ходил пешком в Хотьков монастырь и в Троицко-сергиевскую лавру перед самым праздником рождества Христова, несмотря на сильные метели и довольно значительный холод. Я никак не мог уговорить его отложить богомолье до более удобного времени. Что же вышло из этого опасного для здоровья путешествия? Цуриков, вернувшись в Москву, часто в разговорах в обществе осуждал корыстолюбие монахов и монахинь и вообще их поведение во время богослужения, представляя их в лицах и в особенности крылошанок, подбегавших к нему в Хотьковом монастыре с предложением что-то прочитать или кого-то помянуть и требуя за это платы, говоря: «барин, пожалуйте хоть копеечку». Рассказы Цурикова были смешны, но многим не нравились.

Я уже говорил, что старшая из сестер Цурикова, Варвара Сергеевна, была замужем за С. В. Абазою. Они зиму 1837—1838 г. жили в нижнем

этаже дома Аггея Васильевича Абазы. Бывал я у них почти каждый день и через это стал часто бывать у последнего, с которым был прежде знаком только по исполнению поручений, которые мне давал к нему зять мой С. А. Викулин.

Я часто у него обедал с его многочисленным семейством. Из его дочерей замечательна была своею красотою старшая Прасковья, в это время невеста флигель-адъютанта Львова, известного музыканта, а из сыновей и тогда казался наиболее способным юношею Александр, впоследствии государственный контролер и председатель департамента экономии в государственном совете.

В день нового 1838 г. я также обедал у А. В. Абазы. Все его сыновья со своими гостями резвились после обеда в большой зале, где я сидел с их отцом, как вдруг один из гостей князь Владимир Четвертинский, очень хорошенький собою мальчик, упал и сломал ногу. Четвертинский был впоследствии адъютантом московского военного генерал-губернатора графа Закревского и умер молодым человеком от чахотки. На другой день А. В. Абаза со всем своим семейством уехал из Москвы и с тех пор постоянно жил в Петербурге.

С. В. Абаза был человек очень добрый, но простой и небольшого образования. Он воображал себя деловым и способным нажить винными откупами большое состояние, подобно своему старшему брату А. В. Абазе, которого впрочем состояние часто колебалось. А. В. Абаза,

напротив того, был человек очень большого ума, хорошо образован, весьма тонкий и ловкий. Его ум был постоянно занят большими предприятиями. Последнее время его пребывания в Москве он был очень занят мыслью об устройстве железной дороги между Москвою и Петербургом и часто говорил со мною об этом предмете.

Я не имел понятия о железных дорогах, так как в начале 30-х годов в строительном курсе института инженеров путей сообщения только упоминалось в общих выражениях о постройке железной дороги между Ливерпулем и Манчестером, но познания мои в механике достаточны были для того, чтобы делать Абазе замечания о несообразности некоторых из его исчислений. Вследствие моих замечаний он мне отдал для исправлений этих неточностей составленную им записку, которую по приезде в Петербург напечатал под заглавием: «Мысли московского жителя о соединении столиц железным путем», и вместе с графом Алексеем Алексеевичем Бобринским начал хлопотать об осуществлении этого предприятия.

Эти хлопоты были главною побудительною причиною к устройству железной дороги между столицами, которую правительство решило строить на свои средства, тогда как царскосельская железная дорога была устроена акционерным обществом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1838 — 1842 гг.

В «Моих воспоминаниях» я несколько раз упоминал о Левашевых, живших в Москве, на Новой Басманной. У них были две взрослые дочери, и почему-то года три как уже составилось между нашими общими знакомыми мнение, что я женюсь на одной из них.

Дядя Александр отправился к Н. В. Левашеву и передал ему мое предложение.

Понятно, что, сделавшись женихом, я почти целые дни проводил у Левашевых и большую часть времени с невестою.

Невеста моя продолжала всю эту зиму брать уроки музыки и пения, прочее же ученье было прекращено, в том числе и изучение русской литературы под руководством известного впоследствии критика Виссариона Белинского, который продолжал однако же учить младшего брата моей невесты Валерия, готовившегося в этот год поступить в университет. У невесты моей был прекрасный голос. Русские песни она пела с необыкновенною приятностию и чувством. Она очень любила петь при аккомпанементе на фортепиано Р. И. Лан (впоследствии Посьет).

Свадьба моя была назначена 24 апреля в день рождения моей невесты, когда ей исполнится 18 лет.

Посаженным отцом моим был дядя князь Александр, а посаженою матерью сестра моя. У жены моей посаженными были П. Я. Чаадаев (никогда не бывший женатым, что было противно принятому обычаю) и А. Ф. Кологривова. Шаферами были у меня А. С. Цуриков и Александр Лаврентьевич Варнек, бывший адъютантом командира стоявшего в Москве корпуса Нейдгардта, а у жены ее братья.

Теща моя, которая по болезни не могла выезжать, очень желала, чтобы мы жили с нею на одном дворе, и с этою целию заново был переделан ближайший к большому дому Левашевых флигель, в котором до этого времени помещались старший их сын, находившийся в отставке, Василий и известный впоследствии революционер М. А. Бакунин. Мы в этот флигель переехали осенью. Второй сын Левашевых Валерий тогда же поступил в университет, затем двое младших, Анатолий и Николай, учились дома. Левашевы видимо постоянно нуждались в деньгах, а ученье младших сыновей стоило очень дорого, и я обратил внимание родителей на то, что они оказывали весьма ничтожные успехи. Отец их был совершенно неспособен к воспитанию детей, а мать не могла ими заниматься по причине постоянно увеличивавшегося болезненного состояния. Решено было отдать их в казенное заведение. Опасаясь, что если их поместить в одно из московских заведений, то по слабости к ним родителей они

будут в нем плохо учиться и оставят заведение до окончания курса, я предлагал определить их в артиллерийское училище в Петербурге, тем более, что они имели способность к математическим наукам. Но по настоянию Н. Х. Кетчера они были отданы в московский дворянский институт.

Мы жили в большом Левашевском семействе спокойно и весело. Страдая и лежа в постели, моя теща была рада, что дети ее и их друзья веселятся. Даже, когда бывало утихнет шум в доме, она спрашивала о причине этой тишины.

Это была женщина редкой доброты. Свободный от служебных занятий, я более чем когда-либо предался любимому моему занятию, чтению книг, преимущественно исторических. Родители жены моей, в особенности ее мать, с каждым днем более и более ко мне привязывались. Они имели довольно большое знакомство. Жена моя почти никуда не выезжала, впрочем с декабря мы начали по вторникам ездить на балы в благородное собрание. Бывали также довольно часто во французском театре. В конце декабря, собираясь в этот театр, я получил от жившего в другом флигеле дома Левашевых П. Я. Чаадаева альманах на 1839 г., в котором была помещена известная лебединая песнь партизана поэта Давыдова. Он осмеивал тогдашнее московское общество. В этой песне, между прочим, были следующие стихи:

Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик.

В присланном мне экземпляре Чаадаев написал против этих стихов: «это я».

Чаадаев постоянно посещал французские представления, которые бывали два раза в неделю: по средам и субботам. Он никогда не отходил от своего кресла и всегда ожидал, чтобы к нему подходили, но в этот вечер изменил этому строго соблюдаемому правилу. Увидав меня в другом ряду кресел, он немедля подошел ко мне и заговорил о стихах Давыдова с неудовольствием. Они вообще были дурно приняты московским обществом, которое находило неприличным смеяться над теми, которые находятся на дурном счету у правительства и тем как бы стараться ему подслужиться.

7-го марта был день рождения моей тещи. Мы, не предупредив ее, разучили несколько сцен «Горя от ума». Я взял на себя роль Фамусова, брат Николай—Скалозуба, Кетчер—Чацкого. Весь день 7 марта прошел очень весело. 8-го марта теща говорила, что муж ее пишет о необходимости достать денег для уплаты какого-то долга, и поручила мне хлопоты по этому делу. 9-го марта мы думали праздновать именины моего шурина, студента Валерия, но поутру мне пришли сказать, что теще моей очень дурно. Вскоре собрали четырех докторов, но не было более возможности помочь: она скончалась.

12 марта похоронили тещу в Покровском монастыре подле ее матери, Екатерины Андреевны Решетовой, и других родных.

Главною заботою моею и Крепейн было следующее обстоятельство. Осенью 1838 г. в одном

из флигелей дома Левашевых поселился Н. Х. Кетчер и начал ухаживать за моею свояченицею. Это мало заметное ухаживание после смерти моей тещи сделалось явным. Свояченица начала пить, по его же совету, минеральные воды в своем саду. Во время питья ею вод, он каждый день прогуливался с нею и вообще не соблюдал никаких приличий. Несмотря на его отвратительную наружность, грязную неопрятность, резкость манер и выражений, он сумел привязать к себе мою свояченицу. Новое доказательство, что как бы ни был отвратителен мужчина, всегда найдется женщина, которая его полюбит. Основываясь на привязанности моей свояченицы, Кетчер был вполне уверен, что по приезде моего тестя, на которого всегда имел сильное влияние, он будет немедля объявлен женихом, вследствие чего уже начал распоряжаться в доме как старшее лицо.

Нам всем было ясно, что Кетчер никакой привязанности не имеет к моей свояченице, а просто задумал этой женитьбой выйти из своей бедности и сделаться старшим в семье Левашевых. Мы начали вспоминать, что в последние месяцы своей жизни теща моя менее любила Кетчера, из чего заключили, что она замечала его намерение, которому не сочувствовала. Влияние, которое Кетчер с каждым днем все более и более приобретал над моей свояченицей, в особенности тревожило А. А. Крепейн, оставшуюся старшею в доме. Меня также тревожили эти отношения. Кетчер вообще мне был противен и мне неприятно было бы иметь такого свояка. Сверх того, зная его настойчивый и

дерзкий характер, его бесцеремонное циническое со всеми обращение, что все с такою верностью описано Герценом, и чрезвычайно мягкий и уступчивый характер моего тестя, который уже давно привык подчиняться Кетчеру, — я очень опасался, что, сделавшись старшим зятем Н. В. Левашева, Кетчер возьмет все его дела в свое заведывание и по неприязни ко мне лишит жену мою обещанного ей имения.

Чтобы по возможности уменьшить число часов, которые моя свояченица проводила с Кетчером, я воспользовался ее обещанием списать начисто для печати мое сочинение о московском водопроводе, а так как моя рукопись была очень перемарана, то она писала под мою диктовку и таким образом проводила это время со мною, а не с Кетчером. По окончании переписки этого сочинения я напечатал его и послал экземпляры в редакции журналов и, между прочим, в редакцию «Современника», издававшегося П. А. Плетневым. Он написал мне по этому случаю очень милое письмо, в котором сообщал, что «Современник» журнал чисто литературный и потому в нем не может быть помещен разбор моего сочинения, что он просил А. А. Краевского, издателя «Отечественных записок», поместить разбор, но что не уверен в исполнении его просьбы по недостатку у нас между пишущими людей, знакомых с моею специальностию. Однако же разбор в «Отечественных записках», весьма обширный и дельный, появился в скором времени. Другие же журналы, сколько помню, не упомянули даже о выходе этого сочинения.

Наконец, тесть мой приехал в конце июня 1839 г. в Москву. Зная его слабый характер, я считал весьма важным переговорить с ним прежде Кетчера. После горестной встречи отца с детьми, лишившимися в его отсутствие матери, он вошел в свой кабинет, у дверей которого стояли я и Кетчер, и когда последний вздумал нахально опередить меня, я ему сказал, что имею немедля сообщить моему тестю важное дело без свидетелей, и он не вошел со мною. Я описал тестю поведение Кетчера. А. А. Крепейн, которую тесть мой уважал, подтвердила мои слова, и вслед за этим Кетчеру было отказано от дома. Это нисколько не помешало моему тестю, спустя год, снова сблизиться с Кетчером, а шурин мой Валерий постоянно продолжал с ним знакомство. Я после этого долго не видал его, но впоследствии мы встретились без неприязни, по крайней мере с моей стороны.

В первой половине июля тесть мой со всем своим семейством, в том числе со мною и женою моею, выехал в Нижний-Новгород в трех каретах на своих городских упряжных лошадях. А. А. Крепейн, почти 40 лет жившая с Е. Г. Левашевою, потеряв в ней своего друга, не хотела ехать с нами, а поехала в Петербург, чтобы провести старость у своей сестры, жившей в комнатке на вдовьей половине Смольного монастыря.

В Нижний-Новгород мы приехали утром 15 июля и остановились на Печерской улице в верхнем этаже дома Андреева. В полдень выкинуты были флаги на ярмарке, что обозначает

ее открытие. Немедля по выкинутии флагов был объявлен указ о том, что впредь монетною единицею вместо ассигнационного рубля будет рубль серебрянный, что все сделки должны производиться на эту последнюю монету и указан способ уплаты по сделкам, совершенным до сего времени. При этом серебрянный рубль приказано считать в $3^1/_2$ ассигнационных рубля, а золотая монета оценена была выше на 3%, так что стоимость монеты в 5 золотых рублей назначена в 5 р. 15 к. сер., и всякий так называемый лаж на эти монеты был запрещен. В последнее перед этим время в торговле и между частными лицами серебряный рубль, принимаемый в казне по 3 р. 60 к., ходил по 4 р. 20 к. асс. и даже выше, а пятирублевая бумажная ассигнация, принимаемая казной за 5 р. асс., ходила по 6 р., так что и на серебре и на ассигнациях лаж достиг около 20%. Этот лаж впрочем постоянно менялся. Очень долго после войны 1812 — 1815 гг. серебряный рубль ходил по 4 р. асс., а 5-рублевая ассигнация по 5 р. 40 к., но с 30-х годов лаж начал постепенно увеличиваться то на серебряную монету, то на бумажные деньги. Нет сомнения, что это постоянное колебание в курсе ходячей монеты вредно действовало на торговлю, и в особенности на наиболее бедный класс, который никогда не мог знать определительной цены ходячей монеты и часто подвергался обманам.

Указ о новой монетной единице, объявленный на ярмарке, на которой производятся самые большие денежные обороты как по продаже и

покупке привозимых в огромной массе товаров, так и по счетам, оставшимся неуплоченными от прошлогодней Нижегородской и других ярмарок и вообще по торговым сделкам последних лет, перепугал всех торговцев и в особенности тех, которые имели в наличности золотую и серебряную монеты. Один купец, имевший несколько тысяч золотых монет, повесился, полагая, что он разорен, тем, что в его звонкой монете каждый серебряный рубль понизился на семьдесят копеек и что вообще капитал его, бывший примерно в 42000 р. асс., будет считаться теперь только за 10.000 р. сер. Конечно потрясение по прошествии некоторого времени улеглось и не имело вредных последствий, которые оказались только в том, что в то время вдруг возвысились цены почти на все предметы, как это неизбежно при переходе от монетной единицы низкой ценности к монетной единице ценности высшей. Сверх того, этому много способствовало одинаковое название как ассигнационной, так и серебряной монетной единицы рублем. Тем, для кого расход в 5 р. асс. не имел значения, расход в 5 р. сер. был весьма значителен, но при одинаковом названии монетной единицы различие их стоимости часто позабывалось, и многие входили через это в гораздо большие расходы в сравнении с прежними.

Я слышал, что бывший тогда министром финансов граф Егор Францевич Канкрин был вообще против меры, объявленной в указе о принятии серебряного рубля за монетную единицу, но что на этой мере настоял сам император

Николай. Записки Канкрина по этому предмету я не читал, а потому не могу здесь привести его доводов. Впрочем, счет на серебряную монету после указа установился только в делах с казной и в сделках между торговцами и частными лицами, когда они заключались формально, в прочих же случаях в Москве и вообще внутри России все продолжали лет 20 считать на ассигнации, хотя их давно уже не существовало в обращении, так как они были разменены на кредитные билеты, писанные на серебряные рубли. При размене ассигнаций на эти билеты цена ассигнационного рубля была принята в $3^{1}/_{2}$ раза менее серебряного. Это отношение серебряного рубля к воображаемой монетной единице ассигнационного рубля было принимаемо постоянно всеми, так что лаж на ту и другую монеты прекратился.

В первое посещение императором Николаем Нижнего-Новгорода, в 1834 г., местоположение этого города ему очень понравилось, и он отдал разные повеления, служившие к украшению города.

Некоторые из работ, указанных императором Николаем, были немедля начаты, и он, проезжая через Нижний-Новгород в 1836 г., был ими очень доволен. При представлении императору инженеров Бутурлин отозвался о них с большою похвалою и об одном капитане, что он, кроме того что усерден, очень ученый инженер. Император на это отвечал, что ему ученых не нужно, а нужны исполнители. Все инженеры были представлены к наградам и между прочим

упомянутый капитан к ордену св. Владимира 4-й ст., что в то время имело большое значение, в особенности, если представляемое лицо не имело других младших орденов. Государь утвердил все представление, но вычеркнул награду капитану, которого Бутурлин назвал, неизвестно почему, ученым, тогда как он был из плохих учеников в институте путей сообщения. Бутурлин благоволил к нему, тогда как он почти постоянно бывал пьян. Впрочем и Бутурлин был очень предан этому пороку. Случалось, что полицейские солдаты его пьяного почти без чувств приводили домой. Вообще 11-летнее управление его губерниею было самое сумасбродное, но тогда при общем загоне, управлять было легко. Все низшие терпели беспрекословно, а высшие лица, если умели им угождать, не только не удаляли подобных губернаторов, но считали их очень хорошими, и в этом числе был Бутурлин. Смысла, конечно, не было во всем том, что писал Бутурлин и на иностранных языках, а на русском к этому прибавлялась еще безграмотность. Очень сожалею, что у меня не сохранилось ни одного из его приказов и объявлений. Помню только, что многие из них, как особый курьез, ходили по рукам и в Нижнем, и в обеих столицах. В одном из объявлений к жителям города Бутурлин, по случаю частых и сильных пожаров, заявлял жителям, что многие подозрительные люди ходят по улицам, чтобы делать в удобных местах поджоги, а потому поручает наблюдать за ними и замечать, кто из них куда утек. Этим начинается довольно длинное объявление, переполненное подобными курьезами,

кончается же оно тем замечанием, что многие даже богатые обыватели, как только начнется пожар в городе, посылают верховых справляться о месте пожара, и их посланные скачут взад и вперед без оглядки, так что их лошади при встрече стукаются лбами, при чем губернатор советовал, вместо подобных рассылок, всякому обывателю сидеть дома и наблюдать за безопасностию собственного жилища.

Инженеры, бывшие при работах в Нижнем, имели весьма дурную репутацию и целые дни проводили в картежной игре, а потому я ни у кого из них не был, кроме известных своею честностию Готмана и Стремоухова. В числе инженеров был один из моих товарищей по институту путей сообщения, впоследствии сошедший с ума, когда он все незаконным путем нажитое при работах в Нижнем промотал, проиграл в карты и остался без всяких средств.

На стеариновом заводе моего тестя было заготовлено значительное количество свечей. Он нанял в ярмарочном гостином дворе лавку для их продажи. Я каждый день проводил по нескольку часов в этой лавке, а также у известного литератора Боткина, человека весьма умного и образованного, который проводил целые дни в своей огромной чайной лавке в китайском ряду ярмарочного гостиного двора. Продажа свечей, как оптом, так и пудами, шла успешно. Тогда в России был только один стеариновый завод Калста в Москве, и цены на свечи были высокие (помнится 14 р. за пуд), так что их изготовление было очень выгодно фабриканту. Но для того, чтобы

изготовить значительную партию свечей надо было, по отдаленности завода в имении моего тестя и по причине дурных путей сообщения, заготовлять годовую пропорцию сала, купоросной кислоты и других потребностей на несколько десятков тысяч рублей. Тесть мой был уже много должен, на его имении накопились недоимки по уплате в сохранную казну, и он не имел кредита. Это было причиною невозможности добыть в свое время все потребное для производства стеариновых свечей, и тесть мой принужден был в следующем году закрыть завод, на устройство которого был положен довольно значительный капитал.

Макарьевское имение было куплено моим тестем у камергера Собакина. Отец последнего имел в одной меже огромное количество земли, на которой было поселено до 10 тыс. ревизских душ мужского пола; третья часть этого имения с 1831 г. принадлежала моему тестю. Старик Собакин, у которого имение было свободно от залога, довольствовался оброком по 12 р. асс. (3 р. $42^3/_4$ к. сер.) в год с ревизской души. Он вел в своем имении жизнь, очень сходную с жизнью прославившихся своим произволом и жестокостями помещиков Измайлова и князя Грузинского. Он иногда требовал от богатых крестьян особых приношений, а иногда без видимой причины совершенно разорял их и даже ссылал в Сибирь. Произвол помещика падал не на всех, а потому некоторые, платя ничтожный оброк и занимаясь промыслами и торговлею, успели нажить по нескольку десятков

тысяч рублей, а один крестьянин, именно Осип Иванов Лещов, несколько сот тысяч рублей сер. Эти богачи были большею частью притеснителями бедных, которых они разоряли, давая им взаймы хлеб и мочала за весьма высокие проценты и заставляя работать на них за самую ничтожную плату. Земская полиция боялась старика Собакина и без его требования не только не смела показываться в его деревнях, но и в его обширных лесах. Быт его крестьян живо и верно описан в книге графа Н. С. Толстого «Заволжские очерки».

Когда это имение заложили в сохранной казне по 250 р. асс. за ревизскую душу и следовало ежегодно уплачивать в казну по 15 р. асс. с души, 12-рублевый оброк оказался недостаточным и был возвышен до 20 р. а впоследствии, по приобретении этого имения моим тестем, до 25 р. и, наконец, 30 р. асс. с души. Достаточные крестьяне были в состоянии перенести это увеличение оброка, но бедные впали вскоре в неоплатные недоимки.

У богатейшего из крестьян, Лещова, жившего в деревне Чухломке, я был вместе с тестем. Он незадолго перед этим выкупился из крепостного состояния, заплатив тестю моему за две ревизские души, т.-е. за себя и за сына, имевшего только дочерей, 40 тыс. р. асс. (более 11.400 р. сер.), но остался жить в той же деревне, пользуясь мельницами и другими угодьями, которые он устроил, находясь еще в крепостном состоянии. По приезде моем с тестем к этому богатому 70-летнему старику, мы нашли его занятым перевозкою навоза на огород. Он

потчевал нас между прочим очень хорошим шампанским вином. Сам он никогда ничего не пил, сын же его Петр Осипов, находившийся почти постоянно в отлучке по торговым делам, бывал часто пьян. Старик Лещов, нажив торговлею и притеснениями крестьян такое огромное состояние, что у него одних серий государственного казначейства было при его смерти на 300 тыс. р. сер., не умел читать и до самой смерти, в 1848 г., не изменял рода жизни. Наибольшая же часть крестьян, хотя и жили в довольно хороших избах, не имели достаточной пищи и были изнурены работою, вставая для нее очень рано и ложась поздно. Многие семейства не имели ни лошади, ни коровы.

Из конторских книг я увидал, что оброк с крестьян собирался еженедельно. Мне объяснили, что этот еженедельный сбор был введен по необходимости, так как при уплате оброка вдруг за месяц или за несколько месяцев недоимки были бы еще значительнее и что для взноса оброка назначен понедельник потому, что воскресенье базарный день в с. Воскресенском, где крестьяне продают выработанные ими в продолжение предшествующей недели изделия, а старшины каждой деревни могут наблюдать за тем, сколько крестьяне получили денег. Старшины приносили оброчные деньги, которые могли собрать с крестьян, в понедельник утром и приводили с собою тех недоимщиков, которые мало или ничего не уплатили, выручив мало или ничего на базаре вследствие лени, а также тех, которые утаивали свою выручку.

Тех и других, по приказанию бурмистра, бывшие при конторе рассыльные из крестьян секли розгами и весьма сильно, особенно последних, которые часто во время наказания, чтобы избавиться от дальнейшего сечения, вынимали из сапога немного денег, и когда их снова принимались сечь, уплачивали еще несколько рублей, ими запрятанных в одежде. Вопли подвергавшихся сечению доходили часто и до господского дома, стоявшего недалеко от конторы, в которой происходили экзекуции. Эти еженедельные сечения мне крепко не нравились. Не могли они нравиться и тестю моему, человеку чрезвычайно доброму и жившему многие годы в обществе декабристов, а потом Чаадаева и других лиц, отличавшихся хорошим образованием. Но деньги были крайне нужны, недостаток в них был тем невыносимее, что все считали тестя моего богатым человеком, как он и сам считал себя, других же средств к более исправному получению оброка он не видал и потому свыкся с этим еженедельным сечением.

Впрочем, крепостное право портило все натуры, как бы они ни были хороши от рождения и в какой бы хорошей среде они ни обращались. Так, услыхав о каком-то несогласном с моим приказанием замечании, сделанном очень умным, жившим богаче других крестьян, старым крестьянином Широковым, я призвал его к себе, схватил за бороду, разругал и вытолкал из комнаты. Сознаюсь, что мне тогда казалось, что я был прав и что не было другого средства для приведения к повиновению Широкова,

а главное для избежания вредных от его замечания последствий на других крестьян, на которых он своим умом и мастерством говорить имел сильное влияние, поддерживаемое еще более религиозными его отношениями к крестьянам.

Все крестьяне в имении Левашева и в соседних имениях были староверы, хотя большая часть из них, придерживаясь разных старых обрядов и, между прочим, двуперстного крестного знамения, ходили в православные церкви. Но некоторые из крестьян, и в том числе семейство Широковых и вообще наиболее зажиточные, только по наружности принадлежали к нашей церкви, а на самом деле имели особые молельни, в которых совершали богослужения, и Широков между ними был старшим, в роде архиерея. Этот раскол сильно поддерживался влиянием скитов, в большом числе имевшихся в лесах соседнего с имением Левашева Семеновского уезда, и малою образованностью православного духовенства, а также его равнодушием и в особенности корыстолюбием, вследствие которого священники отмечали исполняющими религиозные обязанности православного христианина тех, которые никогда не только не причащались, но и в церкви не бывали.

По осмотре деревень моего тестя, я составил правила для управления. Теперь не помню, в чем состояли эти правила, но нет сомнения, что они были непрактичны. Между прочим, я полагал ввести систему последовательных награждений для хороших хозяев и хороших плательщиков оброка и наказаний для дурных хозяев

и дурных плательщиков. Высшая степень награды была, как помнится, название почетного крестьянина. Затем следовали выдача похвальных листов и просто письменная и словесная благодарность. Наказания же состояли из словесных и письменных выговоров, денежных штрафов и, взамен еженедельного отвратительного сечения розгами, выставка крестьянина к позорному столбу на определенное число часов и засим сечение допускалось только в самых крайних случаях.

Вскоре я должен был уехать из имения и написанные мною правила не были приведены в действие за исключением того, что из всей волости один крестьянин Григорий Афанасьев был признан заслуживающим звания почетного крестьянина.

Сверх 30 руб. асс., которые положено было взимать в оброк помещику с окладной души, взимался еще, по мере надобности, особый сбор, очень метко названный «чернобором». Приходу и расходу его велся особый счет. На этот чернобор относились расходы по уплате подушных повинностей, дорожных, по препровождению арестантов, на содержание лошадей для проезда земской полиции и других служащих, на жалованье бурмистра и других должностных по имению лиц, на взятки, которые давались всем уездным властям по разным делам и при их приезде в имение, на их угощение в заезжей избе и т. п. Повинности дорожная и по препровождению арестантов должны были отбываться натурою, но так как участки казанского тракта, которые обязаны были содержать в порядке крестьяне Левашева, находились в 150 верстах

от имения, то найдено было более выгодным нанимать для этого исправления подрядчиков. Равно вместо поставки подвод для препровождения арестантов по казанскому, т.-е. сибирскому тракту, крестьяне уплачивали деньгами. Приискание подрядчиков для исправления казанского тракта и на наем подвод для арестантов принимали на себя уездные исправники и, конечно, назначали для этого сумму, значительно превышавшую ту, которая действительно требовалась, в особенности если принять в соображение, что дорожные участки содержались ими в большой неисправности. Расстояние от имения Левашева до уездного города Макарьева было 120 верст и на всем этом протяжении росли леса, а потому на каждых 30 верстах были учреждены станции с несколькими тройками лошадей для перевозки чинов земской полиции и других уездных властей, а также для проездов бурмистра и других служащих в уездный город. На содержание этих лошадей собиралась довольно значительная сумма с крестьян имения Левашева и других, его окружающих. Все полицейские чины во избежание придирок, которые они всегда могли бы сделать по разным случаям, получали ежегодное содержание из суммы «чернобора». Сверх того, при проезде через имение как этих чинов, так и других уездных властей, им давали по нескольку золотых монет и угощали в заезжей избе.

Так, в бытность мою в имении, приехал уездный судья, о чем доложили тестю и мне. Это было перед обедом. Мы приказали его просить обедать с нами, но бурмистр пришел ска-

зать, что судья уже был угощен и что необходимо ему дать несколько золотых. Я спросил, есть ли какое дело в уездном суде по имению. Ответ был отрицательный, но тем не менее, по настоянию бурмистра, я приказал выдать 5 пятирублевых золотых монет. При уплате подушных денег давали взятку уездному казначею. Одним словом, ни шагу не делалось без взяток и чего я прежде нигде не слыхал, это — что уездный предводитель дворянства также брал взятки. В заволжской части Макарьевского уезда, наиболее обширной, тогда почти никто из помещиков не жил. На дворянских выборах бывало несколько помещиков этого уезда, владельцев имений, лежащих на правом берегу р. Волги и не желавших баллотироваться в должности. По малочисленности этих помещиков, для производства выборов в разные по уезду должности их присоединяли к другому уезду. При таком порядке вещей понятно, что выбирались в должности лица неблагонадежные, и между прочим в уездные предводители был выбран в предыдущее трехлетие Коризна, о котором говорили, что в заволжской части Макарьевского уезда всего один дворянин, и тот Укоризна.

Сумма, взимаемая в чернобор, не была определенная, а взималась по мере надобности, которая с каждым годом увеличивалась. Средняя же уплата в чернобор за последние годы составляла около 15 р. асс. с окладной души. Я нашел полезным не вести особого счета чернобору, а присоединить его к оброку, так что с каждой окладной души должно было взиматься

по 45 р. асс., и затем уплату подушных и все другие вышеупомянутые расходы, производившиеся насчет чернобора, производить из общих сумм. Меру эту я находил полезною в том отношении, что налог на крестьян для составления суммы, потребной на чернобор, не мог более увеличиваться, как это было постоянно в прежние годы, и в том, что расход его подвергался наравне с оброчною суммою постоянному контролю помещика, вследствие чего я надеялся, что этих 15 р. асс., сбираемых с окладной души, будет не только достаточно на все расходы, но что будут еще и остатки, и затем помещик получит более дохода с имения в следующие годы, чем в предшествовавшие. Это была единственная мера из всех мною предложенных, которая удержалась во всем имении моего тестя в продолжение нескольких лет, а в части, отделенной моей жене, до освобождения крестьян в 1861 г., она действительно оказалась полезною и для крестьян и для помещиков.

В числе приятельниц моей жены, когда она была еще в доме родителей, были сестры Шеншины, из них в особенности Анна Семеновна, вышедшая впоследствии замуж за двоюродного своего дядю Владимира Александровича Шеншина.

У них жена моя и ее сестра познакомились с их двоюродною сестрою графинею Александрою Сергеевною Толстою, дочерью графа Сергея Васильевича, бывшего нижегородским вице-губернатором в то время, когда вице-губернаторами были председатели казенных палат, которым подведомственна была казенная винная продажа

(винные откупа были возобновлены с 1827 г.), и эта операция доставляла вице-губернаторам весьма значительные незаконные доходы. Рассказывают, что когда император Александр I, обратив внимание, что вдруг съехалось много губернаторов в Петербург, спросил о причине такого съезда, то известный шутник Александр Львович Нарышкин отвечал, что губернаторы приехали просить о назначении их вице-губернаторами. Граф С. В. Толстой, пользуясь этими незаконными доходами, жил очень роскошно, но выйдя в отставку, не имел почти никакого состояния, так что вскоре после его смерти многочисленное его семейство осталось в бедности. Помню, что в первое мое знакомство в 1826 г. с семейством Толстых, когда они жили в Москве на Пресненских прудах, я во всякое время дня заставал всех детей Толстых выделывающими, стоя за стульями, разные па. Танцы и музыка составляли главную часть их учения. Старшая дочь Толстых Екатерина была большою приятельницею моей сестры; в 1839 г. она была уже замужем за Киреевским. Вторая, Настасья, была замужем за Моисеевым, а третья, Александра, с братьями и сестрою жили с матерью в нижегородской деревне. Александра Толстая бывала у нас несколько раз в последнее наше пребывание в Нижнем-Новгороде. Она была недурна собою, очень хитра и большая мастерица привязать к себе тех, в коих имела надобность. Начитавшись всякой всячины, она была преисполнена нигилистических идей (хотя это слово было изобретено гораздо позже) и очень нравилась моей жене и свояченице.

А. С. Толстая обещалась приехать погостить у нас в деревне и не замедлила исполнить свое обещание, при чем привезла с собою старшего брата своего графа Николая Сергеевича. Месяц, проведенный ею в деревне Левашева, она употребила на то, чтобы еще более разными уловками привязать к себе жену мою и свояченицу и на кокетничанье с тестем. Ее кошачьи манеры мне очень не нравились.

Брат ее был простой откровенный человек. Он часто играл с тестем моим в шахматы, при чем они постоянно и не на шутку ссорились. Он после образования в родительском доме поступил в школу гвардейских подпрапорщиков, из которой вышел в лейб-гвардии Волынский полк. Полк стоял в Кронштадте и это только могло его избавить от взысканий за незнание фронтовой службы и в особенности за малое к ней усердие. Впрочем, он известен был за большого чудака всему гвардейскому корпусу и бывшему его командиру великому князю Михаилу Павловичу. Он очень любил музыку и охоту и, стоя в красносельском лагере, много играл на скрипке и держал медведей (помнится, четырех). Выйдя в отставку, он жил в деревне с матерью. Он много говорил, любил длинно рассказывать анекдоты времен Екатерины и Павла, а о позднейшем времени ничего не знал. Он очень не нравился моему тестю, который неоднократно выражал свои опасения что он приехал свататься за мою свояченицу, но тесть мой уверял, что ни за что не согласится отдать за него свою дочь. Кроме низкого нравственного и умственного образования и вспыльчивого ха-

рактера Толстого, тесть мой находил в нем и физические недостатки, хотя Толстой был красив лицом и имел прекрасную, очень шедшую к его лицу бороду, которую он впрочем чернил; он вообще очень занимался своею наружностию. Но тесть старался находить в нем все дурное.

По приезде в Москву первою моею заботою было искать службу, в которой жалованье вместе с получаемым доходом с имения жены моей было бы достаточно для нашей жизни. Мне было ясно, что мой начальник Поленов, по недоброжелательству ко мне, не будет занимать меня деятельною службою, а привыкать к праздности мне не приходилось, и я обратился к прежнему моему начальнику, полковнику Максимову, бывшему в это время начальником работ, производившихся в Москве от ведомства путей сообщения, чтобы он, впредь до приискания мною другого рода службы, исходатайствовал о назначении меня в его ведение и дал бы какие-либо занятия. Вследствие этого ходатайства я в ноябре 1839 г. назначен помощником начальника работ в Москве. В это время был уже составлен полковником Максимовым проект снабжения водою московского воспитательного дома, который назначено было привести в исполнение в 1840 г. Максимов поручил мне составить смету и объявил, что он меня назначит производителем работ по означенному водоснабжению, при чем я буду получать от воспитательного дома особое содержание сверх получаемого мною по чину.

В Москве мы остановились в прежней нашей квартире, во флигеле дома Левашевых, который ими был собственно для нас перестроен. Флигель был довольно длинный, но узкий, с небольшими окнами и простенками. Комнаты были низки. Они были распределены в два ряда без коридора между ними. Окна первого ряда выходили на передний, а второго на задний двор. В первом были передняя об одном окне, чайная о двух, столовая о трех и гостиная о четырех окнах; во втором ряду были мой кабинет о четырех окнах, сени об одном окне, девичья о двух и спальня о трех окнах; в спальне был отделен перегородкою маленький кабинет об одном окне для жены моей; сверх того имелся мезонин о двух маленьких комнатах.

В 1840 году 12 января, в день св. Татианы, мать моя поехала с нами к обедне в церковь божией матери всех скорбящих в Замоскворечье. Там в последний раз видел я моего товарища по институту инженеров путей сообщения Диомида Васильевича Пассека, столько впоследствии прославившегося и рано погибшего на Кавказе. Я уже говорил, что все воспитанники нашего выпуска отказались поступить во вновь образованную военную академию. Пассек, по поступлении на военную службу, состоял при работах и при составлении проектов мостов по Московскому шоссе и репетитором в институте путей сообщения. Но все эти обязанности были не по нем. Чрезвычайно пылкий, восприимчивый, жаждущий деятельности и славы, он мало радел в означенных должностях и видя, что

поле деятельности для него может представить, по тогдашнему положению России, только военная служба, он, несмотря на то, что в 1832 г. отказался от слушания курса в военной академии, поступил в нее, и когда я его встретил в церкви всех скорбящих, он уже был в генеральном штабе в чине капитана.

Время его служения в корпусе инженеров путей сообщения ознаменовалось только следующим. Когда он был послан для составления проектов мостов на Московском шоссе с обязанностию жить в Новгороде, он жил в Москве в Сокольниках, где у него собиралась прежняя университетская молодежь, пред которой он громогласно ораторствовал, без чего он не мог существовать. Эти собрания обратили внимание полиции, весьма тогда подозрительной. О них довели до сведения главноуправляющего путями сообщения графа Толя, и Пассеку велено было жить в Новгороде, хотя он и объяснял, что порученные ему проекты мостов он может составлять и в Москве. В бытность Пассека репетитором в институте он однажды, возвращаясь с репетиции домой, встретил какого-то господина, который не посторонился и толкнул его. Пассек заметил, что это неучтиво, и пройдя несколько шагов, почувствовал, что кто-то вскочил ему на плечи и его душит так, что он с большим трудом мог расстегнуть крючок своей шинели; она с него спала, а вместе с нею упал душивший его господин, в котором он узнал незадолго пред тем его толкнувшего. Пассек схватил его за ноги, протащил по тротуару мостовой к крыльцу института и, оставив его

окровавленным в швейцарской, пошел к инспектору Резимону объявить о всем происшедшим. Притащенный им господин оказался чиновником.

За Бородинские маневры Пассек получил орден св. Станислава 3 ст. и до того был недоволен этою наградою, что везде публично заявлял свое неудовольствие. Брат мой Николай, бывший на этих же маневрах, говорил мне, что эти заявления Пассека доходили до того, что все его товарищи опасались, что его отставят и сошлют. Несмотря на то, что прошло уже 4 месяца по получении им этой награды в то время, когда мы встретились в церкви, он нисколько не угомонился. Почти всю обедню проговорил со мною, заявляя крайнее неудовольствие на свое начальство, которое не сумело оценить его. Сравнивая мое положение со своим, он говорил, что я, не учившись как он ни в университете, ни в военной академии, такой же, как он капитан и, сверх того, имею уже два года орден старший полученного им ордена. Отдавая справедливость выгодам, полученным казною от изобретенного мною способа устройства ключевых бассейнов, он все же находил, что при его способностях и познаниях должно было его скорее подвигать, чем меня.

Тогда же он мне сказал, что едет на Кавказ, чтобы там испробовать счастия. Действительно, он вскоре уехал, и честолюбие его было вполне удовлетворено: он в короткое время получил чин подполковника, полковника и генерал-майора, тогда как я все еще оставался капитаном. Все эти чины и другие награды были вполне им

заслужены. Известно, что он был убит в несчастную экспедицию 1845 г. Впрочем трудно было ожидать, чтобы он, по причине своей резкости, неуменья жить в свете и постоянно дурных отношений к начальствующим лицам, мог, в особенности в то время, сделать дальнейшую карьеру. Человек с такою энергиею не был создан для тогдашнего времени. Говорят, что он с первой встречи не понравился назначенному в 1845 г. главнокомандующим на Кавказе графу Михаилу Семеновичу Воронцову, которого даже обвиняли, конечно, несправедливо в том, что он с намерением погубил Пассека, послав его в экспедицию, в которой он геройски кончил жизнь.

В начале 1840 г. приехала в Москву свояченица моя Лидия и привезла с собою графиню А. С. Толстую. Они поместились у нас в одной из комнат мезонина. Таким образом в нашем маленьком флигеле собралось много живущих, и мы садились за обед не менее 8 человек, в том числе шурин мой Валерий, живший в одном из флигелей дома Левашевых. Он был двумя годами моложе моей жены, которая была с ним дружнее, чем с другими братьями. Я также его любил более, чем всех других членов семейства моей жены, и несмотря на то, что ни от кого мы не испытали стольких неудовольствий, наша к нему привязанность осталась и до сего времени (1873 г.) неизменною. Так бывают необъяснимые симпатии к лицам, которым прощаются все причиняемые ими неудовольствия, тогда как другим лицам ничего не прощается. Валерий очень добрый малый, но столь же слабого

характера, как и его отец. Он всегда находился под чьим-либо влиянием, сверх того, по врожденной скупости и постоянному влечению к обогащению, он и сам, без постороннего влияния, мог делать неприятности тем, кого он считал лишающими его достояния, которое, по мнению его, должно было ему принадлежать. Итак, недовольный ли выделом значительной части имения жене моей, или подстрекаемый кем-либо, в особенности, вероятно, не любившим меня Н. Х. Кетчером, с которым он часто видался, Валерий с самого возвращения нашего в Москву делал нам разные мелкие неудовольствия и намекал, что, получив такое значительное от его отца состояние, мы могли бы жить и не в его доме. Это и заставило нас переехать в 1840 г. в нанятую нами квартиру в доме Андреева, у Красных ворот.

Вскоре по приезде моей свояченицы с Толстою, мать моя и брат Николай уехали, первая в с. Колодезское к своей дочери Викулиной, с которой постоянно жила, а последний в Курск, где был расположен штаб драгунского корпуса, в который он был назначен по переводе в генеральный штаб.

А. С. Толстая немедля занялась кокетничаньем с шурином моим Валерием, очень пригожим молодым человеком, а так как она ничего не делала вполовину, то кокетничанье это доходило до неприличия. Она сумела совершенно влюбить в себя шурина моего, и эта любовь с его стороны продолжалась довольно долго.

Спустя несколько времени по приезде моей свояченицы я получил письмо от тестя, в кото-

ром он извещал, что дочь его Лидия невеста графа Н. С. Толстого. Согласие на предложение Толстого было дано тестем еще до отъезда моей свояченицы из Нижнего-Новгорода. Между тем ни она, ни А. С. Толстая, по непонятной причине, не сказали об этом ни мне, ни жене моей, которой эта скрытность с их стороны, конечно, не понравилась. Вскоре по получении означенного письма женщина, служившая у моей свояченицы, сказала, что она встретила в Москве жениха, графа Н. С. Толстого. Мы ей не поверили, но она на другой день снова его встретила. Впоследствии мы узнали от самого Толстого, что она была права: он по прибытии своем в Москву, до появления у невесты, провел несколько дней на медвежьей травле за Рогожской заставой и только когда достаточно насладился этим зрелищем, явился к невесте.

Он приехал с своими чемоданами прямо в дом Левашева, хотя его никто никогда не приглашал, и остановился во флигеле, в котором жил мой шурин Валерий, кажется, до того времени никогда его не видавший. Отношения его к невесте и последней к нему были более чем холодные. Хотя они и жили на дворе одного дома, но мало видались, а когда виделись, то не говорили почти ни слова друг другу.

Женитьба Толстого объясняется только влиянием его сестры на мою свояченицу и на своего брата. Она, имея в виду, что моей свояченице будет дано несколько сот душ и несколько тысяч десятин земли, и привыкнув к оценке тех и других по масштабу Орловской губернии, где прежде было имение ее матери, или даже по масштабу Княгининского уезда

Нижегородской губернии, где мать ее имела имение в это время, полагала, что моя свояченица будет богачкою и на этом основании строила планы заграничных путешествий, литературных изданий и разных выспренних заграницею занятий насчет доходов моей свояченицы. Брат ее лучше понимал, что все обещаемое в приданое его невесте не сделает его богатым, но все же выведет из положения жить на хлебах у матери. У ней же и без него было много детей, содержание которых, по ее бедности, было ей в тягость. Впрочем, будучи большим прожектером, он полагал возможным завести лучшее лесное хозяйство, заводы и т. д. и тем увеличить доходы с имения невесты.

В отношении же того, на ком жениться, ему было все равно. Он вообще не любил женщин и не придавал никакой важности брачному союзу.

В том же мае в имении тестя моего была свадьба Толстого с моей свояченицей. Тесть назначил ей ту часть своего имения, которая сначала назначалась моей жене. Впредь до выдачи ей отдельной записи он дал Толстому доверенность на управление этой частью имения и на получение доходов с нее. Толстые поселились в ней и продолжали постройку начатого мною для себя господского дома. Но это продолжалось недолго. Между тестем и Толстым начались сильные распри, споры их доходили до неприличия со стороны Толстого. Они перестали видеться. Это повело к тому, что Толстой писал к тестю дерзкие письма, и последний, выйдя из терпения, уничтожил выданную Толстому дове-

ренность на управление обещанною им дочери частью имения и, не желая более вести переписки с Толстым, дал ему знать через бурмистра, чтобы он немедля выехал из имения, а если он этого не исполнит, то тесть принужден будет его выслать через полицию. Толстой с женою уехал в деревню к своей матери в Княгининский уезд, а тесть не давал им ни копейки и перестал переписываться со своею дочерью.

Простой русский народ известен своею необыкновенною сметливостью, в особенности отличаются ею наши каменщики и плотники. Это мне помогало при производстве работ. Практические приемы при некоторых из работ мне были неизвестны по причине чисто теоретического образования, которое тогда получали в институте инженеров путей сообщения. Так и при работах по водоснабжению воспитательного дома мне много помогал безграмотный десятник-каменщик Савелий и, между прочим, при установке водоподъемных паровых машин над нижним резервуаром, устроенным для запаса излишней воды, идущей из фонтана на Варварской площади. Еще замечательней была его сметливость в положении свинцовых труб внутри воспитательного дома. Эта работа была сдана англичанину Джаксону, давно поселившемуся в Москве и занимавшемуся проведением воды в домах. Но обширность воспитательного дома и разделение его на разные отделы так, что между ними не было никакого сообщения, совершенно сбили его с толку. Он должен был положить несколько верст свинцовых труб

разного диаметра по каменным стенам и сводам дома, а там, где были кирпичные полы, в полах. Я ему несколько раз показывал и направления, по которым они должны быть проложены, и величину их диаметров, но он все путал.

Это надоело каменщику Савелию, который взялся в мое отсутствие руководить Джаксона. Он никогда не сделал ни одной ошибки, чему Джаксон, хорошо говоривший по русски, не мог довольно надивиться. При этом не могу не вспомнить о двух англичанах, очень образованных, приезжавших в этом году для осмотра Москвы. Между прочими достопримечательностями они осматривали воспитательный дом и очень занялись производимыми мною работами. Они говорили довольно свободно по-французски и выказывали математические познания и знакомство с инженерными работами. Они мне говорили, что проект водоснабжения дома обдуман хорошо, что они вообще встретили в русских инженерах людей с хорошими познаниями, но мало знакомых с практической частию и в особенности с мастерствами, за которыми они наблюдают, вообще, что они белоручки. В доказательство того, что английские джентельмены знают разные ремесла, один из них при мне спаял мастерски концы двух толстых свинцовых труб и приглашал меня сделать то же. Это замечание было совершенно справедливо и в особенности в отношении ко мне, не говоря уже о том, что кожа моих рук была очень бела и нежна: я ими ничего не умел делать, даже не выучился чертить.

В первой половине декабря, когда водоснабжение в московском воспитательном доме могло быть уже пущено в ход и оставалось кончить незначительные недоделки, я, находясь на этих работах, совершенно неожиданно получил предписание следующего содержания.

Военный министр сообщал главнокомандующему путей сообщения и публичными зданиями, что в числе прочих мер, предпринимаемых к прочному утверждению спокойствия на Кавказе покорением обитающих там горских племен, признано полезным проложить через земли натухайцев прямое сообщение между областью черноморских казаков и укреплением Новороссийск на Суджукской бухте. На сей конец предположено устроить постоянную переправу через р. Кубань при Варениковой пристани близ Новогригорьевского поста.

Между тем государь император, усматривая из полученных от начальства Кавказского края донесений, что до сих пор существуют весьма важные сомнения относительно удобства избираемой местности, изволил считать необходимым: заняться предварительно ближайшим и самым тщательным ее осмотром, так чтобы важное дело это можно было предпринять и исполнить безошибочно по данным самым достоверным. Для производства сего осмотра его величество высочайше назначить соизволил генерального штаба полковника Шульца, придав к нему в помощь опытного офицера корпуса путей сообщения. Лица эти должны быть отправлены в Ставрополь, где, получив от командующего войсками по Кавказской линии и в Черномории

расположенными, генерал-адъютанта Граббе, все нужные пособия к исполнению возлагаемого на них поручения, будут направлены далее на место в удобное к тому время.

Граф Толь предписывал, чтобы я неотлагательно ехал в Ставрополь, где приказывал явиться к генерал-адъютанту Граббе.

Слухи о моем внезапном отъезде на Кавказ распространились по Москве. Во время шумного завтрака перед тем, чтобы садиться в кибитку, в моей передней явился мой внучатный брат Василий Иванович Коптев, кончивший за год перед тем курс в Московском университете, готовый на все, чтобы выказаться перед своим служебным начальством и опасавшийся знакомства с людьми, которых он считал хотя сколько-нибудь либеральными. Он приехал узнать, действительно ли меня посылают на Кавказ, и не входя из передней в столовую, спросил меня об этом. Когда я отвечал утвердительно, он немедля убежал, несмотря на приглашение остаться позавтракать у нас. Он вообразил себе, что меня ссылают на Кавказ, и потому опасался остаться несколько минут с человеком, неугодным правительству. Понятно, сколько появление и внезапное исчезновение Коптева подало поводов к остротам и насмешкам Цурикову и другим гостям.

В Тульской губернии, не доезжая Тулы, вечером, когда уже стемнело и была довольно сильная мятель, я услыхал в стороне от дороги звон колокольчика, который то прекращался, то возобновлялся. Я сказал об этом нашему ямщику и получил в ответ, что звон этот он слы-

шал еще утром, проезжая по этому же месту, что это запутался какой-то проезжий. Я приказал остановиться, отпречь двух лошадей и отправиться нашему ямщику и форейтору отыскать заплутавшихся, на что получил в ответ, что если в целый день при мятели нельзя было отыскать заплутавшихся, то в темное время это совсем невозможно. Однако я настоял на своем, послав на одной из лошадей своего человека, а на другой ямщика и форейтора. Через несколько времени они воротились с отысканною ими кибиткою. Ее с помощию присланных мною лошадей с трудом вытащили из снежного сугроба, в котором она завязла, сбившись рано утром в темноте и при сильной метели с большой дороги. Отысканная кибитка поехала за нами, хотя проезжающие ехали по направлению к Москве. Приехав на станцию, я увидал, что нами спасен был Яков Иванович Ростовцев, бывший в это время в чине полковника исправляющим должность начальника штаба военно-учебных заведений. Он чрезвычайно озяб и был утомлен. Жена напоила его чаем и мы утром разъехались.

Уже теперь трудно себе представить, что такое был фельдъегерь того времени, а еще труднее это объяснить тем, кто будет читать мои воспоминания через несколько десятков лет. Фельдъегери составляли особый корпус при военном министерстве, ими командовал штаб-офицер, выслужившийся из фельдъегерей. В этом корпусе было несколько обер-офицеров и несколько нижних чинов; последние носили также офицерскую форму, за исключением эполет. Эти

фельдъегеря, то же что курьеры в других министерствах, были постоянно в разъездах и очень часто возили высочайшие повеления в особенности на Кавказ. Они не платили прогонных денег, которых не смели с них спрашивать, боясь, что фельдъегерь в отмщение загонит всю тройку, а одну лошадь из тройки они загоняли до смерти довольно часто, не подвергаясь никакой ответственности. Само собою разумеется, что их везли во всю прыть, но это не мешало фельдъегерю всю станцию бить чем попало, ямщика, принуждая скакать еще скорее. Между ними было много немцев из русских подданных. Эти немцы особенно сильно колотили и увечили ямщиков, потому что они, как и многие другие немцы, русского мужика человеком не считали.

В полдень 1 января (1841 г.) показалось, что метель утихает. Фельдъегеря приказали заложить себе сани. Станционный смотритель и ямщики уверяли, что «зги божией не видно» и что нельзя ехать, но несколько затычин и множество бранных слов заставили ямщиков заложить им сани. Вместе с тем заложили и нашу кибитку и мы поехали большою вереницею, но отъехав несколько десятков сажен, потеряли дорогу и не могли больше двигаться. С трудом мы могли вернуться на постоялый двор. На другой день произошла та же сцена, так как метель не уменьшалась. Так мы провели на станции трое суток. Страшно было смотреть на бывший на постоялом дворе рогатый скот, который, едва прикрытый плохим навесом, скоро должен был остаться совсем без корма. Сено

по тамошнему обычаю оставляли в поле в скирдах и подвозили его по мере надобности, а более трех суток нельзя было добраться до скирд и сена почти вовсе не оставалось на постоялом дворе.

Вечером 5 января, подъезжая к Ставрополю, ямщик наш, своротив с большой дороги, поехал по очень узкому просеку некрупного леса. Вдруг услыхали мы со стороны города частые выстрелы. В то время даже образованное общество не имело понятия о том, что делается на Кавказе, и мы легко могли вообразить, что происходит перестрелка между нашими войсками близ Ставрополя или в самом городе. Мы продолжали медленно подвигаться и наконец, въехав в город, увидали, что жители его стреляют холостыми зарядами, и узнали о существовании обычая на Кавказе стрелять накануне праздников, а мы въехали в город накануне праздника Крещения.

Нас привезли в гостиницу Наитаки, лучшую, а может быть и единственную в городе. Мы заняли две весьма грязные комнаты в нижнем этаже, куда нам подали до нельзя грязный самовар. На другой день недалеко от нашей гостиницы был церковный парад, на котором главную роль разыгрывал исправляющий должность начальника штаба Кавказской линии и Черномории полковник Трескин. Мне объяснили, что командующий войсками генерал-адъютант Павел Христофорович Граббе никогда не присутствует на подобных парадах, разводах и смотрах войск и вообще весьма редко выезжает из дома.

В тот же день я представлялся Граббе. Он принял меня с подобающею важностию, без которой не мог обходиться в самых простых делах и разговорах, но вместе и любезно, частию потому, что граф Толь, сообщая ему о моей командировке на Кавказ, написал обо мне тот же лестный отзыв, который он представил обо мне государю.

То же самое Толь сообщил и командиру кавказского корпуса генералу Головину и начальнику черноморской береговой линии генерал-лейтенанту Раевскому [1]. Сверх того Граббе был хорошо знаком с моим тестем и тещею, очень их уважал, особливо последнюю. Граббе было тогда лет за 50 [2]. Он был высок ростом и имел весьма красивую наружность. Держа в руках очень длинный чубук с янтарным мундштуком, он в изысканных выражениях сказал мне по-французски почти следующее:

— Вы присланы разрешить весьма важный вопрос для наших дальнейших действий на Кавказе; по моему мнению, мы должны сосредоточить все наши силы на восточной части Кав-

[1] Это был Ник. Ник. Раевский, друг Пушкина и брат жены декабриста С. Г. Волконского. *С. Ш.*

[2] П. Х. Граббе был другом декабриста И. Д. Якушкина, родственника Е. Г. Левашовой, и сам был членом Союза благоденствия, но отстал от тайных обществ задолго до восстания 1825 года и потому отделался сравнительно легким наказанием. С Н. Н. Раевским, по службе на Кавказе, у Граббе постоянно были столкновения, в результате которых Раевский должен был выйти в отставку в том же 1841 году. Обо всем этом — в пятитомном издании «Архив Раевских», под ред. Б. Л. Модзалевского. *С. Ш.*

каза для ее покорения и потом уже действовать на западную его часть, а не раздроблять наши средства, как того хочет генерал Раевский. Поэтому я постоянно противился устройству переправы через р. Кубань для занятия земли натухайцев, на что потребовалось бы отделить до 10 батальонов пехоты и несколько казацких полков. Мое мнение разделяет и главный начальник кавказского края, генерал Головин. Повторяю, что этот вопрос важен и сам по себе и потому, что если вы найдете полезным устройство в настоящее время сообщения области черноморских казаков с укреплениями на восточном берегу Черного моря, то я не останусь ни минуты в занимаемой мною должности, а вы, конечно, имеете здесь знакомых и приятелей, от которых можете узнать, нужно ли еще некоторое время мое присутствие на Кавказе.

Я отвечал, что по моему мнению, Граббе придает слишком обширное значение моему поручению, что моя обязанность будет состоять только в определении степени возможности устроить требуемое сообщение; что польза его, как видно из предписания графа Толя, признана военным министерством, а если хотят убедиться еще в этой пользе, то может быть об этом предписано генерального штаба полковнику Шульцу, так как такое поручение соответствует его роду службы и ему известен Кавказ, где он уже служил. На это Граббе ответил, что Шульц человек весьма ограниченных способностей, но весьма храбрый, что он никогда не представлял Шульца к столь скорому повышению, а свидетельствовал об его необыкновенной храбрости

при взятии в 1839 г. Ахульго и очень удивился, когда увидал, что в высочайшем приказе Шульц был произведен не только из капитанов в подполковники, но и из подполковников в полковники, что он не знает куда употребить в этом чине Шульца, который до того сумасброден, что ему нельзя доверить и десятка солдат.

При этом Граббе рассказал подробности дела под Ахульго, нападал на полк имени фельдмаршала Паскевича, а в особенности на его командира Врангеля, Александра Евстафиевича, впоследствии генерал-адъютанта и генерала от инфантерии, неумению которого несправедливо приписывал значительную убыль в полку при штурме Ахульго. Граббе, после взятия этого укрепленного места, доносил, что с его падением раздался последний пушечный выстрел на Кавказе. Известно до какой степени эта фраза была неудачна, как и многие другие фразы Граббе. Напротив, с этого времени Шамиль приобрел еще большее значение на восточном Кавказе, вел еще 20 лет все более и более ожесточенную войну.

Граббе окончил свой разговор со мною тем, что по ничтожности Шульца от меня будет зависеть указать своевременность экспедиции в землю натухайцев. На мой ответ, что при неопытности моей в военном деле и при незнании мною Кавказа я никогда не решусь излагать мое мнение о деле, на которое два генерала, знакомые с Кавказом, смотрят розно, а что я ограничусь только указанием степени возможности устроить предполагаемое сообщение собственно в техническом отношении, Граббе воз-

разил, что если я и ограничусь тем, что скажу только, что устройство сообщения не представляет затруднений, то по известному расположению к этому проекту в Петербурге, оно будет приведено в исполнение, а он в таком случае оставит занимаемую им должность, к чему присовокупил, что военный министр предлагал ему, для осмотра местности Шульцем и мною, снабдить нас всем нужным и что, по его мнению, нам потребуется конвой из нескольких батальонов пехоты, а таковых свободных в его распоряжении в настоящее время не имеется. Граббе пригласил меня обедать у него в тот же день и во все время, которое я проведу в Ставрополе.

Для уяснения этого разговора Граббе необходимо хотя в общих чертах напомнить тогдашний способ управления Кавказом и Закавказьем. Главным начальником всех войск, а также всего гражданского управления краем был командир отдельного кавказского корпуса генерал Головин, живший в Тифлисе. Начальником всех войск на северной стороне кавказских гор и гражданской части этого края был генерал-адъютант Граббе, живший в Ставрополе. Начальником войск Черноморской береговой линии, разделенной на три отдела, и гражданской части на оной, был генерал-лейтенант Раевский, живший в Керчи. Граббе был подчинен генералу Головину, а Раевский по 1-му отделу линии генералу Граббе, а по двум остальным отделам непосредственно генералу Головину. Между тем Граббе и Раевскому дозволена была, — вероятно

потому, что они жили ближе от Петербурга, чем Головин, — прямая переписка с военным министром с обязанностию сообщить о ней Головину.

Генералы Раевский и Граббе по своим представлениям часто получали разрешения военного министра, противные видам Головина, чрез это выходили беспрерывные ссоры между этими тремя начальниками и беспорядок в военных действиях. Это дало повод Раевскому в одном из своих донесений военному министру, которые он любил пополнять разными остротами, написать, что Кавказ можно уподобить колеснице басни Крылова, везомой лебедем, раком и щукой в разные стороны.

Перед обедом у Граббе я познакомился с его женою, очень хорошенькою и еще молодою молдаванкою и мне были представлены их дети, из которых, кажется, старшего, очень хорошенького мальчика лет десяти от роду (бывшего впоследствии командиром л.-гв. конного полка), отец называл «хозяином». К обеденному столу подала мне руку жена Граббе и посадила подле себя, несмотря на то, что за столом много было лиц высших чинов. С другой ее стороны сидел напротив меня ее муж. Впоследствии она делала всегда мне то же предложение, за исключением тех дней, когда обедал Трескин: тогда она подавала руку ему и я садился за стол рядом с Трескиным. За обедом всегда было довольно много лиц, но в разговорах участвовали Граббе, муж и жена, Трескин, Лев Пушкин, бывший тогда майором, поэт Лермонтов, я и иногда еще кто-нибудь из гостей.

Прочие все ели молча. Лермонтов и Пушкин называли этих молчальников картинною галлереею.

Лермонтова я увидал в первый раз за обедом 6 января. Он и Пушкин много острили и шутили с женою Граббе, женщиною небольшого ума и мало образованною. Пушкин говорил, что все великие сражения кончаются на о, как-то Маренго, Ватерлоо, Ахульго и т. д. Я тут же познакомился с Лермонтовым и в продолжении всего моего пребывания в Ставрополе виделся с ним и с Пушкиным. Они бывали чаще у меня, но с первого раза своими резкими манерами, не всегда приличными остротами и в особенности своею страстью к вину не понравились жене моей. Пушкин пил не чай с ромом, а ром с несколькими ложечками чая, и видя, что я вовсе рома не пью, постоянно угощал меня кахетинским вином. После обеда у Граббе подали огромные чубуки хозяину дома и мне. Всем другим гостям, как видно, курить не дозволялось. У Граббе была огромная собака, которая всех дичилась, но ко мне с первого моего посещения постоянно ласкалась, чему Граббе очень удивлялся, но для меня это было очень просто, так как все собаки обыкновенно ласкаются ко мне.

В этот же день переехали мы на сносную квартиру в солдатской слободе против деревянной церкви. На другой день сделалось тепло, так что мы могли отворить окна, но зато грязь на улицах была невообразимая и к нашему дому почти не было возможности доехать. Несмотря на это, Граббе, никогда никому не делавший

визитов и вообще редко выезжавший, сделал мне и жене моей визит. Он приехал в карете, окруженный несколькими казаками кубанского казачьего войска, одетыми наподобие черкесов, что составляло весьма живописную картину. Визит, сделанный нам Граббе, поднял меня в мнениях служащих в Ставрополе, и все старались со мною знакомиться. В это время служил в Ставрополе известный Голицын, князь Владимир Сергеевич, который был очень толст, так что когда он командовал центром Кавказской линии, то говорили, что он, став в центре, одною своею фигурою может защитить его. Он был не в ладах с Трескиным, и они говорили друг другу разные колкости, но Трескин, видимо, брал верх, пользуясь своим более высоким положением как начальник штаба.

Но не долго пришлось мне прожить в Ставрополе. Вскоре приехал от военного министра фельдъегерь с предписанием мне немедля ехать в Керчь для получения наставлений генерала Раевского и с планом местности около Варениковой пристани, на котором собственноручно государем была поставлена буква А в том месте, где предполагалось начать устройство переправы на правом берегу р. Кубани. Впоследствии, по поверке этого плана с местностию, оказалось, что он очень неверен, и что точка, у которой была выставлена буква А, вовсе не существует. Граббе, узнав что я должен ехать в Керчь, дал мне предписание, в котором излагал свои предположения насчет переправы через р. Кубань у Варениковой пристани, и вместе с тем просил осмотреть поврежден-

ный мост на р. Кубани при крепости «Прочный окоп».

Лермонтов и Пушкин пришли меня проводить. Первый уверял, что по казачьим землям можно ездить только штаб-офицерам или с крестом на шее, иначе подвергнешься неприятностям со стороны казаков, и потому убеждал меня мой петличный анненский крест надеть на шею. Конечно, я его не послушался.

На ночь я приехал в Прочный окоп, где не застал командующего войсками правого фланга Кавказской линии, генерал-лейтенанта Засса, ушедшего в какую-то экспедицию против горцев. Известно, что он часто отправлялся в эти экспедиции и даже против мирных горцев, под видом наказания за причиняемые ими будто бы беспорядки, а на самом деле для того, чтобы забрать у них баранту (рогатый скот и овец) и продать ее в свою пользу. Вообще, отдавая справедливость храбрости Засса, рассказывали, что он делал разные злоупотребления и неистовства.

На другой день я осмотрел поврежденный мост и, указав легчайшие способы его исправления и на удобнейшее место к постройке нового моста, впоследствии представил эти предположения генерал-адъютанту Граббе. Несмотря на то, что Засс был в экспедиции, у него в доме было довольно лиц за обедом, к которому был приглашен и я. За этим обедом я в первые видел знатных горцев, приехавших по своим надобностям в Прочный окоп. Они, несмотря на запрещение Магомета, преспокойно перед обедом

выпили по рюмке водки, стоя к нам неумышленно или с намерением спиною.

Казаки вообще жили довольно зажиточно. Кубанские, между которыми было много переселенцев из великой России, казались молодцами в их красивой одежде по образцу одежды горцев. Позы, которые они принимали, собираясь в кружки в своих станицах, были живописны. Напротив того, черноморские казаки, большею частью потомки знаменитых запорожцев или переселенцев из малой России, казались вялыми и неуклюжими, но они были усерднее к службе, вернее при исполнении возложенных на них обязанностей и многие из них оказывали необыкновенные подвиги храбрости.

Дорога от Прочного окопа проложена недалеко от левого берега р. Кубани, за которою виднеется хребет невысоких кавказских гор. Снежная вершина самой высокой горы, Эльборуса, видна еще из Ставрополя.

Вареникова пристань, при которой предположено было устроить переправу через р. Кубань, находилась в области черноморских казаков, а потому я находил нужным о данном мне поручении переговорить с атаманом этих казаков, генерал-лейтенантом Завадовским, для чего и остановился в Екатеринодаре. Завадовский принял меня очень любезно и просил переехать в его дом, в котором уступил мне свой кабинет, и впредь при проезде моем через Екатеринодар всегда останавливаться у него. Из моего с ним разговора ясно было, что и он крепко не желает осуществления проекта устройства сообщения между Варениковой пристанью и укрепле-

ниями на восточном берегу Черного моря. Он говорил, что вся тяжесть работ по устройству сообщения ляжет на черноморских казаков, которых он называл «обидною, угнетенною нациею», и что эти казаки и без того чрезвычайно обременены служебными откомандировками. Впоследствии я узнал, что он опасался того, что по устройстве этого сообщения пространство между Таманью на Азовском море и Варениковой пристанью, на котором поселены черноморские казаки, может отойти в ведение начальника Черноморской береговой линии, а если бы этого и не случилось, то во всяком случае в укреплении, предположенном на левом берегу р. Кубани у Варениковой пристани, будут стоять войска береговой линии, ему не подчиненные, и он не желал близкого соседства таких войск.

Завадовский незадолго перед этим женился на вдове, сестре генерал-майора Пулло, о злоупотреблениях которого в Чечне я много слышал в Ставрополе, где утверждали, что эти злоупотребления были причиною возмущения тамошних горцев. В Ставрополе мне был вручен пакет, содержание которого мне было неизвестно. Оказалось, что в нем заключался вызов Пулло в Петербург. Конечно, это сильно озадачило Пулло и его родных. Он более на Кавказ не возвращался, вскоре был уволен от службы и жил в Москве.

На другой день моего приезда в Екатеринодар я услыхал в смежной с моею комнате разговор Завадовского на совершенно непонятном мне языке. Оказалось, что он говорил на

малорусском наречии с приходившими к нему черноморскими казаками, тогда как со мною и в своем семействе он говорил чисто по-русски с небольшим малороссийским акцентом.

Пролив между Таманью и Керчью я переплыл в казенной перевозной лодке. Вид Керчи с моря очень живописен. По приезде в Керчь оказалось, что позабыли взять шпагу, без которой я не мог явиться к Раевскому. Меня ссудил шпагой генерального штаба полковник Григорий Иванович Филипсон (впоследствии сенатор), который заведывал управлением Черноморской береговой линии на правах начальника штаба. Мне приходило в голову, что почти везде начальствующие лица из немцев, а когда изберут русского, то в помощники ему придадут все таки немца. Оказалось, что Филипсон такой же немец, как я, и когда мы с ним очень близко сошлись, он мне говорил, что, получив извещение о моем назначении для осмотра местности у Варениковой пристани, часто думал о том, что из нескольких сотен инженеров путей сообщения не могли выбрать русского, а прислали немца.

Генерал Раевский принял меня, лежа в постели, покрытый одеялом, хотя было уже около полудня. Близкий человек к покойному Пушкину, хороший знакомый моего тестя и тещи, брат жены очень любившего меня Орлова и, сверх того, получивший обо мне рекомендацию графа Толя, Раевский, конечно, принял меня весьма любезно. Он с насмешкою любовался моими эполетами и шарфом, находил, что они очень блестящи, но что он совсем забыл об их суще-

ствовании (офицеры Черноморской береговой линии бо́льшей частью не надевали эполет).

Раевский говорил по-французски, что я был в Ставрополе, тогда как правильнее было бы мне приехать к нему прямо и от него получить нужные сведения, что это было бы и согласнее с мнением военного министра. Я отозвался, что я поехал в Ставрополь, исполняя данное мне предписание, которое и ему было известно. Далее он мне сказал: «И так вы были в Ставрополе и видели статую командора». Я отвечал, что не видал никакой статуи в Ставрополе, но он утверждал, что почти все военные, проезжающие через Ставрополь, видят эту статую, а тем более лицо, получившее столь важное поручение. Я конечно понимал, что он говорил о генерале Граббе, но не показал вида, что понимаю. Затем Раевский объяснил мне о необходимости скорейшего покорения черкесов на восточном берегу Черного моря, к чему покорение земли одного из их племен, Натухайского, было бы первым шагом, что по покорении черкесов прочие горцы, не имея более сообщения ни с Турцией, ни с поддерживавшими их западными державами, могут быть легче покорены, что в случае войны нам весьма важно владеть восточным берегом Черного моря, чтобы воюющие с нами державы не могли возбудить против нас горские племена на этом берегу, а за ними и все прочие.

Раевский сказал мне, что осмотр местности у Варениковой пристани был уже неоднократно производим офицерами генерального штаба и инженером путей сообщения Адеркасом,

командированными по распоряжению Головина. Все они в угождение своему начальству доносили, что устройство в этом месте переправы невозможно, что Адеркас даже не нашел этой местности и вообразил, что Раевский хочет устроить переправу через Черное море. Раевский соглашался, что устройство такой переправы действительно невозможно, но он не виноват, что присылают для осмотра инженера путей сообщения, который не умеет отличить реки от моря. Все это Раевский изложил в официальном предписании, данном им мне по поводу возложенного на меня поручения.

Вообще Раевский был охотник до составления проектов, не только относившихся до скорейшего покорения Кавказа, но до наших дальнейших действий в Азии. Эти проекты вследствие того, что он почти целые дни лежал, были им диктуемы состоявшему в его управлении поручику Антоновичу (впоследствии генерал-лейтенанту и попечителю киевского учебного округа). [1] Многие из них были представлены военному министру. Проекты эти давались для прочтения разным лицам, приезжавшим в Керчь. Я был конечно из их числа. Одновременно со мною читал эти проекты военный инженер полковник Постельс, командированный на чер-

[1] Это был П. А. Антонович-Войшин, участник известного политического кружка Сунгурова в Москве (1831 г.). По приговору военного суда в 1833 г. был разжалован в рядовые и сослан на Кавказ, где выслужил чин прапорщика в 1839 г. Раевский покровительствовал ему, как и другим политическим ссыльным, преимущественно декабристам. *С. Ш.*

номорскую береговую линию, по случаю взятия в 1840 г. горцами наших четырех укреплений на этой линии, для возобновления некоторых из них и для составления проектов на усиление остальных укреплений, так чтобы они могли противостоять нападениям горцев. Постельс всегда восхищался проектами Раевского.

Я находил, что не время было думать о завоеваниях в Азии, когда мы не владели еще черноморским восточным берегом, и самое название черноморской береговой линии было неправильно, так как линия состоит из непрерывного ряда точек, а мы имели на этом берегу несколько точек (укреплений) в расстоянии одна от другой на 20 и более верст, на которых мы не смели показать носа. Некоторые из проектов Раевского были посылаемы военным министром Головину, который постоянно их не одобрял. Опровержения Головина были снова посылаемы Раевскому, который диктовал Антоновичу замечания на эти опровержения, позволяя себе разные колкости. Так в одной из этих объемистых тетрадей, посланных в военное министерство, Раевский, делая замечания на опровержение Головина, нигде не употреблял выражения: «генерал Головин говорит», а везде: «опровержение говорит».

Подозревая своего подчиненного, начальника I отделения береговой линии, контр-адмирала Серебрякова в тайных сообщениях с Головиным, он в своих донесениях писал, что остановил неправильные сухопутные эволюции сего морского генерала. Получив некоторые замечания Головина по предположенным движениям

морской дивизии, которая должна была крейсировать около восточного берега Черного моря, но отвечал Головину, что в морском деле он не может следовать указаниям пехотного генерала, а часто советуется с начальником черноморского флота, вице-адмиралом Лазаревым, указаниям которого он следует и который одобряет его распоряжения. Раевский в своих донесениях военному министру говорил о своих начальниках Головине и Граббе, что он не виноват, что имеет дело с людьми, которым нельзя растолковать, что $2 \times 2 = 4$.

При чрезвычайной лени и вечном лежании в постели Раевский занимался только проектами и замечаниями на мнения Головина об этих проектах, управление же края и войск было в полном заведывании Филипсона, а по дивизии, крейсировавшей около восточного берега, в заведывании капитан-лейтенанта Александра Ивановича Панфилова (впоследствии адмирала и члена совета адмиралтейства). Раевский много читал, но бо̀льшею частью пустые книги. Разные ученые фолианты лежали на столе и подле его кровати, и он ими часто прикрывал читаемые им пустые книжонки, чтобы бросить посещающим его пыль в глаза.

В самый день приезда моего в Керчь я был приглашен ежедневно обедать у Раевского. Перед обедом я познакомился с его женою, Анной Михайловной, урожденною Бороздиной. Она была женщина умная, но излишне bas-bleu. [1]

[1] Синий чулок. А. М. Раевская уважала науку, разделяла ботанические увлечения своего мужа и сыновей своих определила в Московский университет. Она

К обеду приходили постоянно Филипсон, Панфилов, Антонович и некоторые другие. Раевский, которому трудно было просидеть долго в сюртуке, хотя очень широком, уходил вскоре по окончании обеда. За этими обедами я в первый раз увидал начальника III отделения черноморской береговой линии полковника Николая Николаевича Муравьева (впоследствии графа Амурского, генерала-от-инфантерии и члена государственного совета). Он приехал с донесением о сделанной им экспедиции в долину Дал в Цебельде, за которую произведен в генерал-майоры. Вообще его служба шла очень счастливо. Приехав с своим дядей Головиным на Кавказ в чине майора, он менее чем в два года получил три чина и пять орденов разных названий и степеней. Он был очень умный, ловкий и живой человек и мне очень понравился.[1] Раевский был большой ботаник. Муравьев ему

гордилась тем, что муж ее приходится правнуком Ломоносову. Подробности о ней и ее семье в «Архиве Раевских». *С. Ш.*

[1] Н. Н. Муравьев (Амурский) один из первых русских администраторов, будучи тульским губернатором, поднял перед императором Николаем Павловичем в 1846 году вопрос об уничтожении так наз., крепостного права. В начале 50-х годов он был генерал-губернатором Восточной Сибири и выказывал участие находившимся там на поселении декабристам, облегчал их участь. Впоследствии он покровительствовал сосланному в Сибирь М. А. Бакунину, своему родственнику. В реакционных правительственных кругах пользовался репутацией «красного». На словах, действительно, был сторонником идеи федерализма, на деле был сторонником административной диктатуры. Из новейших публикаций о нем см. П. А. Кропоткин «Дневник», М. 1923. *С. Ш.*

привез довольно высокий розан, который он сорвал в поле во время последней экспедиции в начале января.

В Керчи я часто бывал у градоначальника князя Херхеулидзева, человека ума небольшого, с плохой памятью, но очень доброго. У него познакомился я с старым декабристом Лорером, который после ссылки в Сибирь на каторжные работы был назначен солдатом на Кавказ и, незадолго перед моим приездом в Керчь, был произведен в прапорщики. В Керчи все военные ходили без эполет в одних контр-погончиках, а потому Лорер, по его летам и осанистому виду, всякому его не знавшему казался не прапорщиком, а генералом. В одном из донесений о взбунтовавшемся полке, в котором Лорер был в 1825 г. майором и батальонным командиром, о нем было сказано: «неистовый майор Лорер». Во время же моего с ним знакомства он особенно занимался здоровьем всех детей, вообще был очень добродушен и нет сомнения, что с его добродушием он никогда не мог быть «неистовым». Этот эпитет нас очень забавлял. [1]

[1] Н. И. Лорер (1795-1873), член Южного и Северного тайных обществ, друг руководителя заговора декабристов П. И. Пестеля, в Вятском полку которого был майором. Дельвиг ошибается: восстал в 1825 г. не Вятский, а Черниговский полк, поднятый С. И. Муравьевым-Апостолом. Лореру ставились в вину сношения с главарями заговора декабристов, и он осужден по IV разряду в каторгу на 12 лет; в 1832 г. обращен на поселение, в 1837 г. послан рядовым на Кавказ, а в 1840 г. произведен в прапорщики. *С. Ш.*

У Раевского я познакомился, между прочим, с Мейером, главным доктором береговой линии, человеком замечательного ума и большого образования, послужившим типом доктора в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Впоследствии он женился на компаньонке жены Раевского, также очень умной женщине, которая после его смерти была начальницей Керченского девичьего института.

В разговоре с Филипсоном о возложенном на меня поручении я обратил его внимание на то, что мне предписано осмотреть местность около Варениковой пристани, близ «Новогригорьевского поста», а между тем при проезде моем через область черноморских казаков я узнал, что означенная пристань находится близ Андреевского поста и что Новогригорьевский пост устроен верст 60 или 70 ниже по Кубани. Филипсон отвечал мне, что полученное мной сведение справедливо и следующим образом объяснил, отчего в предписании упоминается Новогригорьевский пост вместо Андреевского. Полковник Вревский, состоявший при военном министре, фаворит его, имевший большое влияние в военном министерстве, в бытность на Кавказе как-то случайно переправился через р. Кубань у Новогригорьевского поста и считал это место удобным для устройства постоянной переправы, но на самом деле это устройство представляло бы большие затруднения. Находясь слишком близко к Черному морю, линия от этой переправы к Новороссийску отрезывала бы только малую часть земли натухайцев и следовательно не достигалось бы главной цели

предполагаемого сообщения, которая состояла именно в том, чтобы линия от переправы через Кубань к Новороссийску отрезывала всю землю натухайцев или по крайней мере бо̀льшую ее часть. Раевский, предполагая устроить переправу у Варениковой пристани и желая иметь поддержку Вревского у военного министра, приказал в донесениях своих к словам «Варениковa пристань» прибавлять слова «у Новогригорьевского поста», так что Вревский полагал, что переправа должна быть устроена там, где он переправлялся через Кубань, и действительно, вследствие этого сильно поддерживал предложение Раевского. Этим объясняется, почему инженер путей сообщения Адеркас не нашел местности, которую ему было поручено осмотреть.

Несколько времени спустя после моего приезда в Керчь приехал из Ставрополя генерального штаба полковник Шульц, впоследствии генерал-лейтенант и динамюндский комендант, с рекомендательным. письмом от Трескина. Раевский, прочитав это письмо, подал его Филипсону и при этом сказал: «Прочтите это письмо, только не вслух». В нем Трескин писал Раевскому, что последний всегда его уверял в своей дружбе, в которой он и не сомневался, но теперь Раевскому предстоит это доказать на деле, упрятав подателя письма, надоевшего Трескину своею глупостью, в одну из безвыходных трущоб, которыми так богата черноморская береговая линия.

Шульц, не довольно любезно принятый в Ставрополе Граббе и Трескиным, старался

перейти на береговую линию, но, конечно, не в безвыходную трущобу, а думал заместить Филипсона. Для этого он действовал на Раевского через Постельса, с которым, как с немцем, скоро сошелся и вместе с ним расхваливал проекты Раевского. Но всего более он насмешил нас следующим. Принесли во время обеда годового сына Раевского (впоследствии полковника в Туркестане). Шульц, слышавший от кого-то, что Раевский производит свой род из Дании, желая угодить последнему, заметил, что в выражении ребенка есть что-то датское. Он выразился как-то очень глупо, так что это подало повод Раевскому, большому цинику, тут же сказать, что разве жена его погрешила с каким-либо датчанином.

Шульц привез подтверждение того, что Граббе не может назначить войска для конвоирования нас при осмотре местности около Варениковой пристани. Поэтому Шульц и я решились сделать этот осмотр тайным образом, а так как необходимо было для осмотра воспользоваться холодным временем, пока низменные места около Кубани находятся еще в замерзшем состоянии, то и назначили сделать осмотр в половине февраля. На это нужно было согласие Граббе. Найдено было полезным, для сохранения тайны, о нашем предположении не переписываться, а мне ехать для испрошения этого согласия. С означенною целью я ездил в Ставрополь и убедил Граббе в необходимости исполнить этим способом возложенное на меня по высочайшему повелению поручение.

Давая свое согласие, Граббе меня предупре-

ждал, что я подвергаю себя большой опасности. Меня чрезвычайно удивило, что он в тот же день за обеденным столом, за которым по обыкновению сидело много офицеров, рассказал о нашем предположении, о том, что он предварял меня, насколько оно опасно, и присовокупил с обыкновенною своею выспренностью, что если я попадусь при этом в плен, то правительство меня выкупать не будет не из экономии, но из принципа, так как и римляне в войнах с дикими народами не выкупали попавшихся в плен к сим последним. Конечно, горцы немедля узнали о предполагавшемся нашем переходе через Кубань, но не знали только дня, в который он состоится. Граббе назначил генерального штаба капитана Вревского (впоследствии генерал-лейтенанта, убитого на Кавказе) командовать небольшим отрядом казаков при легких орудиях, который должен был во время перехода моего и Шульца на левую сторону Кубани скрываться на правом ее берегу в камышах для подания, в случае надобности, нам помощи.

В Ставрополе я попрежнему часто видался с Граббе, поэтом Лермонтовым, Львом Пушкиным и графом Валерьяном Канкриным, старшим сыном министра финансов. Он был прапорщиком гвардии. Тогда каждый год посылали несколько гвардейских офицеров в кавказские экспедиции. Валерьян был человек небольшого ума, но довольно острый и хороший товарищ. Видался я также с Трескиным, вышеупомянутым Вревским и другими лицами и время проводил весело.

Проезжая через Екатеринодар, в поездку мою в Ставрополь и обратно в Керчь, я останавливался у Завадовского, который также не одобрял предполагаемого нами тайного перехода через Кубань. Местность у Варениковой пристани, вследствие близости от нее многочисленного и воинственного племени шапсугов, почиталась очень опасною. В начале февраля были довольно сильные морозы. Я приехал в Тамань ночью и остановился в нетопленой почтовой станции, в которой совершенно замерз. Утром узнал я, что довольно сильный лед идет из Азовского в Черное море и переправиться через пролив у Тамани невозможно, а что переправляются в Керчь верстах в 20 от Тамани с косы, называемой Тузлою.

Приехав на место, я с трудом нашел старосту казенных перевозчиков, который было хотел созвать людей для перевозки, но вдруг отказался и как-то грубо выразился. Его грубость и в особенности опасение, что я, задержанный переправою, при наступлении теплой погоды не в состоянии буду исполнить возложенного на меня поручения, так меня раздражили, что (и теперь еще не могу простить себе) я взбешенный вынул из ножен находившийся при мне кинжал и пригрозил им означенному старосте, который немедля исчез, так что я ни его, ни казенных перевозчиков не мог нигде найти. Оказалось, что кроме казенного перевоза был тут же вольный. Я отыскал вольных перевозчиков, которые требовали за перевозку в г. Керчь, всего около 10 верст, 25 руб. с получением денег вперед. Я согласился и мы проехали

около половины означенного расстояния, но шедший лед не позволил нам плыть до крымского берега и меня высадили на среднюю Тузлу. Это очень маленький песчаный остров, едва возвышающийся над горизонтом моря. На острове были две рыбачьи хижины. Я вошел в одну из них погреться. Выйдя из хижины, я увидал, что привезшие меня вольные перевозчики отплыли, выложив мои вещи на берег.

Рыбаки, жившие на острове, были бо́льшею частью малороссы, отличавшиеся сильным телосложением с разбойничьим типом. Они пригласили меня обедать с ними, но с тем, чтобы мой слуга, Сергей Дорофеев, ел за тем же столом. Меня посадили на почетное место под образами и мы ели все вместе очень вкусную уху и еще что-то из очень вкусной свежей рыбы. После обеда они мне сказали, что в их хижинах не курят и я вместе с некоторыми из них курил на чистом воздухе, несмотря на довольно сильный холод. Когда я, лежа в хижине на скамье, читал «Revue des deux mondes», несколько человек подходили ко мне и, посмотрев на книгу, говорили: «это не по нашему». Ночью они сильно натопили и я во сне видел, что весь горю, и проснувшись, я не мог вытерпеть этой жары и не одетый бросился из хижины. Мои хозяева сказали мне, что они так много нажарили печь, думая мне этим угодить.

На другой день они условились доставить меня за 15 руб. в Керчь, но постоянно наблюдая в бывший со мною телескоп, которым очень любовались, находили, что около крымского

берега много льду, который не позволит нам пристать к берегу. Проведя еще одну ночь на островке, мы отплыли утром и с трудом причалили к так называвшейся Павловской батарее. Тут была всего одна хижина, в которой жил какой-то солдат. Я нанял у него телегу с лошадью для доставления моих вещей в Керчь, а сам пошел по замерзшему полю пешком. Направления, по которому пролегала дорога, не было видно, так как она вся была покрыта льдом. Я не раз падал в пересекающие ее, покрытые тонким льдом, ручьи и насквозь промок. Придя в таком положении в Керчь, я остановился в гостинице. Несмотря на то, что отведенная мне комната была не топлена и очень холодна, я предпочел снять с себя совершенно мокрые платье и белье и в таком положении довольно долго просидел, пока не приехал мой слуга с вещами.

В Керчи было известно, что черкесы выставили наблюдательные посты около Варениковой пристани, конечно, в виду дошедших до них слухов о нашем переходе через Кубань. Посты эти были ими сняты 15 февраля. Узнав об этом, Шульц и я в сопровождении Филипсона отправились на Андреевский пост, где нашли Вревского с его маленьким отрядом. Условлено было, что Вревский по наступлении темноты расположится в камышах против Варениковой пристани на правом берегу Кубани и вышлет на маленькой лодке десяток «пластунов» на левый берег для осмотра, не скрываются ли вблизи черкесы, а я с Шульцем на правом берегу Кубани будем ожидать до 10 ч. вечера

результата их поисков и если пластуны найдут, что черкесов нет вблизи на левом берегу, то мы в сопровождении войскового старшины (майора) Ивана Лукича Посполитаки, одного офицера из служащих у нас мирных черкесов и одного казака переедем через Кубань на другую сторону.

Название «пластун» было очень известное тогда на Кавказе, но для читателя может быть необходимо его пояснить. Пластун был казак Черноморского войска, бесстрашный, отлично стрелявший, проводивший большую часть жизни в одежде дикаря с винтовкою в руке в камышах под открытым небом. Про пластунов было поверье, что они заговорены от черкесских выстрелов, а что они даром выстрела не выпустят. Они по высокому, толстому и частому камышу ходили так, что их движения не было слышно, а между тем они каким-то чутьем разузнавали след, по которому прошел черкес. Пластуны, вдвоем или втроем, ходили к непокоренным черкесским племенам, переплывали для этого через р. Кубань в выдолбленном дубе, который один из них взваливал себе на спину, и отправлялись, как они выражались, на охоту. На этой охоте они убивали одного или двух черкесов, или уносили что-нибудь у последних и возвращались целы и невредимы.

При наступлении сумерек 19-го февраля, когда мы собирались итти с Андреевского поста на Вареникову пристань, Шульц мне сказал, что он возьмет с собой только благородное оружие, т. е. шашку, а не огнестрельное, и надеется,

что я поступлю так же. Я отвечал, что я не возьму никакого оружия. Он этому очень удивился, но я шел без всякого оружия вовсе не из храбрости, а потому, что оно мне было бы бесполезно в случае нападения, так как я не умел им владеть. Выйдя к собравшемуся маленькому отряду казаков, Шульц не мог удержаться, чтобы по принятому порядку не поздороваться с ними в ожидании громкого ответа казаков: «Здравия желаем, ваше высокоблагородие». Но казачьи войска на Кавказе не были к этому приучены и только несколько казаков отвечали вышеприведенным восклицанием, другие просто поклонились, а большая часть и того не сделала. Если бы весь отряд отвечал громогласно, то это могло бы возбудить внимание черкесов и нарушить тайну нашего перехода. К тому же Шульц, произведенный в полковники позже Филипсона, не имел и права в присутствии старшего здороваться с отрядом.

Мы отправились на Вареникову пристань и выслали десять пластунов на левый берег Кубани. В ожидании их возвращения Шульц и я сидели у большой ветлы на берегу реки. Шульц, недавно женившийся и оставивший свою жену в Лифляндии, говорил мне между прочим: «А что если бы наши жены знали, какой мы вскоре подвергнемся опасности». Я отвечал, что жена моя знает об этом. Замечание Шульца доказывает, что как бы человек ни был храбр, а когда есть сердечная привязанность, то поневоле приходит на ум опасаться несчастных последствий храбрости. Удостоверившись, что на левом берегу Кубани нет вблизи

черкесов, мы переплыли и спрятались в камышах в ожидании близкого восхода луны. Шульц продолжал объяснять мне свои проекты. Чтобы показать, до какой степени они были глупы, упомяну об одном из них. Он полагал завести такую академию, в которой воспитывались бы постоянно двенадцать человек молодых людей и выпускались бы после шестилетнего курса прямо в министры двенадцати частей, на которые разделялось бы государственное управление. Они оставались бы министрами в продолжение 6 лет, по прошествии которых были бы заменены вновь вышедшими из академии, а сами, как опытные люди, заседали бы в государственном совете.

Шульц вскоре утомился и заснул, я же не мог заснуть и каждый шорох камыша заставлял меня поворачивать голову. Пластуны продолжали свое обозрение местности далее, и я не мог надивиться их способности ходить по камышам без малейшего шума. С восходом луны я разбудил Шульца и мы отправились по камышам на более возвышенную местность, где было пахатное поле, откуда были видны разбросанные сакли черкесов. Я заметил все, что мне было нужно для составления проекта сообщения от Кубани до означенного возвышения, и утром мы вернулись на правый берег Кубани. Бывшие с нами пластуны успели утащить из горских саклей топоры и еще какие-то вещи, не представлявшие никакой ценности.

В этот же день я поехал в Ставрополь, где в ожидании удобного пути для переезда с женою в Керчь занимался составлением проекта устройства земляной насыпи и деревянных мо-

стов у предполагаемой через Кубань переправы, которая должна была состоять из парома значительных размеров.

Во второй половине марта, купив очень поместительный тарантас с колясочных кузовом, я с женою поехал в Керчь. Проезжая по земле кубанских казаков, мы услыхали пушечные выстрелы за Кубанью и вскоре повстречали верховых казаков с чем-то перекинутым через седла, со всех сторон завернутым. Это были убитые в стычке, происходившей невдалеке, между нашими войсками и черкесами, я же уверил жену, что это везли провиант и фураж. Вскоре встретились с нами несколько фур, наполненных обвязанными и перевязанными ранеными с кровавыми пятнами. Несмотря на это положение, они, встречаясь со мною, снимали фуражки, как это было тогда установлено для нижних чинов при встрече их с офицерами. В казачьих станицах, через которые мы проезжали, хоронили убитых в означенной стычке.

Перед Екатеринодаром мы остановились на ночлег на почтовой станции, от которой в расстоянии одной версты, на другом берегу Кубани, видны были огни, разведенные черкесами. Погода была хорошая, давно не было дождей, и мы без затруднения проехали через Екатеринодар, где в дождливое время экипажи и менее грузные, чем наш тарантас, тонули в грязи, и так как их нельзя было вытянуть из грязи несколькими парами волов, то их покидали до просушки. Также без затруднений мы проехали днем вышеописанные мною плавни. Через Керченский пролив переехали мы в баркасе, на

который поставили тарантас. Я говорил уже о том, что жена моя боялась воды, но здесь надо было покориться необходимости. В Керчи мы наняли верхний этаж в одном из лучших домов Кобазова, между которым и Керченским заливом лежали, так же как и перед многими другими домами, кучи рыбы. Они были так велики, что бедные люди брали из них бесплатно по десятку мелких рыб, и на это никто не обращал внимания.

У нас вскоре по нашем приезде в Керчь были Раевский, князь Херхеулидзев, Лорер и Мейер. Филипсон дичился женщин и потому ни разу не был у жены моей. Она же хотя была также очень дика, но по настояниям Раевского познакомилась с его женою, которая по своему уму и образованию ей понравилась до того, что она в один день была у Раевского два раза, но впоследствии они видались не очень часто: холодность Раевской оттолкнула жену мою.

Раевский был очень любезен с женою моею. Он был очень высокого роста, но всегда ходил сгорбленный. Раз для того чтобы показать, какого он роста, он перед нею выпрямился, и действительно рост его был необыкновенный. Чаще всех у нас бывал Лорер, который играл с женою в шахматы. Мы приехали в Керчь в конце марта, но поля около Керчи были уже покрыты цветами, которые жена со мною ходила каждый день собирать.

Раевский настаивал на том, чтобы я в донесении моем изложил пользу сообщения области Черноморских казаков с укреплениями на вос-

точном берегу Черного моря. Он шутя говорил мне несколько раз, что если я напишу сильно в пользу этого сообщения, то он за обедом будет давать мне иностранное вино; если напишу не довольно сильно, то он будет давать свое крымское вино, которое мне казалось очень плохим, а если напишу не в пользу сообщения, то он не только не даст вина, но и не будет приглашать к обеду. А так как, по его мнению, в Керчи негде есть кроме как за его обедом, то я умру с голода, не представив никакого донесения. Тогда пришлют другого инженера, который, узнав о причине моей смерти, конечно, поостережется той же участи и напишет хорошо о предполагаемом Раевским сообщении.

Совершенно неожиданно в апреле приехал в Керчь фельдъегерь, привезший увольнение Раевского от должности. Его вечные споры с своими начальниками и в особенности остроты на их счет, наконец, надоели в Петербурге. Раевский вскоре уехал в имение на южный берег Крыма, где я его видел в следующем мае. После этого увольнения Раевский прожил недолго. Ему было не много более 40 лет. Известно, что он и брат его Александр находились в войну 1812 г. при отце своем генерале Раевском и что первому было в то время 10, а последнему 15 лет. [1]

Осуществление предположения Раевского по устройству сообщения между областью

[1] Имеется в виду воспетое Жуковским дело при Дашковке. А. Н. Раевский родился в 1795 г., умер в 1868 г. Н. Н. Раевский родился в 1801 г., умер 1843 году. *С. Ш.*

черноморских казаков и укреплениями на восточном берегу Черного моря было личным вопросом между Граббе и Раевским. С увольнением последнего дело это в глазах Граббе потеряло важность и он не обращал более на него внимания. На место Раевского назначен был генерал-майор Иосиф Романович Анреп, находившийся также в дурных отношениях с Граббе, но последний, зная его ничтожность, не считал его, как Раевского, своим соперником. Так как и возложенное на меня поручение потеряло в глазах Граббе важность, то он не находил более надобности оставлять своей должности.

Еще в январе я получил предписание от графа Толя, что мне по высочайшей воле поручается осмотр Сухума, по случаю предположенных работ для осушки окрестных болот. Впоследствии Анреп поручил мне осмотреть казенные здания Анапского военного госпиталя. Донесение о способах для осушения болот около Сухума и подробное описание госпиталя в Анапе представлены мною Анрепу.

Для исполнения последних двух поручений я плавал на пароходе по Черному морю. Восточный его берег, от Анапы до Сухума, представляет великолепное зрелище. На этом огромном протяжении можно плыть близко от гористого берега, весьма крутого, так что снежные вершины гор кажутся висящими над пароходом. Вся покатость берега усеяна самою разнообразною растительностью: внизу растения теплых, выше растения северных стран, далее мох и в некоторых местах снег. По всему берегу выстроены были русские укрепления в расстоя-

нии одно от другого приблизительно на 20 верст, как угрозы горцам и для воспрепятствования им торговли и всякого сообщения с турками. Но эти укрепления не достигали цели: слишком незначительные с ничтожными, хотя и храбрыми гарнизонами, они подвергались нападениям горцев, которые успели в одну зиму совсем уничтожить четыре из них. Укрепления не только не служили угрозою горцам, но роняли в их глазах могущество белого царя.

Горцы, зная обширность русской империи, предполагали даже, что гарнизоны укреплений были, сосланы в них в наказание, и действительно эти гарнизоны истреблялись видимо от болезней и по своей малочисленности могли только защищаться от нападений горцев и то не всегда, а наступательных действий производить не могли. Укрепления для сообщения с ними были устроены на самом берегу моря, а для того, чтобы иметь пресную воду,—при впадении ручьев в море, следовательно на низменных местах, в которых свирепствовали постоянные лихорадки и цынга, через что гарнизоны укреплений делались еще малочисленнее, а огромные госпитали анапский и феодосийский были наполнены больными с береговой линии. Смертность в войсках была огромная.

Укрепления наши не мешали и сообщению горцев с турками. Турецкие шкуны в виду укреплений, вне пушечного выстрела, весьма недальнего по причине малого калибра орудий, причаливали к берегу, выгружали привезенный товар и в том числе порох и оружие и, получив взамен горских девушек, уходили в Турцию.

Известно, что при начале войны с западными державами в 1854 г. гарнизоны этих укреплений были сняты и счастливо перевезены для присоединения к другим нашим войскам. Для сообщения с укреплениями и для недопущения турецких шкун подходить к берегу вдоль его крейсировала попеременно одна из дивизий нашего черноморского флота, несколько пароходов для перевозки войск и несколько баркасов Азовского казачьего войска. Но фрегаты и пароходы имели глубокую осадку и, несмотря на значительную глубину моря, на большей части протяжения берега опасались гоняться за мелкосидящими шкунами, которые при всяком ветре причаливали везде, а иногда, опасаясь погони, втягивались на самый берег. Только одни баркасы Азовского войска могли везде следить за ними, но число их было недостаточно.

Опишу некоторые эпизоды во время плавания моего по Черному морю. Подходя к укреплениям, сигналом с парохода спрашивали о том, благополучно ли в них и по получении утвердительного ответа, начальствующие лица отправлялись в шлюпках в укрепления. Пароходы ходили не часто. На них развозилась казенная и частная корреспонденция гарнизонов. Раевский был так ленив, что, постоянно лежа на пароходе, не всегда сходил с него в укрепления, а посылал для осмотра их Филипсона. При сильном ветре иногда нельзя было пристать в шлюпке к укреплению, и тогда пароход по получении сигнального ответа, что в укреплении все обстоит благополучно, шел далее. В поездку

мою с Анрепом, плывшим в первый раз по восточному берегу, мы заходили во все укрепления. Когда сильный ветер затруднял причаливание пароходной шлюпки к берегу. Панфилов, очень искусный и сильный, брался за руль и доставлял нас к берегу.

В Анапе я познакомился с начальником 1 отделения черноморской береговой линии, свиты его величества контр-адмиралом Серебряковым, а в Геленджике с начальником 2 отделения генерал-майором графом Оперманом. Первый был армянин, хитрый до мозга костей, и слыл человеком корыстолюбивым и вообще нехорошим. Второго также не хвалили, приводили много примеров его скупости, между тем я от него получил подарок следующим образом. Вскоре по прибытии моем в Геленджик один черкес привез продавать рубашку из стальных колец со стальными нарукавниками. В это время подобная черкесская одежда была редкостью. Я хотел ее купить, но граф Оперман сухо объявил мне, что он оставляет ее за собою. Кто-то в это время шепнул Оперману, что я еду на линию по высочайшему повелению с поручениями от военного министра, и он немедля подошел ко мне и с большою любезностью просил меня принять в память моего пребывания в Геленджике означенную черкесскую одежду и никак не хотел, чтобы я заплатил за нее. Эту одежду я подарил впоследствии генерал-адьютанту Константину Николаевичу Посьету. С упомянутым Оперманом, вскоре уволенным с береговой линии, я больше не встречался, а в венгерскую кампанию 1849 г. познакомился с младшим его

братом, бывшим тогда адьютантом фельдмаршала Паскевича, весьма добрым и благородным человеком.

Возле укрепления Бомбор жил владетельный князь Абхазии, генерал-майор Михаил Шервашидзе, которого я прежде видал в Керчи. Шервашидзе в Бомборах сел на наш пароход, чтобы плыть вместе с новым начальником Анрепом. Он был человек небольшого ума, но чрезвычайно хитрый. Абхазцы его не любили. Обязанный России своим положением владетельного князя, быв генерал-адъютантом русского императора, он вел себя дурно, когда турецкие войска под начальством Омера-паши в войну 1853—1855 гг. высадились на восточный берег Черного моря. Спустя несколько времени после означенной войны он был удален из Абхазии в Воронеж, где вскоре умер. В его имении, близ Бомбор, был православный монастырь под начальством особого архимандрита, но вообще говорили, что он не имеет, как и большая часть горцев западной части Кавказа, никакой религии. По разным приметам, как то: по нахождению на их землях крестов, по уважению их к некоторым святым нашей церкви, надо полагать, что христианство было распространено между ними, но что впоследствии турецкое правительство старалось их обращать в магометан; оно не успело в этом, и они остались без религии.

Во время нашего плавания с Анрепом присоединился к нам очень старый, но еще бодрый, знатный горец Каци-Моргани, генерал-майор русской службы. В молодости он был нашим заклятым и очень опасным врагом, но убедясь,

что война с русскими окончится покорением Кавказа, он перешел к нам и остался верен до смерти. Горцы очень уважали его, а кого уважали, того и любили. Подходя к владетельному князю, они лбом касались к его руке. То же они делали подходя и к Каци-Моргани. Последний носил бороду, которую красил красною краскою, и постоянно имел в руках плетку.

Из Сухума мы ездили в имение князя Александра Шервашидзе, двоюродного брата владетельного князя. Он жил в доволно просторном деревянном доме, потчевал нас азиатскими сладостями, кальяном и трубками с длинными чубуками, а также обедом, приготовленным по-европейски.

Из имения князя Александра Шервашидзе поехали мы в долину Дал, в которую Н. Н. Муравьев, живший в Бомборах, делал в минувшем январе экспедицию. На полупути в Цибельде было поселение, состоявшее из русских, освобожденных из плена. В этом числе были действительно попавшиеся в плен к горцам, а также и наши дезертиры, возвратившиеся от горцев.

Перед деревнею встретили нас верхом несколько крестьян и в их числе сельский староста.

Вид встретивших нас очень поразил меня, и тогда я понял, что только потому я не находил особенностей в русской физиономии, что с нею свыкся с молодости. Сельский староста оказался воронежец, следовательно мой земляк. Проезжая в долину Дал, мы в некоторых местах встречали такие крутизны, или такие большие отвесные камни, что должны были сходить

с лошадей, влезать по крутизнам и камням, в то время как наших лошадей вели под узцы. Места, по которым мы проезжали, были восхитительны. Между прочим, мы ехали несколько верст по лесу грецких орехов, которые в это время цвели, и запах их цвета был так силен, что от него болела голова. Около деревьев вился высокий дикий виноград. Вообще растительность была и красива, и величественна. Целые леса лавров и рододендрона окружали Сухум и в нем употребляли эти деревья на топливо и из лавров делали веники.

Раевский, предугадывая, что новороссийский генерал-губернатор князь М. С. Воронцов будет главнокомандующим на Кавказе, вел постоянную с ним переписку. Он поссорился с ним впоследствии, поселясь в имении на южном берегу Крыма, за то, что Воронцов в споре Раевского с туземным татарином за какую-то недвижимую собственность принял, по обыкновению, сторону татарина. Не один Раевский предвидел назначение Воронцова на Кавказ: хитрый атаман черноморских казаков Завадовский ожидал того же и также с ним поддерживал переписку. Раевский, желая в 1840 г. показать черноморскую береговую линию Воронцову, привез его на пароходе в Сухум и приказал принести лавры этому герою. Офицеры Сухумского гарнизона, зная, что пароходы топятся каменным углем, рассудили, что верно требуется вымести пароход, и изготовили для Воронцова из лавров не венки, а веники.

Я плохо ездил верхом и потому, садясь на лошадь, снимал шашку и отдавал ее бывшему

при мне казаку, находя, что она мне только мешает. Горцы, видя меня без оружия и привыкнув с молодости не покидать его, очень этому удивлялись. Некоторые из них, подъезжая к Анрепу, подле которого я большею частью ехал, показывали на меня и говорили, что я верно мулла.

Во время нашего обратного плавания с Анрепом к нам на пароход явился хорунжий Азовского казачьего войска Оленников, только что взявший турецкую шкуну с 150 проданными черкешенками, которых везли в Турцию. Этот хорунжий был очень храбрый человек без всякого образования. Когда офицеры, бывшие на пароходе, спрашивали, как он своими баркасами взял шкуну, он отвечал: «Взял на абордаж да что толковать, я ведь не архитектор, рассказать не сумею, а взять возьму». При этом он прихвастнул, что он на абордаж возьмет и английский корабль, хотя он таких кораблей никогда не видал. Большая часть 150 пленных черкешенок впоследствии вышли замуж за наших нижних чинов на береговой линии, где был совершенный недостаток в женщинах. Родственницы этих черкешенок приходили в укрепления видеться с ними и очень удивлялись тому, что они дозволяли себе дарить разные вещи, принадлежавшие их мужьям, и вообще распоряжаться собственностью своих мужей, тогда как их матери и родственницы в горах были рабынями своих мужей.

При подходе нашем к укреплению «Гагры» мы услыхали выстрелы в лесу. Гагры были выстроены под горою, с которой ловко бро-

шенный камень мог попасть внутрь укрепления.

На пароходе нашем было много солдат, которых развозили по разным укреплениям. Все взялись за ружья и ждали высадки на берег, чтобы принять участие в стычке. Взойдя в укрепление, мы узнали, что часть его гарнизона ходила в лес нарубить для топлива дров, где была встречена горцами, которые были прогнаны прежде чем солдаты успели прибыть с парохода. Эти так называемые «дровяные экспедиции» для вырубки нескольких деревьев редко обходились без кровопролития, но те, которые делались при мне, обошлись без выстрела и потому Анреп шутя говаривал, что для одного этого стоило бы меня оставить на береговой линии. В Гаграх я нашел старого моего знакомого, воспитанника 1-го лицейского выпуска, полковника Данзаса, который беспрерывно отпускал остроты и каламбуры, большею частью неудачные.

При одном из укреплений имелась отдельно выстроенная неприступная башня. Я хотел осмотреть ее, но вне укрепления нельзя было без конвоя сделать несколько шагов. Нарядили конвой и со мною пошел Филипсон. Башня была деревянная о трех этажах. В нижнем этаже хранились продовольствие для нижних чинов, которых в башне было человек 20, и порох; второй этаж был занят их кроватями, в третьем же были в стенах амбразуры для стрельбы и внутренняя лестница, которая вела на наружный балкон, устроенный около всей башни. В полу этого балкона были проделаны

отверстия для навесных ружейных выстрелов на случай близкого подхода неприятеля к башне.

Взойдя на эту лестницу, мы увидали, что все отверстия в полу, за исключением одного или двух, были закрыты деревянными кружками. На вопрос Филипсона, зачем закрыты эти отверстия, нижние чины отвечали, что они все вместе никогда за нуждой не ходят, а более по одному, и потому им и одного отверстия достаточно. Вот как объяснил себе русский солдатик повод устройства навесной стрельницы. Оказалось, что с самого устройства башни никто не объяснял нижним чинам способа защищаться в этой башне и едва ли кто из начальствующих лиц бывал в ней. Впрочем вообще укрепления на берегу Черного моря были устроены слишком сложно, фасы против моря ничем не были защищены, расположение же других фасов было такое мудреное, что местные начальники укреплений, большею частью полуграмотные, конечно, не знали как воспользоваться ими при защите. Филипсон и я решили, что необходимо положить по штату укреплений «немцев» для объяснения гарнизонам всех этих мудреных построек.

В укреплении св. духа (Адлере), где при занятии местности под укрепление погиб литератор Александр Бестужев (Марлинский), я остался несколько дней по случаю переговоров с немногочисленным, но воинственным племенем джигетов о принятии ими русского подданства. Переговоры эти вел начальник 3-го отдела береговой линии Муравьев через переводчика. В Адлере я и адъютант Анрепа, прапорщик

Нижегородского драгунского полка Николай Петрович Колебякин, жили с Муравьевым в одной комнате. Горцы – большие охотники много говорить, старшины джигетского племени заговаривали Муравьева, и когда он бывало совершенно утомится, то оставлял для разговоров с ними меня и Колебякина. Мы придумывали для переговоров с ними разные фразы и между прочим сказали им тираду из «Марфы Посадницы» Карамзина, что народы дикие любят свободу и независимость, а народы мудрые любят тишину и спокойствие, которыми мы их прельщали. Они соглашались, что наши слова справедливы и разумны. При переговорах наибольшее содействие оказывал вышеупомянутый Каци-Моргани, который много им толковал на их языке, постоянно помахивая плеткою.

Наконец, джигетские старшины присягнули русскому императору, но за неимением корана они присягали на какой-то толстой книге, кажется, на баснях Крылова; тем не менее, они оставались верны своей присяге до 1865 г., когда были выселены все горские племена с западной части Кавказа. Подобная верность присяге со стороны черкесов была исключением. Горцы, обитавшие в западной части Кавказа, были народ физически хорошо сложенный и выказывавший хорошие умственные способности. Многие из них были остроумны. Когда на их замечание, что русские напрасно их затрагивают, им отвечали, что они подданные русского императора и не должны сопротивляться его воле, так как турецкий султан по Адрианопольскому миру их уступил русскому

императору, то они говорили, что султан не имел на это никакого права и один из них прибавил: «Видите птичку на этом дереве; я вам ее дарю, как султан подарил нас императору, и владейте ею, если сумеете». После покорения западного Кавказа все эти племена почти исчезли во время переселения их в Турцию и в самой Турции от нужды и болезней. Нельзя не пожалеть о том, что наша война на Кавказе кончилась не покорением этих племен, а их исчезновением.

Колебякин был человек замечательный во многих отношениях. Он приехал на береговую линию вместе с Анрепом в звании адъютанта последнего. При блестящих способностях, хорошем образовании, он любил много говорить и выражался очень резко. Вспыльчивость его не имела пределов и жить с ним в мире было очень трудно. По приезде на береговую линию он не сошелся с Филипсоном, а так как он имел большое влияние на Анрепа, то я очень опасался, что Филипсон принужден будет, во избежание постоянных ссор, оставить береговую линию, что могло бы иметь дурные последствия, но до явной ссоры между Колебякиным и Филипсоном не дошло и последний оставил береговую линию только при получении высшего назначения, именно начальника штаба войск, расположенных на Кавказской линии и в Черномории. Колебякиных было на Кавказе два брата, и для отличия одного из них называли «мирной», а другого, а именно Николая, «немирной». Под этими названиями они были известны не только на Кавказе, но почти во всей России.

Николай Колебякин начал службу в Уланском полку, стоявшем в Коломне, за дерзкие поступки относительно своего полкового командира, по решению военного суда, он разжалован в рядовые с переводом на службу на Кавказ, где за отличие произведен в прапорщики. Он в 1840 г. сопровождал Анрепа в горы на восточной части Кавказа, когда последний вздумал усмирять горцев тем, что, идя к ним без конвоя, он им показывал, что их не боится, а также словесными убеждениями, хотя он не знал их языка и вообще не имел к тому способности. При этом путешествии, в то время как Анреп убеждал толпу горцев в необходимости предаваться только мирным занятиям, один из горцев в него выстрелил. Пуля задела только платье Анрепа и он уверял горцев, что сам бог противится злоумышленнику, которого он прощает и просил его не наказывать. Я часто слышал рассказ об этом от Анрепа и от Колебякина, но теперь, спустя 30 лет, может быть передаю его не совсем верно.

Я виделся еще с Колебякиным на Кавказе в 1842 г. Он, постоянно служа на Кавказе, скоро вышел в чины и в начале 60-х годов был уже генерал-лейтенантом и генерал-губернатором имеретинским. Несмотря на это положение и на лета, он оставался все тем же прапорщиком, шумел, бесновался и пылил. По какому-то неудовольствию, вызванному его неуживчивым характером и вспыльчивостью, он был уволен от должности генерал-губернатора с назначением сенатором в Москву. После 1842 г. я его видел только два раза. В первый

раз мы ехали с ним вдвоем в отделении вагона Царскосельской железной дороги. Колебякин сидел далеко от меня, я его не узнал: из пригожего молодого человека от сделался плешивым стариком, но я замечал, что физиономия сидевшего со мною генерала как-то по временам изменялась и он сурово на меня смотрел.

Наконец, он не выдержал и, сильно хлопнув саблею по полу вагона, спросил меня, узнаю ли я его. Я отвечал, что не узнал прежде, а по стучанью саблею и по тону вопроса узнаю «не мирного». Другой раз я встретил его в 1865 г. в Карлсбаде, куда он приехал не лечиться, а, как и многие другие, поклониться лечившемуся в Карлсбаде фельдмаршалу князю Барятинскому, чтобы испросить через него какую-либо высочайшую милость. Колебякину, кажется, нужно было испросить денежное пособие, но ему не удалось своим приездом в Карлсбад достигнуть этого. В короткое пребывание Колебякина в Карлсбаде мы виделись каждый день.

Перед его отъездом некоторые русские, и в том числе генерального штаба генерал-майор, впоследствии генерал-лейтенант Петр Кононович Меньков, хотели с ним познакомиться. Положено было большим обществом русских обедать за одним столом на террасе Salle de Saxe, где на разных столах обедали несколько сотен посетителей Карлсбада. За обедом Колебякин говорил много, вел себя как юный прапорщик и при конце обеда, когда обер-кельнер пришел с большим портмонэ, наполненным австрийскими ассигнациями, для расчета, он сказал ему несколько слов изломанным немецким

языком и, очень искусно взяв из рук оберкельнера его портмонэ, положил это портмонэ в карман и отбежал в сторону. Немец остолбенел: очень уважавший всех русских, сидевших за столом, за даваемый ими щедрый тринкгельд, он не знал, что ему делать. Прошло довольно времени, прежде чем Колебякин возвратил портмонэ остолбеневшему немцу.

За обедом Колебякин пил немного, но дурачился повидимому с тем, чтобы не выказать, что он чем-то недоволен, а именно отказом фельдмаршала в его просьбе. После обеда, продолжая дурачиться и идя с нами по пуппен-аллее, карлсбадскому гулянью, он схватил у какого-то слуги пустую двухколесную колясочку, в которой возятся больные и бросился в нее. Колясочка опрокинулась, и он упал навзничь. Немцы давно уже наблюдали за его дурачествами. По его лицу они думали, что он человек средних лет, но когда он упал и шляпа свалилась с его головы, они увидали по совсем плешивой голове и оставшимся клочьям седых волос, что это был человек пожилой. Понятно, как это должно было удивить немцев, особенно тех, которые узнали, что дурачившийся господин был русский генерал-лейтенант и сенатор. После этой проделки Колебякин ушел домой и в тот же день, ни с кем не простясь, уехал. Меньков был очень недоволен, что я его познакомил с Колебякиным.

Анреп был настоящий рыцарь, но «крепкоголовый», как выразился Пушкин об одном из моих предков. Он ставил обязанности службы

выше всего на свете и потому, хотя считал себя не русским, вдавался в самые большие опасности, исполняя свой долг как офицер русской службы. Будучи добрейшим человеком, он равнодушно подвергал страшным наказаниям подчиненных ему нижних чинов.

Что он не считал себя русским, не требует доказательства для тех, кто знаком с образом мыслей наших дворян в прибалтийских губерниях. Из многих разговоров его по этому предмету я укажу на следующий. Мы ехали с ним верхом и он долго смотрел на меня с соболезнованием и сказал, что ему жалко меня. На мой вопрос, отчего я кажусь ему таким жалким, он отвечал: «Вы не принадлежите более к нашему рыцарству, так как вы более не лютеранин, а православный. Не понимаю, как мог отец ваш согласиться на такой неравный брак». Мы говорили по-французски и я неравным браком перевожу употребленное им слово mesalliance. Суждение Анрепа не могло не вызвать улыбки на моем лице. Я просил его утешиться, так как я записан в эстляндской дворянской книге и следовательно принадлежу к эстляндскому рыцарству и сказал, что неравных браков по моему мнению не существует, но если и принять взгляд аристократов на неравные браки, то предполагаемый им мезальянс был со стороны моей матери, а не отца, так как мать моя княжна Волконская из Рюрикова рода, одного из самых древних родов в Европе, а род отца моего принадлежит к тем многочисленным родам, которые известны в истории только покорением местных населений на прибрежье

Балтийского моря, обращением их в рабство, а также принудительным обращением из язычества, а частью и из православия в римское католичество, а впоследствии в лютеранство, и постоянным в продолжение нескольких веков их разорением.

К этому я прибавил, что означенные роды наших прибалтийских губерний и в том числе мой род впродолжение нескольких столетий не играли и не могли играть, по их положению, никакой роли в истории и только по присоединении к великой русской державе некоторые из них сделались известными; что видя, как иноверцы в России чуждаются своего отечества, я очень рад, что крещением в православную веру я совершенно сблизился с нашим общим отечеством. На это он возразил мне, что он, а равно и многие из прибалтийских дворянских родов, служат русскому императору, а не России, не хуже русских. Не отрицая этого, я прекратил бесполезный разговор. Анреп повторил мне в Венгрии приведенную фразу через 8 лет, позабыв, конечно, наш разговор на Кавказе. Я ему напомнил о нем и сказал, что и ответ мой будет тот же, так как я нисколько не изменил своих убеждений. * В доказательство же того, что отменно добрый Анреп равнодушно налагал самые строгие наказания, исполняя свои обязанности, приведу один пример. В бытность нашу в Геленджике судился русский дезертир, участвовавший в нападении горцев на наше укрепление. Анреп, по власти, предоставленной начальнику черноморской береговой линии, утвердил приговор об его расстрелянии;

при этом физиономия его нисколько не изменилась; он исполнил свой долг. Дезертир был расстрелян на другой день; некоторые ходили смотреть на исполнение приговора; я не был в их числе*.

Вследствие довольно благоприятной погоды при моем плавании по Черному морю я не испытал морской болезни, но голова была постоянно тяжела, так что я почти ничем не мог заниматься на пароходе. Сверх того, частые наказания линьками провинившихся матросов производили во мне отвращение, равно как и наказание, которому командир парохода, бывший в чине капитан-лейтенанта, подвергнул одного из служивших на пароходе мичманов, приказав ему долго просидеть на салинге. Это сиденье на салинге нельзя не признать телесным наказанием. Дворяне освобождены от телесного наказания, а между тем мичмана, конечно, дворянина могли подвергать подобному наказанию. Вообще путешествие морем мне не полюбилось.

Во второй половине мая, окончив мои поручения на Кавказе, я оставил Керчь. Анреп дозволил мне отправиться на одном из принадлежащих береговой линии военных пароходов, посланном по служебным надобностям в Одессу. Командир парохода уступил жене моей каюту, в которой обыкновенно помещались начальник береговой линии и адмиралы, отлично кормил нас, потчевал только что созревшими на южном берегу Крыма ягодами черешни, которых мы прежде не едали, и заходил по моей просьбе в разные места южного берега Крыма, красота

которого впрочем, после моего плавания у восточного берега Черного моря, не произвела на меня влияния. Последний до того величествен, что южный берег Крыма мне показался пародиею на него.

В это путешествие я заезжал на южном берегу в имение Раевского, где поразила меня бездна цветов и в особенности розанов. Раевского я видел тогда в последний раз. Жена моя, которая очень боялась воды, решилась выйти на берег только в Ялте. В это время ветер посвежел и мы с трудом причалили к берегу. Осмотрев Никитский сад и другие окрестности Ялты, мы воротились на пароход. Весна была теплая и потому зелень успела уже пожелтеть, так что жене моей, большой любительнице растений, крымская растительность не понравилась и она, увидав леса при въезде в Полтавскую губернию, восхищалась ими и ставила их выше всего виденного около Ялты.

Жена моя во время плавания не испытала морской болезни, только чувствовала постоянную тяжесть в голове; ехавшая же с нами Е. Е. Радзевская была все время плавания истинною страдалицею. Прибыв в Севастополь, где наш пароход остановился у самого берега пристани, командир парохода уехал в город. В его отсутствие жена сказала мне, что она не может долее видеть страдания Е. Е. Радзевской, а потому полагает оставить пароход и ехать в нашем тарантасе, который мы в Керчи поставили на палубу парохода. Я пошел в Севастополь, предъявил на почтовой станции мою подорожную и, поверхностно осмотрев город, воротился на

пароход, с которого стащили наш тарантас и в него уже были впряжены почтовые лошади. Командир парохода еще не возвращался и мы, не поблагодарив его за истинно-радушное гостеприимство, уехали, поручив младшим офицерам парохода изъявить нашу благодарность их начальнику.

Не буду описывать подробностей нашего обратного путешествия, скажу только, что предполагая ехать через Херсон для свиданья с двоюродным братом моим Гурбандтом, бывшим тогда помощником окружного начальника внутренней стражи, а оттуда в Одессу для осмотра этого города, мы остановились на перекрестке дорог, ведущих на Одессу и на Москву. Подумав немного, мы решились ехать через Москву и таким образом я ни морем, ни сухим путем не попал в Одессу. В Москве мы оставили свой часто ломавшийся тарантас и доехали до Петербурга в почтовой карете.

Приехав в первой половине июня в Петербург поздно ночью, я послал к моему товарищу А. И. Баландину взять мой мундир и другие вещи, которые я, полагая ехать через Одессу и следовательно не заезжая в Москву, заблаговременно распорядился отправить к нему. Посланный к Баландину воротился сказать, что последний посажен на гауптвахту на Сенной площади. Это меня очень поразило. Я поехал на гауптвахту, на которой караул содержали армейцы, так как гвардия была в это время в лагере. Караульный офицер, исполняя в точности служебные постановления, не согласился

допустить меня до свидания с Баландиным без особого разрешения плац-майора и даже не согласился передать Баландину мое требование, чтобы последний через него передал ключ от своей квартиры. Впоследствии по получении разрешения плац-майора я видался каждый день с Баландиным и узнал от него причину его ареста. Он ехал из Царского села в Петергоф на извозчике в одну лошадь и о чем-то задумался. Вдруг подскочил к нему какой-то штаб-офицер верхом и что-то кричал, вслед затем подскочили верхом же еще несколько штаб-офицеров и генералов. Из их криков Баландин сообразил, что он встретился с государем, что подъезжавшие к нему принадлежат к свите и что ему приказывают ехать в Петербург к главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями, графу Толю, которому поручено было посадить Баландина на гауптвахту за то, что не отдал чести государю при встрече, а потом когда подъезжали посланные государем генералы, то не приложил руки к фуражке.

Имея в виду, что все нужное мне платье отправлено из Москвы в Петербург, я оставил в Москве бывшее со мною на Кавказе, при переездах довольно потертое. Не имея возможности скоро увидеться с Баландиным и опасаясь, что военный министр князь Чернышев узнает о моем приезде из донесений, присылаемых с городских застав, на которых тогда записывались подорожные всех въезжающих в город и выезжающих из него, я решился на другое утро поехать к нему в дорожном сюртуке. По моему костюму приняли меня за курьера и так

доложили Чернышеву. Он вышел ко мне в совершенном неглиже и я увидал дряхлого старика, хотя ему не было более 57 лет, вместо красивого мужчины, которым я всегда привык его знать: так он умел растягивать свои морщины и украшать свое лицо, что нельзя было подозревать в нем разрушающегося старика. Увидав меня, он извинился, что вышел ко мне в неглиже, и приказал ожидать его в канцелярии военного министра, в доме бывшем Лобанова, подле Исаакиевского собора. Вскоре он приехал в канцелярию и очень благодарил за хорошее исполнение возложенного на меня поручения. Граф Толь был в это время болен и не мог принять меня.

С. А. Викулин приобрел почти все свое состояние сам и, купив имения в Воронежской, Орловской и Саратовской губерниях, служил 20 лет задонским уездным предводителем и 9 лет воронежским губернским предводителем дворянства. Он в этом звании, получив чин действительного статского советника, в 1832 г. вышел в отставку.

В 1833 г. он вступил во второй брак с сестрою моею. От второго брака он имел двух дочерей Валентину и Эмилию, которым при его смерти было первой 4 года, а второй немного менее 2-х лет.

Сестра моя в течение 7 лет замужества своего употребляла все меры к водворению семейного согласия, за что получала множество признательных писем сыновей ее мужа, из которых старшего Алексея, прогнанного из дома, успела примирить с отцом.

С. А. Викулин за три дня до кончины (1841 г.) отдал моей сестре писанное на 15 страницах собственною его рукою домашнее духовное завещание, засвидетельствованное двумя свидетелями, в том числе его духовным отцом, которое она, по предоставленному ей тем завещанием праву, представила в 1-ый департамент московской палаты гражданского суда.

Этим завещанием С. А. Викулин назначил детям своим первого брака: третьему сыну Семену 1164 души крестьян, поселенных на весьма плодородной земле в Елецком уезде, возложа на него обязанность доставлять безотчетно доход: с 132 душ старшему сыну Алексею, «оскорбившему отца поведением своим», и с 75 душ второму сыну Петру, находящемуся в болезненном состоянии; Татьяне Норовой 200 душ; своей внуке, дочери старшего сына Алексея, 120 душ; двум малолетним дочерям второго брака, первой 232, а второй 206 душ; жене своей 328 душ, в том числе до ста человек дворовых людей, все билеты, на имя его в сохранной казне московского опекунского совета находящиеся, и весь наличный денежный капитал. Дочерям Вадковской и девице Александре по 290 душ, поселенных на земле менее плодородной.

Бывшие в Москве во время кончины С. А. Викулина дочь его Норова с мужем делали мачехе своей разного рода неприятности. По приезде в Москву Вадковской они отправили эстафету в Задонский уезд за родным дядею своим Андреем Викулиным, бывшим злостным и непримиримым врагом с давних времен покойному их отцу. А. А. Викулин был известен

своею злонамеренностью и непреодолимой страстью к заведению беззаконных тяжб. С. С. Викулин с сестрами выбрали его главным поверенным и наставником. Этим действием Семен снял с себя личину, ибо при жизни отца притворялся неуважающим дядю, хотя не переставал, как оказалось впоследствии, иметь с ним постоянные тайные сношения.

Нет никакой возможности изложить все то, что изобретено было детьми С. А. Викулина от первого брака к оскорблению его вдовы. Клеветы свои они начали распространением слухов, что хотя завещание и писано рукою их отца, но не им подписано. Узнав, что под подписью находится более 15 строк оговорок, писанных собственною же рукою завещателя, они должны были убедиться в несообразности своего вымысла и стали разглашать, что хотя завещание писано рукою похожею на руку их отца, но что жена его семь лет училась его почерку. Поняв нелепость и этой клеветы, они уже отыскивали несоблюдение форм в завещании и опорочивали одного из свидетелей, о чем Вадковская и Норова подали прошение в 1-й департамент московской гражданской палаты. Когда же им растолковано было, что просьба их не заслуживает внимания, они обратились к другого рода ухищрениям.

По возвращении сестры моей в Москву начали доходить до нее сведения о разных неистовствах, делаемых ее пасынками в имении, но сестра полагала, что эти сведения преувеличены, что к неистовствам мог быть способен только старший ее пасынок, а что младший умерит их.

В письмах управлявшего при покойном Викулине имением Ивана Ермолаева Музалькова только намекалось на проделки пасынков, чтобы, как оказалось впоследствии, не тревожить сестру в надежде, что все успокоится само собою. Наконец сестра перестала получать письма от Музалькова и вследствие получаемых неблагоприятных сведений о положении дел в имении упросила меня съездить посмотреть, что там делается.

Я согласился поехать в имение, но по приезде моем в Елец несколько весьма почтенных лиц настоятельно требовали, чтобы я не ехал в имение, потому что при неистовствах, которые там делаются, я не вернусь живым из имения. Мне сказали, что оба Викулины засадили управляющего в комнату, в которой нельзя повернуться, морят его голодом, надели на него кандалы, которые по тучности Музалькова были изготовлены новые в Ельце, много били и сильно секли его, старого и чрезвычайно тучного человека, а равно его 16-летнего сына и 20-летнюю дочь, что целые возы розог привозятся ежедневно на господский двор в с. Колодезское и сеченье там беспрестанное, что вместе с тем некоторых из крепостных людей опаивают вином.

Утром мы приехали в с. Колодезское, где Семен Викулин сказал мне приблизительно следующее. Он всегда был в хороших со мною отношениях и до женитьбы его отца на моей сестре и надеется, что эти отношения не изменятся. Что же касается до завещания, представленного моею сестрой в московскую гражданскую палату, то оно фальшивое, а так как

он успел открыть в имении и другие действия моей сестры, за которые она может подлежать ответственности по законам, то во избежание скандала он предлагал мне убедить сестру покончить дело с детьми первого брака ее мужа миролюбиво, взять обратно из палаты представленное ею завещание и предоставить свою и дочерей ее участь его великодушию, а он надеется, что будет в состоянии дать им всем трем вместе до 200 душ крестьян, с которыми, по его мнению, они могут прожить покойно.

Я отвечал, что сестра, представляя завещание в палату, исполнила только волю своего покойного мужа и отца Семена Викулина, что предложение его о способе наделения сестры и ее дочерей считаю излишним, что же касается до открытых будто бы в имении неправильных действий сестры, то я предоставляю наряженному правительством следствию открыть, с чьей стороны были неправильные действия. При следствии же я не могу быть: по обязанностям службы я должен скоро вернуться в Москву, а за сестру при следствии будет находиться А. И. Нарышкин, которому я передоверил еще в Орле выданную мне сестрою полную доверенность.

Вскоре по возвращении моем в Москву мне дали знать, что к сестре моей приехали московский гражданский губернатор Сенявин с другими чиновниками и заперлись с нею в комнате. Я поспешил к сестре и узнал от жившей с нею матери, что с губернатором приехали советник московского губернского правления князь Ухтомский, губернский уголовных дел стряпчий

Орлов и корпуса жандармов полковник Ковальский, что эти лица объявили, что им поручно по высочайшему повелению произвести сэдствие, но по какому поводу ничего не сказали, а просили, чтобы на основании полученой ими инструкции сестра осталась с ними она для дачи ответов на их вопросы.

Полковник Ковальский был жандармсим штаб-офицером в Тамбове и для участия в поизводстве следствия вытребован оттуда начальником штаба корпуса жандармов и управляющим III отделением собственной канцелярии гсударя генерал-майором (впоследствии генералот кавалерии) Леонтием Васильевичем Дубельом в надежде, что этот штаб-офицер будет дейсзовать в направлении, данном Дубельтом делу,но Ковальский не мог защищать слишком очевидую клевету.

Допрос продолжался более 6 часов. Сесре было дано более 20 вопросов, на которые на должна была отвечать письменно. Вопрсы составлены были с намерением так, чтобы сбть отвечающую, но в этом те, которые составлли вопросы, не достигли цели. Сестру не сбли, она писала ответы по совести и очень склало.

По дошедшим до нас впоследствии частым слухам, поводом к этому следствию былоподанное детьми Викулина от первого брака гсударю, через шефа жандармов графа Алексанра Христофоровича Бенкендорфа, прошение, вкотором они жаловались, что их мачеха предтавила в московскую гражданскую палату фальшивое духовное завещание, украв предварително капитал их отца, который они в прошеии

показывали по словам одних в 8, а других в 16 миллионов рублей. После допроса с сестры взяли подписку о невыезде из Москвы. Через несколько дней вышеозначенные чиновники явились к сестре в сопровождении двух ее падчериц и Норова, мужа одной из них, и потребовали отданный сестре на сохранение запечатанный Норовым при смерти ее мужа ящик. Я был в это время у сесты. По нахождении печатей на ящике в целости, он был осмотрен и в нем найдено наличными деньгами до 35 тыс. р. асс. (10.000 р. сер.), частных заемных писем на сумму до 200 тыс. асс. (до 57.000 р. сер.) и билетов сохранной казны на 166 тыс. р. асс. (47.428 р. сер.) и при этом собственноручная записка покойного Викулина, в которой были записаны все номера билетов сохранной казны. Губернатор Сенявин тут же предъявил отношение московского опекунского совета, в котором было сказано, что в сохранной казне имеются на имя С. А. Викулина билеты за теми номерами, которые оказались при вскрытии вышеозначенного запечатанного ящика, но зять покойного Викулина Норов тут же объявил, что сестра моя дала миллион в сохранной казне, чтобы написали такое отношение. Вообще дети Викулина от первого брака распускали слухи, что сестра моя везде заплатила огромные деньги, так что если бы покойный и действительно оставил 8 миллионов руб., то, считая все то, что они предполагали розданным сестрою, у нее уже немного оставалось бы. Но дальнейшие рассуждения Норова об этих подкупах были остановлены губернатором

Сенявиным, который только сначала, равно как и Ковальский, первый по знакомству с детьми Викулина от первого брака и оба по желанию угодить Бенкендорфу, действовали не совсем беспристрастно. Не выдаю за верное, но общий слух был, что сонаследники моей сестры обещались, по открытии миллионов их отца, дать из них два Дубельту, что его и побудило принять такое сильное участие в этом деле. Другие же говорили, что он был в связи с одной из падчериц моей сестры и был в доле с Норовым, который нечестно вел большую карточную игру.

Нечего и говорить, что Нарышкин принужден был выносить все время, пока производилось следствие, беспрерывные оскорбления со стороны Викулиных. Они распоряжались в чужом имении, давали губернатору и всем с ним приехавшим лицам завтраки, обеды и ужины, а Нарышкина не только морили с голоду, но когда он спросил у одного из слуг чайник с горячею водою и положил в него привезенный с собою чай, то дочь С. А. Викулина, Александра, воспользовавшись тем, что Нарышкин на минуту отвернулся, унесла чайник. Викулины запретили даже подавать воду Нарышкину, так что когда он хотел пить, то один из членов следственной комиссии требовал стакан воды и передавал его Нарышкину. [1]

[1] В подлинной рукописи «Воспоминаний», хранящейся в Библиотеке б. Румянцевского музея (ныне библиотека им. В. И. Ленина), после приведенного текста, вырваны четыре страницы, содержание которых, повидимому, представляло значительный интерес.

* Этот Вердеревский был уже тогда известен за взяточника и дурного картежника, а впоследствии, будучи председателем казенных палат в разных губерниях, был везде известен за гнусного взяточника. Наконец, будучи председателем нижегородской казенной палаты, он обыграл какого-то чиновника военного министерства, посланного на нижегородскую ярмарку с казенными деньгами для покупок. Чиновник этот застрелился, а Вердеревский вышел сух из воды.

Впоследствии он продал тайным образом огромное количество соли, хранившейся в нижегородских запасных магазинах. Его судили; деньги, украденные им при продаже соли, казне не возвращены, а он, по лишении всех прав состояния, о чем ему объявлено на эшафоте, сослан в Сибирь на поселение. Этому, сравнительно с преступлением, легкому наказанию, был он подвергнут по преклонности лет, но и на поселении пробыл он не долго. Ему вскоре позволено поселиться в имении его дочери, вероятно также вследствие преклонных лет, хотя на бедных и необразованных разбойников, подобных Вердеревскому, подобная милость не распространяется.

Родной брат его, Алексей Евграфович Вердеревский, в бытность, в войну 1853 — 1856 г.г.,

Ниже (стр. 373 и 421) имеются указания на то, что упоминаемый в публикуемом мною отрывке, опущенном при печатании предшествующего издания «Воспоминаний», Вердеревский каким-то мошенническим образом участвовал в истории с наследством зятя Дельвига, С. А. Викулина. *С. Ш.*

провиантским чиновником военного ведомства, нажил огромное состояние, подвергая войска крайней нужде. Он, по суду был разжалован в солдаты, но не долго состоял на службе; ему дозволено было, конечно, вследствие протекций, жить у брата, когда тот был председателем нижегородской казенной палаты. Он в этом положении не скрывал подло нажитого им состояния и, что всего более доказывает безнравственность нашего общества или по крайней мере его равнодушие, это то, что он был принимаем во многих домах нижегородского общества, а равно и в тамошнем, так называемом, английском клубе *.

Между тем до нас дошли слухи, что священник Лосев был очень встревожен при допросе, что он говорил, что боится показать правду, так как в прошлую ночь у него было очень важное лицо, требовавшее чтобы он показал противное, но он не может показать против совести, что его смущает однако же то, что предъявленное ему завещание писано в январе, а он помнит, что свидетельствовал завещание в мае.

Сестра моя неоднократно была вызываема к допросам в дер. Писаревку. Ее сопровождали я и Нарышкин. Мы жили то в Ельце, то в Студенце, и после допросов возвращались ночевать домой, а потому должны были для этого делать по нескольку десятков верст в самую ненастную погоду по непроезжим грунтовым дорогам. Между тем нас предупреждали, что Алексей Викулин поит вином некоторых крестьян, обещая им за убийство сестры и меня большие деньги, а потому многие считали наши поездки

в темное время опасными. Мы этому не верили, но впоследствии мы узнали, что эти предостережения имели основание. Кроме сестры, следственная комиссия допрашивала много других лиц и в особенности часто вызывала к допросам дядю моего князя Дмитрия Волконского, который во избежание ежедневных переездов из своего имения с. Студенец в дер. Писаревку ночевал, несмотря на болезненное положение, целую неделю в своей карете, стоявшей близ избы, в которой помещалась господская контора и расположились члены следственной комиссии. Из вопросов, которые комиссия делала Волконскому, оказалось, что дети С. А. Викулина от первого брака обвиняли его в том, что он по получении 4 июля эстафеты из Москвы о кончине их отца, приехав известить об этом мою мать в с. Колодезское, похитил с помощью их родной тетки Натальи Алексеевны Арсеньевой и управляющего Ивана Музалькова из сундука, стоявшего в кабинете покойного, бумаги и 8 миллионов руб. наличными деньгами.

Вместе с Волконским в этом кабинете были, кроме Арсеньевой, приехавшей на несколько дней в гости, жившие в доме дочь покойного Александра, внука Марья, ее жених Муравьев, управляющий Иван Музальков и дворецкий Давыд Филиппов, не отлучавшийся во время отсутствия С. А. Викулина из его кабинета, и приехавший из Ельца жених дочери покойного елецкий исправник Александров, к которому сестра моя послала, по кончине ее мужа, особую эстафету с просьбою опечатать имущество последнего, чего он однако же не исполнил.

И так оба следствия, произведенные по высочайшему повелению в Москве и в Орловской губернии, вполне доказали, что нет никакого сомнения в подлинности представленного сестрою моею духовного завещания, что похищение бумаг и миллионов есть гнусная клевета и что, сверх того, этих миллионов никогда и не существовало.

По возвращении сестры моей в Москву мы узнали, что, несмотря на то, что следствие, произведенное в Орловской губернии, еще находилось в Орле, послано повеление орловскому губернскому предводителю дворянства Тютчеву и корпуса жандармов полковнику Ковалевскому переследовать действия первой следственной комиссии. Известо было, что Тютчев был непримиримый враг по каким-то семейным делам двоюродному брату своему губернатору Васильчикову, под личным наблюдением которого производилось первое следствие по высочайшему повелению.

К этому вторичному следствию не был вытребован даже поверенный от сестры моей и она о его производстве не была уведомлена.

При этом нельзя не упомянуть, что истязания крестьян могли производиться только при крепостном праве и что благодаря освобождению крестьян и дворовых людей от крепостной зависимости они немыслимы в настоящее время.

В Москве всему обществу были известны гнусные поступки детей Викулина от первого брака, а так как из полученного сведения, что Тютчеву поручено переследовать произведенное

следствие, оказывалось, что этому делу не будет конца, многие вызывались помочь сестре. Между желавшими прекратить гонение жандармского начальства на сестру был М. Ф. Орлов. Он сказал мне, что было время, когда Дубельт был дежурным штаб-офицером в корпусе генерала Раевского, тестя Орлова, был близок с последним (известно, что Дубельт был многим обязан Орлову), что хотя с 1826 года они не состоят более ни в каких отношениях, но Орлов готов написать письмо к Дубельту, в котором объяснит ему всю несправедливость, допущенную в ведении этого дела. Он послал это письмо к Дубельту во второй половине ноября не по почте, а с каким-то общим их знакомым.

3 декабря я по обыкновению рано утром уехал в воспитательный дом для наблюдения за ходом водоснабжения и некоторыми дополнительными работами. Возвращаясь во втором часу пополудни домой, я увидел, что Мясницкая улица от Мясницких до Красных ворот занята верховыми жандармами, а на крыльце моего дома стоит повар моей сестры, который объяснил, что жандармы не пропустили его домой, когда он возвращался с рынка. Я немедля поехал к сестре. От Мясницких ворот к Красным не пропускали проезжающих; я проехал только благодаря моему военному мундиру. На подъезде дома, занимаемого моею сестрою, стояли два часовых жандарма с обнаженными саблями. Они объявили, что никого не велено ни впускать, ни выпускать из дома по распоряжению начальника московского жандармского округа Перфильева, находящегося в доме. Я приказал доложить Перфильеву,

что желаю его видеть. Он вышел ко мне и приказал впустить. Я спросил его, что все это значит? Он с смущенным видом отвечал, что производит обыск в доме сестры вместе с губернским предводителем дворянства Небольсиным.

На мой вопрос, конечно, сделанный раздражительным тоном, по какому поводу производится обыск, не отыскивают ли они воображаемые миллионы, Перфильев просил меня успокоиться и не причинять ему еще большего раздражения, так как он и Небольсин только исполнители высочайшего повеления, объявленного им шефом жандармов графом Бенкендорфом, и что ему не только известна вся гнусность клеветы, но сверх того и побуждения, по которым притесняют сестру мою. Я вошел за ним в комнаты, в которых все вещи были выбраны из сундуков и шкапов адъютантом Перфильева Волковским. Даже ризы были сняты с икон и разная мебель разобрана. Такому же обыску подвергались жившие с сестрою мать и приехавшая к ней погостить тетка княжна Татьяна Волконская, а равно чемодан остановившегося у сестры брата Николая, накануне приехавшего с Кавказа.

Каждый поймет, в каком положении нашел я сестру мою, которую с 10 часов утра заставляли отворять ящики и сундуки и присутствовать при выбирании из них вещей. Мать, узнав о приезде Перфильева и Небольсина для обыска, сказала, что она не хочет, чтобы младший сын ее, Николай, был свидетелем этого срама. Брат уехал в 10 ч. утра в Симонов монастырь и мать потребовала, чтобы его не впускали в дом, пока

не кончится обыск. Затем с нею сделался обморок. Послали за докторами, пустили ей кровь, которая не шла, и с трудом привели ее в чувство. Этот обморок и все страдания, понесенные моею матерью со времени смерти ее затя, конечно, были причиною ее преждевременной кончины. Здоровье сестры также с того времени было постоянно расстроено. Этим, конечно, могут похвалиться дети ее мужа от первого брака.

Все вещи, разобранные при обыске, оставлены в доме, но все бумаги сестры, не исключая ничтожного лоскутка, были взяты Перфильевым и отосланы им в III отделение собственной канцелярии государя, откуда не были возвращены. Между этими бумагами было одно не распечатанное письмо, адресованное к сестре, которое будет еще играть некоторую роль при дальнейшем ходе этого дела. Сестра в ноябре получала много анонимных писем, большею частью наполненных ругательствами, которые явно были писаны ее противниками и сильно ее раздражали. Вследствие этого между ею и мною было условлено, что я буду распечатывать все получаемые ею письма и по прочтении нужные буду отдавать ей, а ругательные и вообще бесполезные буду уничтожать. Означенное забранное письмо было получено сестрою накануне произведенного у ней обыска после моего ухода от нее, а потому и оставалось не распечатанным.

После обыска приехал дядя князь Александр Волконский, который объявил, что в этот же день был произведен московским жандармским штаб-офицером полковником Гофманом обыск в доме дяди князя Дмитрия, воротившегося из

деревни в Москву, и к этому прибавил, обращаясь ко мне: «Что ты здесь сидишь? Может быть, господа уехавшие отсюда, обшаривают твою квартиру и испугали твою жену». Я поехал домой, но там ничего не было. Впоследствии мы узнали, что в то же время были произвены обыски тамбовским жандарским штаб-офицером полковником Ковальским в доме князя Дмитрия в его имении Студенец в отсутствии хозяина и воронежским жандарским штаб-офицером у одного воронежского помещика, занимавшегося делами покойного С. А. Викулина.

* Как объяснить распоряжения, сделанные для производства всех этих обысков, когда произведенные следствия ясно доказали, что отыскиваемых миллионов никогда не существовало? Эти распоряжения объясняются только тем, что желали найти какие бы то ни были бумаги, компрометирующие сестру мою, чтобы заставить ее молчать и не жаловаться на все претерпенные ею притеснения. Дубельт, известный своим развратным поведением, полагал, конечно, что в бумагах сестры моей, молодой красивой женщины, вышедшей замуж за старика, он найдет какие-нибудь к ней письма и для получения их обратно она готова будет на все условия, которые он вздумает ей предложить для прекращения столь гнусно им веденного дела. Но сестра моя жила с мужем так, как желательно, чтоб жили все жены, следовательно, Дубельт в этом предположении ошибся *.

Обыски были сделаны до того внезапно, что о них не был даже предупрежден князь Д. В. Голицын, и этот уважаемый начальник столицы,

узнав о них только на другой день, был недоволен этими распоряжениями.

Несколько дней спустя сестра моя увидала, что жандармский генерал Перфильев подъехал к ее крыльцу. Это было рано утром и она подумала, что Перфильев приехал арестовать ее. Она просила брата Николая выйти к Перфильеву и спросить о причине приезда. Перфильев уверил брата, что привез самое успокоительное известие для сестры и должен его, согласно приказанию графа Бенкендорфа, лично передать сестре моей. Когда его ввели в гостиную, он подал сестре письмо от графа Бенкендорфа, в котором последний извещал сестру, что, по обязанности своей покровительствовать вдовам и сиротам, он принял самое живое участие в сестре моей, когда ее оклеветали ее пасынки, и падчерицы; что зная, до какой степени клевета пристает к самим невинным, он ходатайствовал у государя о назначении самих строгих следствий и других действий, дабы доказать, что жалобы, поданные на сестру, были не что иное, как клеветы, так чтобы на ней не могло остаться и малейшего подозрения, каковой цели он вполне достиг.

Прочитав это письмо и выслушав соответственные словесные объяснения Перфильева, сестра моя сказала ему:

— До сих пор считали меня воровкой, но теперь сверх того и дурою. Неужели граф Бенкендорф полагает, что я поверю этим изворотам? Когда хотят кого-либо защитить, то, конечно, не наносят ему всевозможных оскорблений.

М. Ф. Орлов в то же время получил ответ на свое письмо, в котором Дубельт, излагая то же, что в письме Бенкендорф к сестре, присовокупляет, что последним действием защиты сестры моей мнимыми покровителями вдов был произведенный у нее обыск, который ясно доказал, равно как и произведенные следствия, всю гнусность клеветы. Конечно, М. Орлов понял этот изворот Дубельта так же, как поняла его сестра моя.

Оба следствия, московское и орловское, были представлены в III отделение собственной канцелярии государя, и потому надо было следить за их. ходом в Петербурге, куда и отправились в начале 1842 г. сначала мать моя, остановившаяся у Ю. С. Колесовой, а вслед за нею сестра моя, я с женою и теткою П. А. Замятиною. Мы остановились в нижнем этаже гостиницы Серапина на Обуховском проспекте.

Нам известно было, что петербургское общество смотрит на дело сестры не в ее пользу. В доме П. Д. Норова была постоянно значительная карточная игра, а потому все картежники были на стороне противников сестры. Жена Норова и сестра ее Вадковская любезничали с некоторыми из влиятельных лиц и держали их на своей стороне; пред другими с тою же целью они пресмыкались. Брат их, Семен, столь неистово действовавший с крепостными людьми, прикидывался в обществе чрезвычайно скромным человеком. Жандармы под рукою распускали невыгодные слухи о действиях моей сестры по кончине ее мужа.

Мать моя, несколько знакомая с графинею Анною Алексеевною Орловою-Чесменскою, по

приезде в Петербург, получила от нее и от некоторых других знакомых подтверждение, что общество в Петербурге сильно настроено в пользу противников сестры, о чем мать и сообщала нам в своих письмах.

По приезде нашем в Петербург, имея в нем мало знакомых, нам оставалось только следить за тем, что предпримет далее по этому делу III отделение собственной канцелярии государя и если оно даст делу неправильный ход, то сестра намерена была просить государя лично или через комиссию прошений. Сведения же о том, что предпримет III отделение, нам не от кого было получить, кроме управляющего отделением Дубельта. С этою целью я часто ездил к нему в отделение, но он меня не принимал. В то же время он подсылал к матери моей убеждать ее, чтобы она уговорила сестру мою окончить начатое дело миром, на что мать моя не изъявляла согласия. Наконец, через графиню А. А Орлову дело это доведено было до сведения графа Алексея Федоровича Орлова, который, не вмешиваясь в дела, до него прямо не относящиеся, принял, однако, участие в деле сестры и говорил о нем Бенкендорфу и Дубельту. Сестра и я были также у статс-секретаря для принятия прошений, подаваемых на высочайшее имя, князя Александра Федоровича Голицына, и он обещался, когда просьба сестры поступит в комиссию прошений, принять в ней живое участие.

После неоднократных бесполезных моих посещений Дубельта в III отделении, я приехал к нему туда же в начале марта и, приказав доложить о себе, получил обычный ответ, что генерал занят и

принять меня не может. По выходе из канцелярии, когда я садился на дрожки, подбежал ко мне какой-то чиновник и сказал, что генерал просит меня воротиться, если я имею время. Я отвечал, что я только за этим приехал в Петербург и шесть недель не могу добиться свидания с Дубельтом. Вот, приблизительно, мой с ним разговор, довольно долго продолжавшийся. Дубельт, при входе моем в его кабинет, сказал мне:

— Вы, капитан, сами служите, и потому должны знать, что всякая канцелярская тайна должна сохраняться, а тем более тайна этой канцелярии; между тем, вы приезжаете разузнавать ее; это очень нехорошо.

Я объяснил Дубельту, что я не употреблял никаких средств для разузнания положения дела сестры, а приезжал, чтобы видеть его, но до сего времени это мне не удавалось. На вопрос Дубельта, для чего я хотел его видеть, я отвечал, что целью моею было просить о скорейшем окончании дела сестры. На это Дубельт сказал мне:

— Зачем вам просить меня, когда у вас есть такие сильные защитники?

На выраженное мною удивление, что я не знаю этих защитников, он мне сказал:

— Помилуйте, вы подняли всех против меня: графа Орлова, даже митрополита московского Филарета, который писал сюда о деле вашей сестры, и все московское общество.

Я объяснил, что я и никто из моих близких не знакомы ни с Орловым, ни с митрополитом Филаретом, что если они приняли участие в сестре, то, вероятно, из сострадания, узнав

о взводимых на нее клеветах и о стеснительных для нее мерах, которые, вследствие этих клевет, были приняты. Что же касается до московского общества, то оно не могло, конечно, равнодушно относиться к этим мерам. На это Дубельт мне сказал:

— За вами следили и вы неоднократно своими рассказами в английском клубе возбуждали неудовольствие в московском обществе против меры правительства, а вы должны знать, чему за это можете подвергнуться.

Я отвечал, что все это дело так для меня горестно, что мне и вспоминать о нем больно, а не только передавать его каждому встречному; но что в Москве многие любопытствовали узнать о положении дела, спрашивали об этом у меня и я, хотя в коротких словах, должен был удовлетворить этому любопытству, явно проистекавшему из участия к сестре, что при этих рассказах я никогда не возбуждал никого против мер, принятых правительством, и переданное на этот счет обо мне Дубельту ложно. Тогда Дубельт сказал мне:

— Худой мир лучше доброй ссоры. Вашей сестре следовало бы помириться с ее противниками. Я старался склонить к этому мать вашу, о которой слышал, что она истинная христианка, воспитала в этом направлении детей своих и имеет на них сильное влияние. Но к удивлению моему, мать ваша не согласилась на данный ей мною совет, отзываясь, что дочь ее может сама рассудить, следует ли продолжать начатое дело, в виду того, что последняя имеет двух малолетних детей, — и не приняла на себя уговаривать

свою дочь к мирному окончанию дела. Я же еще раз вам и матери вашей говорю, для пользы же вашей сестры, уговорить ее покончить дело миролюбиво.

На мой ответ, что я в этом отношении совершенно согласен с мнением моей матери, Дубельт, приказав какому-то сидевшему в его кабинете чиновнику, имевшему титул превосходительства, подать следственное дело, производившееся в Орловской губернии, сказал мне:

— Вы так судите потому, что верно еще не знаете, с какими разбойниками имеете дело. Вот прошение, поданное мне вашими противниками.

Тогда только, прочитав это прошение, я узнал в точности, по какому поводу производились следствия над сестрою. В просьбе этой, на высочайшее имя поданной Вадковской и Норовою через графа Бенкендорфа, было сказано, что отец просителей 65 лет от роду (ему прибавили в просьбе 7 лет), женившись на бедной девушке (ей убавили в просьбе 5 лет), по настояниям ее совершенно их покинул, а после его смерти вдова представила в московскую гражданскую палату фальшивое завещание, похитив из бывшего с их отцом в Москве денежного ящика бумаги и 8 миллионов руб., и что в то же время дядя ее князь Дмитрий Волконский, приехав в имение их отца, похитил из ящика, стоявшего в кабинете последнего, также бумаги и 8 миллионов рублей.

Дубельт мне сказал:

— Не сделали ли бы вы на моем месте того же, что сделал я? Я не знал ни вашей сестры, ни ее противников. Вадковская и Норова яви-

лись ко мне с просьбою, и я, прочтя ее без особого внимания, как большею частью читаются во множестве подаваемые просьбы, доложил ее графу Бенкендорфу, а он нашел нужным нарядить следствия, которые послужили к полному оправданию вашей сестры, а между тем московское общество позволило себе утверждать, что я нахожусь в любовной связи с одной из просительниц (он выразил это самым циническим образом) и что мне обещаны ими миллионы. Вы сами это несколько раз слышали в московском английском клубе и не противоречили.

Я отвечал, что о первом действительно слышал, но, не зная его отношений к просительницам, не мог ни утверждать того, что мне говорили, ни противоречить; об обещании же дать ему миллионы никогда не слыхал.

После этого Дубельт, чтобы показать с какими разбойниками (его собственное выражение) мы имеем дело, говорил мне о доказанных следствием в Орловской губернии истязаниях, которые они производили над людьми, принуждая их делать ложные показания, и показал донесение жандарского штаб-офицера и несколько приложенных к этому донесению объявлений Алексея Викулина, в которых он обещает дать 5.000 р. тому, кто убьет сестру или меня. Затем Дубельт показал мне донесение жандармского штаб-офицера о том, что Норов и Вердеревский называли себя, первый товарищем министра внутренних дел, а второй обер-прокурором синода и, что последний приезжал ночью к священнику сел. Хмелница с чем-то блестящим на голове, вроде митры. Дубельт спросил меня,

знал ли я об этом? Я отвечал, что слухи доходили до меня, но я считал их неправдоподобными. Он кончил новым увещанием, чтобы я уговорил сестру помириться с ее противниками, а когда я ему отвечал то же, что и прежде, он спросил меня, чего же я от него хочу. Я отвечал, что прошу о скорейшем рассмотрении дела сестры и намекнул, что в противном случае сестра будет просить государя о повелении скорее окончить дело. Дубельт тогда отпустил меня, сказав, что через неделю будет готов доклад государю.

Действительно, я узнал, что в отделении составляется этот доклад с изложением вкратце всей истории дела, но что его редакция постоянно изменяется. Это отделение полагало невозможным не упомянуть в докладе об истязаниях, которым Алексей и Семен Викулины подвергали крепостных людей, и было уверено, что император Николай подвергнет истязателей строгому взысканию. Дубельт послал доклад III отделения на предварительное рассмотрение в канцелярию министра юстиции, где приказал объяснить затруднения в представлении доклада государю. Бывший тогда управляющий канцеляриею министра юстиции, впоследствии сенатор, Михаил Иванович Топильский, пояснил присланному Дубельтом, что напрасно составили такой длинный доклад, что высочайшее повеление состоялось о производстве следствий, которые должны были определить, подлинное или фальшивое завещание представлено сестрою моею к явке в московскую гражданскую палату, и отыскать похищенные миллионы, а потому

в докладе должно отвечать только на эти два вопроса и, следовательно, ограничиться изъяснением, что по произведенным следствиям представленное завещание писано рукою покойного, что миллионов не только никто не похищал, но они и не существовали, и что затем в докладе государю не следует упоминать об истязаниях и ни о чем другом, о чем не упоминалось в вышеприведенном высочайшем повелении. Так и составлен был доклад.

Через несколько дней граф Бенкендорф лично вручил моей сестре подписанную им бумагу с объявлением высочайшего повеления, в котором было сказано, что так как по докладу графом Бенкендорфом следственных дел, произведенных по жалобам противников моей сестры, все эти жалобы оказались несправедливыми, то эти следственные дела препроводить к министру юстиции для поступления по законам с тем, чтобы возникший процесс производился без очереди и под особым руководством министра юстиции. Бенкендорф, отдавая сестре вышеупомянутую бумагу, несмотря на свою дряхлость, любезничал с сестрою, просил поцеловать ее прекрасную (его выражение) ручку и уговаривал сестру, чтобы она не преследовала противников, ее оклеветавших.

Сестра желала продолжать дело с тем, чтобы, как она была публично оклеветана ее противниками, и полное оправдание ее было также публично.

Сестра подала просьбу на высочайшее имя, в которой просила о том, чтобы произведенные по высочайшему повелению следствия были

рассмотрены законным порядком, на что получила ответ от статс-секретаря у принятия прошений, приносимых на высочайшее имя, князя А. Ф. Голицына, обещавшегося принять живое участие в деле сестры, когда оно дойдет до него, что за силою высочайшего повеления, объявленного сестре моей Бенкендорфом, он не может доложить государю ее просьбы. Таким образом предсказание Панина о том, что Бенкендорф и Дубельт не допустят, чтобы дело, возникшее по клеветам детей С. А. Викулина от первого брака, получило законный ход, вполне оправдалось.

Духовное завещание покойного Викулина было переслано в 1-й департамент московской гражданской палаты, но председатель его, напуганный покровительством жандармского начальства Викулиным, долго откладывал рассмотрение дела, наконец, решил его отправить по месту нахождения большей части имений Викулина в Орловской губернии в орловскую гражданскую палату, где оно утверждено в 1844 г., за исключением некоторых, не допускаемых законом в завещаниях распоряжений, впрочем, не имевших никакой важности.

По апелляционной жалобе дочери покойного Александровой, дело о завещании перешло в 8-й департамент Сената. Я в это время служил в Нижнем-Новгвроде и, часто проезжая через Москву в Петербург, каждый раз бывал у знакомых мне сенаторов с просьбой о деле сестры. В числе их был Дмитрий Никитич Бегичев, давнишний знакомый моего семейства, но вместе с тем, состоявший во вражде с покойным С. А. Викулиным

с тех пор, как они в одно время были: первый воронежским губернатором, а последний воронежским губенским предводителем дворянства. Этот Бегичев был автором романа «Семейство Холмских», одно из лиц которого «Сундуков» должно было изображать С. А. Викулина. Только сильная вражда могла найти сходство между Сундуковым и С. А. Викулиным, так как последний был человек весьма гостеприимный и вообще очень добрый, помогавший всем окрестным бедным постоянною раздачею огромного количества муки и другой провизии, и помещикам давал при крайней их нужде в долг по нескольку тысяч рублей по шести процентов и никогда не брал более, тогда как плата по десяти процентов на занятый капитал была тогда делом очень обыкновенным.

Бегичев постоянно говорил мне, что он, хорошо зная руку покойного, в подлинности завещания не может сомневаться, и предлагал, чтобы сестра совершенно положилась на него, а что он убедит своих товарищей решить дело по справедливости и в ее пользу. Дело сестры, за происшедшими в 8 департаменте разными мнениями сенаторов, перешло в общее собрание московских департаментов сената, которое нашло нужным потребовать из III отделения собственной канцелярии государя некоторые документы, оставшиеся в этом отделении при следственых делах. Отделение долго не исполняло требования сената и, наконец, представляя затребованные документы, вместе с ними представило письмо, найденное у сестры не распечатанным во время произведенного у нее обыска, как доказатель-

ство ее виновности. Это письмо оказалось без подписи. В нем неизвестное лицо женского пола убеждало сестру сознаться в похищении миллионов и в составлении фальшивого завещания. Конечно, это письмо, присланное по злости Дубельта, не имело никакого влияния при рассмотрении дела сестры в общем собрании сената.

Сестра, перед слушанием дела в этом собрании, ездила, по принятому обычаю, ко всем московским сенаторам с записками о ее деле. Она отправилась, прежде всего, к князю Павлу Павловичу Гагарину, который в это время был первоприсутствующим в общем собрании. Гагарин, с которым она вовсе не была знакома, не только принял ее благосклонно, но во внимание к тому, сколько она уже потерпела, прочитав при ней записку, взял, в противность принятому обычаю, карандаш, в несколько минут изменил редакцию записки, отдал ее сестре обратно и сказал, что не имеет надобности в записке, так как дело ему вполне известно. Сестра никогда не забывала этого благосклонного приема Гагарина и хотя и после этого не была с ним знакома, но несмотря на свою болезнь и непроезжую в марте дорогу, была в 1872 г. на его похоронах в петербургском Новодевичьем монастыре.

Записки, назначенные другим сенаторам, исправленные по указаниям Гагарина, сестра развезла к ним и, между прочим, к Д. Н. Бегичеву, который упрекнув ее, что она не дала ему случая быть ей и прежде полезным, обещал убедить сенаторов в общем собрании единогласно решить дело в ее пользу.

В общем собрании подали голос 16 сенаторов в пользу сестры и 5 против нее, в числе последних был Бегичев. Кроме него, подали голос против сестры: Николай Петрович Мартынов, известный картежник, которому князь П. П. Гагарин сказал, что он подает такое мнение, вероятно, вследствие обещания, данного Норову за зеленым столом Петр Семенович Полуденский, тесть Лугинина, близкого родственника Норову, князь Александр Петрович Оболенский, подававший по всем делам одинаковые мнения с Полуденским, и граф Сергей Григорьевич Строганов. Причина, по которой последний присоединился к противникам сестры, мне неизвестна. Надо полагать, что это было последствием мнений петербургского аристократического круга, в котором Викулины не переставали поддерживать свои клеветы.

Наконец только 19 июня 1847 г., т.-е. через 6 лет после смерти С. А. Викулина, последовал сенатский указ об утверждении его завещания. Этот указ дает ясное понятие о притязаниях детей Викулина от первого брака.

П. Я. Чаадаев по поручению двоюродной сестры своей княжны Щербатовой, очень богатой старой девицы, искал ей компаньонку для путешествия за границу. А. Н. Тютчева, не имея никаких средств в жизни, согласилась принять на себя эту должность. Щербатова поехала с нею в Италию, где граф Корниани часто бывал у нее. Сначала думали, что он хочет свататься за Щербатову, но он посватался за Тютчеву. Щербатова дала последней в приданое 200 тыс. фран-

ков, которые граф Корниани сумел спустить. Между тем у них два сына, прекрасные молодые люди, которые по милости отца не получат никакого наследства.

Оброк с имения, данного жене моей, собирался попрежнему с недоимками.

В 1842 г. должны были производиться торги по винным откупам на четырехлетие 1843—1847 г. Савва Васильевич Абаза был уверен, что если он получит откупа, то разбогатеет подобно старшему своему брату Аггею Васильевичу, не принимая в соображение, что он далеко не имел ума последнего. Для того чтобы явиться на торги по винным откупам, надо было запастись залогами. Правительство для облегчения откупщикам представления залогов объявило, что на торгах 1842 г. минимум цены, по которой оно будет принимать в залог не населенные земли, равняется той цене, в которую они назначены по своду законов для взимания пошлин при их продаже, а не половине этой цены, как было при прежних торгах. С. В. Абаза, имея в виду что тесть мой и жена имеют 32400 десятин земли, полагал возможным получить свидетельства Нижегородской гражданской палаты на эти земли. Цена десятины земли для взимания пошлин при продаже земель в Нижегородской губернии положена по 9 руб., а потому Абаза будет иметь залогов на 291600 руб. Видя затруднительные обстоятельства тестя и мои, он предложил нам выдать ему свидетельства и доверенности с тем, что он ежегодно будет уплачивать нам по 6 процентов с оценочной за землю суммы, что составляло бы ежегодно уплаты тестю более

12000р., а жене моей более 5100р.с. Это было гораздо более оброка, который мы получали с имения.

Абаза действительно взял несколько откупов, но уже в 1843 г. сделался несостоятельным, заплатив проценты 5100 руб. жене моей только за один год. Его несостоятельность причинила мне множество хлопот, беспокойств и расходов, и продажа означенных 9500 дес. земли, несмотря на мое желание подвинуть это дело к наивозможно скорейшему окончанию, еще по сие время (1873) не состоялась.

В конце марта 1842 г. я получил новую командировку на Кавказ. Я был в это время в Петербурге и получил приглашение приехать к военному министру князю Чернышеву. О поездке Чернышева на Кавказ тогда уже много говорили. Когда я явился к Чернышеву, он мне сказал, что государю угодно, чтобы немедля было приступлено к работам по устройству переправы через р. Кубань у Варениковой пристани, а как я составлял проект этой переправы, то государь назначил меня для приведения в исполнение этого проекта, но пред его исполнением Чернышев полагал лично осмотреть линию от Анапы до Варениковой пристани и желал, чтобы я находился при этом осмотре.

Нельзя в коротких словах описать всех злоупотреблений, которые дозволяли себе офицеры, и в особенности высшие чины в Черноморском казачьем войске. Командиры полков, которые поочереди располагали на кордонной линии против горцев, заставляли казаков работать в свою пользу, оставляя посты против горцев почти пустыми. В Андреевском посту, счита-

вшемся одним из очень опасных, где должны были находиться до 200 казаков, оставалось всего человек 5, прочие все работали в поле для полкового командира А. Л. Посполитаки. Впрочем этот господин, пользуясь расположением Завадовского, грабил не только казаков своего полка, но и посторонних и даже проходящих. Если же кто-либо позволял себе сказать слово против Посполитаки, то он приказывал такового бесчеловечно сечь в своем присутствия. Посполитаки держал на аренде, между прочим, рыбные ловли. Рабочие при этих ловлях получали известную долю из дохода с ловли, но обязаны были все без исключения покупать из лавок, принадлежащих Посполитаки, по чрезвычайно высоким ценам, так что после каждого расчета рабочие люди оставались у него в большом долгу. Они знали, что их жалобы будут не только бесполезны, но даже вредны для них, тем более, что они почти все были беспаспортные. Впрочем из так называемых чиновничьих семейств многие были очень бедны: стекла в нашем доме мыла дочь какого-то казачьего офицера, и вообще жены и дочери многих казачьих офицеров исполняли самые грязные работы.

Чернышев возвратился в Петербург в начале августа и остался по прежнему военным министром, управлявший же в его отсутствие военным министерством генерал-адъютант генерал-от-инфантерии граф Петр Андреевич Клейнмихель назначен был главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями. Когда я сказал об этом назначении Завадовскому, то он,

несмотря на свою хитрость и сдержанность, не мог удержаться, чтобы не сказать мне: «Пусть хоть сделают его фельдмаршалом и чем хотят, только бы подалее от нас».

Работы при Варенниковой пристани, по высочайше утвержденному проекту, должны были производиться в продолжении двух лет. Часть рабочего отряда на левом берегу р. Кубани была морем перевезена из Крыма, куда она осенью должна была возвратиться с тем, чтобы весною снова прибыть на Варенникову пристань. Эта перевозка стоила огромных сумм и вредно действовала на здоровье войск. Между тем в зимнее время горцы могли бы напасть на неоконченное укрепление у Варенниковой пристани и повредить как укрепление, так и сообщение его с Кубанью. Эти причины побудили меня представить, что работы могут быть окончены в один год, если будет разрешено нижним чинам, производившим земляные насыпи и не получавшим ничего, кроме увеличенной мясной порции, выдавать за каждый выработанный урок по 20 коп. сер.

Источником для этого расхода назначены 18 тыс., оставшиеся из 30 тыс. ассигнованных на работы по устройству сообщения через р. Кубань до Варенниковой пристани. Когда получено было разрешение на этот расход, то я был уверен, что нижние чины будут производить работы успешно, так что они окончатся в один год. Но недостаточно было выдавать деньги начальству за произведенные нижними чинами работы; надо было, чтобы они доходили до них, чего в особенности трудно было добиться

в казачьих войсках. Анреп обратил на это особое внимание и вместе с тем приказал, чтобы казаков и солдат поочередно употребляли в мокрых и затруднительных местах без всякого между ними различия. Это никогда прежде не соблюдалось: казаков всегда ставили на работы в самые дурные места. Износит казак скоро платье и сапоги, они его собственные, а не казенные: заболел он или умрет, это не вносится в ведомости, представляемые высшему начальству; тогда как на солдат платье и сапоги казенные; и скорая износка их была прямым убытком полковому командиру, а если в полку много заболевало и умирало, об этом вносилось в ведомость, и полкового командира подвергали ответственности.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1842 — 1848 гг.

Немедля по приезде я представил военному министру князю Чернышеву и новому главноуправляющему путями сообщения графу Клейнмихелю чертежи общего плана произведенных работ у Варенниковой пристани с объяснительною запискою. Чернышев и Клейнмихель очень благодарили меня за труды; последний приказал быть у него в следующий день, в который он объявил мне, что докладывал государю о моем возвращении и о назначении меня к нему по особым поручениям. Хотя Клейнмихель понравился мне с первого нашего свидания своею вежливостью и энергичностью, но слыша от всех, что он зверь, и уверенный, что под начальством военного министра я сделаю лучшую служебную карьеру, я очень был недоволен означенным назначением. На другой день я передал об этом Чернышеву и напомнил об его обещании перевести меня к нему на службу. Он мне отвечал, что так как Клейнмихель предупредил его докладом государю, то он не надеется, чтобы перевод этот мог состояться, и он может доложить государю о моем переводе, только списавшись об этом предварительно с Клейнмихелем.

Клейнмихель принадлежит к числу лиц наиболее замечательных в царствование императоров Александра I и Николая I. Я ограничусь изложением только некоторых сведений об его прошедшей жизни.

Дед Клейнмихеля был простой крестьянин из Финляндии и служил у какого-то знатного господина скороходом. Отец Клейнмихеля был каптенармусом шляхетского кадетского корпуса в то время, когда в нем был кадетом Аракчеев, столь могущественный в царствование императора Александра I. Каптенармус Клейнмихель имел случай оказать разные услуги кадету Аракчееву. Впоследствии этот каптенармус, покровительствуемый генералом Мелиссино, был произведен в офицеры, с оставлением в кадетском корпусе, для командования состоявшими при корпусе нижними чинами, и женился на хорошенькой Анне Францовне Ришар, от которой имел одного сына Петра и несколько дочерей.

Образование кадет в корпусах, вскоре по их учреждении, было действительно по тому времени замечательное, чему могут служит доказательством лица, выпущенные в это время из корпусов, в начальники коих избирались люди образованные; достаточно назвать графа Ангальта.

Но в последние годы царствования Екатерины II, и в особенности при Павле I и Александре I, уровень образования в кадетских корпусах сильно понизился. Начальство стало обращать внимание не на преподавание наук, а на фронтовое обучение. Вместе с тем понизился и уровень образования начальников этих заведений, так что в начале XIX столетия мы видим

директором кадетского корпуса бывшего каптенармуса в том же корпусе, Клейнмихеля, человека без всякого образования, но постигшего вполне фронтовую выправку, так что при нем состояла учебная команда, в которую были назначаемы штаб и обер-офицеры из разных полков для фронтового образования.

В это время он, конечно, пользуясь покровительством генерала Мелиссино и в особенности графа Аракчеева, был уже генерал-лейтенантом. Впрочем, все знавшие его говорят о нем как о добром и рассудительном человеке.

В бытность его директором кадетского корпуса, в этот корпус был записан его сын, будущий граф, который, живя у отца, ничему не учился, а в 1808 г., будучи 15 лет от роду, выпущен подпоручиком с назначением состоять при отце, бывшем тогда командиром резервного корпуса, которого штаб находился в Ярославле.

Итак Клейнмихель, избалованный во время воспитания, как единственный сын, и будучи офицером, продолжал ничего не делать и жить в своей семье. Это воспитание и жизнь в обществе матери и сестер имели сильное влияние на то, что в Клейнмихеле, несмотря на его зверство, постоянно до старости была заметна какая-то женственность. Но недолго он оставался в Ярославле.

Граф Аракчеев взял его в адъютанты и, по связи с отцом, приблизил его к себе: он был совершенно своим человеком у Аракчеева, у которого он жил на всем готовом.

В 1812 г. он был послан с депешами в действующую армию, в которую приехал перед

Бородинским сражением и, не участвуя в нем, получил владимирский крест с бантом. Клейнмихель, и после того не бывший в сражениях против неприятеля, всегда кичился этой наградою, полагая, что никто не знает, что он не имел права на ее получение: храбрость не принадлежала к числу его добродетелей.

Сохранилось множество анекдотов о ругательствах, которыми Аракчеев осыпал Клейнмихеля, но тем не менее он быстро вел Клейнмихеля вперед. В начале 1813 г. Клейнмихель сопровождал великих князей Николая и Михаила Павловичей в армию, при чем назначен флигель-адъютантом, 21 года от роду.

По случаю отступления союзных войск в начале 1814 г. великие князья остались на правом берегу Рейна, и Клейнмихель с ними. Таким образом он не участвовал в кампании 1814 г.

По возвращении наших войск в Россию, Клейнмихель был назначен петербургским плац-майором и вскоре, в чине полковника, начальником штаба военных поселений, которых главным начальником был Аракчеев.

В этой должности он производил свирепые неистовства, описание которых принадлежит историкам горестного учреждения военных поселений. Если в защиту Клейнмихеля скажут, что он, как подчиненный, исполнял только поручения Аракчеева, то на это можно возразить, что не всякий способен на приведение в исполнение зверских приказаний, а что Клейнмихель был к тому способен, служит доказательством то, что когда Аракчеев хотел сильно наказать какую-либо часть военных поселений, то говаривал:

— Я вам пришлю Клейнмихеля.

По удалении Аракчеева от дел, о Клейнмихеле говорили:

— Аракчеева нет, но зубы его остались.

В 20-х годах Клейнмихель женился на Варваре Александровне Кокошкиной, но они скоро разошлись, *о чем я уже говорил в II главе «Моих воспоминаний»*.

При воцарении императора Николая, Клейнмихель был уже генерал-лейтенантом с анненскою лентою и владимирской звездою (33 лет от роду). По удалении от всех должностей Аракчеева, он изменил последнему, который до самой смерти не мог ему этого простить.

При образовании штаба военных поселений Клейнмихель был назначен директором вновь образованного департамента этих поселений. В 1831 г. он был назначен дежурным генералом в войсках, действовавших в наших западных губерниях против вторгнувшихся в них польских мятежников, при чем распоряжался дурно до того, что действия этих войск не велено даже считать походом против неприятеля.

По возвращении в Петербург, он приобрел влияние на военного министра графа Чернышева и назначен дежурным генералом главного штаба его величества, с сохранением прежней должности, несмотря на то, что государь явно высказывал Чернышеву свое неблаговоление к Клейнмихелю.

Между тем, Клейнмихель, разведенный с первою женою по указу синода, которым он лишен был права вступать во второй брак, женился на молодой, богатой, бездетной вдове Хорват,

урожденной Ильинской, * воспользовавшись своим званием генерал-адъютанта для совершения над ним венчания *.

Сестра его второй жены была замужем за Аркадием Аркадиевичем Нелидовым. Сестра же последнего Варвара, по окончании воспитания в Смольном монастыре, жила у Клейнмихелей в доме главного штаба. Молодая Нелидова очень понравилась государю, * и вскоре сделалась его любовницею *. Многие обвиняют Клейнмихеля в том, что он этому способствовал, но я слышал от достойных веры людей, что он, напротив того, принимал меры, конечно, не вполне энергичные, удалить Нелидову от государя, за что неблаговоление последнего к Клейнмихелю еще более увеличилось. Но когда эти меры не помогли, то Клейнмихель воспользовался положением, * которое ему сделано было присутствием в его доме любовницы государя *.

Клейнмихель при частых посещениях государя умел выказать ему свою неограниченную преданность, полное усердие к службе и энергию при беспрекословном исполнении даваемых ему государем приказаний. Подобная личность была идеалом служак, каких государь желал иметь везде, и потому понятно, что Клейнмихель вскоре попал в большую милость, которая давала ему возможность обращаться начальнически, не только с военными лицами, более или менее ему подведомственными, как дежурному генералу, но со всеми служащими в других ведомствах. Клейнмихель, о котором все говорили, что он разошелся с первою женою по причине физического недостатка, имел от второй

жены много детей, и первые ее роды были двойни.

* Известно было, что и Нелидова была беременна, и так как не знали, куда деваются ее дети, то все были уверены, что жена Клейнмихеля не рожала, а принимала детей Нелидовой за своих. Но это пустая выдумка: стоило только взглянуть на родившихся в это время детей Клейнмихеля, чтобы видеть насколько они на него походили *.

Государь, желая возобновить сгоревший Зимний дворец в необыкновенно короткий срок, главным распорядителем при этом назначил Клейнмихеля. Вероятно, при другом распорядителе постройка дворца стоила бы дешевле и некоторые части его были бы изящнее, но нет сомнения, что никто, кроме Клейнмихеля, не мог его окончить в такой короткий срок.

По окончании перестройки дворца Клейнмихель получил вдруг несколько наград и в том числе графское достоинство с девизом в гербе: «усердие все превозмогает». Говорят, что пожалование Клейнмихеля графством дало повод графу Толю сказать, что его надобно было бы назвать графом Клейнмихелем-Дворецким.

В начале 1842 г. государь желал скорого устройства железного пути между столицами, вопреки мнению многих высокопоставленных лиц и, между прочим, министра финансов графа Канкрина и главноуправляющего путями сообщения графа Толя. Последний даже отстранил заведывание постройкою дороги от управления путями сообщения.

Государь учредил тогда комитет для этой постройки, в который назначил председателем наследника и членами — некоторых из министров и, сверх того, Клейнмихеля, Чевкина (Константина Владимировича).

Граф Толь был в это время опасно болен и нельзя было не предвидеть, что после смерти его постройка железной дороги перейдет в главное управление путей сообщения и главноуправляющим будет назначен тот, кого назначат главным распорядителем в означенном комитете по устройству железной дороги.

Чевкин не задолго перед этим много путешествовал по Европе и ознакомился с финансовыми и главными техническими вопросами по устройству железных дорог, а потому надеялся быть главным распорядителем по устройству железного пути между столицами и вскоре главноуправляющим путями сообщения, каковое назначение могло быть ему лестным, так как в это время ему еще не было 40 лет от роду.

Клейнмихель же не только ничего не знал о финансовых и технических вопросах по устройству железных дорог, но по недостатку образования не мог никогда приобрести о них никакого понятия и, сверх того, никогда не видал ни одной железной дороги. Несмотря на то, что Царскосельская железная дорога была открыта около пяти лет, он, часто бывавший у государя в Царском селе, всегда ездил на лошадях.

Однако же государь, вероятно, убежденный, что «усердие все превозмогает», выбрал главным распорядителем по устройству дороги Клейнми-

хеля, подчинив ему, как члену комитета, канцелярию, при нем образованную.

Клейнмихель, получив это назначение в Царском селе, немедля отправился на царскосельскую станцию железной дороги и тут в первый раз увидал паровозы, вагоны, рельсы и прочие принадлежности дороги.

В то же время он назначен был управляющим военным министерством по случаю отъезда военного министра на Кавказ, и все полагали, что он будет утвержден в должности военного министра. Это еще давало Чевкину надежду быть назначенным главноуправляющим путями сообщения по смерти графа Толя, но я уже говорил, что главноуправляющим назначен был Клейнмихель.

Это соперничество очень не нравилось последнему и, конечно, Чевкин обязан в особенности этому обстоятельству тем, что на него навлекли немилость государя; он во все его царствование, продолжавшееся еще 13 лет, просидел сенатором.

С самого образования комитета по устройству железной дороги начали происходить разные столкновения между председателем наследником престола и членом Клейнмихелем. Эти столкновения продолжались и по назначении последнего главноуправляющим путями сообщения, когда вместе с этим назначением канцелярия комитета была преобразована в департамент железных дорог, вошедший в состав главного управления путей сообщения. В упомянутых столкновениях все обвиняли Клейнмихеля, но, вероятно, государь думал иначе, потому что продолжал быть попрежнему к нему милостивым.

С самого вступления Клейнмихеля в управление, произвол его выказывался во всем: в немедленном, необдуманном изменении состава центральных учреждений главного управления, в увольнении и определении высших и низших чиновников без всякого разбора, в разорвании без объяснения причин докладов, подносимых департаментами и другими учреждениями главного управления, и т. п.

Все дурные стороны Клейнмихеля и его проделки в двухмесячное управление ведомством путей сообщения были мне известны, но я несмотря на это, не имея более надежды состоять при военном министре, был доволен своим назначением состоять при Клейнмихеле.

Из дальнейшего рассказа читатель увидит, насколько я ошибся в большей части моих надежд. В действительности оказалось, что только дела пошли живее: в двухмесячное управление Клейнмихеля исполнение по входящим в главное управление бумагам делалось быстро, они не залеживались попрежнему.

Но все другие мои надежды не исполнились. Злоупотребления при Клейнмихеле увеличились с увеличением разных новых построек и средств для ремонта прежде устроенных, и не малая доля вины в этом падает на дурные распоряжения Клейнмихеля.

В числе адъютантов Клейнмихеля была одна замечательная личность, поручик Герштенцвейг. Он был очень умен, имел весьма приятную наружность. Клейнмихель с самого вступления своего в новую должность поручал ему производство дознаний и следствий по доходившим

сведениям о разных злоупотреблениях в ведомстве, и он несмотря на свою молодость и неопытность, хорошо исполнял эти поручения.

Я находил только, что он слишком с темной стороны смотрел на открываемое им при дознаниях и следствиях, что очень нравилось Клейнмихелю. Впрочем, этот взгляд Герштенцвейга происходил не от желания угодить Клейнмихелю, а свойственен его натуре. Я находил, что он имел много общего с Клейнмихелем; только был гораздо более образован и менее вспыльчив.

Впоследствии Герштенцвейг, не желая постоянно подчиняться произволу Клейнмихеля и не видя, чтобы в звании адъютанта последнего можно было сделать служебную карьеру, поступил в чине капитана во фронт в Преображенский полк, где вскоре был сделан флигель-адъютантом. В последний раз я его видел у него на даче в начале августа 1861 г., когда он был дежурным генералом главного штаба его величества и генерал-адъютантом. Он мне тогда сказал, что назначен варшавским генерал-губернатором, а граф Ламберт наместником царства Польского, и объяснял, что ему очень не хотелось принимать новой должности, но по тогдашним обстоятельствам в царстве и по хорошим его отношениям к Ламберту он не мог от нее отказаться.

Известно, что вследствие неприятностей между ними, в которых обвиняют Ламберта и оправдывают Герштенцвейга, он ранил себя выстрелом из револьвера, долго мучился от раны, и в продолжение своей мучительной болезни не открыл причины, заставившей его прибегнуть

к этому. Я не буду излагать здесь то, что знаю о столкновениях между Ламбертом и Герштенцвейгом: нет сомнения, что лица, которым более известны бывшие тогда в Варшаве происшествия, подробно описали в своих записках эту драму.[1]

Прежде меня назначен был состоять при Клейнмихеле только один инженер путей сообщения Толстой (Григорий Матвеевич), в то время поручик. Перед этим он был адъютантом Толя, который взял его в эту должность как родного внука своего прежнего начальника, славного князя Кутузова-Смоленского. Старшие братья Толстого в это время имели уже некоторое значение при дворе, но тогда говорили, что назначение его состоять при Клейнмихеле доставит ему гораздо лучшую карьеру, чем его братьям, в чем, конечно, ошиблись.

Живя гораздо выше своих средств и нуждаясь всегда в деньгах, Толстой имел репутацию бесчестного чиновника, но эта репу-

[1] Ал-др Дан. Герштенцвейг (1818—1861) из немецкой ополяченной семьи. Отец — ген. Д. А. Г. — усмирял в 1831 г. польское восстание, вследствие неприятностей по службе застрелился в 1848 г. А. Д. Г. был при Клейнмихеле до 1847 г., усмирял крестьянское восстание в Новгородской губ. в 1851 г. В Варшаву назначен 6/VIII 1861 г., был сторонником суровых мер по отношению к полякам, в чем расходился с Ламбертом 4/X арестовал в костеле 1684 чел. Л. велел, помимо Г. освободить невиновных, их оказалось 1660 чел. После объяснений с Л. 5/X Г. стрелялся (полагают — американская дуэль), мучился 19 дней, ум. 24/X. Герцен называл его в «Колоколе» последователем Аракчеева, клейнмихелевцем, реакционером. Сын его, А. А. Г., тоже застрелился (22/II 1873 г.). *С. Ш.*

тация не помешала по окончании войны (1853—1856 гг.) назначить его начальником I (петербургского) округа путей сообщения, где он требовал, чтобы его подчиненные давали ему деньги, заставляя их обкрадывать казну. Вообще в взяточничестве он дошел до такого цинизма, что, наконец, был уволен от этой должности по настоянию С.-Петербургского военного генерал-губернатора Суворова.

Вскоре однако же главноуправлявший путями сообщения Мельников, желая угодить брату Толстого, Ивану Матвеевичу, бывшему главно-чальствующему над почтовым департаментом и пользовавшемуся особенною милостью Александра II, назначил Г. М. Толстого начальником IX (ковенского) округа путей сообщения.

Но и из этой должности, по той же причине, он был вскоре уволен и поступил в частную службу к бывшему тогда купцом 1 гильдии еврею Сам. Сол. Полякову, строившему железную дорогу от Аксайской станицы в земле войска Донского до Ростова-на-Дону.

Толстой ничего не понимал в устройстве железных дорог, так что означенную дорогу строили другие инженеры, а Поляков взял его и давал ему значительное содержание только из угождения брату его И. М. Толстому, которому Поляков был многим обязан и, между прочим, получением концессии на постройку Воронежско-Козловской железной дороги.

Несмотря на то, что Г. М. Толстой не участвовал в постройке Аксайско-Ростовской железной дороги, бывший наказный атаман войска Донского генерал-адъютант Потапов в речи,

произнесенной на обеде при открытии этой дороги, сказал, между прочим, что знаменитый дед строителя (мнимого) дороги вел в 1812 г. Донское войско к победам, а его внук ведет войско посредством устроенного пути к улучшению его благосостояния.

Несмотря на то, что последний получал от Полякова большое содержание, он, продолжая жить выше своих средств, кроме долгов ничего не оставил.

Клейнмихель часто принимал меня по утрам, при чем поручал мне рассмотрение некоторых дел и говорил о своих предположениях относительно преобразования ведомства путей сообщения. За обедами и на вечерах для карточной игры, он сажал меня постоянно за тот стол, на котором играла его жена, и всегда обращался со мною благосклонно.

Я, впрочем, старался всеми мерами избегать близких с ним сношений, опасаясь, что это поведет к фамильярничанью с его стороны, которому я ни по летам, ни по моему положению отвечать бы не мог. С этою целию я ездил к нему по вечерам по возможности редко и, когда он слишком часто присылал ко мне курьера звать на вечер, я приказывал сказать, что меня нет дома, и не приезжал на вечер.

После этого Клейнмихель обыкновенно меня спрашивал, отчего я не приехал по его приглашению. Я отвечал, что, вернувшись в тот день домой поздно вечером, я не мог воспользоваться его приглашением. Он же удивлялся тому, где я мог проводить целые дни вне дома.

Вообще я избегнул его фамильярности, которую он себе дозволял с лицами гораздо старшими меня и летами и по службе.

Жена Клейнмихеля, графиня Клеопатра Петровна, несмотря на происки своих приятельниц, была со мною любезна. Она была женщина умная, но в ней, при ее недостаточном образовании, видна была провинциалка, желающая выказать себя барынею большого света.

Конечно, она должна была много терпеть от характера мужа, вспыльчивости и цинизму которого не было пределов. Сверх того, он был преисполнен малыми капризами, как старая дева, а известно, что именно эти капризы несносны в обыденной жизни. Их дети были тогда еще малы, но их, и в особенности сыновей, дурно воспитывали. Они, подражая отцу, были дерзки с теми, с кем он был дерзок, и любезны — с кем он был любезен. * Я, конечно, был в числе последних. Я не буду говорить о тех лицах, которых видал за обедами и на вечерах Клейнмихеля; упомяну о них только вскользь *.

Клейнмихель принимал почти каждый вечер. Собирались в 9 часов вечера и немедля садились за карточные столы. Составление партий для игры лежало на обязанности Петра Александровича Языкова, бывшего тогда инспектором в институте инженеров путей сообщения, в чине полковника, и назначенного, по производстве в генерал-майоры, членом совета главного управления путей сообщения, тогда как прежде в этом ведомстве в члены совета назначались только заслуженные генералы.

Языков не смел никуда отлучаться из дому после 8 часов вечера; он в это время ожидал присылки за ним курьера, если уже не был приглашен накануне. Клейнмихель дозволял себе самым неприличным образом обращаться с Языковым.

Языков все это терпел, а между тем был вообще человек честный, благородный, образованный и рассудительный. Это терпение со стороны Языкова можно объяснить только духом времени, в которое приходилось покоряться всему, что приходило в голову начальнику, пользующемуся милостию государя; иначе можно было умереть с голоду.

Клейнмихель в особенности любил, чтобы к нему приезжали по субботам слушать в его домашней церкви всенощную и потом играть в карты. Все ездили поклоняться временщику, и не раз, в числе богомольцев, проводивших субботние вечера у Клейнмихеля, я видел графа Дмитрия Николаевича Блудова, бывшего тогда главноуправляющим II отделением канцелярии государя.

За обедом и на вечерах Клейнмихеля я часто видал В. А. Нелидову, которая жила в это время, как фрейлина, в Зимнем дворце. Она старалась держать себя величаво, так что старшие сыновья Клейнмихеля, тогда еще мальчики, между собою постоянно над нею смеялись, давая ей разные прозванья. Часто после обеда, когда Клейнмихель уходил спать, В. А. Нелидова следовала за ним. Он ее принимал лежа и на своем казарменном жаргоне звал ее стервой, иногда так громко, что и посторонние это слышали.

Из вспышек Клейнмихеля упомяну, что он на вечере при всех, самым неприличным образом разругал Алексея Ивановича Войцеховича, уже тогда занимавшаго важную должность, а впоследствии члена государственного совета, что не помешало последнему вскоре опять приехать на вечер к Клейнмихелю.

Бывший с.-петербургский военный генерал-губернатор, генерал от инфантерии Шульгин, который, по возвращении Клейнмихеля из путешествий в Петербург, являлся к нему в полном мундире, на вокзале чем-то не сумел угодить Клейнмихелю, а между тем приехал к нему на вечер.

Клейнмихель приказал своему швейцару отказать Шульгину, ругая последнего неприличными словами и громко говоря, что его следует выгнать кулаками в спину. Шульгин не мог этого не слышать.

Надо сказать, что Клейнмихель умел переходить внезапно от порывов сильнейшаго гнева к выражению полной любезности. Глаза его, сверкавшие в первом случае, как у тигра, в один миг изменялись и делались глазами самой ласковой ручной кошки; голос, весьма грубый при ругательствах, в один миг делался нежным.

Перехожу теперь снова к описанию осени 1842 г. Расположение Клейнмихеля ко мне, конечно, сделалось вскоре известным, в особенности инженерам путей сообщения; некоторые из них уже искали моего покровительства.

Бывая у Клейнмихеля, я заставал у него каждый раз Брискорна (умершаго в 1872 г.

членом военного совета) и узнал, что последний, состоявший директором канцелярии военного министра, был уволен от службы. Говорили, что причиною увольнения Брискорна было то, что во время управления военным министерством Клейнмихеля Брискорн в надежде, что последний останется военным министром, сблизился с ним и, так сказать, выдал ему Чернышева.

На изъявленное мною удивление Клейнмихелю об отставке Брискорна, он мне сказал, что это не надолго и что последний вскоре получит более высокую должность по службе. Действительно, через несколько дней он был назначен товарищем государственного контролера.

По возвращении из Сосницкой пристани, я, недолго пробыв в Петербурге, поехал в Киев.

В это время генерал-губернатором юго-западного края был генерал-адъютант Дмитрий Гаврилович Бибиков. Он меня принял очень хорошо. Он хотя был гораздо старее меня, приходился мне очень дальним племянником. Я был приглашен обедать у него непременно каждое воскресенье.

Клейнмихеля тогда считали до того могущественным, что Бибиков не хотел верить, чтобы я имел одно только поручение по составлению проекта моста через Днепр, а полагал, что мне поручено под рукою разузнать все относящееся до управления Бибикова.

Мне это передавал состоящий по особым поручениям при Бибикове полковник Ленковский, которому было поручено Бибиковым наблюдение за мною. За обедами у Бибикова

и в те часы, которые я проводил у него после обеда, единственными предметами для разговора были цинические толки о женщинах и воровство, производимое инженерами путей сообщения. Приведу несколько примеров.

Бибиков, сидя за обедом, при дежурном чиновнике из его канцелярии, спросил меня, познакомился ли я с Писаревым, управляющим его канцеляриею, и сказал мне, что он держит Писарева, как человека весьма умного и полезного для края, а все уверяют, что он будто держит Писарева потому, что находится в связи (это было выражено самым циническим образом) с женою последнего.[1]

Бибиков говорил мне также, что все обвиняют его в том, что он в связи с какою-то актрисой, не понимая, сколько эта связь принесла пользы России, быв причиною тому, что он еще несколько лет (он даже определил число лет) останется в настоящей должности, в которой он считал себя необходимым. *Самые циничные рассказы были за его обеденным столом беспрерывно, как бы ни было у него велико мужское общество*.

Бибиков говорил мне, что бывший начальник V (киевского) округа путей сообщения

[1] Т. Г. Шевченко знал взаимоотношения этих лиц. В «Дневнике» его записан сон 1857 г.: «Встречаю я будто бы ренегата Н. Э. Писарева, а безрукий Бибиков и рядом с ним С. Г. Писарева сидят. Они что-то говорили о киевском пашалыке. Что теперь с этим гениальным взяточником и с его целомудренной помощницей? Куда скрылся так громогласно уличенный взяточник?» («Дневник», под ред. И. Я. Айзенштока, 1925 г.). *С. Ш.*

генерал-майор Шишов, которому в это время было поручено составление проекта по улучшению судоходства через Днепровские пороги, а впоследствии и приведение в исполнение этого проекта, вел жизнь пьяную и грязно-распутную, воровал казенные деньги везде, где мог, и дозволил, за известную годовую плату, бывшему моему товарищу по институту инженеров путей сообщения, капитану Залесскому I, свидетельствовать все работы в округе и ревизовать все судоходные пристани, при каковых свидетельствах и ревизиях Залесский обдирал производителей работ и смотрителей судоходства.

Никифораки подтвердил мне справедливость всего сказанного мне Бибиковым, и я рассказ последнего передал Гене, который почитал своей обязанностью почти каждый день являться ко мне. К этому рассказу я прибавил, что мне известно, что Залесский при всех свидетельствах работ берет взятки. Гене был очень смущен моим замечанием, притворился, что ничего не знает, и обещался прекратить неправильные требования Залесского I.

Из числа игравших в карты с Никифораки всех чаще был у него директор киевской гимназии Александр Григорьевич Петров, впоследствии председатель петербургского цензурного комитета.

Вскоре после переданного мною Гене рассказа Бибикова, Петров, придя к Никифораки, объявил, что у него был Залесский, требуя, чтобы он взял те деньги, которые Залесский получил за подписание описи по ремонтным работам

гимназии, и укорял Петрова в том, что последний рассказывает подобные вещи мне, состоящему при графе Клейнмихеле, за что он может совсем погибнуть.

Петров сказал Никифораки, что он денег Залесскому не давал, и потому отвечал последнему, чтобы он их возвратил, если желает, тому, у кого он их взял, т.-е. подрядчику. Петров очень был недоволен тем, что Никифораки передал мне эту проделку Залесского. Но Никифораки мне ничего не говорил, и я об этом ничего не знал, а только в общих словах сказал Гене, что Залесский везде берет деньги, где свидетельствует работы. Выходит по пословице, что кошка знает, чье мясо съела.

В бытность мою в Киеве, у Бибикова было несколько балов, на которых танцовал, между прочим, Мартынов, убивший на дуэли поэта Лермонтова и посланный в Киев на церковное покаяние, которое, как видно, не было строго, потому что Мартынов участвовал на всех балах и вечерах и даже через эту несчастную дуэль сделался знаменитостью.

Я встречался с Мартыновым, между прочим, и у бывшего тогда киевским губернатором, а впоследствии членом государственного совета, Ивана Ивановича Фундуклея, очень богатого человека, о котором нечего сказать более, как то, что он кормил хорошими обедами и давал балы с хорошими ужинами.

Бибиков был чрезвычайно крут и часто дерзок с польскими помещиками управляемого им края. Насколько это было полезно в то время

для русских интересов, предоставляю судить более знакомым с политическим положением того края; но многие русские тогда говорили, что правитель его канцелярии Писарев и другие подчиненные Бибикову лица выдумывали заговоры и раздували их важность с целью выслуживаться и получать награды, а между тем оговоренные подвергались ссылке в Сибирь и другим тяжким наказаниям.

Я не могу утверждать, чтобы это было действительно так, но не подлежит сомнению, что Бибиков потворствовал Писареву, грабившему помещиков, которые, чтобы не подвергаться арестам, платили Писареву большие суммы, обыкновенно доставляя их во время киевских контрактов, бывающих в январе месяце.

Писарев, несмотря на то, что брал с помещиков взятки, обращался с ними очень гордо. Мне случалось во время контрактов играть у Писарева в карты, и когда приходили, во время нашей игры, ясвовельможные паны и кланялись при входе почти до пола, Писарев почти не гнул шеи, оставляя нас, игравших с ним, на одну минуту, входил с помещиком в свой кабинет, где, конечно, взявши положенный оброк, отпускал его и, садясь снова за карточный стол, не обращал никакого внимания на низко кланяющегося уходящего пана.

Кабинет Писарева был весь уставлен подаренными (?) ему старинными фамильным серебряными блюдами, вазами, чашами и т. п. Сколько мне помнится, Писарев умер в бедности, жена ограбила его и бросила. * Все время

моего пребывания в Киеве Бибиков был со мною очень любезен *.

Клейнмихель и я были в Москве, когда Бибикова в 1852 г. назначили министром внутренних дел. Я, узнав об этом назначении, сказал о нем Клейнмихелю, который очень был доволен и надеялся, что многое будет в состоянии провести из того, что не мог провести при прежнем министре графе Перовском, полагая, что Бибиков относительно его останется таким же подобострастным, каким был до сего времени, но Клейнмихель в этом ошибся. * При проезде Клейнмихеля чрез Киев, генерал-губернатор Бибиков встречал его при выходе из дорожного экипажа в полной парадной форме *.

Я также ошибся, надеясь, что Бибиков сохранил ко мне хотя часть любезности, которою меня осыпал в Киеве. В ноябре 1852 г., приехав в Петербург с моими предположениями о преобразовании московских водопроводов, я был у Бибикова в парадной форме во время приема им просителей.

Подойдя ко мне, он спросил, чего я желаю. Я отвечал, что, приехав из Москвы, почел обязанностию представиться ему. Он мне заявил, очень величаво, что-то вроде того, что он, по значительности своих занятий, не может заниматься мною. Может быть, он это сказал и мягче, но такое впечатление произвели его слова на меня.

Это было сказано при Николае Алексеевиче Милютине, который представлял Бибикову лиц, собравшихся у него в приемном зале, и я с того

времени, встречаясь с Милютиным, всегда конфузился. Я никогда не мог себе простить этого шага, сделанного мною для того, чтобы продолжать знакомство с Бибиковым, и вполне неудавшегося. Я на него решился без всякой надобности, не обсудив, что настоящие взаимные наши отношения были совсем не те, какие были в Киеве.

Вскоре по вступлении на престол императора Александра II Бибиков был уволен от должности министра внутренних дел. Ему предлагали остаться в звании генерал-адъютанта и членом государственного совета, но он, недовольный увольнением от должности министра, пожелал выйти в отставку. По болезни он после этого почти постоянно жил за границею, и я его встретил в первый раз в Карлсбаде в 1864 г., где он был, равно как и в 1865 г. и во все следующие годы, в которые я приезжал в Карлсбад, до самой его смерти, снова также любезен со мною, как был в Киеве.

На место отданных в 1842 г. Клейнмихелем под суд инженер-полковника Чедаева и майора Дженеева он назначил директором шоссе от ст. Померанье до ст. Едрово инженер-подполковника Афанасьева, а командиром I военно-рабочего баталиона путей сообщения майора Травина.

Афанасьев был человек честный и добрый, но вялый и робкий. Для приведения шоссе в порядок требовалось много энергии, а он был апатичен. У него не доставало смелости

браковать дурной каменный материал, поставляемый подрядчиками, отысканными Вонлярлярским, и действовать на счет тех из них, которые вовсе не поставили материала к определенному сроку.

Один из подрядчиков Вонлярлярского поставил недалеко от ст. Померанье, вместо булыжного щебня, в большом количестве щебень известковато-глинистый мягкого свойства, предназначенный для сплошной россыпи по утонившейся шоссейной коре. Рассыпка этого щебня не только не улучшила бы, но ухудшила бы эту кору.

Афанасьев опасался не принять его, чтобы этим не навлечь на себя неприятностей от Вонлярлярского; я же запретил его принимать и донес о том Клейнмихелю, который, проезжая из Петербурга во внутренние губернии, вышел у означенного щебня из кареты. Найдя его дурным, он разругал Вонлярлярского и, садясь в карету, назвал его дураком, так что Вонлярлярский не мог этого не слышать. При дальнейшем осмотре шоссе Клейнмихель видел, насколько подрядчики Вонлярлярского были неисправны, и с того времени потерял к нему доверие. Он оставался долго по особым поручениям при Клейнмихеле. Впоследствии, видя презрение его к себе, выказываемое даже в гостиной, Вонлярлярский перешел на службу в учреждения императрицы Марии. Здесь он скоро добрался до чина тайного советника, был назначен товарищем главноуправляющего IV отделением собственной канцелярии государя и хотя не удержался на этом месте, но

все же, состоя почетным опекуном в с.-петербургском опекунском совете, получает ежегодной пенсии 8.400 р. сер., которые и составляют теперь единственное средство для его существования, так как он спустил все свое имение.

Видя, что двоюродный брат его Александр Александрович Вонлярлярский (известный под названием Монтекристо), при содействии В. А. Нелидовой, получал огромные по тому времени подряды, дававшие ему средства жить роскошно, Е. П. Вонлярлярский, двоюродный брат Нелидовой, надеялся нажить состояние подрядами в ведомстве путей сообщения, а потому, перейдя на службу в другое ведомство, принял на себя разные работы и поставки по шоссе. Но он не имел ума своего двоюродного брата и, сверх того, отношения Клейнмихеля к Нелидовой изменились.

Труды мои и моих подчиненных по шоссе увенчались полным успехом. Государь, на жизнь которого в этом году было покушение в Познани, возвратился в Петербург через Москву, и, следовательно, по московскому шоссе, которым остался вполне доволен и, считая невозможным привести шоссе в такое короткое время в удовлетворительное положение, сказал Клейнмихелю, что последний, вероятно, слишком в черных красках описал в прошедшую осень состояние шоссе. Клейнмихель, проехавший по шоссе после государя, остался также доволен им и моими распоряжениями.

Проезжая в конце октября по шоссе между Новгородом и ст. Померанье, в один из почто-

вых станционных домов, в котором я ожидал запряжки в мою карету свежих лошадей, взошел молодой человек в сопровождении жандарма. Молодой человек был приятной наружности. На нем была простая суконная без подкладки солдатская шинель, а так как время было очень холодное, то он совершенно замерз. Я спросил у жандарма, кого он везет. Получив в ответ, что это бывший воспитанник института инженеров путей сообщения, разжалованный в рядовые, которого жандарм везет на Кавказ, я обратился к молодому человеку с вопросом, за что он разжалован, и узнал от него следующее, впоследствии подтвержденное мне рассказами многих других лиц.

В отсутствие Клейнмихеля из Петербурга, в портупей-прапорщичьем классе института инженеров путей сообщения освистали одного из ротных офицеров. Подобные шалости как в институте, так и в других учебных заведениях, были очень обыкновенны, а потому и наказание, наложенное на провинившихся, не выходило из общего порядка вещей.

Клейнмихель, узнав об этом по возвращении в Петербург, нашел, что наказание будто бы не соответствовало проступкам и, представив государю все дело в самом неправильном виде, испросил разжалования пяти портупей-прапорщиков в рядовые, с назначением в войска кавказского корпуса, наказав каждого из них, сверх того, тремя стами розог в присутствии обеих рот института инженеров путей сообщения.

Жестокость чисто Аракчеевская!

Замечательно, что эта экзекуция происходила в самый день именин жены Клейнмихеля (19 октября), когда он с своим семейством был у обедни в своей домашней церкви, а всеподданнейший доклад по этому предмету состоялся в день ее рождения (17 октября).

Чтобы, так сказать, рафинировать эту жестокость, он в том же всеподданнейшем докладе испросил, чтобы ее исполнение было поручено его товарищу генерал-лейтенанту Рокасовскому, бывшему воспитаннику этого самого института. При выстроенных обеих ротах института были наказаны пять портупей-прапорщиков и разжалованы в рядовые. Говорят, что только первому дали назначенное число ударов розгами, а другим менее.

Рокасовский, по окончании экзекуции, конечно, отправился к Клейнмихелю для донесения об ее окончании и там остался завтракать, так как это был день именин жены Клейнмихеля. Не говоря уже о страшной жестокости этого наказания, нельзя не упомянуть, что оно было противно и тогдашним законам.

Все пять молодых людей, подвергшиеся наказанию, были дворяне, которые по законам были освобождены от телесного наказания.

* Некоторые на это возражали, что их наказывали как детей, но они все уже вышли из детского возраста и детей не наказывают разжалованием в рядовые, не говоря уже, что немыслимо малолетнего истязать тремя стами ударами розог. Сверх того, и по их званию портупей-прапорщиков, они были не дети и не могли быть подвергнуты телесному наказанию

Во II главе «Моих воспоминаний» я описывал, как один из начальников института, в 1830 г., высек очень легко несколько кадет института и какую это сечение произвело бурю; теперь же подобная жестокость прошла без последствий. Вот какого прогресса достигли мы в протекние 13 лет! *

В публике, конечно, сильно осуждали Клейнмихеля. Говорят, что когда жена его взошла в ложу театра, то раздались крики: «вот жена палача». * Но от вполне загнанного тогда общества нельзя было ожидать сильного протеста. Если действительно и были означенные крики, то они более происходили от ненависти общества к Клейнмихелю и потому, что телесное наказание, столь обыкновенное в других учебных заведениях, как то не вязалось с коренившеюся в обществе идеею об институте инженеров путей сообщения в продолжении его слишком 30-летнего существования. Ведь то же общество не протестовало против подобных жестокостей, совершаемых начальствующими лицами в других учебных заведениях. Мне известно, что бывший главный директор военно-учебных заведений генерал-адъютант Иван Онуфриевич Сухозанет в 30-х годах засек до смерти, перед выстроенными кадетами московского кадетского корпуса, одного из их товарищей; даже в Москве мало об этом говорили.

Приведу пример тогдашних понятий человека доброго и образованного. Гораздо позже описанного мною происшествия, вскоре после того, что всем войскам дали вместо киверов каски, один из инженер-подпоручиков, слушающих

курс наук в институте инженеров путей сообщения, встретился на большой Морской улице с государем, который был в каске и шинели. Между генеральскою и офицерскою касками в гвардейском корпусе не было почти никакого различия, а потому генерала в шинели трудно было отличить от офицера. Подпоручик же, встретивший государя, никогда его не видал, а потому при встрече с ним только посторонился, не остановившись во фронт и не приложивши руку к своей треугольной шляпе, которая тогда еще не была заменена каскою в корпусе инженеров путей сообщения и горном.

Государь же, нисколько не посторонившийся, толкнул подпоручика, обругал его и спустил с одного плеча шинель, чтобы показать генеральские эполеты; подпоручик, приложив руку к шляпе, полагая, что он встретился с генералом, извинился, что не отдал должной его превосходительству чести. Государь приказал ему итти на главную гауптвахту Зимнего дворца. По приходе подпоручика на гауптвахту караульный офицер не хотел его принимать, говоря, что это какой-нибудь генерал сгоряча послал его на гауптвахту и что никто не захочет ссориться с Клейнмихелем, начальником подпоручика, а потому пославший последнего на гауптвахту, верно не даст этому делу никаких последствий; однако же подпоручик остался на гауптвахте.

Через несколько времени позвали его в кабинет государя, где он застал Клейнмихеля. Вот как мне передавали бывший в этом кабинете разговор. По входе подпоручика в кабинет, го-

сударь сказал, что вот каких Клейнмихель готовит офицеров на службу, что подпоручик заслуживает быть выброшенным из окна на площадь с тем, чтобы быть разорванным народом, но что он его презирает и вследствие этого приказывает не подвергать его никакому наказанию.

На другой день Клейнмихель пришел в институт и, собрав всех слушающих курс наук подпоручиков и прапорщиков, которых было тогда до ста человек, рассказал им гнусное, по его мнению, поведение подпоручика, милость государя, который его простил, и, разгорячась, прибавил, что все слушающие курс офицеры должны быть наказаны за поведение их товарища и что Клейнмихель, несмотря на прощение государем последнего, всех их разжалует в рядовые.

Бывший в этот день дежурным за адъютанта при Клейнмихеле инженер-капитан Адамович изъявил тогда соболезнование, что напрасно Клейнмихель горячится с мальчиками, чем может повредить своему здоровью; что пусть, не горячась, разжалует их в рядовые, лишь бы сберечь свое драгоценное здоровье. А Адамович человек добрый и кончил курс в Харьковском университете. Но тогда была бездна Адамовичей! Нечего и говорить, что не смотря на тогдашнее грозное время и на силу Клейнмихеля, предложение Адамовича было немыслимо привести в исполнение. Упомянутому же подпоручику, не смотря на объявленное государем прощение, не дозволили окончить курса в институте и он был послан на службу на Кавказ.

Вскоре за сим были уничтожены офицерские классы в институте и окончившие в нем курс наук производились прямо в инженер-подпоручики и даже в прапорщики.

Возвращаюсь к рассказу о наказании пяти портупей-прапорщиков в институте инженеров путей сообщения. После описанной экзекуции их посадили в холодные подвалы, в ожидании приведения в исполнение распоряжения по отправке их на Кавказ с жандармами*.

Некоторые из инженеров-преподавателей в институте вздумали сделать подписку для сбора денег в пользу наказанных. Клейнмихель, узнав об этом, призвал одного из начавших эту подписку, инженер-капитана Ф. И. Таубе, разбранил его, угрожал, что доложит государю имена подписавшихся, которые подвергнутся строгому наказанию, и запретил подписку. Она, вследствие этого, не состоялась, но и подписавшиеся не были подвергнуты преследованию. Я дал встретившемуся со мною бывшему воспитаннику института 50 р. сер. с тем, чтобы он купил себе в Новгороде теплую одежду. Что было бы со мною, если бы Клейнмихель узнал об этом! *Не могу при этом не обратить внимания, что с воцарением императора Александра второго подобные наказания в учебных заведениях сделались немыслимы*. [1]

[1] Александр II, по рассказам современников, проявлял не меньшую жестокость, чем его отец, особенно по отношению к учащимся гражданского ведомства и, главным образом к молодежи, участвовавшей в революционных кружках или даже просто сочувствовавшей революционным движениям. *С. Ш.*

Клейнмихель, недовольный слабостию, которую, по его мнению, выказало начальство института, заменил его новым. Из старших начальников были уволены: от должности директора института инженер генерал-лейтенант Готман и от службы помощник его по фронтовой и хозяйственной части генерал-майор Лермантов.

Директором был назначен Энгельгардт (он давно умер), произведенный не задолго перед тем в генерал-майоры из полковников какого-то гвардейского полка. Говорят, что Энгельгардт, при всей своей ничтожности и робости, отказывался управлять специальным заведением и говорил Клейнмихелю, что его желания ограничиваются тем, чтобы быть назначенным командиром одного из гвардейских полков или какой-нибудь армейской бригады, но Клейнмихель сказал ему, что он мелет вздор, что нет никакого затруднения управлять институтом, которым управлял же Готман (он последнего при этом случае назвал дураком, чем, конечно, Готман не был), и что место директора этого заведения предпочтительнее мест, которые Энгельгардт надеялся получить.

Энгельгардт был человек недальнего ума и без образования, обходился с воспитанниками института грубо, говоря им всем «ты». Учившись только одной арифметике, он не имел понятия о существовании других математических наук. Обращаясь к воспитаннику высших классов, когда он занимался аналитическою механикою или высшими математическими исчислениями, он его спрашивал: «Что ты арифметику учишь?», а когда воспитанник называл ту науку, которою

был в это время занят, он говорил: «Ну да, я говорил, что ты арифметику повторяешь».

Помощником к Энгельгардту, на место Лермантова, назначен был гвардейский полковник Г. Ф. Гогель. Он был человек умный, имел некоторое образование, но преподаватели и воспитанники института его не любили, полагая, что он причиною всему, что в это время делалось в институте дурного, тогда как он, по хитрости своей, сваливал все на Энгельгардта, на которого имел большое влияние. Энгельгардт и Гогель были женаты на родных сестрах.

В начале ноября я получил приказание Клейнмихеля приехать о Петербург. Понятно, с каким чувством я ехал в этот город после встречи с несчастным разжалованным в рядовые воспитанником института инженеров путей сообщения. Клейнмихель со мною ничего не говорил о наказании в институте, был попрежнему любезен, но, убедясь что, я не только не способен на исполнение подобных его распоряжений, но что и взгляд мой на них противоположен его взгляду, решился употребить меня собственно по инженерной части и вдали от Петербурга.

В Нижнем-Новгороде, куда я с женою и Е. Е. Радзевскою приехал в конце ноября (1843 г.), я остановился у сестры моей жены, графини Л. Н. Толстой, в нанимаемом ею доме на Печерской улице. Муж ее продолжал быть попрежнему чудаком; вставал поздно, в полном дезабилье ходил по всем комнатам, по целым часам расчесывая гребнем свою красивую бороду.

Он выказывал замечательную медленность в сообразительной способности. Читая иногда

вслух какую-нибудь хорошим слогом написанную книгу самого простого содержания, он каждый период повторял по два и по три раза, так сказать, прожует его прежде, чем понять.

Часто жена моя ему говаривала: «Полноте читать вслух; вы повторением и жеванием каждого слова всем надоели». Но Толстой не мог читать иначе, как вслух: он только при таком чтении мог понимать то, что читал. Пробыв у Толстых с месяц, мы переехали в небольшой нанятый нами недалеко от них домик, а в начале апреля переехали в Кунавино, предместье Нижнего на левом берегу Оки.

Когда мы жили по близости от дома, занимаемого Толстым, он у нас, в гостях, так заболел, что не мог даже добраться до своего дома. Жена же его по болезни не могла ходить пешком, а лошадей до того боялась, что не решалась сесть в экипаж. Однако же для того, чтобы видеться хотя изредка с мужем, она решалась сесть в сани, но ехала шагом и не иначе, как чтобы впереди ее саней ехали другие сани, а с обеих сторон и сзади ее самой шли несколько человек. Это торжественное шествие было очень забавно.

В Нижнем я не застал губернатора Бутурлина, его должность исправлял вице-губернатор Максим Максимович Панов, человек остроумный, образованный, но взяточник. Я познакомился с ним, равно как почти со всеми прочими старшими нижегородскими чиновниками, за исключением председателя казенной палаты Бориса Ефимовича Прутченко. Всех ближе познакомился я с домом Тимофея Гордеевича

Погуляева, члена нижегородской солеперевозной комиссии, потому что его старшая дочь, Екатерина, была замужем за инженером путей сообщения поручиком Городецким, а вторая, Вера, весною 1844 г. вышла также за инженера путей сообщения поручика Виноградова; оба они были моими подчиненными.

Погуляев, как все утверждали в Нижнем, пришел в этот город в нищенской крестьянской одежде. Его прозвище было Погуляй-не-пей-пиво. Он сумел выйти в чины и нажить на службе большое состояние. Рассказывали, что при перевозке соли, производившейся по распоряжению означенной комиссии, исчезали огромные барки соли и делались разные злоупотребления при ее хранении в нижегородских запасных магазинах, что это все обогащало председателя и членов комиссии, из которых Погуляев был всех умней, и потому ему доставалась львиная часть. Судя по состоянию, которое он нажил, равно как председатель Александр Иванович Мессинг и другие чины комиссии, надо полагать, что злоупотребления действительно были весьма значительны.

Несколько лет спустя, некоторые из означенных запасных соляных магазинов, устроенных вблизи Нижнего на уклоне высокого правого берега Оки, сползли вместе с берегом. Назначена была комиссия под председательством вышеупомянутого председателя казенной палаты Прутченко, в которой я был членом, для определения причин повреждения магазинов, спасения соли и составления проекта по возобновлению магазинов. Благодаря этой комиссии,

соль была спасена от расхищения членами солеперевозной комиссии, которые, конечно, показали бы, что при повреждении магазинов вся соль, которую они продали бы в свою пользу, засыпана обвалами берега.

Вскоре после означенного обвала солеперевозная комиссия была уничтожена и вместо нее образовано соляное отделение при казенной палате. Бывший впоследствии председатель этой палаты В. Е. Вердеревский, разыгравший роль синодального обер-прокурора в деле моей сестры, разграбил всю соль, за что по приговору суда был сослан в Сибирь.

Т. Г. Погуляев, кроме двух упомянутых дочерей, имел еще много детей, из которых старший сын был очень умный молодой человек. По окончании курса в училище правоведения, он служил в Петербурге, быстро попал в оберпрокуроры сената, но несмотря на это, вследствие неудовлетворенного честолюбия, сошел в молодых летах с ума и вскоре умер. У Т. Г. Погуляева был открытый дом. Он принимал каждый день, и все его гости с двух часов пополудни до полуночи и долее играли в карты.

Он играл превосходно в разные коммерческие игры и постоянно был в выигрыше. Во время производства огромных работ в Нижнем, во исполнение повелений императора Николая I, Погуляев постоянно играл с инженерами путей сообщения, которые, за исключением полковника Готмана и подполковника Стремоухова, получали большие незаконные выгоды от производимых ими работ. Игра была значительная, и Погуляев всех обыгрывал. По недостатку денег для

исполнения всех указанных императором Николаем работ, необходимо было их прекратить, и я в Нижнем не застал никого из инженеров, бывших при означенных работах, за исключением Стремоухова, состоявшего членом нижегородской губернской строительной комиссии.

Карточная игра у Погуляева продолжалась, но далеко не была так значительна, а так как состоявшие под моим начальством инженеры при шоссе, а впоследствии и по должности моей начальника работ Нижнего-Новгорода, в каковую я был назначен в 1845 г., не пользовались от производимых ими работ, то Погуляев часто своим хохлацким наречием говорил им, что я совсем испортил инженеров, теперь играющих по такому малому кушу, и что он через это лишен возможности выигрывать, как бывало до меня, большие деньги. Я также часто играл у него в карты и постоянно проигрывал, что, не смотря на незначительность куша моей игры, составляло для меня большой счет.

В начале весны 1844 г. приехал в Нижний вновь назначенный губернатором свиты его величества генерал-майор князь Михаил Александрович Урусов, впоследствии генерал-от-кавалерии, сенатор и почетный опекун в Москве.

Урусов был человек очень ограниченный, но вместе с тем до крайности самолюбивый. Он ни по образованию, ни по роду своей прежней службы, не имел никаких сведений, необходимых губернатору, и о своде законов не имел никакого понятия. Но тогда было такое время, что всякий годился. Губернаторы властвовали произвольно и все загнанное общество им покорялось.

Я увидал Урусова в первый раз еще в 1832 г. Это было на второй день святой недели на разводе, бывшем на плацу между Зимним дворцом и адмиралтейством. Тогда не было странным видеть офицера корпуса инженеров путей сообщения на разводе, и я стоял вместе с другими военными офицерами. Флигель-адъютанты были построены в особую шеренгу. Число их было так значительно, что шеренга вытянулась очень длинно, а потому бывший комендант генерал-адъютант Башуцкий хотел их построить в две шеренги. По сделанному им расчету, Урусову, бывшему тогда ротмистром, приходилось итти в заднюю шеренгу, но он, покраснев до ушей и сильно разгорячась, решительно отказался исполнить приказание Башуцкого, из чего произошла между ними серьезная перебранка, повторявшаяся каждый раз, когда Башуцкий проходил мимо Урусова.

Конечно, Урусов не посмел бы не слушаться коменданта и с ним перебраниваться в виду всех съехавшихся на развод военных властей, если бы его родная сестра, известная красавица, впоследствии жена генерал-адъютанта князя Радзивилла, не была в то время* любовницею государя. Впоследствии, когда я ближе познакомился с Урусовым и мы разговорились о том, где я встретил его в первый раз, я ему рассказал, что был на разводе при вышеописанной сцене. Урусов сконфузился при этом воспоминании*.[1]

[1] В прежнем издании вместо всей взятой в звездочки фразы напечатано: «близка ко двору» — без пояснения или каких-либо знаков пропуска. *С. Ш.*

Во время переговоров моих с [купцом Дмитрием] Климовым [просившим 65 р. за куб. сажень] приехал в Нижний Михаил Яковлевич Вейсберг, впоследствии тайный советник. Он привез мне письмо от дяди моего князя Александра Волконского, который очень просил меня допустить Вейсберга к поставке щебня на Нижегородское шоссе. Вейсберг был лекарем при московском военном госпитале. Жена дяди моего Александра долго лечилась у знаменитых московских докторов, которые ей не помогали. Не помню как, после этих знаменитостей, попал к ней врачем неопытный и никому неизвестный лекарь Вейсберг, который своим умом и еврейским угождением успел понравиться ей и ее мужу. Я его часто видал у них.

Вейсберг, имея весьма незначительную врачебную практику, решился, сверх того, заняться хождением по делам частных лиц в судебных и других присутственных местах. В январе 1844 г. назначено было к продаже в московском опекунском совете заложенное в нем имение дворянки Анны Николаевны Немчиновой, вследствие накопившихся значительных недоимок по уплате в совет процентов.

Это имение покойный ее муж в числе 3200 душ, с огромным количеством земли, купил у камергера Собакина на ее имя, так как он, как купец, не имел права владеть населенным имением. Немчинова была, сверх того, должна значительные суммы частным лицам. Ясно было, что по продаже имения Немчиновой, за вычетом долга ее совету, вырученной суммы будет недостаточно для удовлетворения ее кредиторов, и она с сво-

ими детьми останется без куска хлеба. Вейсберг принял на себя устроить ее дело за весьма значительное вознаграждение, чуть ли не за половину ее имения. Впрочем, в то время мне было вовсе неизвестно, за какое вознаграждение он принял на себя дело Немчиновой.

Вейсберг соглашался выставить требуемое мною количество щебня до наступления Нижегородской ярмарки по 51 р. за кубич. саж., а после ярмарки по 49 р. Залогом он представлял круговое ручательство 3200 душ крестьян, принадлежащих Немчиновой, которое, по статьям X тома св. зак. о поручительстве по договорам с казною, представляло залог в 14.400 р. и, сверх того, под него можно было выдать по тем же статьям задаточных 48.000 р.

Ничего не могло быть легче, при существовании крепостного права, как добыть подобный приговор от крестьян. Мне же было известно, что имение Немчиновой назначено в продажу в опекунском совете и что оно обременено частными долгами.

Я выразил опасение Вейсбергу, что он, взяв означенные задаточные деньги 48.000 р., может ничего не ставить, и мне тогда пришлось бы только заниматься бесполезною перепискою с полициею о понуждении крестьян в поставке камня. Вейсберг уверял меня, что он очень понимает мое служебное положение, что он никогда не доведет меня до неприятностей, что булыжный камень имеется в самом имении Немчиновой, но так как оно в 120 верстах от Нижнего, и следовательно среднее расстояние доставки его на шоссе было бы 145 верст, то

камень будет собираться в местностях ближайших к Нижнему, и что на бо̀льшей части крестьян Немчиновой числятся значительные недоимки по платежу оброка, и потому он их всех употребит на перевозку камня, а впоследствии и на разбивку его в щебень.

Конечно, несмотря на то, что по существовавшим законам он имел право на получение подряда, я мог не заключить с ним договора в виду запутанности дел Немчиновой, но видя энергию Вейсберга и надеясь, что он будет также энергичен при исполнении дела, я согласился допустить его к подряду.

Поставка Вейсберга должна была простираться на несколько сот тысяч рублей, а тогда на заключение контракта на самую незначительную сумму, даже правлениями округов, испрашивалось разрешение у главного управления, и потому я представил на утверждение Клейнмихеля проект контракта со всеми требовавшимися приложениями, как-то: с сравнительною ведомостию цен настоящего подряда с ценами прежнего времени и справочными и т. п.

Клейнмихель возвратил мне мое представление при предписании, в котором сообщал, что эти документы он оставил без рассмотрения, так как он мне дал полное разрешение по перестройке шоссе 9 ноября 1843 г. за № 3671.

Тогда я заключил с Вейсбергом контракт, с которым он поспел в Москву к самому дню продажи имения Немчиновой в московском опекунском совете, председатель которого и члены, в виду представления Вейсбергом означенного контракта, нашли необходимым остановить про-

дажу. Мною предварительно было сделано представление о высылке денег в нижегородское уездное казначейство, которое, по моему требованию, должно было выдавать деньги подрядчику, и Вейсберг немедля получил задаточных 48000 р. сер.

Назначенное к исправлению шоссе разделено было на две дистанции, из коих ближайшею заведывал инженер-поручик Михаил Васильевич Авдеев, впоследствии сделавшийся известным писателем романов, а другою Геннадий Николаевич Виноградов.

В январе 1844 г. Вейсберг начал поставку булыжного камня из местности в расстоянии 90 верст от Нижнего. При этом он не оказал ни энергии, ни распорядительности, которых я ожидал от него. Причин было несколько: частию неспособность его к подобному делу и неопытность, частию занятия его по другим делам, по которым он надолго отлучался из Нижнего, и частию недостаток денежных средств, необходимых при начале дела; главною же причиною была несостоятельность его предположения производить поставку камня и разбивку щебня крепостными крестьянами. Число лошадей с проводниками было огромное, а камня они доставляли мало. Разбивка его производилась, несмотря на большое число людей, медленно, по их неопытности и нежеланию работать в пользу помещицы, не получая за работу ничего, кроме пищи.

Придерживаясь постоянно принципа, что до заключения контракта с подрядчиком следует определить по возможности наименьшие цены

на заподряженные работы и поставки и ввести в контракт наиболее выгодные для казны условия, а по заключении контракта помогать подрядчику своевременною выдачею ему денег за произведенные работы и поставки и другими мерами, не нарушающими интересов казны, я постоянно пособлял Вейсбергу в исполнении принятой им на себя обязанности и вместе с тем выговаривал ему за нераспорядительность и медленную поставку камня. Он нанял много перевозчиков камня, но эта мера не привела к полному успеху, так что по сходе зимнего пути было доставлено щебня для рассыпки только нетолстого слоя, и потому нельзя было бы пустить по шоссе тяжелые обозы, а можно было бы открыть проезд только в легких экипажах.

Вейсберг впоследствии был подрядчиком на железной дороге между двумя столицами и, занимаясь другими коммерческими и адвокатскими делами, нажил большое состояние.

По контракту, заключенному с Вейсбергом, он обязан был между прочим, поставить в 1844 г. чернорабочих и к весне 1845 г. каменные материалы в том количестве, которое окажется весною 1844 г. необходимым для исправления шоссе, но он не был обязан поставлять плотников и лесные материалы, надобность в которых я не мог предвидеть.

Вейсберг, по моему требованию, выставил в начале мая большое количество чернорабочих, но с началом земляных работ распоряжения были еще хуже, чем при поставке камня.

Рабочие не были снабжены достаточным количеством нужных инструментов и даже часто

оставались целые дни без пищи. Так как по всему протяжению исправляемого шоссе было всего три весьма маленьких деревушки, то хлеб и вообще все для рабочих должно было доставляться из Нижнего, но доставка эта производилась неправильно, что возбуждало между рабочими шум, называвшийся тогда «бунтом».

Занятия мои по шоссейным работам отнимали у меня все время. Оба дистанционные офицера были также очень заняты приемом материалов и наблюдением за работами, что тогда, по неимению казенных десятников и при ведении сложной отчетности, было затруднительно.

Авдеев вследствие этого подал мне рапорт, в котором признавал себя неспособным к занимаемой им должности и просил от нее уволить. Рапорт его был написан очень складно и вообще хорошо.

В сентебре месяце я получил приказание Клейнмихеля встретить его в Москве. Я не нашел там сестры моей, которая после смерти матери поехала со своими дочерьми на богомолье в Киев. В день приезда в Москву я обедал в английском клубе, где встретил дядю моего Александра Волконскаго. Он мне рассказал, что брат его князь Дмитрий делал ни с чем несообразные распоряжения в принадлежащей ему половине с. Студенца и казался готовым совсем сойти с ума; только известие о смерти моей матери, которую он любил и уважал, так поразило его, что он пришел в себя.

Между тем упомянутые безобразные распоряжения дяди Дмитрия не остались без последствий.

Его крестьяне были недовольны им и его развратничеством с крестьянками. Два крестьянина подстерегли его, когда он ехал осматривать полевые работы на беговых дрожках, и сильно избили, переломив здоровую ногу. Эти побои заставили его несколько месяцев пролежать в постели с перевязанною ногою, он не имел возможности даже повернуться, так как изломанная нога лежала на ремне, привешанном к потолку комнаты.

Клейнмихель, на другой день своего приезда в Москву, пригласил человек десять инженеров, в том числе Трофимовича, к обеду в 4 часа дня, а мне приказал приехать несколько ранее. Когда он минут за пять до 4 часов услыхал, что в приемной комнате собрались приглашенные, он с недовольным видом спросил меня, зачем они так рано приехали. Я отвечял, что недостает нескольких минут до 4 часов.

Клейнмихел постоянно возил с собою по нескольку превосходных часов, которые шли очень верно. Посмотрев на одни из них, он мне сказал, что еще нет половины четвертого. На это я ему отвечал, что в Москве часы идут около получаса вперед против часов в Петербурге. Клейнмихель по этому случаю разругал московских часовщиков и приказал подавать обедать.

За обедом сидел, между прочим, ездивший с ним во все путешествия доктор Фейхтнер (впоследствии член медицинского совета). Клейнмихель обратился к нему с рассказом о том, что московские часы идут получасом вперед против петербургских, и снова обругал московских часовщиков.

Фейхтнер, который должен был бы знать лучше меня, что бесполезно объяснять Клейнмихелю причину разницы времени в двух столицах, начал однако же объяснять ее, при чем употребил слово меридиан. Клейнмихель спросил, что это за штука, и, получив объяснение, сказал, что это все пустяки, что никаких таких кругов, проведенных на земле, нет, а что это все выдумки инженеров, от которых и Фейхтнер успел заразиться.

По вечерам чаще всего бывали у Клейнмихеля: двоюродный брат его первой жены, действительный статский советник Зубов, человек небольшого ума, и Александр Александрович Вонлярлярский. Клейнмихель очень благоволил к последнему и советовал мне сблизиться с ним, как с человеком весьма умным.

С Вонлярлярским был заключен контракт на постройку шоссе от Мало-Ярославца до Бобруйска на протяжении 500 вер. за 5.100.000 р. и в августе уже начаты работы.

Постройка эта была дана Вонлярлярскому в угождение В. А. Нелидовой без торгов и без смет. Для определения же цены постройки был вызван в Петербург инженер-подполковник Н. М. Никитин, находившийся постоянно при изысканиях для составления проекта по устройству шоссе между означенными пунктами.

От Никитина потребовали немедленного определения стоимости означенного шоссе. Он, по совершенному незнанию дела, представил безобразное исчисление стоимости шоссе, которое было принято основанием при заключении контракта с Вонлярлярским. Для доказательства

безобразия этого исчисления ограничусь следующим.

На 500-верстном протяжении шоссе, идущего большею частию по низменной местности, предположено было всего 18 мостов, длиною не более 10 саж. (все мосты назначались деревянные), тогда как приходится на подобной местности круглым числом по одному на версту. Цена за каждую погонную сажень моста в расценочной ведомости, приложенной к контракту, определена в 396 руб.

Эта цена слишком в 6 раз более действительной. Цена погонной сажени мостов длиннее 10 саж. через реки и везде, где таковые потребуются более сложной конструкции, назначена по контракту в два раза более, чем за погонную сажень мостов простой конструкции; все прочее в том же роде.

Клейнмихель хвастался заключением этого контракта и вперед был уверен, что работы будут произведены Вонлярлярским успешно и превосходно.

Впоследствии я узнал, что Клейнмихель вызвал меня в Москву и желал моего сближения с Вонлярлярским с целью назначить меня управляющим работами по постройке шоссе от Мало-Ярославца до Бобруйска.

Мы часто говорили с Вонлярлярским о принятом им на себя подряде и он из моих разговоров мог заключить, что я буду всеми законными мерами сберегать казенный интерес, а это вовсе не было в его видах, и потому он упросил Клейнмихеля назначить управляющим работами шоссе начальника IV отделения

XI округа путей сообщения подполковника Никитина, составлявшего предварительный расчет для определения контрактной стоимости шоссе и уже заведывавшего только что начатыми работами. Я был отпущен Клейнмихелем в Нижний без всякого объяснения, зачем он вызвал меня в Москву и так долго в ней продержал.

И так я счастливо отделался от поручения, которое могло бы вовлечь меня в величайшие неприятности. Никитин понял свою роль официального наблюдателя за делом, которое вполне было отдано Вонлярлярскому. Он и подчиненные ему инженеры воспользовались выгодами своего положения, предоставляя Вонлярлярскому работать по его усмотрению и еще увеличивать сумму и без того значительной контрактной стоимости подряда. Они за это получали с него большие деньги. Для них всякого рода швыряние деньгами сделалось тогда нипочем. Рассказывали, что они, моясь в бане, поддавали вместо воды шампанским. Все это не могло, хотя частию, не быть известно Клейнмихелю, но он молчал.

В это же время Вонлярлярский, человек с небольшим состоянием, начал жить до того роскошно и бросать деньги, что очень скоро заслужил название Монте-Кристо. Между прочим он строил большой дом в Петербурге у Николаевского моста. Эта роскошная жизнь Вонлярлярского должна же была дать понять Клейнмихелю, что он отдал устройство шоссе от Мало-Ярославца до Бобруйска за слишком высокую цену, но он, из угождения В. А. Нелидовой,

допустил выдать Вонлярлярскому сверх контрактной суммы еще около 4 миллионов руб. и, только поссорившись с ним, прекратил в конце 1851 года дальнейшую выдачу миллионов *, о чем будет объяснено в своем месте Клейнмихель не только не наблюдал, чтобы на шоссе не было употреблено более сумм, определенных по контракту на его устройство, но своими распоряжениями об отпуске сверх контрактных сумм без представления оправдательных при таком отпуске документов и своими похвалами производящихся работ поощрял отпуск нескольких миллионов рублей, выданных Вонлярлярскому сверх контракта *.

В приказе от 2 нобяря 1846 г. он описал подробно местность, по которой проходит означенное шоссе, и работы, произведенные на нем в продолжение двух лет. Из описания должно было заключить, что работы будут окончены никак не позже 1848 г., тогда как они продолжались еще в 1852 г. К этому он присовокупил:

«Осмотрев работы, я нашел их в отличном состоянии; работы значительны и все могут служить примером; я не имел случая сделать ни одного замечания не в пользу этого сооружения. И так я вполне доволен и успехом и самою работою.

Отдавая полную справедливость инженерам, я обязываюсь сказать здесь и об отставном поручике Вонлярлярском, принявшем на себя устройство этого шоссе. Успех работ, тщательное их производство и отделка принадлежат и ему и суть последствия всех его распоряжений,

всегда благоразумных, всегда добросовестных, всегда в видах пользы казны предпринимаемых».

* Любопытно сопоставить последние приведенные слова этого приказа с тем, что говорил и писал Клейнмихель в конце 1851 и 1852 г. когда он, после выдачи Вонлярлярскому около четырех миллионов рублей сверх суммы, определенной по контракту на постройку шоссе, хотел остановить дальнейшую выдачу, о чем будет мною изложено в своем месте. Но тогда Клейнмихель был в дурных отношениях с Нелидовой и Вонлярлярским; он в казенных делах постоянно зависел от своих отношений к разным личностям*.

Губернский предводитель дворянства, Сергей Васильевич Шереметев, уже имел несколько столкновений с военным губернатором князем Урусовым и решительно отказался от выбора в ту же должность на следующее трехлетие. На его место был выбран единогласно белыми шарами брат его Николай Васильевич Шереметев, благороднейший и добрейший человек.

Дворяне не любили Сергея Васильевича Шереметева, который обращался с ними, как начальник, редко бывал в Нижнем, где не только не давал балов, но весьма немногих приглашал к обеду, но все же сожалели о его выходе из губернских предводителей. К подобному и еще худшему обращению они привыкли при прежнем губернском предводителе дворянства, князе Егоре Александровиче Грузинском, который в своем имении жил действительно как хан

среднеазиатских государств и наводил страх на всех соседей.

Дворяне видели в С. В. Шереметеве защитника против губернатора и полицейских властей и опасались, что брат его, по доброте своей, не будет в состоянии их защищать против притязаний означенных властей.

Зная С. В. Шереметева за человека самостоятельного, я был очень удивлен тем, что он подходил к некоторым дворянам и, между прочим, ко мне, говоря, кого не следует выбирать, потому что губернатор этого не желает. На выраженное мною удивление, что Шереметев хлопочет о выборе людей, угодных губернатору, он отвечал:

— Ведь выбираемым придется служить не у вас, а у губернатора, от которого будет зависеть их участь.

Скажу теперь кстати о столкновении, которое я имел с Шереметевым в начале зимы 1845 г. Я уже говорил выше, что для нижнего слоя перестраиваемого мною шоссе необходимо было поставить известковый щебень. Поверенный подрядчика роздал эту поставку местным жителям левого берега р. Оки, где находились ломки известкового камня и, между прочим, поверенному Шереметева, крестьянину Кукину, который, пользуясь важным значением своего барина, выставлял камень дурного качества и не полной меры.

Поверенный подрядчика забраковал его, на что Шереметев письменно жаловался мне и везде ругал подрячика. Исследовав это дело, я писал Шереметеву, что подрядчик прав; этим

кончились наши пререкания, без дальнейших между нами неудовольствий. Дурной камень был заменен лучшим, а не полномерные сажени хорошего камня пополнены, * но Шереметев, конечно, полагавший, что шоссе в угоду ему может быт частью построено и из камня не вполне доброкачественного, продолжал повсюду свои ругательства против подрядчика за делаемые будто бы им притеснения. Поверенный Шереметева, Кукин, был большой плут и вот как он попал в поверенные своего барина.

Я уже говорял, что Шереметев расправлялся в своих весьма значительных имениях по-азиатски; между прочим, крестьян, провинившихся и даже преступников, он не подвергал установленному правительством суду, а лишал их принадлежащих им изб и обрабатываемых ими полей и помещал в составленную им в своем имении исправительную команду, которая под строгим наблюдением назначенных им крестьян, должна была производить все работы в имениях по его указанию. Жизнь попавших в эту команду была самая тягостная. В этой команде Шереметев замечал людей наиболее способных и выдержав их в ней известный срок, делал из них поверенных приказчиков и т. п. должностных лиц. Таким образом Кукин из преступников, содержавшихся в исправительной команде, попал в поверенные по делам своего богатого и знатного барина *.

По занимаемой мною должности, я не был властью в Нижнем, но тем не менее нашли нужным и мне принести в праздник рождества

христова разные съестные припасы и, между прочим, большого осетра. Я отказался их принять, и когда принесшие не хотели их брать обратно, то объявил, что выброшу все принесенное в окошко. Тогда только принесенное взяли обратно, и мне известно, что большого осетра понесли от меня к Прутченко, у которого я на другой день за обедом ел этого осетра и впоследствии смеялся над тем, что, не приняв даровой рыбы, я избавился от расхода делать обеды и, следовательно, был через это в выгоде. Мое поведение как в этом случае, так и впоследствии произвело сильное впечатление между обывателями в Нижнем.

В июне 1845 г. приехал в Нижний Клейнмихель. Я его уподоблял холерной эпидемии, которую, при ее приближении и появлени, чрезмерно боятся, равно как по ее окончании все о ней забывают. Точно так же было и с приездом Клейнмихеля. В ожидании его красили дома, перемащивали мостовую и очищали улицы; во время его пребывания в городе все чего-то опасались, а по его отъезде о нем забыли, и все приходило в прежний порядок или, лучше сказать, беспорядок.

Нижний за несколько дней до приезда Клейнмихеля был весь в движении. Губернатор встретил Клейнмихеля на крыльце отведенного ему дома на Нижнем базаре, почти напротив дома, который я занимал, и подал ему рапорт о благополучном состоянии губернии.

На другой день представлялись ему не одни его подчиненные, а все губернские власти и даже отставные, живущие в городе или случайно

бывшие в нем во время проезда Клейнмихеля. Он принимал всех очень величественно, делал разным властям очень обыкновенные вопросы, относившееся до их служебных занятий, и удивлял их разнообразностью сведений, тогда как он ровно никаких не имел. При этом случалось ему неприличным образом бранить лиц, ему вовсе не подчиненных, которые почему-либо ему не нравились, и все терпели беспрекословно.

Клейнмихель осмотрел в Нижнем все казенные здания и в том числе ярмарочный гостиный двор, везде делал замечания, большей частью вкривь и вкось.

В каменных лавках ярмарочного двора производились небольшие исправления весенних в нем повреждений, под наблюдением инженер-подполковника Стремоухова, человека честного и аккуратного, но робкого и нерешительного. При свидетельствовании какого-либо здания или вообще произведенной работы, от его внимания не ускользало малейшей безделицы, но как производитель работ он никуда не годился, не умея ни на чем настоять.

Клейнмихель, подойдя к работе в ярмарочном дворе, обратил внимане на дурное качество выставленного подрячиком кирпича. Некоторые из кирпичей были так дурны, что при поднятии их отвалилась одна половинка. Один из таких кирпичей Клейнмихель взял в руку и, когда отвалилась половина его, он взял другой кирпич, но когда и от этого отвалилась половина, то он, рассерженный донельзя, замахнулся оставшеюся в его руке половинкою, чтобы бросить

ее в Стремоухова. Заметив это движение, я в один миг загородил собою последнего, около которого я стоял. Клейнмихель, опустив руку с половинкой кирпича, спросил меня, что мне тут надо.

Я ответил, что кирпич в Нижнем изготовляется дурной до такой степени, что и сортировать его нечего, а следовало бы прекратить в Нижнем все работы из кирпича, пока последний не будет изготовляться прочным, но это невозможно и во всяком случае не зависит от Стремоухова.

Клейнмихель приказал мне немедля осмотреть заводы, снабжающие кирпичем Нижний, и представить ему их описание, а впоследствии составить правила для всей империи об изготовлении кирпича и о наблюдении за его производством. Это было мною исполнено и правила, после некоторых изменений в высших учреждениях, были высочайше утверждены

В бытность Клейнмихеля в Нижнем, приехал в этот город казанский военный губернатор генерал-адъютант, генерал от инфантерии Сергей Павлович Шипов. Узнав о предположении Клейнмихеля быть в Нижнем, он проскакал 400 верст, чтобы представить проект устройства водопровода в г. Казани и ходатайствовать у Клейнмихеля о принятии участия в назначении Шипова сенатором. Шипов от слишком скорой езды между Казанью и Нижним заболел, а потому Клейнмихель ездил его навестить.

Рассказывая о желании Шипова быть сенатором, Клейнмихель находил, что по чину, званию и долговременной службе Шипова же-

лание его весьма умеренное и, конечно, будет исполнено. Проект водопровода в Казани позабыли отпустить с Шиповым и было условено между ним и Клейнмихелем, что он пришлет этот проект в Петербург, где я буду участвовать при его рассмотрении в департаменте проектов и смет, и что немедля после рассмотрения проект будет возвращен Шипову.

Шипов был вскоре назначен сенатором в Москву, где сделался известен своею добротою и обходительностью, а вместе с тем докучливым чтением своих проектов по устройству России вообще и разных государственных управлений, о чем он написал целые фолианты, часть которых была им доводима до сведения государя, но большая часть лежит под спудом в ожидании благоприятного времени для их представления, которого Шипов, как он мне говорил еще в 1872 г., все еще ждал.

А. С. Цуриков, родственник жены Шипова, урожденной графини Комаровской, уверял, что последний, проезжая через Москву, после исправлении министерской должности в царстве Польском, в Казань, по случаю назначения его казанским военным губернатором, говорил, что он назначен губернатором «pour achever son éducation administrative», а ему было тогда 50 лет от роду.[1]

[1] С. П. Шипов был членом тайных обществ, из которых возник заговор декабристов, но отстал от этих обществ после 1820 года. 14 декабря 1825 года участвовал в усмирении восставших войск, за что назначен был генерал-адъютантом; однако, в виду обнаружения прежних снешений Шипова с заговорщиками,

Клейнмихель на обратном проезде в Москву осматривал работы по оконченному почти мною участку шоссе, которое представлялось особенно хорошо, благодаря отличному качеству леса на надолбах и перилах на мостах.

В декабре я ездил с Глинским на выксунские заводы Шепелевых для предварительных переговоров о поставке для нижегородского водопровода паровых машин, чугунных труб, плит и других металлических вещей.

Заводы эти были основаны купцом Баташовым, дочь которого принесла их в приданое Шепелеву. Заводы действовали водою. Они были устроены и прочно и разумно, но впоследствии весьма запущены. Я их осматривал с главным механиком завода, знакомым мне по работам московского водопровода, Копьевым, бывшим крепостным заводским рабочим, который с молодых лет показывал большие способности в механике.

Дмитрий Дмитриевич Шепелев, владелец этих заводов, отправил его для усовершенствования в механике за границу. В Англии оценили его способности и давали в честь его обеды, чем Копьев гордился и в старости.

Он был вообще человек добрый, разумный и весьма полезный для владельцев завода и для мастеровых и рабочих. Руда в окрестностях завода отличного качества. Отливавшиеся из нее чугунные вещи были превосходны. Чугунные трубы этого завода выдерживали при оди-

карьера его была испорчена. Перевод французской фразы: «для завершения своего административного воспитания». *С. Ш.*

наковой толщине стенок гораздо большее давление, чем трубы не только иностранных, но и других русских заводов, имеющих также хорошую руду.

Бывший владелец завода Д. Д. Шепелев сделал большие долги, вследствие роскошной жизни, а впоследствии, по жалобе своих дочерей, был устранен от управления; дочери же его вскоре вышли замуж, одна за князя Голицына, а другая за графа Кутайсова.

Управление имением было вверено старшему из сыновей Д. Д. Шепелева, слабоумному Ивану, который вел заводские дела очень дурно, а между тем, издерживая большие деньги на свою жизнь, наделал несметные долги и разорил заводы.

Его младший брат Николай, совершенный идиот, по наущению бедных родственников, желавших поживиться в мутной воде, сумел достигнуть устранения старшего брата от управления, который после этого жил в Москве, едва получая достаточно для своего прокормления.

Мы приехали с Глинским на заводы во время управления ими Н. Д. Шепелева. Мы нашли в его доме его дальнего родственника, главноуправляющего всеми имениями, Брюхова с женою, тещею и другими его родственниками. Он был молодой человек красивой наружности, а жена его была истинная красавица. Неприятно было смотреть на ее любезничание с тщедушным, болезненным и тупоумным заводовладельцем. В короткое время, которое я провел на Выксе, давались в большом хорошо устроенном театре оперы, в которых пели крепостные певцы

и певицы, балы и маскарады, не говоря уже о ежедневных больших обедах.

Через несколько месяцов Н. Д. Шепелев был удален от управления заводами, которые сданы в опекунское управление, и опекунами были назначены Василий Александрович Сухово-Кобылин, [1] женатый на родственнице Шепелевых, и граф Кутайсов, которого покойная жена была дочь Д. Д. Шепелева.

В продолжение последних 25 лет эти несчастные заводы, переходя в разные управления, были более или менее всеми расхищаемы. История этих любопытных переходов, вероятно, будет написана таким лицом, которому подробности о них известны более, чем мне. [2]

Во время ярмарки (1846 г.) Урусов имел столкновения с бывшим губернским предводителем дворянства С. В. Шереметевым. В Кунавине запрещено было курить на дворах. Между тем казаки, ехавшие мимо дома Шереметева, заметили, что во дворе курят. Ворота во двор были заперты, но казаки вломились в него и хотели взять курящих в полицию.

Шереметев, раздраженный этим поступком казаков, проходя мимо казацкой гауптвахты, находившейся посредине моста через р. Оку, остановился в то время, когда караульный казачий офицер рассылал казаков на разные

[1] Отец знаменитого драматурга. *С. Ш.*

[2] Яркие, очень интересные характеристики всех Баташевых и Шепелевых и красочный рассказ о разорении выксунских заводовъ оставил Е. М. Феоктистов («Воспоминания», под ред. Б. Л. Модзалевского, «Атеней, кн. III, Лен. 1926). *С. Ш.*

ярмарочные посты по их собственному желанию. Каждый казак назначал тот пост, на котором он стаивал прежде и надеялся поболее собрать незаконными путями денег.

Шереметев сказал громко: «Вот как у вас делается развод часовых?» На это казачий офицер отвечал ему: «Проваливай, не мешайся не в свое дело», и был прав. Но Шереметев начал объяснять, что он сам долго служил в военной службе и подобного безобразия не видывал. Тогда казачий офицер повторил ему, чтобы он убирался, а то он посадит его под арест, к чему прибавил: «Ишь какой, надел на шею станиславский крест, да и умничает».

Шереметев часто носил польский крест за военную доблесть, который в последнюю польскую войну роздали всем и затем более не давали. 2-я степень, которая носилась на шее, была дана участвовавшим в этой войне в чине генерал-лейтенанта или генерал-майора. Казачий офицер принял этот крест за станиславский.

Описанная сцена была немедленно доведена до сведении Урусова, который, позвав к себе казачьего офицера, заставил его подписать рапорт о происшедшем с ним накануне и нарядил по этому делу следствие. Казачий офицер, узнав, что делавший ему накануне замечание знатный и богатый барин, очень испугался и униженно просил прощения у Шереметева и защиты у бывшего старшего полицеймейстера полковника Махотина, умоляя последнего, чтобы он упросил Урусова прекратить дело, но просьбы его были безуспешны.

Шереметев на другой день уехал в свое именее, куда к нему приезжал чиновник, назначенный производить следствие. Я не знаю, отвечал ли Шереметев на его вопросы, или уклонился от ответов; знаю только, что он говорил упомянутому чиновнику, что * хотя у него и нет сестры, которая была любовницею государя, но * он еще померяется с Урусовым.

Все в Нижнем и в том числе вице-губернатор Панов, человек весьма умный, были уверены, что Шереметев будет предан уголовному суду. Однакоже это дело не имело никаких последствий.

Не только сам Урусов был глуп, но и окружал себя большей частью такими же глупцами. При нем состоял по особым поручениям капитан Казаков, жена которого была очень хорошенькая и умная женщина. Об уме же Казакова можно судить по следующему рассказу. Когда Урусов сказал Казакову, что он ежедневно обходит водопроводные работы для моциона после питья каких-то трав, которые сделали ему много пользы, Казаков отвечал: «Это известно, что всякая скотина отхаживается от болезней, когда ее пустят на траву». Говоря это, Казакову и в голову не приходило, что его слова обидны для Урусова.

При разъездах Клейнмихеля местные начальники обыкновенно встречали его на границе своих управлений. 1 ноября он должен был приехать на заведываемый мной участок шоссе. Я с дистанционным инженером ожидал его у пограничного столба Нижегородской и Вла-

димирской губерний. На этом месте не было никакого пристанища. Клейнмихель опоздал своим приездом, и мы, в ожидании его на морозе и снегу в продолжение нескольких часов, сильно померзли. Не на что было ни лечь, ни сесть, кроме замерзлой земли, покрытой снегом.

Проскакав в темную холодную ноябрьскую ночь по заведываемому мной участку шоссе, Клейнмихель был встречен на границе городской земли нижегородским полицеймейстером Зенгбушем, недавно назначенным в эту должность.

Клейнмихель спросил у Зенгбуша:

— Который час?

Когда последний ответил ему, то он, посмотрев на свои часы и увидав, что на них 20 минутами менее, закричал, что даже часы у полицеймейстера неверны, и выгнал его из комнаты, сказав:

— Все у вас дурацкое в городе, и часы дурацкие, и полицеймейстер дурацкий.

Между тем подали самовар. Клейнмихель за чаем удивлялся, откуда берут таких дураков в полицеймейстеры. Я заметил, что он напрасно разбранил Зенгбуша за неверность его часов. Клейнмихель ответил, что он свои часы переставил в Москве на полчаса вперед. Я возразил, что в Нижнем часы идут вперед 20 минутами против московских, а он на это сказал:

— Опять будут уверять, что этому причиною какой-то меридиан.

Инженеры, члены строительной комиссии и служащие в ней, в равно Зенгбуш и все полицейские, поместились на ночь в грязной нетопленой кухне, лежа на полу, подостлав под

себя свои шинели. Я понял, что причиною раздражения Клейнмихеля было то, что губернатор не выехал к нему на встречу. Когда я вошел в кухню, Зенгбуш обиженным тоном сказал мне, что ни для кого не делали подобной встречи, а еще этот инженерный генерал-лейтенантишка (так выразился Зенгбуш) позволяет себе кричать и ругаться. Удивительно, что Зенгбуш не имел понятия о значении Клейнмихеля.

Я объяснил Зенгбушу, что Клейнмихель давно полный генерал и генерал-адъютант, что он министр и, главное, любимец государя, и что напрасно Урусов не приехал вместе с Зенгбушем в Кунавино для встречи Клейнмихеля.

Тогда Зенгбуш послал просить Урусова немедля приехать. Посланный квартальный надзиратель сел в лодку на Оке, но не мог пристать к противоположному берегу, а был занесен льдинами в Волгу и пристал к берегу ниже города у Печерскаго монастыря. Урусов приехал в 7 часу утра в полной парадной форме: в белых панталонах и ботфортах. Он принужден был ожидать приема Клейнмихеля в той же кухне, где некоторые из чиновников валялись еще на полу, а другие вставали полуодетые и умывались. Это положение сильно оскорбляло чрезвычайно гордого Урусова.

Почтовые лошади, привезшие Клейнмихеля и меня с последней почтовой станции Орловки, вернулись на эту станцию, а так как он объявил, что рано утром, не заезжая в город, поедет обратно, и в Кунавине нельзя было достать лошадей, то я послал за свежими почтовыми ло-

шадьми в Орловку. Серебряков ему доложил о приезде Урусова, но не получил никакого ответа. Когда я пил чай с Клейнмихелем, то по просьбе Урусова напомнил ему о том, что последний ждет его приема. Клейнмихель отвечал шутя, что я, как нижегородский помещик, вздумал покровительствовать Урусову, и прибавил: «Пусть подождет». Я передал это Урусову, который горячась уверял, что немедля уедет, но не трогался с места. Клейнмихель, выдержав Урусова часа четыре в кухне, велел его позвать и обошелся с ним весьма любезно.

Клейнмихель приказал мне ехать с ним в Москву. Для того, чтобы я мог надеть на дорогу сюртук, вместо мундира, в котором я его встретил, он остановился у ворот занимаемаго мною дома. Мой свояк Толстой был в это время у моей жены. Увидев из окна, что Клейнмихель подъезжает к нашему дому, и полагая, что последний зайдет ко мне, он поспешил уйти. На Толстом были надеты три пальто, из коих верхнеее было короче нижних и самое верхнее было из летней материи. На голове была кучерская шапка, а черная его борода была покрыта хлопьями снега. В таком виде Толстой прошел мимо коляски, в которой сидели Клейнмихель и Урусов. Последний, конечно, воспользовался этим случаем, чтобы представить Толстого не признающим властей революционером.

По должности начальника работ я заведывал нижегородскою арестантскою ротою гражданского ведомства, на правах отдельного баталионного

командира. Составленный проект на устройство для нее новаго здания был уже представлен. Содержание арестантских рот стоило дорого, но они приносили мало пользы.

В 1845 г., при осмотре Клейнмихелем нижегородской роты, один из арестантов, стоя во фронте, заговорил с ним. Клейнмихель обругал арестанта, который был немедля выведен из фронта. В 1846 г., при осмотре Клейнмихелем роты, ничего подобного не случилось. Я хотя и требовал, чтобы арестанты работали более прежнего в пользу города, но наблюдал за тем, чтобы их пища и вообще их положение были по возможности улучшены, что они очень ценили, хотя не обходилось без беспорядков. Жизнь в роте до того надоела арестантам, что они, желая подвергнуться более строгому по законам наказанию, беспрерывно ложно показывали участие свое в тяжких преступлениях и готовы были на совершение новых преступлений, чтобы только выйти из настоящего положения.

Однажды командир роты капитан Брезгун прибежал ко мне без кивера и шапки и доложил, что арестанты бунтуют и он не может с ними справиться. Я немедля поехал в роту, приказал караульному унтер-офицеру взять зачинщиков и наказать их розгами. Это было единственное средство для укрощения начинавшегося между арестантами возмущения, и, действительно, вслед за этим все в роте пришло в порядок.

Клейнмихель, проезжая в 1845 г. по моему участку, когда он еще устраивался, нашел, что

толщина одежды недостаточна и что она должна быть доведена до 12 дюймов. Несмотря на уверение мое, что это утолщение было бы бесполезно, Клейнмихель предписал мне немедля заготовить булыжный щебень на слой толщиною в 3 дюйма.

Я должен был повиноваться, но, чтобы уменьшить по возможности бесполезный расход денег, я рассрочил поставку означеннаго щебня на 3 года, чем мог достигнуть уменьшения цены щебня с 49 руб. за куб. саж. до 37 р. 50 к.

Клейнмихель, проезжая в 1846 г. по перестроенному мною участку шоссе, был вообще им очень доволен и нашел его прекрасно укатанным. Я воспользовался этим случаем, чтобы убедить его в бесполезности утолщать щебеночную одежду на столь прочном и хорошо укатанном шоссе, и получил дозволение не рассыпать заготовленнаго щебня, для доведения толщины одежды до 12 дюймов, пока шоссе будет в хорошем положении, а из щебня, выставленнаго в это число в 1846 г., и заподряженного к поставке в 1847 г. и 1848 г. употреблять незначительное количество, по мере действительной надобности, на обыкновенный ремонт.

Это распоряжение было впоследствии пагубно для одного из дистанционных инженеров участка, М. В. Авдеева. Все лето 1847 г. я был за границею; часть лета 1848 г. я провел в Симбирске и Петербурге. Временно заведывавший участком шоссе В. П. Стремоухов не довольно строго следил за приемом щебня, через что Авдеев сделался еще менее усердным к делу.

Подрядчик Д. В. Климов или его приказчики воспользовались этой небрежностью инженеров. После моего отъезда из Нижнего, Авдеев получил другое назначение по службе. При приеме от него дистанции шоссе оказалось, что многие кучи выставленного на ней щебня состояли из земли и песку, обложенных только щебнем; находили даже остовы лошадей, обложенных щебнем.

Бедный Авдеев, для пополнения недостающего щебня, должен был поплатиться всем состоянием, которое он получил от своего отца. Впоследствии Авдеев говорил мне, что причиною его разорения — моя постоянная забота о сбережении казенных денег, потому что если бы я не испросил разрешения не рассыпать щебень, то он был бы рассыпан до сдачи Авдеевым дистанции и, конечно, никто не заметил бы, при отличном состоянии существующей щебеночной одежды шоссе, что на некоторых верстах им насыпан на эту одежду слой нового щебня менее чем в 3 дюйма.

После смерти матери моей остались ее крепостные дворовые люди: бывший мой дядька Дорофей Сергеев, жена его — моя нянька с детьми и служивший у меня кучером Дмитрий Иванов, подаренный мне дядею моим князем Волконским; по закону они должны быть или отпущены на волю или приписаны к населенному имению.

Мой прежний дядька и нянька не хотели слышать о том, чтобы их отпустили на волю, а кучера Дмитрия я хотел удержать. Их можно

было бы приписать к имению сестры моей, но дело по наследству ее от мужа еще не было окончено, и она так же, как я и брат мой Николай, не имела недвижимого имения.

Это побудило меня, при всем моем безденежье, купить небольшое населенное имение, к которому я мог бы приписать означенных людей.

* Надо упомянуть о сосланном в Нижний под надзор полиции князе Гагарине. Скажу теперь о нем несколько слов, как о человеке замечательном во многих отношениях и сверх того имевшем в следующем 1848 году влияние на мою дальнейшею судьбу *. Он был очень хорош собою, довольно образован, остроумен и приятен в обществе, особливо в дамском, имел хорошее состояние и родственные связи с высокопоставленными лицами; между прочим, он был родной племянник генерал-адъютанта князя Александра Сергеевича Меньшикова и князя Павла Павловича Гагарина.

Можно было, конечно, полагать, что он сделает блестящую карьеру по службе, но вышло иначе. Многие шалости во время службы его в Петербурге не нравились императору Николаю, который, как рассказывали, спрашивал у Меньшикова, зачем его племянник ничего не делает, так что государь его беспрерывно везде встречает.

Когда Меньшиков передал это замечание государя Гагарину, последний отвечал, что в его лета (ему было тогда около 20 лет) и в его маленьком чине ему подобает везде шляться, но что гораздо удивительнее то, что он так часто встречает государя, * так что непонятно, как

последний находит столько времени, чтобы постоянно шляться по улицам *.

Гагарин, подсмеиваясь и подтрунивая над всеми, был труслив, так что, когда шутка его обращались к лицам, не хотевшим допускать их, и когда эти лица требовали удовлетворения, то он пасовал, просил прощения и выслушивал обращенные к нему дерзости, Одним словом, в нем не было развито чувство чести и этот недостаток уничтожал все его достоинства.

Это не помешало ему жениться на очень приличной особе, которая однакоже, несмотря на то, что они имели детей, нашлась вынужденною его оставить. Он между тем наделал много долгов; имение его, во избежание продажи для их уплаты, было отдано, по просьбе его родных, в опеку, а он сам за разные шалости был послан под надзор полиции в какой-то отдаленный город, а впоследствии переведен в Нижний.

В Нижнем Гагарин продолжал свои шалости, отпускал остроты про всех, и если кто за эти остроты обращался к нему в резких выражениях, он трусил и прижимал, как говорится, хвост.

В Нижнем в семьях, сколько-нибудь себя ценящих, его не принимали; так, он никогда не бывал в домах Б. Е. Прутченко и моем. Он очень нравился большей части мужской молодежи и хорошеньким дамам, с которыми весьма ловко любезничал. Он имел большое влияние его на хорошенькую Е. Н. Родионову; такое же влияние он имел на жену губернатора Урусова, а через нее и на ее мужа.

Эти отношения к губернатору дали возможность Гагарину не только безнаказанно про-

должать шалости, тревожившие городских обывателей, как-то: скакание на тройках во всю прыть по городским улицам с громким криком, созыв к губернатору на танцовальный вечер всего нижегородского общества в то время, когда последний и не думал приглашать, так что все приехавшие должны были воротиться, и т. п. *но иметь влияние на должностных лиц в губернии, о чем будет передано ниже*.

Спустя несколько времени после переезда из Нижнего в Петербург, Урусову не понравились отношения Гагарина к его жене.

Он просил об удалении Гагарина, который и был сослан в Вологду также под надзор полиции. Я с ним более не встречался.

Верхний этаж дома, в котором мы жили (в Гомбурге, в 1847 году), был нанят князем А. М. Горчаковым. Я с ним часто сходился в нашем общем садике и, судя по его тогдашним разговорам, я не ожидал, чтобы он когда-либо мог получить европейскую известность. Он мне неоднократно говорил, что выходя из лицея, он никак не мог полагать, что его выпуск будет прославлен Пушкиным, плохо учившимся в лицее. Он и в 1847 г. не понимал всей прелести Пушкинской поэзии, что надо приписать его 30-летнему отсутствию из России. Он в этот долгий период успел отвыкнуть от всего русского, а для полного понимания Пушкина, конечно, необходимо быть русским до мозга костей.

Доктор Трап требовал, чтобы жена моя оставалась в Гомбурге семь недель. Прожив четыре

недели в доме, в котором нам надоела хозяйка постоянными криками на свою прислугу, мы, в ожидании приезда сестры с ее дочерьми из Киссингена, переехали в один из домов Киселевой.

Эта госпожа, бывшая некогда красавицею, что еще было заметно и в 1847 г., жена генерал-адъютанта графа Киселева, бывшего в то время министром государственных имуществ, а впоследствии послом при Наполеоне III, давно с ним разъехавшаяся, проводила целое лето в Гомбурге и каждый день с 11 час. утра до 11 час. вечера играла в рулетку.

Неприятно было видеть ее беспрерывно за игрою, но постоянное участие, которое прининимали в игре ее двое малолетних незаконных детей (такими их считали в Гомбурге), было отвратительно. [1]

В бытность мою в Лондоне пела в опере знаменитая певица Женни Линд. Я видел в опере королеву Викторию и се мужа принца Альберта. Кресло стоило два фунта стерлингов (около 13 р.). Когда я об этом сказал бывшему со мною в одно время в Лондоне князю Орлову (впоследствии наш посол в Париже), то он, по своей

[1] Софья Станиславовна Потоцкая, жена (с 1821 года) друга и покровителя (до 1825 года) декабристов, Павла Дмитриевича Киселева, дочь знаменитой красавицы Софии Конст. Глявоне. Про них П. А. Вяземский написал «Мадригал (к двум красавицам — матери и дочери)»: «О вы, которые гордитесь красотою, При них, от зависти краснея, скройтесь прочь! Мать несравненная! А дочь сравнялась с матерью одною». *С. Ш.*

бережливости, несмотря на громадность его состояния, заметил, что вольно мне брать кресло, когда так же хорошо можно слышать с мест, находящихся за партером, где, по его предположению, не нужно быть в белом галстухе, как в других местах театра. Мы взяли два билета в эти места, помнится, по 12 шиллингов (около 4 р.) за каждый. Но Орлова не пустили в театральную залу, находя, что он одет неприлично, а я должен был за уплаченные мною деньги стоять в большой тесноте. Во время второго акта одного из стоящих подле меня стошнило; после этого я не в состоянии был оставаться и немедля ушел.

В некоторых лондонских ресторанах меня удивляло отсутствие скатертей и салфеток. Конечно, столовые доски из мрамора, но все же неудобно обходиться без столового белья. Провизия везде хорошая, но кушанья очень однообразны, а супов вовсе нет, за исключением черепашного и до того наперцованного, что его есть непривычному невозможно.

Много говорят о ловкости лондонских воров, об огромном числе распутных женщин в Лондоне. В этом городе никто не держит денег дома, все деньги лежат в банке, из которого владельцы берут по чекам столько, сколько им нужно на расход нескольких дней, а иные и одного дня. Через это, а равно и через внимание и расторопность полисменов, которые каждый вечер осматривают, хорошо ли заперты двери и ставни магазинов, уменьшены размеры воровства.

Распутных женщин, действительно, бездна; в некоторых кварталах они безотвязчиво

пристают к мужчинам, пока не покажется полисмен, при виде которого отходят в сторону. Но это распутство женщин по профессии, а не распутство в семьях.

Между обывателями Лондона много рослых и здоровых людей, в особенности женщин и между ними много очень красивых. Это какая-то особая от других европейских народов раса, полная и нравственных и физических сил.

Каждый англичанин носит на себе отпечаток полного убеждения в том, что он человек свободный. Меня особенно занимали взаимные отношения при встречах англичан с немцами; последние, привыкшие ко всякого рода унижениям то пред феодалами, то пред высшими начальниками и хозяевами, как-то робко смотрят на англичан, которые их трактуют с какою-то особою важностью.

Вообще люди в Лондоне со всем их окружающим показались мне настолько грандиозными, насколько мизерными в Германии. Вот почему я не могу допустить великой будущности немцам, и дай бог, чтобы я не ошибался, а то они везде распространят свою грубость нравов, бессердечие, милитаризм и невыносимые отношения между людьми разных сословий и состояний.

Бывали целые недели, в которых каждый день ознаменовывался какою-нибудь историею в высшем кругу нижегородского общества, почему я и называл этот город «историческим». В них постоянно участвовал Урусов. Рассказ многих этих историй был бы слишком утомителен, а потому я ограничусь одной из них,

В Нижнем издавались губернские ведомости, редактором которых был Павел Иванович Мельников, известный впоследствии в литературе под псевдонимом Андрея Печерского. Приехав в Нижний в 1843 г., я застал Мельникова учителем в нижегородской гимназии. Вскоре по приезде в Нижний Урусова Мельников читал публичные лекции о смутном времени в России. Урусов назначил Мельникова чиновником особых поручений при губернаторе и употреблял его преимущественно по следствиям о раскольниках. Вскоре Мельников перешел в министерство внутренних дел и от этого министерства был также назначаем на следствия по раскольничьим делам. Впоследствии он участвовал в «Московских ведомостях», издаваемых Катковым и Леонтьевым.

В одном из последних номеров «Нижегородских губернских ведомостей» 1847 г. была помещена статья, в которой общественная жизнь в Нижнем была описана не с выгодной стороны. В день рождества христова, после обедни, нижегородское общество собралось у княгини Урусовой для поздравления с праздником. Несколько лиц из этого общества жаловались Урусову на помещение означенной статьи в губернских ведомостях. Они находили в ней особенно обидным то, что ее автор, перечисляя разные городские учреждения, поместил клуб между арестанскою ротою и острогом, как будто, говорили они, члены клуба — то же, что арестанты и острожники.

Урусов возражал, что в Нижнем общество так разъединено, что действительно жизнь в нем очень скучна, что он в продолжение $3^1/_2$ лет

употреблял все способы, чтобы соединить общество и придать ему более живости, но что не мог в этом успеть.

Когда Урусову на его замечание о скучной жизни в Нижнем, возразили, что в нем довольно часто бывают званые вечера и обеды, он сказал, что жизнь скучна в особенности для дам, что круг приглашаемых в частные дома очень ограничен, что многие из приглашаемых не ездят по неимению свежих бальных туалетов и что только мужчины имеют возможность собираться каждый день в клубе, а следовало бы предоставить дамам хотя один раз в неделю бывать в клубе в их ежедневных платьях, где они могли бы танцовать, играть в карты и заниматься рукоделием, одним словом, назначить один день в неделю для так называемых ситцевых вечеров в клубе.

В день, назначенный для первого ситцевого вечера в клубе, князь Лев Гагарин посылал во многие дома приглашать к себе женскую прислугу на афинский вечер, который должен был начаться у него на квартире после полуночи.

Большая часть военных приехала в клуб на ситцевый вечер в сюртуках, а тех, которые приезжали в мундирах, не зная о распоряжении Урусова, отсылали с тем, чтобы они надели сюртуки.

В этом день к Урусову на несколько часов заехал проезжавший через Нижний брат его, флигель-адъютант князь Павел Александрович (впоследствии генерал-адъютант и генерал-от-инфантерии), а потому он не мог быть в клубе.

Жена его была торжественно встречена обоими бывшими на вечере старшинами клуба Погуляевым и Григорьевым. В одно время с нею приехал князь Лев Гагарин. Урусова, наученная последним, сказала старшинам, что неприлично быть на танцовальном вечере в сюртуках, и потому просит, чтобы мужчины, одетые в сюртуки, удалились из танцовальной залы, в которую она до их удаления не войдет.

Музыка, игравшая на танцовальном вечере, должна была с полуночи играть у Гагарина на его афинском вечере, а потому мазурку, которою обыкновенно заканчивались балы, заиграли довольно рано. Многие в публике были этим недовольны; знавшие же о том, что музыка должна уйти к Гагарину на афинский вечер, объяснили этим раннее начинание мазурки.

Нижегородский старший полицийместер, полковник Зенгбуш, услышав эти объяснения, заявил, что нельзя из-за Гагарина лишить удовольствия всю публику и в особенности княгиню Урусову. Тогда какой-то шутник сказал ему, что и княгиня едет на афинский вечер Гагарина. Зенгбуш, не поняв шутки, почел своим долгом сообщить Урусову о том, что его жена из клуба поедет к Гагарину, и получил приказание Урусова сказать его жене, чтобы она немедля воротилась домой, но она объявила Зенгбушу, что желает остаться на вечере до полуночи.

Зенгбуш вернулся с этим к Урусову, который послал жандармского унтер-офицера с приказанием немедля привезти его жену.

Жандарм, приехав в клуб, вызвал Урусову, которая немедля уехала домой. Злые языки

выдумали впоследствии, что жандарм насильно ее увез с бала на своем седле. *Я слышал от бывших на гагаринском афинском вечере, что он представлял страшную картину разврата и безобразия*. На другой день в 10 ч. утра я был приглашен к Урусову, где нашел старшин клуба. Он требовал от них протокола о безобразных поступках Д. Б. Прутченко и других лиц во вчерашнем собрании клуба; он говорил, что и с своей стороны, как военный губернатор, не оставит виновных без взыскания.

Я отвечал, что не был на вечере, ничего не знаю о том, что там происходило. Это была совершенная правда, так как я никого еще не видал из участвовавших на бале. Через несколько часов прислали мне протокол, составления которого требовал Урусов, но я его не подписал. Этот скандал не имел последствий, кроме постоянных придирок Урусова к молодому Прутченко и разных колкостей, которые на счет последнего распускал Гагарин, за что Прутченко платил ему тою же монетою.

Гагарин в эту зиму все более и более получал значения в доме губернатора и через это позволял себе всякие гадости и шалости, из которых одну, а именно скакание в темные вечера на тройке во всю прыть по главной городской улице «Большой Покровке», я видел каждый день из моих окон. *Повторяю, что почти ежедневно происходила какая-нибудь история в высшем кругу нижегородского общества, в котором играл роль Урусов, но, чтобы не утомить читателя, ограничусь рассказанным*.

Считая Урусова человеком бескорыстным, я за это качество извинял его глупость и вспыльчивость. Конечно, понятия наши о взяточничестве были неодинаковые, в доказательство чего расскажу следующее. На праздник рождества Христова еще в 1845 г. явился ко мне купец Бугров, подрядчик по работам строительной комиссии. Найдя в моем кабинете брата моего Николая, Бугров объявил, что имеет до меня просьбу, которую желает передать мне наедине. Я ему отвечал, что он может все говорить при моем брате, но он настоял, чтобы я его выслушал без свидетелей. Когда я с ним перешел в другую комнату, он мне поднес завязанный носовым платком узел, наполненный кредитными билетами, которого я не взял, заявив, что я никаких подарков не принимаю.

Об этой проделке Бугрова я тогда же рассказал Урусову, который очень сожалел, что я не взял предложенных мне Бугровым денег. Он полагал, что мне следовало их взять и представить в приказ общественного призрения. *Я же был того мнения, что ни в каком случае я не имел права располагать чужими деньгами; сердиться же на Бугрова или его наказывать за то, что он предлагает взятку в то время, когда в Нижнем не делалось никакого дела без взяток, было, по моему мнению, несправедливо*.

Впоследствии начали ходить слухи, что Урусов не брезгает взятками и даже не платит за забираемые для его дома припасы. Я этому не верил, *приписывая упомянутые слухи тому, что в Нижнем не могли понимать, чтобы власти не пользовались случаем нажиться на счет лиц,

которые от них зависят *, но в зиму 1847—1848 г. я случайно был свидетелем, как из губернаторского дома выгоняли поставщика, у которого забирали какие-то (кажется, съестные) припасы, и не хотели платить по представленному им счету.

Проездом из имения в Симбирск я заезжал в Лысково к его владельцу 90-летнему князю Егору Александровичу Грузинскому. Эта личность, известная своими жестокими, достойными азиатских ханов порывами и безграничным самоуправством, заслуживает подробного описания. Я провел целый день очень приятно с этим начитанным стариком, у которого была большая библиотека. Его очень занимала французская революция 1848 г. Часть проведенного мною у него дня он употребил на чтение нескольких номеров полученного при мне Journal de Francfort, отличавшегося мелкою печатью. Он при чтении не употреблял очков, я же, сидя против него, по слабости моих глаз, читал в очках.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1848 — 1852 гг.

Тесть мой и жена доверили С. В. Абазе первый 22900, а последняя 9500 десятин земли для представления залогом по винным откупам с 1843 по 1847 гг. По неисправности С. В. Абазы эти земли подверглись секвестру. С. В. Абаза большую часть земель моего тестя передал брату своему Михаилу Васильевичу. Н. В. Левашов надеялся, что М. В. Абаза или освободит весь означенный залог от наложенного на него секвестра, или уплатит Левашовым по обоюдному согласию деньги за ту часть земли, которая была секвестрована как по откупам, которые содержал М. В. Абаза, так и по откупам его брата Саввы Васильевича.

Некоторая часть земли Левашовых, бывшей в делах М. В. Абазы, была представлена им в залог по исправным откупам, а потому не подвергалась секвестру. С. В. Абаза предлагал мне поместить землю жены моей в залог по исправным откупам брата его Михаила Васильевича, заменив ее землею моих шурьев. Я, конечно, на это не согласился, и затем вся земля жены моей, отданная в залог С. В. Абазе, подверглась секвестру.

На другой день нашего приезда в Петербург я был очень удивлен полученною мною запиской

от министра внутренних дел графа Л. А. Перовского, которою он приглашал меня быть у него. Я не был знаком с графом, не имел никакого дела в его министерстве и не полагал, чтобы он мог так скоро узнать о моем приезде. Когда я прибыл согласно приглашению, то вместо графа меня принял Оржевский, директор департамента полиции исполнительной, которого я несколько раз видал при жизни еще двоюродного брата моего А. А. Дельвига. Он, по поручению Перовского, спросил меня конфиденциально об управлении Булдакова Симбирскою губерниею, об отношениях его к чиновникам министерства внутренних дел, командированным для какого-то исследования, и о дурных отзывах, которые Булдаков дозволял себе будто бы в обществе и при мне насчет центральных учреждений министерства внутренних дел и самого министра. Я отвечал, что Булдаков, как человек очень умный, не может, по моему мнению, дурно управлять губернией, что отношения его к находящимся в Симбирске чиновникам министерства внутренних дел приличны, и что его дурных отзывов о министерстве и центральных учреждениях министерства я не слыхал. Оржевский, видимо недовольный моими ответами, сказал, что он передаст их Перовскому, который не замедлит меня вызвать к себе, но этого вызова не последовало. Оржевский из моих ответов увидал, что я не буду ему полезен в его стремлении сменить Булдакова с губернаторского места.

По желанию главноуправляющего путями сообщения герцога Александра Виртембергского не

было дозволено носить усы инженерам путей сообщения в то время, когда приказано было их носить всей пехоте. Инженер генерал-лейтенант Дестрем, заявив в августе 1848 г., что он, по неимению зубов, не может брить усы, просил, в случае если его хотят удержать на службе, дать ему такой мундир, при котором он мог бы не брить усов. Вследствие этого приказано было всем инженерам путей сообщения носить усы.

На вечерах Клейнмихеля я часто встречал графа Д. Н. Блудова, Берга (впоследствии графа и фельдмаршала), И. Р. Анрепа и многих других, приезжавших поклоняться временщику. Я бывал на этих вечерах приблизительно один раз в неделю. Поведение Клейнмихеля со всеми гостями было прежнее.

Осенью 1848 г. приезжал в Петербург Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта.

Мы с ним часто видались и обедали в ресторанах, при чем он был очень воздержан и вообще экономен. Он в это время служил в одесской таможне. К жене своей, оставшейся в Одессе, он писал каждый день, несмотря на то, что почта ходила из Петербурга в Одессу только раза два или три в неделю.

В комнате, которую он нанимал, висел грудной портрет его жены. Он не находил слов для ее расхваливания во всех отношениях и добивался от меня, чтобы я сказал, что его жена красивее жены его покойного брата-поэта, бывшей в это время во втором браке за генералом Ланским, с чем я не мог согласиться. Как все это мало походило на прежнего Левушку Пушкина!

Он приехал в Петербург для раздела имения, оставшегося после его отца, незадолго перед этим умершего. Ничего не понимая в подобных делах, он назначил меня своим уполномоченным по разделу, для чего я несколько раз бывал у Ланских. По окончании этих переговоров, Лев Пушкин уехал в Одессу. Ланские же меня не приглашали продолжать с ними знакомство, я с тех пор у них более не бывал, а потому и незнаком с детьми поэта Пушкина.

Вскоре я узнал, что жена Льва Пушкина его оставила. Он умер в весьма горестном положении. [1]

В то время, как я жил у Демута, Василий Александрович Шереметев (впоследствии министр государственных имуществ) заезжал ко мне в один день два раза, но не застал. Такое посещение показалось мне странным и я поспешил на другой день поранее быть у него, но он уже уехал в опекунский совет, в котором состоял почетным опекуном.

Между тем его жена, Юлия Васильевна, сестра С. В. и Н. В. Шереметевых, приняла меня, несмотря на ранний час. Она сказала мне, что

[1] Жена Льва Пушкина (с 13/X 1843 г.), Елиз. Алекс., рожд. Загряжская, ум. 9/IV 1898 г. (род. около 1823 г.), Л. С. Пушкин умер 19/VII 1851 г. О какой размолвке Л. С. Пушкина с женой говорит Дельвиг, — неясно: в литературе об этом ничего не встретилось. Напротив, из статьи о Л. Пушкине в одесском сб. «Пушкин» (т. I, 1925) видно, что вдова его выехала из дома, где они жили в Одессе, после смерти Л. С. и еще имела неприятности от домовладельца, требовавшего от нее плату за год вперед, согласно контракту его с покойным ее мужем. *С. Ш.*

нижегородский военный губернатор князь Урусов, приехав в Петербург, жаловался государю на брата ее Сергея Васильевича, которому может предстоять высылка в сибирские губернии, и умоляла меня узнать, в чем состояла жалоба Урусова, и помочь ее брату всеми зависящими от меня средствами. Она надеялась, что М. Н. Муравьев знает более ее об этой жалобе, и просила меня немедля ехать к нему. Муравьев объяснил мне, что до него дошел слух о жалобе Урусова государю на побои, причиненные будто бы ему Шереметевым, и просил меня разузнать подробно от Урусова и от Клейнмихеля, которому, по его предположению, государь сообщил об этой жалобе. Я немедля представился Урусову, как моему начальнику, потому что все еще не был освобожден от должности начальника работ в Нижнем-Новгороде.

Урусов мне ничего не сказал о причине своего приезда в Петербург, и я ничего не мог узнать от него по делу его с Шереметевым. Клейнмихель же мне сказал, что Урусов жаловался государю на то, что Шереметев его побил, что ему житья нет в Нижнем от Шереметева до такой степени, что он должен носить оружие для самозащиты, и что он наточил свою саблю, при чем вынимая ее из ножен, приглашал Клейнмихеля удостовериться, что лезвие действительно наточено. Клейнмихель при этом, передразнивая, как Урусов, сидя против него, вынимал саблю из ножен, — сказал мне, что «мой дурак» в самом деле воображал, что Клейнмихель согласится обрезать свои пальцы об его саблю. С того времени Клейнмихель ему не давал в разговорах

со мною другого названия, хотя я никогда не мог понять, почему Урусов преимущественно «мой» дурак. Я же в разговорах с Клейнмихелем никогда его так не называл, хотя Клейнмихель утверждал противное, так что это дошло до Урусова, который многим неоднократно на это жаловался.

Клейнмихель поручил мне узнать через верного человека о происходившем между Урусовым и Шереметевым и сообщить ему. Я просил М. В. Авдеева (начальника шоссейной дистанции от Нижнего) описать мне столкновение между Урусовым и Шереметевым. Авдеев отвечал, что бывший в 1844 и 1845 г. подрядчик по устройству мостов и надолбов на перестроенном мною участке нижегородского шоссе, купец Мичурин, был свидетелем этого столкновения, которое происходило следующим образом:

Мичурин был в кабинете Урусова, когда в него вошел Шереметев и немедля спросил Урусова, зачем последний, из личной к нему вражды, разоряет крестьян Шереметева, лишая их, посредством неправильных распоряжений, слишком 20 лавок в нижегородском ярмарочном гостином дворе, в которых они торговали несколько десятков лет сряду. Урусов, возвыся голос, сказал, что Шереметев позабыл, с кем он говорит, что он не смеет делать начальнику губернии замечаний, и предложил ему выйти из кабинета. Они оба в это время стояли друг против друга у письменного стола. Шереметев отвечал Урусову, что он выйдет из кабинета не иначе, как вместе с Урусовым, при чем протянул через стол руку. Растерявшийся Урусов машинально про-

тянул и свою руку. Шереметев схватил ее, стараясь оттащить Урусова от стола, у которого они стояли, но последний, вырвав руку свою, убежал в другую комнату. Шереметев, последовав за ним до двери этой комнаты, которую Урусов запер ключом, ударил несколько раз палкою по двери, при чем сказал, что мальчишка испугался и бежал, и затем уехал из дома Урусова.

Я рассказал сообщенное мне Авдеевым Клейнмихелю, который потребовал у меня письмо Авдеева и мне его не возвращал. Не знаю, было ли оно доведено до сведения государя, но вскоре Урусову через министра внутренних дел приказано было воротиться в Нижний. Он не получил ответа на свою жалобу и вообще это дело не имело никаких последствий.

В Петербурге я в это время часто обедал и проводил вечера в семействе Клейнмихеля. Каждый четверг обедал у А. И. Рокасовского и бывал у М. Н. Муравьева, И. Р. Анрепа, П. А. Плетнева, А. И. Баландина и других знакомых, а также в маскарадах дворянского собрания, которые постоянно посещались императором Николаем.

В четырехмесячное мое прибывание в Екатеринославе (1849 г.) я познакомился почти со всем городским обществом. Губернатором был в то время тайный советник Андрей Яковлевич Фабр, странности и скупость которого превосходили всякую меру. Почти каждый день появлялись новые, весьма занимательные рассказы про него, и действительно из них можно было бы составить целый том анекдотов,

В бытность мою в Екатеринославе приехал в этот город барон Фиркс, товарищ мой по институту инженеров путей сообщения. Он остался таким же пустым болтуном и хвастуном, каким я его знал в Петербурге и Москве. В Москве он сватался за Екатерину Александровну Соймонову. Сватовство было неудачно, вследствие чего он перепросился на службу в IX (екатеринославский) округ путей сообщения с назначением в распоряжение новороссийского и бессарабского генерал-губернатора графа (впоследствии князя) Михаила Семеновича Воронцова, при котором состояло несколько инженеров путей сообщения. Как ловкий танцор, говорящий порядочно по-французски, он скоро познакомился с одесским обществом и был приглашаем на вечера к князю Воронцову. Я уже говорил о его беспримерном нахальстве и теперь приведу этому еще новый пример.

Однажды он пришел рано утром к князю Воронцову. По приходе назначенного в этот день на дежурство адъютанта Воронцова, этот адъютант опросил Фиркса, желает ли он, чтобы о нем было доложено Воронцову. Фиркс ответил, что он назначен состоять при Воронцове за адъютанта и получил извещение о том, что он должен дежурить именно в этот день. Адъютант выразил удивление, что и он получил такое же извещение, но, полагая, что оно было прислано ему по ошибке, удалился. Когда Воронцов позвал дежурного адъютанта, к нему вошел Фиркс. Воронцов сказал, что ему нужно видеть дежурного адъютанта, и Фиркс объяснил, что он в этот день дежурит за адъютанта. Воронцов

изъявил удивление, но сказал Фирксу, что, конечно, и он может исполнить то, что Воронцов хотел поручить своему адъютанту, и передал ему свое приказание. Фиркс исполнил его и с этого времени чередовался в дежурстве с адъютантами Воронцова. Когда Фиркс в 1842 г. приезжал в Петербург, он останавливался в доме Воронцова на Малой Морской. Заехав ко мне и не застав меня, он оставил карточку, на которой было налитографировано по-французски: «Барон Фиркс, дворец Воронцова, Малая Морская». Этим он хотел показать близость своих отношений к Воронцову, который может быть и не знал о том, что Фиркс останавливается в его петербургском доме.

Впрочем, Фиркс вскоре надоел Воронцову, который, для удаления его от себя, поручил ему устройство набережной в Ростове на городские суммы.

Подле Ростова Фиркс завел, с помощью тамошних торговцев, стеклянный завод, из которого толку не вышло. Для воспоминания о нем осталось несколько бутылок с фамильным гербом Фиркса.

Отосланный Воронцовым и ничего не приобретя от своего завода, Фиркс явился в Екатеринослав, где не полюбился своим товарищам за то, что постоянно выказывал им превосходство и своего образования и своего рода. Несмотря на его недостатки, мне жаль было моего старого товарища, которому было более 35 лет и нечего было есть. Я ему советовал жениться, на что он мне отвечал, что в Екатеринославе нет ему невесты, что все девицы, которых мы

видели на балах, не более как прачки. Я обратил его внимание на двух молодых девиц недурных собою, всегда изящно одетых и о которых говорили, что у каждой из них до 12 тыс. рублей ежегодного дохода. Он мне возразил: «этой суммы не хватит баронессе Фиркс даже на обувь» и при этом напомнил о высоком значении своего имени, в доказательство которого прислал мне какую-то книгу о наших прибалтийских губерниях. Из нее я узнал, что Фирксы прибыли в этот край в первой половине XIII столетия. Я отвык от чтения книг немецкой печати, а потому возвратил Фирксу книгу недочитанною, сообщив ему, что я дочитал ее до того места, которое он хотел мне сделать известным.

Впоследствии Фиркс, видя, что служа в ведомстве путей сообщения карьеры не сделаешь и не только ничего не наживешь, но и умрешь с голоду, приехал в Петербург хлопотать о переходе в то ведомство, в котором чиновники получали тогда наибольшее содержание. Через свои прежние знакомства он успел упросить Пашкова, бывшего директора департамента внешней торговли (что ныне таможенных сборов), дать ему место члена рижской таможни.

Получив его согласие, он отправился к Клейнмихелю, который вообще не любил выпускать своих подчиненных из службы. На возражение Клейнмихеля, что он не выпустит Фиркса, последний уверял, что он никогда не вышел бы из-под столь высокоуважаемого начальства, но что этого требует для пользы имения 80-летний его отец, которого каждое слово он со дня

рождения считает законом. Все это Фиркс лгал, так как отец его давно умер.

Клейнмихель, довольный такою сыновнею покорностью, убежденный Фирксом, выпустил последнего в отставку, после чего Фиркс немедля был определен в члены рижской таможни.

В 1854 г. появился первый выпуск сочинения Шедо-Ферроти (псевдоним Фиркса), под названием «О будущем России». В эту эпоху общего гнета в России, которому, конечно, подвергалась и печать, подобная книга, в которой рассказывались разные факты из тогдашней жизни и излагались некоторые либеральные идеи, обратила на себя внимание. Конечно, она была напечатана не в России, а в Берлине. В ней излагались разные недостатки администрации и злоупотребления чиновников и именно только по ведомствам путей сообщения и таможенному, так как Фирксу были известны только эти два ведомства.

Книга была написана довольно хорошим французским языком, что было непонятно для всех, знавших недостаточные познания Фиркса в этом языке. Это объясняли тем, что в составлении книги участвовал Петр Александрович Валуев, служивший, в бытность Фиркса в Риге, при генерал-губернаторе прибалтийских губерний князе Суворове, а впоследствии курляндским гражданским губернатором, назначенный в 1861 г. министром внутренних дел, в 1872 г. министром государственных имуществ, а в 1880 г. председателем комитета министров. Он и Фиркс, оба порядочные пустозвоны, могли легко сойтись.

В первом выпуске своего сочинения Фиркс между прочим рассказывает, что когда потребовалось построить в Варшаве таможенные пакгаузы, то таможенное начальство назначило на эту постройку мало сведующего архитектора, который произвел ее очень дурно, и только тогда оно вспомнило, что в это время находился случайно в таможенном ведомстве знаменитый строитель, бывший прежде инженером путей сообщения, и командировало его для перестройки дурно построенного и приведения всего в порядок. Фиркс хотел этим доказать, до какой степени администрация в России мало заботится при выборе лиц, которым дает важные поручения. Но этот рассказ Фиркса вполне противоречил истине. Таможенное начальство, имея в виду его прежнюю службу, назначило его в самом начале для постройки пакгаузов. Он, по незнанию дела, выстроил их дурно и тогда вместо него назначили архитектора, который исправил все дурно построенное Фирксом. Это нахальство последнего до того взволновало бывшего директора департамента внешней торговли Пашкова, что он хотел уволить Фиркса от службы. Только настояния моего внучатного брата И. Н. Колесова, бывшего вице-директором этого департамента и в хороших отношениях с Пашковым, побудили последнего оставить это нахальство Фиркса без последствий.

Фиркс, продолжая служить в Риге, напечатал в Берлине несколько выпусков своего сочинения «Sur l'avenir de la Russie». Женившись в Риге на женщине без имени, которая, при встрече моей в Дрездене в 1860 г., показалась мне при-

надлежащею к так называемому полусвету, он не мог, по понятиям прибалтийских баронов, оставаться долее в Риге и перепросился в члены одесской таможни.

В это время открылась вакансия агента от русского правительства по промышленным делам в Бельгии, и Фиркс сумел получить это место с 12 тыс. франков годового содержания.

В Брюсселе ему не предстояло никакой служебной деятельности, тем более он увеличил свою деятельность как публицист. Издания его, состоявшие из компиляций, связанных между собою пустым фразерством, нравились однако же многим людям, отличавшимся замечательным умом и между прочим Александру Васильевичу Головнину. В бытность последнего министром народного просвещения, Фиркс, с согласия его, осматривал в 1864 г. по дороге от Одессы в Петербург гимназии и уездные училища, при чем держал себя очень высокомерно, как надлежит истому курляндскому барону. По приезде его в Петербург, говорили, что он будет назначен попечителем какого-то учебного округа, но это назначение не состоялось, а Головнин в 1866 г. должен был оставить министерское место. Разные выходки Фиркса против русской национальности, в угождение бывшей тогда в русском правительстве особой партии, так восстановили меня и старого моего друга А. С. Цурикова против Фиркса, что я приказал не принимать его.

Осенью 1864 г. вышла книга Шедо-Ферроти под заглавием: «Что делать с Польшей», в которой он унижал русскую национальность

в сравнении с польскою. Эта книга заставила меня еще более возненавидеть его. Составление ее приписывали в обществе (полагаю, неправильно) А. В. Головнину под патронажем великого князя Константина Николаевича, который, будто бы, снабдил Фиркса деньгами с тем, чтобы он напечатал ее под своим именем.

Каждый писака, унижающий русскую национальность, был бы мне не люб, а тем более русский чиновник, живущий русским жалованием и в то же время идущий на подкуп, чтобы дать свое имя сочинению, в котором унижается русский народ.

В конце 60-х годов место, которое Фиркс занимал в Брюсселе, было упразднено, и он, оставшись за штатом, получал в отставке полное содержание. Едва ли кому-нибудь из товарищей, бывших более полезными на службе, удавалось получить такую пенсию. Он переехал жить в Дрезден, где продолжал свою карьеру публициста и в последнее время, после долгого перерыва наших сношений, прислал мне брошюру об улучшении хозяйства в России. Несмотря на то, что я ему не отвечал, он мне прислал еще, кажется, два выпуска о том же предмете. В начале 1873 г. он умер в Дрездене. [1]

[1] Фед. Ив. Фиркс (1812 — 1872) печатал в Европе под псевдонимом Шедо-Ферроти (по-немецки и по-французски) брошюры об уничтожении крепостного права (выдержала в два года пять изданий), о польском вопросе, об административных непорядках в России и на другие общественные темы. В своих писаниях рекомендовал правительству проводить освобождение крестьян без упоминания слова свобода, исподволь,

* При передаче мною вышеизложенного о бароне Фирксе А. В. Головнину, он мне дал следующие пояснения. Нельзя сказать, чтобы издания Фиркса (Шедо-Ферроти) нравились Головнину, но он видел, что они читаются и в Петербурге, и за границей лицами, которые не читают русских книг. Поэтому он считал их полезным орудием для распространения разных мыслей и верных сведений. Узнав от Фиркса, что он пишет книгу о русских учебных заведениях, весьма мало Фирксу известных, Головнин предложил ему посетить некоторые из них и просил попечителей допустить его к осмотру оных, что впрочем часто делается для путешественников, родителей, ученых. О назначении Фиркса попечителем учебного округа Головнин никогда не думал.

Чувство справедливости требует сказать, что собственно великий князь Константин Николаевич был совершенно чужд публикации «Шедо-Ферроти» относительно Польши. Никакого патронажа оной его высочество не оказывал и денег не давал. Участие было со стороны Головнина и заключалось в следующем. События в Польше в 1862 и 1863 гг. имели

без земли. Ратовал за образование привилегированного землевладельческого дворянского сословия, как опоры монархического государства. Во французском письме к Герцену (допущено к обращению в России, выдержало 5 изданий) убеждал его действовать в согласии с правительством, чтобы поддерживать либеральное направление последнего. О распространении этого письма особенно заботился А. В. Головнин, что было разоблачено М. Н. Катковым, действовавшим, конечно, в своих целях. *С. Ш.*

следствием большое озлобление части общества в России против великого князя и обвинения его в покровительстве полякам во вред России. Его обвиняли в измене пользам и выгодам отечества, и «Московские ведомости» весьма ясно вторили этим обвинениям и возбуждали против великого князя общественное мнение. Головнин состоял перед тем 10 лет при особе великого князя, пользовался его полным доверием, знал близко историю его назначения наместником царства Польского, его образ действия, данные ему инструкции [1] действовать кротко, изумлялся его незлобию и благодушию, когда встреченный в день приезда в Варшаву выстрелом в упор, он не только не мстил, но продолжал изыскивать меры для умиротворения вековой вражды.

Головнина не могла не возмущать несправедливость общества в России в отношении к великому князю. Он близко видел, кто тайные деятели, [2] возбуждающие против него общество из мести за его влиятельнее участие в деле освобождения крестьян. Весьма натурально, что он желал, чтоб истина сделалась известною и

[1] Миссия великого князя в Польше была попыткой правительства примирить поляков с русскими посредством всевозможных льгот, милостей, мер кротости, забвения прошедшего. Система эта обсуждалась в совете министров, где было решено не давать конституции и отдельной армии, но предоставить широкое местное управление посредством поляков, не исключая русских. Велепольский тогда же опасался, что эти милости явятся слишком поздно и что революционные элементы уже слишком успели усилиться *. Авт.

[2] Подразумеваются крепостники — противники т. н. крестьянской реформы 1861 года. *С. Ш.*

чтоб вследствие того к великому князю отнеслись с беспристрастием и справедливостью. Фиркс в это самое время сообщил Головнину, что пишет брошюру об отношениях Польши к России и просил материалов. Головнин с радостью воспользовался этим обстоятельством и доставил Фирксу сведения собственно о деятельности великого князя Константина Николаевича в Польше. Других материалов он ему не доставлял.

Фиркс составил тогда о великом князе особую главу, просмотренную Головниным, и эта глава, если не считать прекрасного, правдивого рескрипта государя на имя его высочества из Ливадии, была единственною публикациею, единственным голосом, раздавшимся с того времени в печати до настоящего момента (1879 г.) в защиту великого князя. Головнин мог бы в то время указать Фирксу в других главах брошюры те места, которые были неприличны, несправедливы относительно русских вообще и должны были возбудить часть общества против Фиркса, и вероятно Фиркс изменил бы их. Головнин этого не сделал по следующим причинам.

Признавая необходимым защищать отдельные личности против несправедливых нападений прессы, он не думал, чтоб Россия, русский народ, русская национальность могли нуждаться в какой-либо защите и что порицания, брань, ненависть, клевета какого-либо писателя могла оскорбить Россию или повредить ей. Можно ли помрачить болтовней свет солнца? Что касается похвал полякам и остзейцам-немцам, Головнин никогда не понимал враждебного отношения

к малочисленным завоеванным со стороны могучих, многочисленных завоевателей, считал несоответствующим достоинству сих последних бранить первых и вполне сочувствовал коренному, простому православному русскому крестьянину, в котором помянутое враждебное отношение никогда не проявляется, а напротив всегда видно благожелательство ко всем инородцам, которым всем найдется место за трапезой гостеприимной, радушной матушки России.

Головнин не сочувствовал тому, что говорилось против особых исторических устройств, порядков и древних привилегий финляндцев, поляков и остзейцев. Ему казалось, что правительство русское должно бы устроить в коренных русских губерниях, составляющих сердце, силу, красу и гордость империи, такие образцовые порядки, о распространении которых на себя просили бы окраины оной. Ему хотелось бы, чтобы жителям окраин вследствие того было выгодно, почетно, лестно слиться с коренным населением, чтобы они желали называться русскими и гордились этим именем вследствие превосходства России, и потому ему всегда были неприятны и болезненно действовали на него завистливые выходки русских против порядков, издревле существующих в окраинах, и он всегда вспоминал русскую поговорку: «чужим здоровьем болен». Наконец, он думал, что русский царь, как олицетворение России, должен быть равно отцом всех своих многоязычных и разноплеменных и разноверных подданных, всем благотворить и всех считать между собою братьями*.

Перехожу к повествованию о себе в 1849 г. Окончив в половине мая поручение в Екатеринославе, я выехал в Петербург. Меня провожали за Днепр начальник округа генерал-майор Семичев, большая часть служащих в Екатеринославе инженеров путей сообщения и некоторые лица екатеринославского общества.

По дороге из Екатеринослава в Петербург я встретил какого-то полковника молдавской службы, который мне сообщил, что войска 5-го пехотного корпуса, в штабе которого служит мой брат Николай, были двинуты в Молдавию, за что выхвалял императора Николая, считая движение наших войск единственным спасением против революционных стремлений, выказавшихся в дунайских княжествах. Тот же полковник сообщил мне, что вероятно наши войска будут посланы в Венгрию для усмирения мятежа против австрийского правительства.

В Петербурге я нашел жену мою в постели, опасно больную после преждевременных родов. Когда я явился к Клейнмихелю, он, несмотря на то, что знал об ее болезни, объявил мне, что я должен немедля ехать в действующую против венгерцев армию, в которую я назначаюсь инспектором военных сообщений. Полагая, что, нося военный мундир, нельзя отказываться от подобного назначения, я нисколько этому не противился. Между тем, сам Клейнмихель выразил мне свое неудовольствие, что у него требуют на войну офицеров, приговаривая:

— Ведь не я воюю и знать ничего о войне не хочу; зачем же требуют туда моих подчиненных, которым довольно есть дела и без войны.

Тон, которым Клейнмихель говорил это, до того был резок, что можно было подумать, что действительно от него могло зависеть объявление войны. Тем не менее он должен был исполнить повеление государя.

Приказом от 30 мая были назначены: я инспектором военных сообщений действующей против венгров армии и ко мне два помощника, из которых один по моему выбору бывший мой подчиненный Авдеев, а другой по выбору Клейнмихеля, состоявший при нем инженер штабс-капитан Рейнгардт (Матвей Иванович, впоследствии тайный советник).

Я всегда дурно ездил верхом и по возвращении моем с Кавказа в продолжение 7 лет не садился на лошадь. В виду предстоящего похода по Венгрии, я воспользовался кратковременным моим пребыванием в Петербурге, чтобы поучиться в манеже верховой езде, где я ежедневно встречал князя Александра Сергеевича Меньшикова, бывшего тогда морском министром.

Меньшиков, во время моей езды, заметил, что следовало бы мне поранее хватиться за это ученье. Вместе со мною ездил еще хуже меня лейтенант флота, и я отвечал Меньшикову, что и его подчиненные также поздно принимаются за учение верховой езде. Меньшиков мне сказал, что этот лейтенант переходит в уланы, куда ему, по выражению Меньшикова, и дорога. Тогда я объяснил причину, по которой я принялся за верховую езду.

По приезде моем в Варшаву, я явился к дежурному генералу действующей армии, оста-

вленному в Варшаве для распоряжений в тылу армии.

В это время я виделся в главной квартире государя, между прочим, с генерал-адьютантом бароном Ливеном и свиты его величества генерал-майором фон-Брин. Первый, следивший за передвижениями войск в Венгрии, обрадовался тому, что видит инспектора военных сообщений действующей армии, от которого может получить разные сведения, относящиеся до географии Венгрии. Я ему объяснил, что в институте инженеров путей сообщения не преподают подробной географии соседних государств и что в настоящую мою должность я попал экспромтом, так что он во всяком случае, имея подробные карты Венгрии, знает ее географию лучше меня.

Фон-Брин повел меня с собою к так называемому кавалерскому столу, к которому ежедневно собиралась обедать многочисленная свита государя. Я в первый раз обедал за этим столом и видел, как велики должны быть издержки, на него употребляемые.

Из Варшавы до границы Галиции я проехал по железной дороге, а на этой границе пересел в перекладную почтовую телегу. Я остановился на один день в Кракове и там в кондитерских читал французские газеты, которые печатали, что русская армия, назначенная для вспомоществования Австрии против мятежных венгров, перешла границу, командуемая — под главным начальством фельдмаршала князя Паскевича и начальника его штаба князя Горчакова — немецкими генералами. Газеты называли так не

только генералов с немецкими фамилиями, как-то: Ридигера, Анрепа, Граббе и т. п., но и генералов с русскими фамилиями, коверкая их беспощадно, в том числе Купреянова, Чеодаева, Белогужева и др.

При переезде через Карпатские горы я был поражен сходством везших меня крестьян с крестьянами великорусского племени, их лошадей, упряжи и телег с русскими крестьянскими лошадьми, упряжью и телегами. Лошади были малы и тощи, упряжь веревочная, а телеги крайне беспокойны; не было скамейки для сидения кучера. Везшие меня крестьяне были русины, несколько сот лет не имевшие ничего общего с их единоплеменниками, обитающими в Российской империи, а между тем сохранившие так много с ними общего.

Строения в их селениях были также бедны, как большая часть русских строений в безлесных местах.

При переезде через границу я узнал, что главная квартира нашей армии в Мис်кольце, куда я доехал, промокнув до костей, вследствие двухдневного сильнейшего дождя, от которого и дорога сильно испортилась.

Я явился сначала к начальнику штаба армии князю Горчакову, который, сколько помнится, при моем представлении мне ничего не сказал, кроме того, чтобы я явился к фельдмаршалу князю Паскевичу. Когда я вошел в приемную залу последнего и обо мне доложил его адъютант, Паскевич в рубашке, подштанниках и туфлях, вытирая лицо длинным полотенцем, которое было перекинуто через его плечи, вбежал

в означенную комнату и с гневом спросил меня:

— Зачем вы приехали?

Я отвечал, что назначен инспектором военных сообщений действующей армии. Паскевич закричал:

— Я это прежде вас знаю, но зачем вы приехали?

Я отвечал то же. Паскевич продолжал мне делать те же вопросы, а мне запретил отвечать одно и то же. Тогда я перестал вовсе отвечать, и Паскевич сердился на мое молчание. Наконец, он меня отпустил. Что означал подобный прием? Я тогда объяснял его тем, что многие приезжали из Петербурга в действующую армию для получения знаков отличия, и Паскевич полагал, что я принадлежу к числу этих господ.

Впоследствии этот прием мог быть объяснен следующим обстоятельством. В мае 1849 г. Клейнмихель послал государю доклад, которым извещал, что во исполнение повеления его величества назначены в действующую армию инспектор военных сообщений и два помощника из инженеров путей сообщения, но что подобное их откомандирование затрудняет его за недостатком будто бы инженеров в ведомстве путей сообщения. Доклад Клейнмихеля был получен государем во время торжественного перехода наших войск из Галиции в Венгрию. Государь послал его на заключение Паскевича, который доложил, что ему инженеры путей сообщения совсем не нужны, о чем и было сообщено Клейнмихелю. Последний, получив это извещение,

по отъезде моем из Петербурга, удержал от поездки в Венгрию назначенных ко мне двух помощников, а за мною в погоню послал курьера с бумагою к графу В. Ф. Адлербергу, в которой просил возвратить меня в Петербург. Курьер Клейнмихеля приехал в Варшаву через несколько часов по отъезде моем из этого города. Адлерберг доложил государю бумагу Клейнмихеля, и его величество, в виду того, что я уже отправился в действующую армию, приказал меня оставить при ней. Вот по какой причине два назначенные ко мне помощника не прибыли в армию, но я об этой причине узнал только по приезде моем в Петербург.

В те дни, в которые нам не отпускалось из магазина главной квартиры ни съестных припасов для меня и слуги моего, ни фуража для лошадей, все это приобреталось по весьма высоким ценам на собственные средства и впоследствии эти деньги не возвращались на том основании, что ведь прожили и без отпуска положенных по закону припасов. Фураж отпускался не по положению, а по числу действительно имевшихся налицо лошадей, конечно, когда их было не более назначенных по положению.

Эти лишения, которые были еще большими у фронтовых офицеров, а также крайняя распущенность, были причиною того, что наши войска предавались непозволительному грабежу.

Нижние чины в этом поддерживались тем, что офицеры покупали у них ими награбленное. Главные грабители были чины конвоя

фельдмаршала с своим начальником, которого прозвали в армии Максимка-вор. Он из Вейцена повез на лошадях и на ослах целые фуры награбленного. Число ослов при армии ежедневно увеличивалось, а сильная холера выхватывала много людей, и мы в шутку говорили, что вся наша армия скоро преобразуется в ослов. Грабежи дошли до того, что в Вейцене нижние чины конвоя фельдмаршала ограбили погреба, находившиеся на дворе им самим занимаемого дома.

При проходе моем по улице Вейцена, я видел кондитерские лавки с разбитыми зеркалами и посудою. Услыхав в одном доме крики людей, просивших помощи, я вошел в этот дом, в котором нашел несколько нижних чинов из конвоя фельдмаршала с обнаженными кинжалами, которыми они угрожали хозяевам дома в то время, как другие вынимали разное добро из поломанных ими сундуков и ящиков. Я приказал нижним чинам сейчас выйти из дома, что они неохотно исполнили после моих угроз и когда я объявил им, что не выйду из дома прежде их.

Когда я об этом передал коменданту главной квартиры Беваду, он послал в означенный дом жандарма для его охранения. Во время нашего обратного движения из г. Вейцена, мы видели, что некоторые дома селений, казавшиеся довольно богатыми при первом нашем проходе, были совершенно разорены. Даже перины и подушки были распороты, так что местами улицы селений были покрыты пухом, точно снегом, и это буквально без всякого преувеличения.

Вступление наше в Дебречин, в который мы вошли после сражения, сопровождалось не только грабежом, но даже зверством, произведенным мусульманами, находившимися в конвое фельдмаршала. Жители Дебречина тем менее могли ожидать такого грабежа и зверства со стороны русского войска, что при первом занятии этого города 4-м пехотным корпусом в нем сохранен был совершенный порядок.

Комендант главной квартиры армии Бевад принимал зависевшие от него меры к прекращению грабежа, но что мог он сделать, когда сам фельдмаршал неоднократно запрещал ему и, между прочим, в Вейцене, по разграблении погребов на дворе занимаемого им дома, строго взыскивать с нижних чинов, пойманных на грабеже. Конечно, нет в мире солдат добродушнее русских, они же отличаются и беспрекословным послушанием. Но распущенность со стороны начальства довела и этих добродушных и послушных солдат до неслыханного грабежа, в котором ему служили примером мусульмане из конвоя фельдмаршала.

Между тем, в высшей сфере армии все роптали на допущение нижних чинов к грабежу, и между прочим, высказывал свое неудовольствие великий князь Константин Николаевич, делавший поход в Венгрию. Об его отзывах я знал через графа Н. А. Орлова (впоследствии князя и посла в Париже). Слухи об этом ропоте доходили до фельдмаршала и он, желая обвинить младших в допущении грабежа, нападал за это без толку на кого случится и между прочим очень бесцеремонно обошелся с Анре-

пом, который часто жаловался на грабежи, и его жалобы дошли до фельдмаршала. Наконец, вести о грабежах русской армии дошли до государя, и фельдмаршал получил повеление немедля их прекратить. Это повеление было передано всем отдельным начальникам с угрозою, что фельдмаршал взыщет с того из них, подчиненный которого попадется в грабеже. С этой минуты грабежи прекратились.

Я почти никогда не видал фельдмаршала, но и в те редкие случаи, когда встречал его на улицах, мог заметить его страх потерять репутацию при слухе о том, что где-то вблизи наших двух пехотных корпусов появилось несколько батальонов гонведов. Конечно, он был лично храбр, но трусость и нерешительность, выказывавшиеся размахиванием рук и отрывистым произношением нескольких слов по-французски, происходили от опасения потерять свою огромную репутацию.

1 июля во время молебна, при котором находились все высшие чины, по случаю дня рождения императрицы, приехал полковник граф Адлерберг 3 (Николай Владимирович, впоследствии финляндский генерал-губернатор и генерал-от-инфантерии) с известием о занятии им Песта с несколькими сотнями казаков без всякого сопротивления. Это, видимо, обрадовало фельдмаршала.

Бевад и Затлер, исправлявший должность генерал-провиантмейстера, были оба чрезвычайно вспыльчивы. По происшедшему между ними недоразумению, они вызвали друг друга на дуэль;

я с трудом их убедил, что им не из зачего драться, тем более во время войны. Бевад был человек добрый, но, по своему малому образованию и вспыльчивости, самовольно подвергал телесным наказаниям мирных жителей, занимаемых нами городов и селений за проступки, которые весьма часто представлялись таковыми только Беваду.

3 июля вечером, в бытность главной квартиры в Гайтване, разослано было повеление немедля выступить к Вейцену, откуда было получено известие, что генерал-лейтенант Засс, посланный для розыскания направления армии Гёргея, завязал с нею дело, при чем, по малочисленности нашего отряда, потерпел поражение и в особенности большую потерю артиллеристов. Я всю ночь проехал с походным казачьим атаманом генерал-лейтенантом Верзилиным, который жаловался на нездоровье. Верзилин был со мною в свойстве. В его доме в Пятигорске произошла ссора поэта Лермонтова и Николая Соломоновича Мартынова, следствием которой была между ними дуэль и смерть поэта.

Перед Вейценом стояла 40-тысячная армия Гёргея, которую предполагалось атаковать. Наша главная квартира остановилась в нескольких верстах, не доходя Вейцена, в деревне, в которой не было достаточного помещения для всех чинов главной квартиры. Поместив Верзилина в избе, я лег спать на земле под открытим небом. Только к следующей ночи мне устроили шалашик из древесных ветвей. На другой день нашего прихода в эту деревню Верзилин умер.

В день вступления наших войск в г. Вейцен, я похоронил его тело вблизи церкви означенной деревни.

4 июля утром я заходил в сараи, в которых были расположены наши нижние чины, раненые накануне в деле, в которое так некстати вступил Засс со своим большим отрядом против армии Гёргея. Раненых было несколько сот человек и более всего артиллеристов. Увечья были ужасные: у иных не было обеих рук, у других обеих ног и т. п. Я в первый раз видел такую массу столько тяжко раненых людей и понятно, какое горькое впечатление производил на меня их вид.

По осмотре этой юдоли печали, я отправился на передовую линию, участвовал в этот день в перестрелке с войсками Гёргея, и на другой день, 5 июля, в сражении перед Вейценом, которое заставило Гёргея отступить, а нам открыло свободный вход в город. Для преследования Гёргея, отступавшего к северу, был послан небольшой кавалерийский отряд под начальством генерал-адъютанта Анрепа, а главные силы 2-го 3-го пехотных корпусов пошли обратно к Гайтвану и оттуда к Тисса-фюрсту.

При последнем месте назначено было перейти на левый берег р. Тейса, на которой полагалось устроить мосты из русского и австрийского понтонных парков. Для устройства этой переправы был послан Горчаков, которому генерал-майор Герстфельд предписал взять меня с собой. Горчаков отвечал, что я имею особое поручение, из которого еще не вернулся. Когда же я явился к Горчакову, по окончании этого

поручения, то он забыл приказать мне находиться при устройстве переправы через Тейс, и таким образом я при этом не был.

Впрочем, это дело, которое по реляции кажется весьма важным, не представляло, по рассказам очевидцев, ничего особенного. По наведении мостов, был послан на левый берег Тейса отряд с орудиями, который после нескольких выстрелов занял м. Тисса-фюрст.

В темный вечер в отряде Горчакова на правом берегу Тейса было смятение: своих гусар приняли за венгерских, вступили в рукопашный бой и несколько человек было ранено прежде, чем заметили ошибку. Мне рассказывали, что Герстфельд в то время очень дурно говорил порусски, погонял нагайкою австрийских солдат, не хотевших при наводе мостов итти в воду, при чем ругал их и с сильным немецким акцентом называл их проклятыми немцами. Горчаков за устройство переправы получил Андрея первозванного, а Герстфельд за участие в этом деле шпагу, усыпанную бриллиантами.

По наведении мостов через Тейс, 2-ой и 3-ий корпуса перешли в Тисса-фюрст. Здесь нашли мы несколько сильно израненных сабельными ударами наших уланских нижних чинов. Из расспросов оказалось, что, когда их полк был расположен на правом берегу р. Тейса еще до прихода Горчакова с отрядом, они в числе до 20 человек ходили для водопоя лошадей и вдруг были окружены сотнею венгерских гусар. Начальствовавший ими корнет польского происхождения приказал сдаться, но их унтер-офицер приказал сесть на лошадей и защищаться.

В этом рукопашном бою все они были страшно изрублены, многие оставались на месте мертвыми, живые же перевезены в Тисса-фюрст.

По взятии в плен офицера, командовавшего венгерскими гусарами, окружившими улан, при нем найдено было письмо нашего уланского корнета, из которого видно было, что последний предварял венгерского офицера о желании передаться венгерскому правительству, но что, во избежание ответственности за побег из армии, он хотел сдаться военнопленным и приглашал венгерского офицера окружить его и командуемых им нижних чинов во время водопоя.

По сдаче Гёргея, означенный уланский офицер явился в Гросс-Вардене в нашу главную квартиру к коменданту ее Беваду, не застав которого он объяснил мне, так как я в Гросс-Вардене жил вместе с Бевадом, о том, как он был взят в плен. Я сказал ему, чтобы он подождал Бевада, который, возвратясь немедля, отправил его на гауптвахту, и он в тот же день предан военному суду, по решению которого на другой день был расстрелян, хотя умолял, чтобы уговорили фельдмаршала не лишать его жизни.

Это был очень высокий, статный молодой человек, красивой наружности. Оказалось, что после сделанной им измены, которая стоила жизни нескольким солдатам, он являлся к Гёргею, но последний не принял его как изменника, и он отправился в венгерский отряд, бывший под начальством Бема, а по рассеянии этого отряда, не зная куда приклонить голову, решился явиться в нашу главную квартиру и

объявить себя воротившимся из плена в уверенности, что у нас ничего не знают о его измене.

В Тисса-фюрсте было получено известие, что Гёргей прошел мимо 4-го пехотного корпуса на большую дорогу, ведущую в Мискольц, в котором оставались наши лазареты и разные принадлежности армии; об отряде же генерал-адьютанта Граббе долго не было известий. Фельдмаршал собрал военный совет, на котором было решено: снять один из мостов, устроенных при Тисса-фюрст, и навести его выше по Тейсу при с. Цеге, куда перейти 2-му и 3-му пехотным корпусам, затем, притянув к себе чрез означенный мост войска 4-го пехотного корпуса, со всеми этими корпусами итти на Гёргея.

Саперы, измученные снятием моста у Тисса-фюрста, в страшный жар перешли в Цеге, где немедля устроили мост. Я уже говорил, что никто в главной квартире не заботился об инженерных войсках, которые часто бесполезно были через силу утомляемы. По переходе главных сил к Цеге, в то время, как мы ожидали перехода через наведенный мост 4-го пехотного корпуса, неожиданно было получено приказание, по обыкновению около 4-х часов вечера, всем главным силам перейти на правый берег р. Тейса. Артиллерийские орудия, обозы, пехота, кавалерия, все это так столпилось на мосту, что прекратилось всякое движение. Задержка увеличивалась еще через то, что на левом берегу реки Тейса перед самым въездом на мост оказались ключистые места, в которых завязали тяжелые повозки.

В это время к мосту подъехал фельдмаршал. Недовольный беспорядком, он накинулся на

исправлявшего должность начальника инженеров генерал-лейтенанта Сорокина, которого обругал самым грубым и неприличным образом, заключив следующими словами:

— Если тебе это не нравится, так отправляйся в Петербург.

Потом фельдмаршал накинулся на начальника штаба князя Горчакова, в грубых выражениях упрекая его, что он ни за чем не смотрит. Когда движение по мосту было приведено в порядок, так что фельдмаршал мог проехать, по мосту проехало несколько фур одинакового устройства. Фельдмаршал спросил, чьи это фуры, и когда ему объяснили, что они принадлежат великому князю Константину Николаевичу, он с видимым неудовольствием отнесся о нем, заметив при этом, что никому не следует иметь так много фур.

В главной квартире всех поразило приказание перейти на правый берег р. Тейса, тогда как не задолго перед этим придавали такую важность нашему занятию левого берега. Увидя генерал-квартирмейстера армии Фрейтага, я его спросил, куда мы идем. Он вместо ответа пожимал только плечами. Оказалось, что фельдмаршал, долго не получая никакого известия из отряда Граббе, думал, что последний и армия Гёргея стоят еще около Мискольца и что он успеет отрезать отступление Гёргея к Токаю. Между тем, почти всем было известно, что Гёргей уже отступил за Токай по направлению к Дебречину.

Войска долго шли в темноте. Фельдмаршал поехал вперед в экипаже. Около полуночи мимо

той части войск, к которой я пристал, проскакал казачий офицер, кричавший:

— Назад, назад; фельдмаршал приказал итти назад.

Он вскоре скрылся из глаз и ничего более нельзя было узнать от него; вероятно, он и не мог бы ничего объяснить. Войска пошли обратно, но я, очень усталый, решился с несколькими штабными офицерами отдохнуть в ближайшей деревне.

Проснувшись утром, мы узнали, что все войска воротились и фельдмаршал проехал в Цеге. Это обратное движение было следствием того, что он на дороге удостоверился в том, что Гёргей давно удалился из окрестности Мискольца.

О нашем переходе из Цеге на правую сторону р. Тейса фельдмаршал не доносил государю, узнавшему об этом переходе только из письма великого князя Константина Николаевича, написанного в одной из деревень, лежащих на правой стороне Тейса, в которой его высочество останавливался для отдыха.

20 июля из Цеге 2-й и 3-й пехотные корпуса и часть 4-го двинулась на Уйварош по направлению к Дебречину, где надеялись еще захватить армию Гёргея. Было чрезвычайно жарко, небо чистое и ни одного облачка. Я ехал рядом с Герстфельдом и, шутя, говорил ему, что Илья пророк позабыл нас и не намерен прокатиться. Не прошло получаса, как все небо покрылось тучами; началась страшная гроза и дождь с ветром, так что лошади не двигались с места. Герстфельд со мною и другими офи-

церами скрылись под какой-то навес и, когда дождь уменьшился, поехали далее. Дождь успел промочить почву до того, что наши верховые лошади едва вытаскивали из нее ноги, а артиллерия, обозы и наши повозки завязли в грязи так, что моя легкая повозка прибыла в Уйварош только с рассветом, часов на шесть позже меня.

В это время возвратились посланные из Уйвароша разведчики из казаков, в числе которых были и раненые. Они уверяли, что под Дебречином стоит видимо-невидимо неприятельского войска. Вследствие этого нашим войскам приказано было немедля двинуться к Дебречину так, чтобы быть готовыми вступить в сражение. Мне приказано было следовать за фельдмаршалом, на случай надобности в устройстве вышки, с которой он мог бы видеть сражение. В нескольких верстах от Дебречина, фельдмаршал остановился на возвышенности, с которой можно было видеть Дебречин и расположенные перед ним венгерские войска, и подозвав к себе генерал-квартирмейстера Фрейтага, производившего рекогносцировку, спросил его о числе неприятельских войск. Фрейтаг отвечал, что их около 10 тысяч. Фельдмаршал, видимо недовольный этим ответом, сказал, что их гораздо более и при этом случае дерзко отозвался об офицерах генерального штаба.

Началось артиллерийское дело. Я поехал на перевязочный пункт, чтобы позавтракать. Ко мне подошли завтракать со мною два австрийские офицеры и прежде бывавшие у Бевада. Я заметил, что они стали обходиться между собою на более церемонную ногу. Оказалось,

что один из них произведен был в штаб-офицеры, тогда как другой остался ротмистром. Впрочем, впоследствии я не замечал в австрийской армии этого чинопочитания вне службы, столь сильно развитого в прусских войсках.

Во время моего завтрака принесли на перевязочный пункт командира 2-го пехотного корпуса генерала Купреянова, которому ядром оторвало ногу; немедля произведена была ему операция.

После нашей атаки правого фланга венгерских войск, они отступили по дороге, проложенной перед Дебречином, так что они прошли между городом и нашими войсками, именно, кавалерийскою дивизиею генерал-лейтенанта Глазенапа. Если бы эта дивизия, спрятанная в кукурузе, напала на бегущих венгерцев, то перехватила бы их всех живьем. Вследствие бездействия Глазенапа появились карикатуры, в которых он был изображен в кукурузном венке. Вообще его сильно обвиняли. Не берусь судить, до какой степени он виноват в том, что согласно дислокации не тронулся из кукурузы, не получив на это приказания от начальствующих лиц, которые все были от него в самом близком расстоянии.

В Дебречин я въехал 21 июля в сумерки. Поднимаясь в город, я видел несколько убитых из местных жителей, вероятно, вышедших из города ради любопытства или для вспомоществования своим войскам. Никогда не забуду лежавшего на дороге убитого старика с красивым лицом, длинными распущенными седыми волосами и с распростертыми руками. Он был одет в красной куртке и в синих шароварах.

В Дебречине мне была назначена квартира на большой улице, на которой стоял фельдмаршал, неподалеку от Бевада. Мой хозяин оказался зажиточный бургомистр города, владелец близлежащего имения. Он меня принял очень хорошо, угостил прекрасным венгерским вином, но извинялся в том, что не имеет ничего съестного и что на другой день не в состоянии накормить меня, так как, по приказанию сопровождавшего нашу армию комиссара австрийского правительства графа Зича, он представил все имевшиеся у него деньги, в виде ассигнаций (коссуток), в следовавшее с нами австрийское казначейство. Представление коссуток [1] требовалось во всех городах и селениях, в которые входили наши войска, и они немедля уничтожались. Затем жители оставались совершенно без денег, пока за продаваемые нам предметы не получали наших ассигнаций, которым были очень рады.

Австрийское правительство ничего не давало взамен отобранных им коссуток и впоследствии ничем не вознаграждало пострадавших.

Мой хозяин, чтобы не умереть с голода, занял у меня несколько рублей и на другой день, несмотря на мои отказы, упросил меня обедать за его столом. Он не говорил по-немецки и нам переводчицею служила женщина, жившая у него экономкою.

На другой день вступления нашего в Дебречин был парад войск и церковная служба, за

[1] Бумажные деньги венгерского революционного правительства, которое возглавлял Людв. Кошут (Коссут — у Дельвига). *С. Ш.*

которою тот же пастор, который незадолго перед этим провозгласил установление республики, должен был провозгласить восстановление императора и по этому случаю говорил длинную речь по-мадьярски, которую никто из нас, сидевших в церкви, конечно, не понимал; вероятно, она была предварительно процензурована.

В Дебречине пришли к нам в один день 2-й кавалерийский корпус под командою генерал-адъютанта Сакена (Дмитрия Ерофеевича, впоследствии графа и члена государственного совета) и часть 4-го пехотного корпуса, остававшаяся на правом берегу р. Тейса. Войска Сакена, известного педанта, вошли в город в необыкновенном порядке: люди и лошади были до того вычищены, что могли бы пойти в таком виде на парад в Петербург.

Это педантство было очень тягостно для служащих под его начальством. Но при этом надо сказать, что Сакен до того наблюдал порядок в своем корпусе, что во все время его прохода по Венгрии был один случай грабежа местных жителей и тот немедля был строго наказан. Новое доказательство того, что грабежи, производившиеся войсками 2-го и 3-го пехотных корпусов, были допущены распущенностию нижних чинов и невниманием начальствующих лиц. Паскевич с давнего времени не любил Сакена, однако же вышел навстречу к его войскам и обошелся с ними ласково.

Не в таком порядке вошли войска 4-го пехотного корпуса под командою генерала Чео-

даева. Он был очень дурно принят Паскевичем за то, что пропустил Гёргея у Мисксльца, хотя многие обвиняли в этом штаб армии, из которого ежедневно посылались Чеодаеву приказания то приблизиться к Мискольцу, то присоединиться к главным силам армии, так что его войска двигались постоянно по одному протяжению, то в одну, то в другую сторону, как маятник.

Исправляющим должность начальника штаба четвертого пехотного корпуса был полковник Веселицкий, женатый на моей дальней родственнице Марии Сергеевне Зуевой. Я немедля отправился к нему и застал его очень расстроенным, одетым в обыкновенный армейский сюртук, тогда как за полчаса перед этим видел его из моих окон распоряжающимся в мундире генерального штаба, на который он имел право по званию начальника корпусного штаба.

Он мне сказал, что фельдмаршал его сменил с должности, в которую назначил свиты его величества генерал-майора Глинку-Маврина (впоследствии генерал-от-инфантерии и член военного совета). Веселицкий рассказал мне причины неуспеха войск 4-го корпуса в сражении с войском Гёргея, но, несмотря на свой ум, не успел уверить меня в том, что начальники наших войск исполнили все, как следовало.

В Дебречин приезжала к Паскевичу депутация от венгерского правительства с предложением о переговорах. Паскевич не принял ее, сказав, что он прислан для усмирения мятежников, а не для переговоров, с которыми они могут

обратиться к главнокомандующим австрийскими войсками. Вследствие этого Коссут принужден был отказаться от диктаторства и диктатором Венгрии провозглашен был главнокомандующий венгерскими войсками Гёргей, который вскоре прислал к Паскевичу адъютанта майора барона (фамилия не помню) в сопровождении 20 венгерских гусар, чтобы испросить дозволение с ним видеться. Можно себе представить до какой степени в наших войсках была дурно исполняема аванпостная служба и другие постановления военного времени: означенный отряд гусар прошел мимо 2-го пехотного корпуса и других наших войск и прискакал к воротам фельдмаршала в Дебречин, так что начальник отряда был остановлен только в приемной зале Паскевича. Впрочем, это можно объяснить сходством мундиров венгерских гусар с нашими.

1-го августа в главной квартире узнали, что Гёргей сдается безусловно и что командир 3-го пехотного корпуса граф Ридигер прислал адресованное к нему по этому случаю письмо Гёргея, с которого немедля разошлось много копий.

Это письмо Гергея принадлежит истории, все были ему чрезвычайно рады, но на меня оно легло тяжелым камнем: я не видал в нем безусловной покорности, которую Паскевич требовал от Гёргея. Последний представлял участь своих подчиненных весьма известному (как он выразился) великодушию его величества царя русского.

Мне казалось, что Паскевич не имел права, не спросив предварительно государя, принять предложенную Гёргеем сдачу. Я полагал, что следовало требовать от Гёргея, чтобы он не двигался с места в продолжение 8-ми дней, а между тем послать к государю в Варшаву вопрос, желает ли он и может ли оказать великодушие, на которое Гёргей столько надеялся и, в случае нежелания государя или невозможности, требовать от Гёргея решительно безусловной сдачи, а в случае отказа — вступить с ним в бой, результат которого не мог подлежать сомнению. Все те, которым я выражал мои чувства и мнения, не разделяли их и некоторые даже не понимали. На другой день мы узнали, что Гёргей с 28 тысячами войска и 140 орудиями сдался графу Ридигеру при с. Виллаюсе. Главная наша квартира с главными силами армии двинулась в Гросс-Варден.

Сдачу Гёргея не замедлили приписать измене, но те, которые были очевидцами описываемых событий, конечно, понимали, что ему не оставалось более никаких средств к продолжению борьбы. Начальствуя необученным, кое-как сформированным войском, при котором не было устроено правильного управления для его продовольствия, он сумел уйти из Вейцена с 40-тысячною армиею от русских сил, вдвое его сильнейших. Впоследствии, преследуемый отрядом генерала Засса, сменившего сначала посланный отряд генерал-адъютанта Анрепа, он сумел не только избегнуть его, но пройти мимо русского 4-го пехотного корпуса и скрыть направление,

по которому отступал, от генерал-адъютанта Граббе, наступавшего на него с севера, и от самого маршала, и весь этот переход до Гросс-Вардена он совершил по стране, опустошенной прежде проходившими через нее войсками, при чем во встречах своих с русскими войсками имел иногда и перевес. Но потеряв в этих стычках весьма мало людей, его армия между Вейценом и Виллаюсом уменьшилась на одну треть; явно, что солдаты произвольно оставляли ее, частию от недостатка в продовольствии, а еще более от потери надежды привести к благоприятному окончанию начатое дело.

По прибытии в окрестности Гросс-Вардена армия Гёргея не имела более ни продовольствия, ни боевых снарядов, а между тем была окружена русскою и австрийскою армиями, в совокупности в пять раз ее сильнейшими. Положение войска Гёргея ухудшалось еще тем, что следовало большое число семейств воинов, так как им некуда было приклонить головы. Гёргей сообщил о сдаче немедля всем начальникам венгерских войск, расположенных в разных частях Венгрии, предписывая им, как диктатор Венгрии, окончить бесполезную борьбу. Он послал такое же приказание, между прочим, и к генералу Клапке, бывшему в крепости Коморне, и вместе с тем к нему же, как своему другу, письмо, сделавшееся общеизвестным, в котором объясняет причины, побудившие его к сдаче. Известно, что из отдельных начальников венгерских войск один Клапка его не послушался и продолжал защищаться в Коморне, для осады которого был послан Граббе.

В письме Гёргея о сдаче графу Ридигеру мне не нравилось высказываемое им презрение к Австрии и к австрийским войскам. Лично от себя он мог писать, следуя своим чувствам, но он писал как диктатор многочисленной нации и главнокомандующий значительным войском, а потому должен был знать, что по его сдаче эта нация и войско могут подвергнуться за каждое неприятное для австрийцев в его письме слово их мщению. Его резкие выражения относительно Австрии были тем страннее, что он никогда не разделял мнения той партии, которая желала видеть Венгрию совершенно отделенною от Австрии. За это он был в постоянной неприязни с Коссутом и с польскими генералами, пришедшими в Венгрию в надежде, по освобождении Венгрии, освободить части Польши, присоединенные к русской и австрийской империям и к прусскому королевству.

Гёргей желал только сохранения для Венгрии тех конституционных прав, которые были ей даны отказавшимся в конце 1848 г. от престола императором и королем Фердинандом I. Воюя с императорскими австрийскими войсками для поддержания прав Венгрии, он считал себя верноподданным упомянутого императора и короля и в своих распоряжениях по армии даже действовал его именем.

Конечно, такой образ действий может показаться нелогичным, но вникнув в тогдашнее положение Венгрии, он делается удобопонятным. Большая часть населения во всех сословиях разделяла понятия Гёргея. Я мог бы привести

этому множество доказательств; ограничусь одним следующим.

В длинный переход из Дебречина в Гросс-Варден, который совершили в один день, я с несколькими русскими офицерами останавливался на полдороге позавтракать. Один из бывших с нами полковников требовал от хозяина постоялого двора, чтобы он с нами выпил за здоровье императора. Хозяин с охотою выпил за здоровье императора Николая. Когда ему объяснили, что от него требуют, чтобы он пил за здоровье австрийского императора, то он громко сказал:

— Пью за здоровье императора и короля Фердинанда.

Ему грозили нагайкою, которую казак держал над его головою, и требовали, чтобы он пил за здоровье молодого императора Франца-Иосифа, но он, несмотря на то, что ежеминутно ожидал приведения в исполнение угроз, повторял, что пьет за здоровье то Николая, то Фердинанда, и ни разу не произнес имени Франца-Иосифа. Венгерский народ признавал только королей, коронованных венгерскою короною. Фердинанд был коронован, а Франц-Иосиф не был.

По вступлении нашем в Гросс-Варден, я вскоре познакомился с Гёргеем, к чему мне способствовало то, что отведенные мне комнаты были рядом с комнатами коменданта главной квартиры Бевада, с которым Гёргей имел постоянные сношения. Наружность Гёргея говорила много в его пользу. Ему было 33 года от роду. Рост его был более среднего. Он был белокур

с голубыми глазами и приятным выражением лица.

Он носил черную повязку на голове для прикрытия полученной им раны. Его светлые усы были очень коротки, что, конечно, не могло нравиться мадьярам, у которых длинные усы имели особый почет. Но большой природный ум и мастерство хорошо выражаться скоро его возвысили при тогдашнем положении Венгрии. Юношею он служил в венгерской гвардии, близко стоявшей к особе австрийского императора. По недостаточности состояния для продолжения этого рода службы, он, произведенный в армейские поручики, оставил военную службу и занялся изучением химии.

В 1848 г. австрийский император, для усмирения не соглашавшихся на его нововведения, которые принудила его сделать бо́льшая часть его народов, созвал гонведов в Венгрии. В командиры одного баталиона этих гонведов был выбран Гёргей. История этого времени раскажет, каким образом созванные императорским правительством гонведы сделались врагами Австрии и каким образом Гёргей попал в главнокомандующие венгерской армии, которая не будь вмешательства России, вероятно перевернула бы в 1849 г. карту Европы.

Гёргей в Гросс-Вардене ходил в обыкновенном статском платье. Его милостиво приняли фельдмаршал и великий князь Константин Николаевич. Все русские генералы и офицеры смотрели на него с уважением. Один начальник штаба Горчаков обходился с ним не совсем приветливо, а иногда и неучтиво.

Однажды, когда он сидел у меня, Горчаков прислал за ним своего адъютанта. По возвращении, Гёргей мне рассказал, что Горчаков позабыл зачем он за ним посылал, и потому отпустил его, сказавши только здравствуйте и прощайте, при чем называл его «мосье Жоржей». Для выслушания этого Гёргею пришлось пройти вечером довольно большое расстояние. Конечно, Горчаков делал все это по рассеянности, но Гёргею от этого было не легче.

Гёргей, по сдаче армии, не сохранил при себе ни гроша, так что на его содержание отчускалось из нашей главной квартиры 10 гульденов в день. Не знаю, кем была назначена эта сумма, но она была, по дороговизне всего в Гросс-Вардене, весьма недостаточна для прокормления Гёргея и нескольких человек, находившихся при нем. Мне известно, что Бевад прибавлял из своих денег повару Гёргея, но немного, с тем, чтобы последний не мог этого заметить. Гёргей находил очень хорошею нашу привычку ужинать и часто приходил к нашему ужину. Когда узнали об этом в главной квартире, начали напрашиваться к нашим ужинам разные лица, и тут Гёргей мог подивиться, каких людей у нас производят в генералы.

Наблюдение за сдавшеюся армиею, в которой было до 3 000 штаб- и обер-офицеров, было поручено генерал-адъютанту Анрепу: для наблюдения ему даны были несколько сот казаков. Анреп видел в этом желание фельдмаршала подвергнуть его ответственности в случае побегов из сдавшейся армии, для присмотра за которой данные ему средства были недоста-

точны. Я передал об этом опасении побегов Гёргею, который просил меня уверить Анрепа, что венгерцы народ высокой честности и, раз сдавшись, не изменят своему слову, он уверял, что число войск, принятое Анрепом, будет им сдано, кому будет назначено, без убыли. Вслед за этим я познакомил Гёргея с Анрепом, и он повторил последнему сказанное мне и слова его оправдались на деле.

Во время нашего пребывания в Гросс-Вардене приехали из одного венгерского отряда, кажется, стоявшего в Буковине, полковник и капитан, присланные для объяснения с Гёргеем, вследствие полученного от него приказания сдаться русским войскам. Пока комендант главной квартиры Бевад ходил за разрешением допустить означенного полковника к свиданию с Гёргеем, полковник, очень красивый собою, молодой мужчина, в самых искренних выражениях, объяснял мне, что их отряд многочислен и что в нем все готовы умереть и не сдаваться русским, которые передадут их австрийцам.

По получении разрешения, полковник пошел к Гёргею, а оставшийся со мною капитан объяснил мне, что полковник представляет себе положение дел вовсе не в том виде, как оно есть на деле; что почти всем, и в том числе ему, надоела явно бесполезная борьба и хотелось бы поскорее вернуться в свои семьи к мирным занятиям.

Гёргей успел своею осанкою и красноречием подействовать на пылкого полковника, который вернулся от него кроткою овцою, соглашаясь,

что не следует бесполезно проливать венгерскую кровь.

Паскевич, немедля после сдачи Гёргея, писал к австрийскому императору, прося о пощаде возмутившихся венгерцев. Ответ императора был тогда же опубликован; он был очень уклончив.

В то же время император Николай посылал наследника в Вену просить о помиловании Гёргея, который, вследствие всех этих просьб, надеялся, что ему позволят удалиться в Россию, чего он желал всею душою и эту надежду передавал мне ежедневно. Но она не сбылась: получено было из Вены приказание отправить Гёргея в Клагенфурт в Штирии под надзор полиции, а прочих начальствующих в его войске лиц и самое войско передать австрийским властям.

Паскевич прислал Гёргею несколько сот червонцев для покупки экипажа, но он их возвратил и поехал под присмотром австрийцев в простой почтовой повозке. Я уехал из Гросс-Вардена прежде него. Он меня провожал и горько завидовал моему счастию, что я еду в Россию.

Но самое горькое чувство должен был испытывать Гёргей оттого, что участь только его одного была решена; участь же его боевых товарищей была покрыта неизвестностью, но можно было отгадывать ее по тому обращению, которому подвергались бывшие генералы венгерской армии при передаче их австрийским властям. Эти генералы после капитуляции находились под наблюдением генерал-адъютанта

Анрепа, который с ними обходился самым вежливым образом и у которого они почти ежедневно обедали. После одного из этих обедов, явились австрийские власти с приказанием передать им означенных пленников, на которых не только немедля надели кандалы, но и обращались с ними самым грубым образом. Все они, по уходе нашей армии, были казнены смертию. Легко себе представить мучение Гёргея, когда он узнал об этих казнях. [1]

В числе казненных был один генерал, с которым я познакомился следующим образом. Вскоре по вступлении нашем в Гросс-Варден, я с майором князем Лобановым для развлечения поехал верст за восемь в Феликсбад, где за столом познакомились с жившим на этих водах венгерцем замечательной наружности. Он нас познакомил с красивою своею женою лет 20, которая держала на руках малолетнего ребенка, и рассказал, что он служил майором в венгерских войсках до революции, а во время действия этих войск против австрийцев командовал бригадою, был ранен прежде, чем русское войско

[1] Артур Гёргей (род. 1818 г., ум. в 1916 г.) — с 1848 г. командующий венгерской армией против австрийцев, в марте 1849 г. — главнокомандующий, в апреле 1849 г. — военный министр венгерского революционного правительства; блестяще выигрывал сражения у австрийских генералов, но вмешательство Николая первого вынудило Гёргея сложить оружие перед русскими войсками, подавлявшими его армии численностью; сдался 13 августа 1849 г., но еще за два дня до того был выбран диктатором Венгрии вместо Кошута, который, в интересах революции уступил Гёргею, не желая усиливать разгоравшуюся междоусобицу; был в изгнании, вернулся на родину в 1868 г. *С. Ш.*

вошло в Венгрию и с тех пор лечится в Феликсбаде, так что он не воевал против русских и не был под начальством Гёргея. Лобанову и мне весьма понравились и муж и жена, но мы очень удивлялись тому, что столь образованный человек, кончивший курс наук в университете, так мало знает о политическом положении европейских государств, в чем нам пришлось впоследствии еще более убедиться.

Я уже говорил, что в июле треть войска Гёргея разбрелась по Венгрии, из других венгерских отрядов разбрелось также множество. Большая часть оставивших свои знамена не имели ни крова, ни пищи. Из них образовались небольшие шайки, грабившие мирных жителей. Чтобы положить этому конец, фельдмаршал велел объявить, чтобы все принадлежавшие к мятежным венгерским войскам являлись к русским начальствам, от которых, если они заявят о своей нужде, будут получать ежедневно известное число гульденов или крейцеров, смотря по их чину, для своего прокормления. Мой знакомый генерал, живший в Феликсбаде, почел обязанностью заявить нашему штабу о принадлежности его к мятежническим войскам, о месте настоящего своего жительства и о том, что он ни в чем не нуждается.

В штабе предвидели, что этот генерал подвергал себя жестокой опасности и потому, узнав, что Лобанов и я познакомились с ним, придумали нам поручить съездить в Феликсбад и объяснить ему цель отданного фельдмаршалом выше упомянутого приказания и то положение, в которое он себя ставит по своей воле,

а вместе с тем посоветовать ему, пользуясь присутствием русских войск в бо̀льшей части Венгрии, уехать в такое место, где он был бы вне влияния австрийских властей. Мы передали это, как-будто от себя, нашему новому знакомому, но вместо благодарности выслушали от него весьма неприятную рацею.

Он удивлялся, что русские офицеры могут давать ему советы не сообразные с повелением их фельдмаршала, и решительно не хотел ими пользоваться, несмотря на то, что мы намекнули, что действуем по приказанию старших.

Видя, что мы опечалены его решением, он вздумал нас утешить следующим рассказом о том, что ожидающая его участь не может быть дурною. Он говорил, что император Николай, который один мог покорить Венгрию, явится в Пест на сейм, где все венгерцы, всегда монархисты в душе, в лице своих представителей, падут на колени перед великим монархом и объяснят ему в подробности, как венгерское войско, преданное своему королю, вышло для защиты его против непослушных его воле, и как вдруг изменническим образом австрийские войска, предводимые австрийским эрцгерцогом, оказались на стороне их противников. Он говорил подробно и я только в сжатом виде привожу его слова, которые он заключил полною уверенностию, что столь умный, благородный и сильный монарх, как император Николай, не может не понять, на чьей стороне справедливость и, приняв их сторону, выбросит всех тех, которые посоветовали австрийскому правительству его бесчестные поступки, и возвратит

Венгрии те привилегии, на которые она имеет полное право. Повторяю, что это говорил человек образованный и в полном уме.

Лобанов и я уверяли его, что император Николай в Пест не поедет, а тем более не будет присутствовать на сейме, что он, как самодержавный монарх, враг всех привилегий и сеймов. Он стоял на своем, упрекал нас в малом уважении к величайшему из монархов. Впоследствии он был растрелян австрийскими властями; я недавно еще помнил его фамилию.

Читатель, конечно, заметит, как высоко в то время стоял император Николай в понятиях даже революционеров; консерваторы же, реакционеры 1849 г. видели в нем единственное спасение Европы и воспевали ему в журналах хвалебные гимны.

Война, предпринятая императором Николаем в помощь австрийцам, была непопулярна в России, это не могло не отразиться на нашей армии. В продолжение всей кампании наши войска были холодно учтивы с австрийцами, тогда как оказывали сочувствие к пленным и большое участие к раненым венгерцам. Эти чувства в особенности выказались после сдачи Гёргея: русские офицеры и нижние чины братались с венгерскими, угощали их и поили, для чего не жалели последней копейки.

Было несколько встреч в ресторанах, где русские офицеры давали явное предпочтение венгерцам перед австрийцами. Дело доходило даже до дуэлей. Не помню, по какому случаю познакомился я с каким-то австрийским капи-

таном, родом англичанином, человеком очень образованным и красивым. На другой день нашего знакомства я узнал, что он поссорился с одним русским офицером и был убит на дуэли. Фельдмаршал не дал огласки этой дуэли, и вообще ссоры русских офицеров с австрийскими не имели официальных последствий. Он ненавидел австрийцев, и в армии говорили, что если бы нам приказали повернуть орудия против наших союзников, то мы дали бы знать о себе, и что сам фельдмаршал, казавшийся расстроенным, снова приобрел бы свою энергию и молодечество, так что мы могли бы занять Вену через несколько дней.

При австрийской армии состоял с нашей стороны генерал-адъютант Берг (Феодор Феодорович, впоследствии граф, генерал-фельдмаршал и наместник царства Польского), который вторил австрийским главнокомандующим, за что Паскевич называл его самым худшим из австрийских генералов.

Со всех сторон сходились в Гросс-Варден венгерцы, служившие в мятежнических войсках. Однажды явился офицер в сопровождении нескольких гусар и остановился против моих окон. Войдя, за отсутствием Бевада ко мне, он объявил, что, узнав о сдаче Гёргея, он, не желая сдаться австрийцам, пробился сквозь их аванпосты, при чем не обошлось без пролития крови с обеих сторон. Я ему объяснил, что этим молодечеством нельзя хвалиться перед нами, союзниками австрийцев.

По докладе Бевада Горчакову об этих храбрецах, он приказал арестовать их, но фельд-

маршал, в виду ожидавшего их наказания за то, что, зная о сдаче Гёргея, они еще напали вооруженною рукою на австрийцев, приказал Беваду дать им несколько червонцев на прокормление с тем, чтобы они на своих лошадях немедля убирались, куда знают, что и было немедля исполнено. Горчаков за это и подобные действия Бевада, всегда исполняемые по приказанию фельдмаршала, выказывал Беваду неудовольствие.

Венгерские гонведы приходили в Гросс-Варден целыми отрядами; их немедля обезоруживали.

Нельзя было без особого приятного чувства видеть, как русские солдаты терпеливо выжидали, пока гонведы, часто очень неловкие, снимали с себя оружие, и с каким-то соболезнованием к ним отбирали его. Они поступали по русской пословице: «лежачего не бьют».

Не одни бывшие мятежнические войска собирались в Гросс-Вердене. В этот же город, под покровительством русского начальства, приехала престарелая мать Коссута с тремя дочерьми и детьми последних; помнится, что все семейство состояло из 8-ми человек. Комнаты, в которых они остановились, отделялись от моей коридором. Вскоре по их приезде к ним вошли местный австрийский комендант, какой-то подполковник и комендант нашей главной квартиры полковник Бевад.

Престарелая мать Коссута, окруженная своим семейством, лежала больная в постели под одеялом. Австрийский комендант, не снимая шапки,

в весьма суровых выражениях спросил у ней, зачем она приехала с семейством. Бевад просил его быть вежливее с дамами и, видя перед собою старшего чином с открытою головою, снять шапку. Австрийский подполковник исполнил это требование, но заметил Беваду, что он делает слишком большие церемонии с этими женщинами, дав им самое грубое, нецензурное название. Тогда Бевад выпроводил его из комнаты.

Австрийское начальство, опасаясь, что семейство Коссута может предпринять какие-либо действия против правительства, требовало, чтобы оно было посажено в тюрьму. Фельдмаршал на это не согласился; он только просил передать членам семейства Коссута его желание, чтобы они не выходили из дома, но и это распоряжение было вскоре отменено.

Видя злобу австрийского высшего начальства против венгерцев, австрийские офицеры и нижние чины также дозволяли себе разные против них несправедливости.

Вскоре по вступлении нашем в Гросс-Варден, прогуливаясь вечером по этому городу, я услышал шум и женский крик в одном небольшом доме. Полагая, что этот шум может происходить от грабежа, производимого нашими нижними чинами, я вошел в дом, где увидал австрийских офицеров, ругающих какую-то средних лет женщину. Она, увидев меня, бросилась на колени и упрашивала избавить ее от дерзких постояльцев, которым она отдала в полное распоряжение отведенные им комнаты, но они не дают ей возможности остаться и в остальной части ее дома. На просьбу мою удалиться в отведенные

им комнаты офицеры отвечали, что я не должен защищать эту женщину, потому что она жена капитана, служащего в мятежнических войсках. Я им объяснил, что мы пришли воевать не с женщинами и что русские не позволят дурно обращаться с обывателями, а чтобы они могли услыхать заявленное мною от русской компетентной власти, то я назвал свою фамилию, потребовал от них, чтобы они себя назвали. Они этого не сделали, но сейчас вышли из комнаты.

Владелица дома не знала, как благодарить меня, и просила заходить к ней. Я ей дал свой адрес и адрес коменданта нашей главной квартиры, сказав, что к нему она, в случае дальнейших притеснений, всегда может обратиться за защитою.

В следующий раз, когда я зашел к ней, она мне объявила, что австрийские офицеры, вслед за описанной сценой, оставили ее дом. Она к этому прибавила, что если бы я знал, кто она такая, то верно бы не стал ее защищать. Я отвечал ей, что мне до того, кто она, нет дела, что она, как обывательница города, занятого русскими войсками, всегда найдет защиту. Она долго требовала, чтобы я сказал ей, за кого я считаю ее, и видя, что я не понимаю ее вопроса, спросила меня, какой, я полагаю, она веры, и что ей известно, что большая часть русских исповедуют католическую веру. Я отвечал ей, что я действительно православный, но что в России мало обращают внимания на исповедание лиц, так что, вероятно, многие из моих соотечественников, судя по моей фами-

лии, считают меня лютеранином, каковым действительно был мой отец, но что через это я не менее русский и никаких недоброжелательств от лиц, носящих русские фамилии, не имею и ожидать не могу. Тогда она мне сказала, что во всяком случае она решилась сознаться передо мною, кто она такая, хотя и может потерять через это защитника, и вслед за тем с таким выражением голоса и лица, по которому можно было полагать, что она боится подвергнуться чему-то неприятному с моей стороны, сказала мне: —Я еврейка.

Конечно, я ее успокоил, повторив, что мне дела нет до веры, которую она исповедует. Вот до какой степени было сильно в то время в Венгрии недоброжелательство между христианами и евреями.

Вообще образование в Венгрии стояло тогда на очень низкой степени, на каковой находилось и все наружное устройство. Города, через которые мы проходили, были выстроены беспорядочно, мостовых на улицах было мало, освещение дурное. В Венгрии не было ни железных дорог, ни шоссе. Только дома магнатов в некоторых селениях были хорошо выстроены и меблированы и к ним прилегали обширные парки и сады. Много земли лежало необработанною и вообще все вместе напоминало мне родину.

Движение войск в Венгрии много затруднялось тем, что почти каждый город, местечко и селение имеют три названия: мадьярское, немецкое и славянское, часто нисколько между собою несхожие.

Наш поход в Венгрию, столь непопулярный в России и столь повидимому успешно оконченный, имел, по моему мнению, самые невыгодные последствия для России. Венгерцы нас возненавидели; славянские племена, обманутые в своей надежде на нашу защиту пред угнетающим их австрийским правительством, стали к нам равнодушнее; австрийцы были недовольны тем, что должны были пользоваться пособием России, и вскоре выказали свою неблагодарность. Вся Европа, завидуя русскому могуществу, пожелала потрясти его, чему через четыре года представился случай в войне между Россиею с одной стороны и Турциею с ее тремя союзниками: Франциею, Англиею и Италиею, с другой. Конечно, о том, что русский солдат был дурно накормлен и одет и еще хуже вооружен, что русская армия не имела хороших генералов, было и без венгерской войны известно Европе, но она в продолжение этой войны вполне убедилась во всем вышесказанном. Не будь ее, французское и английское правительства, может быть, не решились бы допустить Турцию до объявления нам войны в 1853 г., столь несчастливо для нас окончившейся.

Со сдачею Гёргея война кончилась, а затем по «Положению об армии в военное время» упразднялась и должность инспектора военных сообщений. Жизнь моя в главной квартире, за исключением возможности видеться с Гёргеем, также собиравшимся в путь, была очень скучна. Высокомерие офицеров генерального штаба не дозволяло мне сообщаться с ними. Состоявшие при главной квартире армии генералы свиты

его величества и флигель-адъютанты, в обществе которых я проводил большую часть времени, уехали в Варшаву, и я оставался одиноким. Дерзкое со всеми обращение фельмаршала, недоступность и холодность Горчакова и бесконечные интриги чинов в многочисленной главной квартире до того мне опротивели, что я считал себя как в аду, из которого надо было вырваться как можно скорее.

Служба при Клейнмихеле, конечно, была не совсем приятная и около него было не мало интриг, но все же она казалась мне несравненно предпочтительнее. Сверх того мне хотелось поскорее увидеть мою жену, с которою был разлучен с самого начала 1849 г.

Вследствие этого я с 11 августа просил Горчакова о дозволении ехать в Петербург, так как мои обязанности при армии кончились. Он мне отвечал: «Вы едете, ну прощайте», и более ни слова.

По прибытии на станцию Ченстохово на Варшаво-венской железной дороге, я нашел там поэта Василия Андреевича Жуковского, остановившегося переночевать.

Я остался с ним до следующего поезда; мы поехали в Варшаву в одном вагоне.

Жуковский, конечно, вспоминал при мне о прежнем житье-бытье, о поэтах Пушкине и Дельвиге. Кроме того, его очень занимала мысль, что по мере того, как человечество ищет все бòльшей и бòльшей свободы, оно делается более и более рабом новых условий жизни, так что путешественник на железных дорогах обращается во что-то подобное почтовому конверту.

В Варшаве Жуковский остановился в гостинице «Рим», а я по обыкновению в английской гостинице. Мы виделись ежедневно. В одно из моих посещений я нашел у него только что произведенного свиты его величества генерал-майора графа Ламберта, бывшего в 1861 г. очень короткое время наместником царства Польского и столь постыдно оставившего этот пост.

Ламберт, которого считали человеком умным, уверял, что все европейские беспорядки 1848 и 1849 гг. происходят от того, что слишком многим лицам дается образование; что следует давать образование только заранее определенному, ограниченному числу молодых людей. Можно себе представить, какое неприятное впечатление производила эта мысль на Жуковского, но Ламберт, утверждая, что излишнее образование уже явно дало дурные плоды, находил необходимым попробовать давать в наших университетах и гимназиях образование, согласно его мысли, только ограниченному числу молодежи.

30 августа я видел в православном соборе Жуковского в мундире, разукрашенном звездами и крестами, стоящего подле наследника, своего прежнего воспитанника, который, равно как и государь, видимо были огорчены за несколько дней перед этим последовавшей кончиной великого князя Михаила Павловича.

В Ковне я взял место в почтовой карете, а мой слуга с вещами продолжал ехать на перекладных, обгоняя меня и ожидая моего приезда на некоторых из почтовых станций. В г. Острове Клейнмихель, ехавший осматривать шоссе, увидев меня в почтовой карете, потребовал к себе.

Он подробно меня распрашивал о венгерской кампании и о том, кто 30 августа получил орден св. Андрея первозванного. Я назвал ему получивших этот орден, но он, сомневаясь в правильности моего показания о новых кавалерах, сказал, что я верно не имею точных сведений, и спросил от кого я мог их получить в Варшаве. Я указал на свиты его величества генерал-майора князя Владимира Александровича Меньшикова, который в это время постоянно разъезжал с государем и заведывал рассылкою наград.

Клейнмихель, не получавший никаких наград в последние 7 лет со времени назначения его главноуправляющим путями сообщения, узнав, что младший его по производству граф Владимир Федорович Адлерберг получил андреевскую ленту, видимо был этим недоволен. Отношения государя к Клейнмихелю сделались с начала 1849 г. холодны.

Клейнмихель, прибыв из Острова в Витебск, был очень мрачен, капризен и не хотел никого видеть. Не знаю, кто похлопотал о Клейнмихеле, но государь, вскоре по возвращении в Петербург, приказал начальнику I отделения своей канцелярии статс-секретарю Танееву прислать ему проект грамоты на пожалование Клейнмихелю ордена св. Андрея. Государь, несколько исправив этот проект, запечатал его в конверт и ошибочно сделал надпись «Клейнмихелю», вместо «Танееву». Когда последний вместе с прочими бумагами получил особенный конверт с надписью государя «Клейнмихелю», он поспешил этот конверт переслать в канцелярию главноуправляющего

путями сообщения, откуда он с курьером был послан к Клейнмихелю в Витебск. По получении этого конверта, Клейнмихель совсем изменился, сделался со всеми любезен. Подлинная грамота с знаками ордена не замедлила прибыть в Витебск.

Осенью 1849 г. приехал в Петербург генерал-майор Филипсон, бывший в последнее время начальником штаба войск кавказской линии и Черноморья. Я очень удивился, узнав от него, что он совсем оставил Кавказ, на котором он служил столь отлично во всех отношениях в продолжение 14 лет. Причину этого он изъяснял следующим образом:

— Граф Воронцов (тогдашний главнокомандующий на Кавказе) с самого приезда своего на Кавказ не взлюбил меня, полагая, что я немец, но когда он узнал, чтó я русский, то он меня возненавидел.

Говорили, что он имел слабость к туземцам, а из европейских народов уважал только англичан. Филипсон, получивший назначение начальника штаба 4 пехотного корпуса, которым в это время командовал генерал-адъютант Сакен (Дмитрий Ерофеевич), оставил молодую беременную жену в Петербурге, где она в конце декабря родила дочь Варвару (умерла 9 апреля 1873 г. замужем за Василием Ивановичем Солдатенковым).

Служебные мои занятия в зиму 1849 и 1850 г. состояли в исполнении разных поручений Клейнмихеля в Петербурге. 18 марта 1850 г. я был назначен членом комитетов: учебного главного

управления путей сообщения и по сооружению постоянного через р. Неву моста и технической комиссии при департаменте железных дорог, с оставлением при главноуправляющем, так что сверх занятий в означенных комитетах и комиссии продолжал исполнять разные служебные поручения, даваемые мне Клейнмихелем.

В учебном комитете старшим по чину был инженер путей сообщения генерал-лейтенант Рерберг (впоследствии инженер-генерал и сенатор, уже умерший), но всем делом руководил бывший членом этого комитета, отказавшийся от предложения председательствовать в нем, генерал-адъютант Яков Иванович Ростовцев. Правителем дел комитета был неоднократно мною упоминаемый А. И. Баландин.

Комитет собирался очень редко. Протоколы будто бы бывших заседаний рассылались к членам его для подписи. Благодаря правителю дел они были всегда хорошо составлены и чрезвычайно аккуратно переписаны.

В заседаниях комитета говорил почти один Ростовцев. Случалось поднимать голос Рербергу и Языкову (П. А.), которые постоянно спорили друг с другом. Сидевший подле меня член комитета, инженер путей сообщения подполковник Редер (бывший впоследствии действительным статским советником и инспектором классов института путей сообщения, уже умерший), весьма талантливый рисовальщик, отлично изображал этих господ в карикатурах.

Ростовцев обыкновенно раздавал разные занятия членам комитета и хотел на меня возложить перевод какой-то немецкой книги.

Я отказался, возражая, что я плохо знаю немецкий язык. Ростовцев, кажется, этому не поверил и упрекнул меня, что я не хочу употреблять мои знания и способности по учебной части. Я продолжал участвовать в заседаниях комитета до переезда моего в Москву в 1852 г., а когда, спустя 9 лет, я снова переведен был на службу в Петербург, меня более в него не приглашали.

Клейнмихель, по неизвестной причине, долго не ехал. Во второй половине июня приехал от него курьер, с таинственным видом сказавший мне, что Клейнмихель опасно болен в курской деревне своей жены и требует моего немедленного туда приезда. О болезни Клейнмихеля курьеру не приказано было говорить никому ни слова. Я немедля выехал и в своей коляске, по курьерской подорожной, в 16 часов поспел из Екатеринослава в деревню Клейнмихеля, в нескольких верстах от г. Обояни.

На другой день я видел Клейнмихеля очень больным в постели, он мне сказал, чтобы я подписался свидетелем на его завещании. Прошло несколько дней, болезнь туго подавалась средствам доктора Фейхтнера и докторов, приехавших из Харькова; я несколько дней не видал больного.

Когда Клейнмихелю сделалось лучше, первым его действием была следующая комедия. Он приказал свое завещание принести потихоньку в кабинет его жены и положить на ее стол. Этим завещанием он делал жену свою наследницею всего своего имения, состоящего из благоприобретенного им м. Почепа, населенного

4800 крепостными крестьянами. Этот акт был не только бесполезен, но мог быть и убыточен. Графиня имела по закону право только на $^1/_7$ часть имения и следовательно, наследуя всем имением, должна была бы внести за остальные $^6/_7$ имения пошлинные деньги, которые составили бы до 20 т. рублей. Графиня же, имея собственное большое состояние, вовсе не нуждалась в предоставлении ей этого имения, которое, впрочем, никогда ничего не приносило, кроме убытков: оно было заложено в сохранной казне, куда ежегодный платеж процентов простирался свыше 20 тыс. руб. Каждый год накоплялась на нем недоимка, по временам уплачивавшаяся из доходов с собственных имений графини.

Когда здоровье Клейнмихеля дозволило ему выходить из комнаты, он сиживал во время обеденного стола, накрытого в аллее сада, перпендикулярной к дому, на террасе перед домом и оттуда смотрел в зубы нам, сидевшим за столом. Он очень был недоволен, когда состоящие при нем инженеры редко показывались в его семействе, так что Серебряков решился мне сказать о заявленном Клейнмихелем неудовольствии на то, что я прихожу только обедать, о чем Клейнмихель выражался следующим образом:

— Я пригласил сюда Дельвига в надежде, что он своею беседою рассеет деревенскую скуку семьи моей, а он только валяется в постели, задрав вверх ноги, и обжирает меня, получая сверх того мои порционы.

Под этим Клейнмихель разумел 2 р. 50 к. суточных денег, которые состоящие при нем

получали во время командировок из Петербурга, конечно, не от него, а из казны, но в его понятиях это было одно и то же. Серебряков мне передал слова Клейнмихеля. Я отвечал откровенностью за откровенность, сказав ему:

— Клейнмихель мне неоднократно говорил, что он пригласил меня в гости, а что от вас он требует разных услуг, а вы ничего не делаете.

Клейнмихель долго не поправлялся от болезни и назначил себе неподалеку от господского дома место, на котором желал быть похороненным.

В Дмитриевское приезжали какие-то помещики, а более помещицы, родные и знакомые графини, отличавшиеся малым образованием и ничем более. Графиня была с ними любезна, граф высокомерен до такой степени, что не хотел, чтобы она с кем-нибудь из них съездила на богомолье в Белгород. Она просила меня поехать с нею, и мы в карете на почтовых лошадях съездили туда и назад в один день, побывав в Белгороде у обедни и у харьковского архиерия в его летнем помещении. Впрочем, сообщения наши с Харьковым были почти ежедневные: туда посылали и за докторами, и за лекарствами, и за всякою безделицею, нужною в домашнем обиходе. Например, испортится самая дешевая лампа; починка ее стоит рубль; между тем, снаряжается курьер из казенно-служащих; ему выдаются прогонные деньги на три лошади до Харькова и обратно и суточные деньги по положению; все это из казенных сумм.

Клейнмихелю в голову не приходило, что поступает незаконно. Он впрочем, и не думал об этом. Таким образом он расходовал казенные

суммы для своих надобностей. Но в публике существовали ложные мнения, что Клейнмихель наживал от своей должности миллионы рублей, которые переводил в английский банк, и что государь дарил ему значительные суммы. Первое мнение, как совершенную нелепость, я не намерен опровергать, а второе также несправедливо, так как мало было лиц, которые, возвысясь в чиновной иерархии подобно Клейнмихелю, получали бы так мало аренд и других денежных выдач. Он не хотел их испрашивать, чему приведу следующий пример. В 1851 г. предстояло открытие железной дороги между двумя столицами и в семействе Клейнмихеля говорили о награде, которую он получит по этому случаю. Уверяли, что он желает получить титул князя, но что жена его в виду их долгов и большого числа детей желала получить хорошую сумму денег, которую, конечно, дали бы не иначе, как по особой просьбе ее мужа, а просить он не соглашался.

Однажды вечером, улучив время, в которое мы остались наедине, Клейнмихель мне сказал, что жена уговаривает его просить у государя, чтобы по имению Почеп, заложенному в сохранной казне, взыскивали с него только капитальную сумму без процентов, и что тогда придется ежегодно вносить в эту казну в 6 раз менее, против настоящего их взноса. Передавая мне это, Клейнмихель обратил мое внимание, что подобная выдача капиталов с возвращением их в казну без процентов часто производится лицам и менее его заслуженным, но что он не понимает, как можно при таком ничтожном ежегодном

платеже уплатить в 37 лет весь занятый капитал, при чем просил объяснить ему это просто без вычурных выражений. Я отвечал, что его рассуждение правильно и объяснил ему это тем, что он платит теперь с занятого из сохранной казны капитала ежегодно 6%, т.-е. на каждые занятые 100 р. платит 6 р.; в то число собственно в уплату капитала платит только 1%, т.-е. 1 рубль, так что в последнем случае он уплатил бы в продолжение 37 лет, вместо занятых им 100 р., 37 рублей.

Он это понял и с того времени решительно отказал в просьбе своей жены, которая догадалась, что это было следствием моих пояснений и несколько времени на меня дулась.

Читателю покажется странным, что я не объяснил Клейнмихелю теорию погашения займа в сохранной казне, но я знал, что он ничего не понял бы из моего объяснения и не дал бы мне даже его окончить. Это мне напоминает следующую сцену. Князь Кочубей испрашивал концессию на железную дорогу от Харькова до Одессы с гарантией 5% на капитал и какой-то части процентов на его погашение. В Петербурге в гостиной графини Клейнмихель сидели она, муж ее, брат его первой жены наш посланник при неаполитанском дворе Кокошкин и П. А. Языков. Кокошкин спросил у Клейнмихеля, что значит, что Кочубей просит сверх 5% на капитал еще какие-то проценты. Клейнмихель, не зная, что отвечать, сказал:

— Кочубей дурак, сам не знает, что просит.

Языков же вздумал при этом объяснить теорию погашения занятого капитала. Клейнмихель

взглянул на него очень сурово, и Языков, с перепугу, начал молоть о погашении такую бессмыслицу, что никто не в состоянии был бы понять то, что он объяснял.

В половине июня Клейнмихель начал говорить, что для его здоровья пребывание в его имении Почепе Черниговской губернии предпочтительнее, и начал туда собираться. Каждый вечер назначался выезд на другое утро и утром отменялся. Все время пребывания Клейнмихеля в деревне уездный исправник и окружной начальник государственных имуществ не сходили со двора господского дома, и у них были в готовности 60 лошадей для экипажей Клейнмихеля, его семейства, свиты, прислуги и кухни.

От курского имения с. Дмитриевского до с. Почепа, на протяжении 400 верст, через каждые 20 верст было с тою же целью приготовлено по 60 лошадей. Этих лошадей, по распоряжению местных губернаторов, брали у окрестных владельцев. Были такие помещики в весьма малом числе, как, например, мой старый друг А. С. Цуриков, которые не слушались исправников и не высылали своих лошадей, но тем тягостнее было их соседям, так как во всяком случае требовалось на каждую станцию не менее 60 лошадей. Эти лошади прождали Клейнмихеля 6 недель в самую жаркую рабочую пору, в июле и августе.

В начале августа Клейнмихель получил, несмотря на значительно уменьшившееся с 1849 г. к нему расположение государя, новое письмо, в котором его величество выражал живое участие к болезни Клейнмихеля. Это письмо было

показываемо всем и каждому, не исключая исправника и окружного начальника государственных имуществ, на которых Клейнмихель в продолжение двух месяцев не обращал никакого внимания, как будто не знал, что они проводили целые дни на господском дворе.

Путь из с. Дмитриевского в м. Почеп следовал через Курск. Верстах в 4 от этого города было поместье Аркадия Аркадиевича Нелидова, вдовца, который был женат на сестре графини Клейнмихель.

Он пригласил графа с семьею и со свитою остановиться у него в доме. Не будучи знаком с А. А. Нелидовым и не получив от него личного приглашения, я нашел более удобным остановиться в Курске на каком-то довольно грязном постоялом дворе. Конечно, я каждый день ездил в имение Нелидова, очень высокомерного господина, имевшего одну дочь, тогда еще ребенка, со временем богатую невесту.

Все курские власти являлись к Клейнмихелю. Подобострастие к нему губернатора Устимовича, состоявшего под его особым покровительством, понятно, но мне показалось странным, что вице-губернатор Селецкий, человек повидимому порядочный, вел себя относительно Клейнмихеля с таким же подобострастием.

По целым часам мы ходили по прекрасному парку в имении Нелидова, и все курские власти, в том числе и Селецкий, под жгучим солнцем, никогда не надевали шляп. Клейнмихель, конечно, ни слова не сказал бы им, если бы они накрылись. Принадлежавшие к его свите шли рядом

в фуражках; он же никогда не приглашал надеть шляпы. Впрочем не одно чувство подобострастия умел вселять Клейнмихель в лицах, которым хотел нравиться.

По приезде в м. Почеп, Клейнмихель был недоволен тем, что не нашел там ни черниговского губернатора Гессе, ни губернского предводителя дворянства Бороздна, хотя и знал, что они два раза были в Почепе в ожидании все откладывавшегося его приезда и что они задержаны в Чернигове проездом наследника. Эти власти были так же подобострастны к Клейнмихелю, как и курские. Бороздна, бывший впоследствии губернатором в юго-западных губерниях, особенно поразил меня тем, что он лобызал то грудь, то плечо Клейнмихеля.

Почеп был в числе имений, пожалованных Петром великим знаменитому князю Меньшикову. При его падении это имение было отобрано в казну и впоследствии дано императрицею Елисаветою Петровною * ее мужу * князю Разумовскому. Последний владелец Почепа князь Репнин наделал неоплатные долги. Его делами заведывал Федор Петрович Лубяновский, бывший тогда сенатором, которого старший сын Петр служил старшим адъютантом в главном штабе его величества в бытность Клейнмихеля дежурным генералом.

На Почепе были большие недоимки по неплатежу процентов в сохранную казну, в которой он был заложен. При продаже Почепа с аукционного торга, предлагаемая за него сумма не покрывала капитального долга с недоимками. Ф. П. Лубяновский, желая подслужиться Клейнмихелю,

устроил так, что Почеп, по высочайшему повелению, велено было передать последнему, переведя на него только капитальный долг, сделанный на 4200 душ, числившихся по прежней ревизии. По новой ревизии оказалось 600 душами более, так что при перезалоге Почепа по этой ревизии осталось у Клейнмихеля до 50 тыс. руб. Клейнмихель, ничего не смысля в этих расчетах, вообразил, вероятно, что это доход с имения, и впоследствии никак не мог понять, отчего доходы с него так недостаточны, что графиня должна была, как выше мною сказано, прибавлять к ним значительную сумму для уплаты процентов в сохранную казну. В 1850 г. Почепом управлял отставной офицер Гуюс, товарищ А. А. Вонлярлярского по шоссейным подрядам. А. И. Рокасовский находил фамилию этого управляющего неприличною и, говоря с графинею Клейнмихель, краснел, когда надо было назвать Гуюса.

Последний взялся устроить дела по имению так, чтобы оно приносило доход, и не успел в этом. Но в те годы, в которые он управлял имением, графиня ничего не добавляла для уплаты процентов; его управление продолжалось только три или четыре года.

В Почепе был великолепный господский дом, сад, большой парк, несколько каменных домов, выстроенных торгующим в местечке купечеством, и десять церквей, из которых ближайшая к господскому дому называлась придворною. На иконостасе церкви были позолоченные вензеля Е, в воспоминание императрицы Елисаветы Петровны.

В Почепе Клейнмихель был еще высокомернее. Он гордился тем, что это имение, принадлежа-

вшее Меньшикову и Разумовскому, составляет теперь его собственность: ему казалось, что это придает ему аристократический лоск.

В Почеп приезжало к нему более посетителей, чем в Дмитриевское. Приезжал к нему гостить родной его племянник генерал-адъютант Николай Александрович Огарев и почти каждый день, между прочими, бывал состоявший при нем по особым поручениям, камергер Андрей Михайлович Гулевич с женою, жившие в своем соседнем имении.

Свита Клейнмихеля была помещена довольно просторно, так что к Серебрякову приехала его жена.

Клейнмихель любил хвастаться своею собственностью и всем, что она вмещает. Жена старалась ему угодить, превознося Почеп, хотя очень сожалела о деньгах, которых он им стоил.

В наше пребывание были устраиваемы рыбные ловли и охота на зайцев. На рыбной ловле из невода вытаскивали множество рыбы такого рода, что их не могло быть в протекающей в имении речке. Явно было, что вся рыба купленная. Когда ходили на охоту с ружьями, то после каждого выстрела поднимали прежде разбросанных зайцев, также купленных в ближайшем городе.

Клейнмихель не давал себе труда подумать, а то, конечно, догадался бы, что его надувают. Вероятно, заметив на моем лице улыбку сомнения при вынутии невода из реки, он особенно настаивал передо мною в том, что его имение действительно изобилует всем, и в доказательство прислал ко мне в комнату показать медведя,

который, как его уверили, был также пойман на его землях, что впрочем и не представляло невероятности.

Земли в имении было 40 тысяч десятин. Клейнмихель не допускал мысли, чтобы можно было видеть ее границы. Так, идя с женою своею, мною и приказчиком имения, он говорил, что лес, который виден был на конце поля, принадлежит ему и что за лесом лежащая земля также его. Приказчик доложил, что земля Клейнмихеля кончается в лесу, что прежде почепские земли действительно шли далее, но что прежний владелец, князь Репнин, их продал.

Клейнмихель сердито закричал:

— Ах, он подлец такой, как он смел продавать мои земли.

Этому приказчику постоянно доставалось от Клейнмихеля. Когда он пришел однажды доложить, что приехали купцы для покупки липового леса, Клейнмихель спросил, зачем им этот лес; приказчик отвечал, чтобы ободрать кору на мочала. Тогда Клейнмихель, рассердясь, закричал:

— Хотят обдирать кору с моего леса, а ты не содрал с них кожи. Клеопатра, Клеопатра, — обращаясь к жене своей, — нашлись люди, осмелившиеся предлагать мне покупку моего леса для обдирания с него коры, а этот мошенник не содрал с них живых кожи.

Я объяснил Клейнмихелю, что полезно продавать на срубку старый лес, что этим способом можно было бы получить доход с его бездоходного имения.

Он отвечал:

ГРУБОСТЬ КЛЕЙНМИХЕЛЯ

— Нет, мои дети не скажут, чтобы я что-либо продал из имения, которое они после меня наследуют.

Казарменное неприличие в его обращении доходило до невероятия.

*Случилось ему, во время одной из прогулок, что-то показывать своей жене, которая была близорука и позабыла, кто у нее взял лорнет; когда я его подал графине, он спросил меня, где я нашел лорнет; я отвечал, что у одной из его дочерей, на что он сказал:

— Ах они стервы такие!

В то время они были молоденькие скромные девочки и он их любил. Подобных рассказов я мог бы привести множество; ограничусь следующим. Все семейство Клейнмихеля и его гости сидели в гостиной; на одном из столов играли в карты; в числе играющих был Гулевич, который, призадумавшись о том, с какой выйти карты, посмотрел на потолок. Клейнмихель несмотря на то, что рядом с ним сидели с одной стороны обе его старшие дочери и жена Серебрякова, а с другой его жена и жена Гулевича, и что в комнате были еще другие дамы, обратился к Гулевичу со следующими словами:

— Что ты выпучил глаза в дыру задницы (на потолке был написан голый купидон), там ничего не написано*.

Разные нецензурные выражения, на которые Клейнмихель был большой мастер, раздавались очень часто при его детях. Это, а равно и вообще обращение Клейнмихеля с лицами, ниже его поставленными, весьма дурно действовало на его сыновей, которые старались во многом подражать

ему, и это до такой степени, что я находил для себя обязательным предупредить их мать.

Она понимала это, благодарила за внимание, но не могла ничем помочь. Обе старшие дочери, Елисавета, впоследствии баронесса Пиллер, и Александра, впоследствии баронесса Козен, вполне от нее зависевшие, были очень милы и скромны; характер старшей был мягче, но мне более нравилась младшая.

Клейнмихель не обращал внимания на воспитание своих детей. Он учил их драться еще на руках кормилиц, а как только они начинали произносит слова, то и ругаться.

При разрывании порохом камней в русле порожистой части Днепра вылетали разные весьма древние монеты, инструменты и другие предметы; некоторые из них я хотел передать Клейнмихелю.

В с. Дмитриевском, по причине его болезни, я не мог этого сделать. В Почепе же я принес все эти вещи в большой дом и, оставив их в передней, вошел в залу, где, найдя Клейнмихеля, начал было ему говорить о предметах, привезенных мною с порогов, но он, не любя, чтобы ему доказывали словесно о чем-либо касающемся до технической части и, вероятно, вообразив, что мой разговор относится до этой части, не дослушав меня, подойдя к бывшему в той же зале на руках кормилицы своему младшему сыну (впоследствии нашему младшему военному агенту в Париже, там умершему), сказал ему: «Мишка, бей ее (т.-е. кормилицу), хорошенько бей», и, взяв его ручонки, бил ими по щекам кормилицы. Вслед за этим он исчез

из комнаты, а означенные предметы с порогов и до сего времени находятся у меня.

В конце августа я получил уведомление от жены, жившей все лето в имении сестры моей, что она выезжает в Петербург, а от ее брата Валерия — что мне необходимо приехать в нижегородское имение для смены бурмистра, мало пекущегося о сборе оброка, и для обзора действией землемера, отмежевывающего пустошь в 9500 дес. земли, заложенных по неисправным откупам Абазы и предназначенных к продаже с аукциона.

В имении я остановился в тесной комнате конторы и на другой день по приезде был в Богородском, в господском доме которого жили шурья мои Валерий и Николай. К обеду приехал мой свояк граф Толстой, с которым мы не имели никакого сношения почти три года.

Дикость Толстого доходила до того, что, будучи вообще честным человеком, он иногда делал бесчестные поступки и даже ими хвастался.

В имении жены моей было несколько водяных мельниц, которые за бесценок были сдаваемы в аренду ее крестьянам. По распоряжению шурина моего Валерия, эти мельницы в 1849 г. были сданы за несколько высшую цену Толстому, в имении жены которого, по соседству, было также несколько мельниц. Толстой вместо того, чтобы употребить в дело мельницы, принадлежащие жене моей, совершенно запустил их и даже срыл мельничные плотины, так что лишил жену и того малого дохода, который она получала с них.

На вопрос мой Толстому, зачем он это сделал, он отвечал самым грубым образом, что неужели, зная, что означенные мельницы берет на аренду сосед, владелец таких же мельниц, я мог предполагать, что он берет их с другою целью, а не для того, чтобы их уничтожить, и что он так и сделал, приказав навоз из плотин, который накладывали (он употребил другое выражение) в них со времен Петра великого, вывезти на поля. Это суждение было до того дико, что я оставил его без ответа.

Проездом через Нижний-Новгород в оба пути я останавливался в доме председателя казенной палаты Б. Е. Прутченко. Я всегда любил беседу умного старика. У него в это время я каждый день обедал с служившим в казенной палате красивым молодым человеком, весьма прилично одетым и с изящными манерами. Он говорил по-русски без акцента и казался хорошо образованным. Прутченко, вследствие всех этих достоинств, приблизил его к себе, и я удивлялся, что такая замечательная личность служит в губернском городе. Он долго оставался на этой службе, постоянно отличаемый Прутченко. Он был уже помолвлен с дочерью отставного инженера путей сообщения Лина, как вдруг был арестован и послан в Сибирь. Оказалось, что этот господин был из сосланных в Сибирь, где он, неизвестно каким образом, присвоил себе паспорт и имущество какого-то умершего и по этому паспорту поступил на службу. Узнали, кто он такой очень странным способом. Понятно, что многие чиновники не любили такого изящного господина. Один из писцов его стола

в палате имел брата писцом в нижегородском губернском правлении, который прочитывая извещения сибирских начальств, нашел, что приметы одного беглого точно списаны с столоначальника его брата, и сообщил ему об этом. Последний, рассердясь однажды на своего начальника, назвал его именем беглого и заметил в нем перемену в лице. Он об этом донес полиции, и по распоряжению губернатора молодой человек был схвачен и во всем сознался.

В Москве я нашел Клейнмихеля, который немедля по моем приезде поручил мне исследовать причину обрушения моста в г. Луцке и возобновить его. При этом обрушении сильно изувечены три солдата из лагеря, стоявшего в Луцке. В самый день падения моста наследник великий князь Александр Николаевич проехал через него четыре раза.

Племянник Клейнмихеля, генерал - адъютант Огарев, обязался поставить железные болты для деревянных ферм американской системы мостов, строившихся на железной дороге между двумя столицами. Он, заявил, что, по неимению в продаже в Петербурге круглого железа потребной на болты толщины и по причине закрытия навигации, он не в состоянии их поставить к сроку (через это задерживалось открытие движения по строящейся дороге), а так как железные болты, употребленные для подмостей моста через Неву, оказываются более ненужными, то просил их продать ему.

Всего проще было бы избавить Огарева от поставки болтов, заменив их имевшимися

в распоряжении казны. Казалось, что Клейнмихель и полагал так сделать, браня заочно Огарева за постоянно испрашиваемые им льготы и пособия и называя его «бесштанником», но по ходатайству, как говорили тогда, своей жены дал предписание комитету по устройству моста передать болты Огареву с 20% скидки с заготовительной цены.

Болты эти были привезены из Англии беспошлинно, как мне помнится, по 2 р. за пуд и уступлены Огареву за 1 р. 60 к. за пуд. Цена же, по которой обязался Огарев поставлять болты мостов железной дороги, была 4 р. 50 к. за пуд, а так как передаваемые ему болты могли быть употреблены на означенных мостах без всякой переделки, то он и получил чистой выгоды за каждый пуд по 2 р. 90 к., а на всех болтах сколько помнится, более 50 тыс. рублей.

Между тем, я состоял в офицерских чинах уже 22-й год и, несмотря на мои похождения на Кавказе и в Венгрии и близость мою к Клейнмихелю, я еще не достиг полковничьего чина, которого многие достигали тогда в 10 лет и даже менее.

По этим причинам, а также и потому, что мне надоело быть свидетелем капризов Клейнмихеля, я решился 16 декабря 1850 г. послать к нему прошение на высочайшее имя об увольнении меня со службы, рассчитывая по получении отставки заняться в деревне хозяйством и в особенности торговлею лесом, а в случае неуспешного хода моего хозяйства — поступить в гражданскую службу, в которой М. Н. Муравьев обещался, по дружбе своей с министром

внутренних дел Перовским, определить меня на первую вице-губернаторскую вакансию. При открытии же вакансии председателя межевой канцелярии Муравьев желал, чтобы я принял на себя эту должность.

Просьба моя об отставке оставалась без всякого движения.

Я уже говорил, что Клейнмихель никогда не занимался с деректорами департамента и другими высшими чинами управления. Докладчиками его были директор его канцелярии и гражданские чиновники особых поручений, а всего чаще избранный им писарь.

При назначении Клейнмихеля главноуправляющим путями сообщения, он взял с собою из военного ведомства писаря Иванова, весьма ловкого и смышленного, который, имея постоянно личный доклад у Клейнмихеля, конечно, играл значительную роль. Произведенный вскоре в гражданский офицерский чин, он несколько лет еще исполнял ту же должность. По выходе его в отставку, он был заменен писцом Леоновым, также толковым и расторопным и сверх того красивым молодым человеком.

Леонов, остававшийся во время плавания нашего по Днепру в Екатеринославе, позабыл отпустить с Клейнмихелем какую-то бумагу. По возвращении в Екатеринослав, Клейнмихель, при входе Леонова в его кабинет, пустил в него стулом и сверх того приказал дать ему большое число ударов розгами. По положению, которое Леонову дал Клейнмихель, казалось, что он должен был быть избавлен от телесных наказаний. Нам было его очень жаль, и мы все, находившиеся

при Клейнмихеле, приняв на себя вину Леонова, упросили его отменить это наказание.

В этом (1851) году 22 августа исполнилось 25 лет с коронации императора Николая I, и он со всем семейством к этому дню переехал из Петербурга в Москву, в первый раз по железной дороге.

Решимость Клейнмихеля везти государя со всем семейством по неоконченной дороге, на которой не было в надлежащем числе ни сторожей, ни сигналов и не устроено было порядка эксплоатации, можно только отнести к тому, что он не понимал опасности, какой подвергались проезжающие по дороге при означенных условиях.

В одном месте дороги стрелка не была хорошо направлена на путь, по которому шел паровоз. Стрелочник, из отставных солдат, перед самым проходом паровоза подвинул ее ногою, вследствие чего лишился ступни. Без этой находчивости, отважности и преданности, о которых не было доведено до сведения государя, поезд сошел бы не только с рельсов, но и упал бы с насыпи.

Государь выходил из вагона на устроенном через ручей Веребью мосту, длиною в 300 и вышиною в 26 саж. Для осмотра моста снизу, он сходил на самый ручей. Когда он сел снова в вагон поезд не мог тронуться с места. Оказалось, что по распоряжению производителя работ, инженера путей сообщения Журавского, рельсы на мосту для лучшего вида были окрашены. Наконец, насыпали на них песку, и поезд тронулся.

Государь, довольный постройкою моста, несмотря на эту остановку, произвел Журавского в следующий чин подполковника и дал ему орден св. Владимира 4 ст. Начальники обеих дирекций железной дороги Крафт и Мельников получили орден св. Анны I ст. прямо с императорскою короною. Клейнмихель ничего не получил ни теперь, ни при открытии дороги в ноябре. Государь в это время был им недоволен по причине, которую я объясню в своем месте.

В Екатеринославе 22 августа был бал в дворянском собрании, которое помещается во дворе, построенном князем Потемкиным-Таврическим. Зал собрания имеет весьма большие размеры, как и все, что предпринимал этот баловень счастья. Его намерение было сделать из Екатеринослава огромный город с значительными сооружениями. С этою целью он начал строить в нем здания на большом одно от другого расстоянии и в верхней части города заложил огромнейший собор, который величиною своею не уступал бы храму св. Петра в Риме. Все эти величавые затеи привели к тому, что город, с весьма широкими грязными улицами, растянут по берегу Днепра на весьма значительном протяжении, через что сообщения в нем затруднительны. Фундамент, заложенный под собор, составляет теперь каменную ограду около существующего собора, построенного в ее центре, и расстояние до него от ограды значительно.

Глупость генерал-адъютанта Владимира Ивановича Назимова была также почти всем известна,

но это не помешало ему быть попечителем учебного округа, а впоследствии генерал-губернатором северо-западного края. В обеих должностях, и особливо в последней, при начале польского мятежа в 1861 году и 1862 году, он наделал много вздору, который со временем раскроется историею.

По переезде моем в Москву в 1851 году, я часто встречался с Назимовым у его родственника, очень умного старого сенатора Александра Феодоровича Дребуша. Назимов любил беседовать со мною и за обедом всегда старался садиться возле меня. Осенью 1853 года, на одном из таких обедов, сенатор, посланный для изыскания средств к прокормлению голодавших, вследствие сильного неурожая, крестьян Смоленской, Витебской и Могилевской губерний, и только что возвратившийся из этой командировки, толковал с Дребушем о затруднениях доставить необходимые для прокормления крестьян продукты.

Назимов, слыша эти разговоры, сказал мне:

— Удивительно, что такие умные люди затрудняются в столь простой вещи. Стоит только послать в эти губернии войска.

На замечание мое, что обыкновенно не только не посылают войск в места, где был неурожай, но и те, которые в них стояли, выводят, — он мне сказал:

— Вы не дослушали меня, надо послать войска с тем, чтобы каждый солдат пришел в эти места с двойным пайком: один для себя, а другой для крестьянина.

Я заметил, что войска теперь нужны на Дунае для открывшейся войны с Турциею, но если бы

и не было этой войны, то пайки всего нашего войска были бы недостаточны для прокормления жителей означенных губерний, которых число простирается до нескольких миллионов. Он этим не убедился и кончил разговор словами:

— Все же надо послать туда войска.

Этот разговор показывает степень ума Назимова. Вообще он находил, как это свойственно людям мало понятливым, легкое разрешение самым трудным задачам. Почти в каждую встречу со мною Назимов превозносил ум и дарования Клейнмихеля, вероятно в надежде, что его слова дойдут до последнего, но это продолжалось только до увольнения Клейнмихеля от должности главноуправляющего путями сообщения в конце 1855 года.

Тогда он при мне же вздумал бранить Клейнмихеля, так что я должен был его остановить и напомнить, что он незадолго перед тем имел совершенно другое мнение о Клейнмихеле.

В конце октября Клейнмихель уехал из Москвы, приказав мне сопровождать первый пассажирский поезд по железной дороге из Москвы в Петербург, не вмешиваясь, впрочем, ни в какие распоряжения начальства дороги.

Первый поезд отправлен 1 ноября. Я ехал в нем в вагоне I-го класса, в котором было 16 пассажиров; в их числе князь Владимир Сергеевич Голицын, бывший начальник центра кавказской линии и в это время находившийся в отставке. Он известен был своими остротами, которые и рассыпал безостановочно. Он доехал только до первой станции Химки с целью испытать путешествие по железной дороге.

В Химках в вагон I класса вошли двое моих знакомых: князь Друцкой, бывший адъютант московского военного генерал-губернатора, и Петров, который был женат на княжне Вере Васильевне Урусовой, родной сестре жены покойного моего дяди, князя А. А. Волконского, ныне игуменьи Вознесенского монастыря.

На одной из дорожных станций, обер-кондуктор поезда сказал мне, что эти господа имеют билеты III-го класса и что он боится ответственности, оставляя их в вагоне I-го класса, а видя, что они знакомы со мною, не смеет им указать их место. Я отвечал, что он должен исполнять свою обязанность, не обращая внимания на знакомство этих господ со мною.

Вслед за этим они исчезли из вагона I класса, но провели ночь в вагоне не III, а II класса. Обер-кондуктор неоднократно просил их занять принадлежащие им места и только на последней станции перед Петербургом успел их убедить. На его просьбы они отвечали бранью. Они не могли понять, как смеет отставной унтер-офицер указывать, где должны сидеть они, дворяне и офицеры. Вот какие были в то время понятия большей части нашего общества.

Клейнмихель встретил наш поезд в Петербурге на станции и говорил с Друцким и Петровым. Обер-кондуктор испугался, воображая, что они на него жалуются, и просил моей защиты перед Клейнмихилем. Я успокоил его, уверив, что они будучи сами виноваты, не посмеют жаловаться. В продолжение всего ноября Клейнмихель встречал почтовые поезда. Он, не получив награды в августе, когда они были розданы

инженерам, строившим дорогу, ничего не полу чил и при ее открытии. Причиною этого было все большее и большее охлаждение к нему госу даря, в чем можно убедиться из следующего рассказа.

8 декабря Клейнмихель, по входе моем в его кабинет, сказал, что он потребовал меня, чтобы дать весьма важное поручение, которое, он надеется, я исполню вполне хорошо, — что на него подана жалоба государю человеком, которого он облагодетельствовал. Вслед затем, он спросил меня, могу ли я догадаться, кто именно жаловавшийся, и на мой отрицательный ответ сказал, что это А. А. Вонлярлярский. Я выразил удивление. Мне тогда не было известно, что отношения Клейнмихеля к Нелидовой, а вследствие этого и к Вонлярлярскому, изменились.

Я впоследствии узнал, что Вонлярлярский, употребивший значительную сумму на изыскания по составлению проекта железной дороги от Москвы до Нижнего-Новгорода, которые ему стоили особенно дорого, потому что он не имел разрешения на их производство, просил в начале 1849 г. о выдаче ему концессии на постройку означенной дороги, конечно, с известною гарантиею правительством капитала, потребного на сооружение дороги. Эта просьба Вонлярлярского была передана государем Клейнмихелю.

Последний, находя это предложение невыгодным для казны, отверг его, и через это уже прежде пошатнувшиеся отношения его к Нелидовой еще более ухудшились.

В течение минушего лета государь, в первый раз проехав по шоссе между Мало-Ярославцем

и Бобруйском, на котором подрядчиком был Вонлярлярский, произвел последнего из отставных подпоручиков в статские советники. Не было примера подобной награды подрядчикам, но я не подозревал, что эта награда была дана без представления Клейнмихеля. Последний передал мне следующее.

Вонлярлярский подал ему 30 ноября прошение, в котором жаловался на то, что ему не платят за произведенные работы. Прошение это немедля было послано в могилевское окружное правление путей сообщения для представления объяснений, но 4-го декабря, в день именин В. А. Нелидовой, она передала государю новое прошение Вонлярлярского, в котором он жалуется, что Клейнмихель, через неплатеж заработанных им денег, разоряет его и лишает возможности уплачивать рабочим, которые поэтому находятся в самом бедственном положении.

Государь прислал это прошение Клейнмихелю, требуя немедленного разъяснения. Претензии Вонлярлярского были очень сложны, для опровержения их требовалось много справок по делам в департаментах главного управления путей сообщения, и потому Клейнмихель донес государю, что не может представить объяснения ранее 7 декабря.

Во всеподданнейшем по этому предмету докладе он, представив опровержения жалобам Вонлярлярского по справкам, извлеченным из дел департаментов, полагал полезным для ближайшего их расследования послать в Могилев доверенных лиц,возложив на них, вместе с окружным правлением, обязанность представить свои заключения.

Клейнмихель сказал мне, что из всего видно, что государь хочет дать Вонлярлярскому денег сверх того, что ему следует, и что он желал бы сделать угодное государю, но обязан представить его величеству все дело в настоящем виде и потому просил меня быть вполне справедливым, отнюдь не делая придирок к Вонлярлярскому, а напротив того, за все, что окажется в его жалобах правильным, выдать ему немедля деньги из 300 тыс. руб., которые Серебряков и я получим из государственного казначейства и повезем в Могилев.

Явно, что Вонлярлярский решился подать государю просьбу на Клейнмихеля потому, что он и Нелидова полагали, что расположение государю к Клейнмихелю до того поколеблено, что вследствие этой жалобы последний может быть удален от должности, на которую они готовили генерал-адъютанта Николая Николаевича Анненкова, бывшего впоследствии государственным контролером.

Кроме того, отказ Клейнмихеля дать концессию Вонлярлярскому на Нижегородскую железную дорогу показал, что последний не будет более получать выгодных предприятий, пока Клейнмихель останется в настоящей должности. Нелидовой и Вонлярлярскому надоело обращение с ними Клейнмихеля, который, несмотря на то, что Нелидова с каждым годом делалась важнее, а Вонлярлярский богаче, продолжал обращаться с ними невежливо.

Анненков, которого они прочили на место Клейнмихеля, был гораздо мягче последнего и, сверх того, родственник Вонлярлярскому...

Впоследствии о деле Вонлярлярского я узнал следующее. Государь, вследствие его жалобы, был очень раздражен не только против Клейнмихеля, но и против всех, так что он на 6 декабря, день его именин, хотел уехать из Петербурга в Гатчину и остался только по усиленной просьбе императрицы. 6 декабря государь принимал поздравление только от высокопоставленных лиц, был мрачен и холоден и в особенности с Клейнмихелем.

7 декабря, в день, в который Клейнмихель обещался представить объяснение по жалобам Вонлярлярского, фельдъегерь от государя являлся за ним три раза; в первые два его приезда объяснение еще переписывали набело, а перед третьим его приездом оно уже было отослано к государю.

Позже, по возвращении моем из Могилева, я узнал, что государь, по получении объяснения, призвал к себе Вонлярлярского и спросил у него, одобряет ли он распоряжение Клейнмихеля о посылке начальника штаба корпуса путей сообщения генерал-лейтенанта Мясоедова (Александра Ивановича, умершего в звании сенатора и начальника Измайловской военной богадельни) и Серебрякова для рассмотрения его жалоб вместе с могилевским окружным правлением путей сообщения.

Вонлярлярский отвечал, что он очень доволен этим распоряжением и уверен, что его жалобы будут найдены справедливыми.

Из этого видно, что я не был в числе лиц, которым, по докладу Клейнмихеля, поручалось расследование означенных жалоб. Мне и теперь

не понятно, зачем он послал меня, не включив моего имени в свой всеподданнейший доклад вместе с именами Мясоедова и Серебрякова. Впрочем, не зная об этом, я поехал в Могилев, согласно данному Клейнмихелем предписанию, на одинаковых правах с означенными лицами.

Мы поехали в Могилев в одном экипаже, в котором находился огромный сундук с деньгами, так как из государственного казначейства 300 тыс. руб. выдали мелкими кредитными билетами, для счета которых Серебряков и я употребили много времени. Уверяли тогда, что к концу года (декабрь месяц) казначейство было без денег, и будто бы оно с трудом набрало означенную сумму, вследствие чего в ней было много мелких билетов.

Приехав в Могилев, Мясоедов занялся деланием визитов к разным военным и гражданским властям и приемом их у себя. Многие военные того времени считали эти визиты и приемы особенно важным делом при исполнении ими поручений вне Петербурга. Затем, в продолжение нашего двухнедельного пребывания в Могилеве, он, не говоря уже об обедах, данных нам губернатором Гамалеем и управляющим VII (могилевским) округом путей сообщения Станевичем и бале у инженера-подполковника Ястржембского, обедал ежедневно в гостях и просиживал все вечера за карточною игрою.

Возложенным на нас поручением Мясоедов вовсе не занимался. За это принялись Серебряков и я без всякого замедления, так как Клейнмихель требовал, чтобы к празднику рождества Христова мы представили наше заключение по

порученному нам делу. Наш труд был много облегчен Станевичем, который, несмотря на свою тучность, мог работать целые дни без отдыха. Работа его была скорая и все, что он излагал словесно и на бумаге, отличалось ясностью. К сожалению, он готов был на всякие проделки по службе и, действительно, наворовал такую сумму, что купил огромное имение на имя своей жены, которая, по выходе его в отставку, бросила его. Он вскоре умер, кажется, в нужде.

В Могилеве он жил очень хорошо. Данный им нам обед был весьма роскошен. Большие деньги, проходившие тогда через правление VII округа путей сообщения, при его уме, дали ему возможность придать себе более значения, чем имел губернатор, так как все сословия участвовали в подрядах и зависели от Станевича. Положение его, как наиболее влиятельной в Могилеве личности, было заметно на каждом шагу. Конечно, он был заодно с Вонлярлярским и если с Серебряковым и мною опровергал его претензии, то это только потому, что он не мог писать иначе и потому, что ему, равно как и Серебрякову, известно было особое приказание Клейнмихеля, которое мне сделалось известным только год спустя.

На устройство 500 верст шоссе от Мало-Ярославца до Бобруйска полагалось в продолжение 5 лет отпускать ежегодно около миллиона рублей, но работы продолжались уже 8 год, на них были отпущены 9 миллионов руб. и только по прошествии такого долгого времени и уплаты, сверх контрактных, 4 миллионов рублей, вы-

плаченных без требования доказательств о причинах такой значительной передержки, Клейнмихель при испрошении новых дополнительных сумм, остановился их назначением и потребовал разъяснения необходимости их отпуска. Эта остановка в назначении сумм для уплаты Вонлярлярскому и вызвала жалобы со стороны последнего.

Жалобы его были очень сложны. Так как я пишу, не имея никаких бумаг того времени, то из 10 или 12 его претензий на неуплату ему за сверх-контрактные работы, упомяну только о некоторых. Вонлярлярский, между прочим, жаловался на неуплату ему за вторичную срубку леса на обрезах шоссе, так как, писал он в своем прошении, в продолжение 8-летнего производства работ по шоссе, не только на местах прежде покрытых лесом, но и на полях, успел в это время на обрезах шоссе вырасти частью кустарник, а частью довольно крупный лес. Предположение такой скорой растительности на протяжении, по которому проходит шоссе от Мало-Ярославца до Бобруйска, было очень забавно.

В действительности же Вонлярлярский за очищение обрезов шоссе от леса получил уже в четыре раза больше, чем платилось за эту работу на других шоссе. В контракте, заключенном с Вонлярлярским за рубку леса с корчеванием пней, назначены были одинаковые цены, которые были вдвое более цен других контрактов того времени. При заключение контракта с Вонлярлярским предполагалось срубить лес на обрезах, но во время устройства им шоссе вышло

высочайшее повеление о том, чтобы обрезы шоссе были очищаемы не только от лесу, но и от пней.

До объявления этого высочайшего повеления Вонлярлярский не приступил к рубке леса на обрезах шоссе, а впоследствии выкорчевывал его вместе с пнями. Между тем он получил отдельную плату за вырубку леса и отдельно за корчевку пней, а так как цены его контракта были вдвое более тогда существовавших, то и выходит, что он получил за эту работу вчетверо более, чем получали другие. Уверением же, что во время устройства шоссе успел вырости новый лес, он хотел получить новую плату, и, следовательно, получить за эту работу в шесть раз более, чем получали другие подрядчики.

Изложу главную из остальных претензий Вонлярлярского. В заключенном с ним контракте было сказано, что за устройство мостов простой конструкции по утвержденным нормальным чертежам он получит за каждую погонную сажень, сколько мне помнится, по 397 р $93^3/_4$ к., а за мосты через реки и вообще, где потребуется устроить мосты более сложной конструкции, он будет рассчитан по имеющимся составиться сметам, основанным на справочных ценах. Выше показанная цена за одну погонную сажень моста простой конструкции была чрезмерно высока, особливо в лесной местности. Обыкновенная ее цена была, смотря по большему или меньшему изобилию леса, от 60 до 100 руб.

Все остальные претензии Вонлярлярского, о которых я здесь не упоминаю, не имели никакого

основания и признаны нами таковыми. Напротив того, мы нашли, что ему передано более 300 тыс. руб., которые он должен еще заработать.

Полагаю уместным указать здесь причину, по которой местные распорядители шоссейных работ, при столь высоких ценах на их производство, часто затруднялись в уплате денег рабочим и поставщикам материалов.

Ежегодно назначалось на работы на шоссе между Мало-Ярославцем и Бобруйском около миллиона руб. Вонлярлярский, на основании контракта, брал в Петербурге вперед половину этой суммы в задаток, представляя в его обеспечение залог рубль за рубль, и редко уделял из нее что-нибудь на работы; напротив того, иногда старался и из остальной половины, которая выдавалась на месте работ по квитанциям инженеров, наблюдавших за работами, выхватить что-нибудь для собственных расходов.

Между тем Вонлярлярский оставил своим детям не очень большое состояние. Куда же девались полученные им миллионы рублей как с этого шоссе, так и с других работ? Затеям этого господина и роскоши в его жизни, при чрезвычайной нерасчетливости, не было пределов. Недаром он был прозван Монте-Кристо, имя бесконечно богатого героя современного романа, носящего то же название. Передам хотя некоторые черты затей и роскоши жизни Вонлярлярского.

В наследственном его имении Вонлярове, близ Смоленска, был старый господский дом, в роде домов, которые имеют помещики средней руки.

Желая сохранить этот дом и приспособить его к роскошной жизни богача, он на его отделку употребил огромные деньги. Достаточно упомянуть, что живопись потолка залы старого деревянного дома обошлась в несколько десятков тысяч рублей. Для планирования местности на несколько сот сажен около дома, он произвел огромнейшие земляные работы и на ней устроил большой великолепный сад с искусственными возвышениями, озерами и плотинами; на все это были издержаны огромные суммы.

В этом жилище, которое уподоблялось Петергофу, он давал лукулловские праздники, для которых живую рыбу и другие провизии привозили из Москвы на почтовых лошадях.

В Петербурге он жил так же великолепно. Говорили, что при его обедах и ужинах служили до 40 человек, одетых в самые роскошные ливреи. При его путешествиях курьеры заготовляли вперед лошадей на почтовых станциях, а так как число лошадей на них было на большей части трактов недостаточно, то курьеры дорого платили смотрителям станций, чтобы они задерживали других проезжающих в ожидании проезда Вонлярлярского. Подобные распоряжения делались не только для него и его жены, но и для его доктора и некоторых других состоявших при нем должностных лиц.

Принимая в соображение, что 25-рублевый кредитный билет составлял наименьшую единицу у Вонлярлярского, можно себе представить, сколько стоили подобные путешествия. В доказательство того, что Вонлярлярские, муж и жена, считали 25 р. за наименьшую единицу, приведу

следующий пример. Когда жена Вонлярлярского должна была проехать через г. Невель, было заблаговременно дано об этом знать содержателю гостиницы в городе. Она пробыла в этой гостинице полчаса, в это время напилась только чаю, конечно, своего; следовавший с нею поверенный ее мужа дал за это содержателю гостиницы 25 р., но последний их не взял, требуя по счету более 100 р. Завязался между ними спор. Когда жена Вонлярлярского узнала причину спора, то просила уплатить все по счету. Поверенный, однако же, этого не исполнил. Содержатель гостиницы представил в полицию неуплаченный счет, по которому значилось за самовар и сливки несколько десятков копеек, и несколько десятков рублей за то, что, получив извещение о приезде Вонлярлярской, он несколько дней сряду, в ожидании ее приезда, никого не пускал в гостиницу, за выписку из Витебска людей для прислуги, за припасы, приготовленные к ее обеду, так как он не знал о том, не потребует ли она обеда, и за разные другие приготовления по случаю ее приезда. Вонлярлярский, для прекращения возникшего в полиции дела, приказал заплатить по счету сполна.

Вонлярлярский по делам своим вел большую переписку. Письма свои он большею частью не отправлял с обыкновенною почтою, а с весьма дорого стоившими эстафетами. Генерал Герстфельд рассказывал мне, что во время управления им Варшаво-венскою железною дорогою в царстве Польском, Вонлярлярский потребовал экстренный поезд от Варшавы до границы.

В это время экстренные поезда, с разрешения наместника царства князя Паскевича, по каким-то причинам были отменены, а потому Герстфельд отказал Вонлярлярскому в его требовании. Последний заявил, что в случае получения экстренного поезда он, сверх установленной за него платы, даст поездной прислуге 10000 злотых (1500 р.).

Герстфельд отвечал, что прислуга оплачивается казною и не должна принимать подарков. Тогда Вонлярлярский, переменив тон, начал умолять Герстфельда дать ему поезд ввиду того, что его дочь опасно больна в Вене. Герстфельд немедля приказал нарядить поезд, при чем запретил прислуге принимать деньги от Вонлярлярского.

На последней станции Варшаво-венской дороги есть ящик для бедных, из которого каждый месяц вынимается несколько мелких монет. В тот же месяц, в который проехал Вонлярлярский на экстренном поезде, в ящике найдено, сверх мелких монет, 1500 р. русскими кредитными билетами.

Возвращаюсь к описанию поручения по разъяснению претензий Вонлярлярского. Представленный Клейнмихелю рапорт по этому предмету был им в подлиннике препровожден государю, который, призвав к себе Вонлярлярского, сказал ему, что, перед отправлением комиссии в Могилев для исследования его претензий, он уверил государя, что все дело будет кончено в его пользу, а между тем, по донесении этой комиссии, оказывается, что оно только начинается, и что по ее мнению, Вонлярлярскому

не следует более никаких денег. Последний отвечал, что заключение комиссии несправедливо, чему служит явным доказательством получение его поверенным через три дня по отъезде комиссии более 200 тыс. руб. из правления, которые поверенный его уплатил разным лицам, в чем представил расписки последних. Уверенность его в том, что дело его должно кончиться согласно его желанию, заявленная им государю в то время, когда его величество объявлял ему о посылке комиссии в Могилев, происходила от того, что тогда были назначены в комиссию только Мясоедов и Серебряков, а между тем, кроме них, был послан и я, что будто бы я, при всех других моих достоинствах, всегда толкуя в пользу казны недоразумения, возникающие в расчетах между казною и частными лицами, имел большое влияние при рассмотрении его претензий и направил дело не в его пользу.

Государь был очень недоволен тем, что Клейнмихель дозволил себе послать кроме лиц, которых он ему представил, и меня, не спросив на это особого разрешения.

В таком виде этот разговор был передан мне, по поручению Вонлярлярского, бывшим моим товарищем по институту инженеров путей сообщения, Львом Роппом, находившимся уже в отставке и производившим для Вонлярлярского изыскания по устройству железной дороги между Москвою и Нижним-Новгородом.

Согласно докладу Клейнмихеля, донесение, представленное Мясоедовым, Серебряковым и мною, высочайше повелено рассмотреть в совете главного управления путей сообщения

с приглашением для присутствования в нем по этому делу Н. Е. Заики, директора канцелярии главноуправляющего, Мясоедова, Серебрякова и меня. Означенное наше донесение в начале января 1852 г. было весьма обстоятельно обсужено в нескольких весьма продолжительных заседаниях совета, который признал его правильным, о чем доложено было государю Клейнмихелем в половине января.

Доклад этот поднял страшную бурю. Уверяли, что государь самым грубым образом выгнал Клейнмихеля из своего кабинета, сказав, что совет главного управления путей сообщения лжет, утверждая мнение комиссии, производившей следствие, так как его величеству вполне известно, что деньги Вонлярлярскому следовали и что 200 тыс. руб. ему даже выданы, а потому высочайше повелено дело это, ввиду уже выданных Вонлярлярскому 200 т. руб., пересмотреть в означенном совете.

С этого дня Клейнмихель заявил себе больным, и не выезжал из дома более 3 месяцев, продолжая управлять вверенным ему ведомством. Я полагал, что для поверки сумм правления, которая сейчас же указала бы на выдачу или невыдачу Вонлярлярскому более 200 тыс. руб., следовало послать одного из лиц, состоящих при Клейнмихеле по особым поручениям. Он, посылавший их повсюду для исполнения самых ничтожных поручений, на этот раз нашел достаточным послать в Могилев курьера с требованием о доставлении сведения о том, выданы ли Вонлярлярскому деньги. Курьер привез донесение окружного правления путей сообщения,

что за работы, произведенные Вонлярлярским в декабре, денег ему не выдавалось.

Совет главного управления путей сообщения, собравшийся по получении этого донесения, положил об этом донести Клейнмихелю и о том, что он остается при мнении, изложенном в прежнем докладе. По окончании заседания совета я получил частное извещение из Могилева, что деньги Вонлярлярскому действительно выданы. Я поспешил об этом заявить председательствовавшему в совете Дестрему, не называя ему лица, от которого я получил извещение. Дестрем принял мое заявление очень горячо, хотел на другой день предложить о нем совету, когда члены его соберутся для подписания журнала заседания.

Между тем, по приезде моем на другой день в совет, я нашел журнал бывшего накануне заседания уже подписанным Дестремом и прочими членами, и Дестрем никому ничего не говорил о моем заявлении. Впоследствии мне объяснили это тем, что Дестрем поступил так по требованию Клейнмихеля, который не желал, чтобы дан был ход сделанному мною заявлению.

Дестрем же сказал мне, что совет должен руководствоваться официальными донесениями, а не письмами от лица, которого имя даже ему неизвестно, и потому он подписал журнал вчерашнего заседания без изменения; после этого и я подписал его.

Этот журнал совета вместе с прежним, в котором совет соглашался с заключением посланной в Могилев комиссии, Клейнмихель, не

выезжавший из дому по болезни, послал к государю, который написал, что совет лжет, потому что его величество убежден в том, что деньги были выданы Вонлярлярскому. При этом государь, конечно основываясь на словах Вонлярлярского, отметил в первом журнале совета по этому делу те заключения, которые признавал неправильными.

Клейнмихель передал в совет замечания государя, оставив самые журналы совета при делах своей канцелярии в числе самых секретных бумаг, так что я этих журналов не видал, а говорили, впоследствии, что замечания государя против заключений совета были написаны в самых резких выражениях.

Совет, по получении бумаги от Клейнмихеля, в которой были изложены перефразированные замечания государя, потребовал для удостоверения в том, выданы ли деньги Вонлярлярскому, высылку из Могилева приходно-расходной книги окружного правления, а для объяснений по замечаниям государя — приезда Станевича в Петербург.

По приходо-расходной книге видно было, что Вонлярлярский действительно получил 28 декабря более 200 тыс. руб., но, по объяснению Станевича, эти деньги были выданы не за произведенные работы, а в виде задатков на 1852 г., следовавших Вонлярлярскому по контракту по представлении им залогов рубль за рубль; так это и было занесено в статью приходо-расходной книги.

Против замечаний, сделанных государем на первый журнал совета, Станевич представил

объяснения, и совет, по долгом обсуждении, положил все эти объяснения, равно как и объяснения о том, на какой предмет были выданы Вонлярлярскому деньги, изложить в новом журнале, который и представить Клейнмихелю.

Между тем, в городе ходили слухи, что государь неоднократно выражал разным лицам свое неудовольствие на то, что Клейнмихель не производит Вонлярлярскому следующих ему уплат и что совет главного управления путей сообщения в своих журналах лжет и делает несправедливые заключения.

Однажды государь нашел графиню Клейнмихель в кабинете императрицы и в весьма резких выражениях обвинял ее мужа и его подчиненных в несправедливости действий по делу Вонлярлярского, так что она упала в обморок и ее с трудом вывели от императрицы.

В феврале получено было донесение смоленского губернатора князя Херхеулидзева, моего знакомца по Керчи, когда он в ней был градоначальником, что конторы Вонлярлярского не платят денег работавшим при устройстве шоссе крестьянам, которые голодают и в нищенских рубищах огромными толпами приходят в Смоленск с жалобами, но он не может удовлетворить их по неимению на то никаких средств.

По высочайшему повелению положено было составить в Смоленске, под председательством губернатора, комиссию из губернского и уездного предводителей дворянства, смоленского жандармского штаб-офицера и из инженерного штаб-офицера путей сообщения, в которую, не

ожидая окончания дела по претензиям Вонлярлярского, назначить из государственного казначейства 400 тыс. руб. для расплаты с рабочими и поставщиками на устроенном шоссе, с тем, что деньги эти будут вычтены из выдач Вонлярлярскому, если ему таковые будут причитаться, а в противном случае падут на его залоги.

Клейнмихель назначил членом в эту комиссию меня, но не позволил ехать в Смоленск, прежде чем я подпишу вышеупомянутый окончательный журнал совета по делу Вонлярлярского, который и был подписан 7 марта.

Я получил инструкцию на выдачу денег рабочим и поставщикам из означенной суммы, согласованную между Клейнмихелем и министром внутренних дел Львом Алексеевичем Перовским. В этой инструкции поставлены были разные препятствия к выдаче денег, и между прочим, было приказано выдавать их «местным» поставщикам и рабочим. Разъяснения слова «местные», а также других неясностей инструкции я не мог добиться ни от Клейнмихаля, ни от Перовского.

Клейнмихель убежденный, что Вонлярлярскому не причтется никакой уплаты, желал, чтобы выдача производилась как можно медленнее, считая, что все, что будет выдано, будет чистою потерею для казны, так как он не надеялся на возможность получить что-либо в уплату из залогов Вонлярлярского.

Перовский, которому я представлялся перед отъездом, в Смоленск, высказал мне, до какой степени ему и вообще министрам неприятно положение, в которое Клейнмихель поставлен

жалобами Вонлярлярского. Перовский всегда враждебно относился к Клейнмихелю, и потому мне показался очень странным его разговор со мною, но тут действовало чувство самосохранения. Перовский и другие министры были обижены тем, что подрядчик может иметь влияние на государя более сильное, чем влияние одного из них и еще наиболее приближенного к государю.

Впрочем, я мог предвидеть это уже из слов М. Н. Муравьева, которого я в это время часто видал и который, сильно не любя Клейнмихеля, был дружен с Перовским. Последний, отпуская меня, просил придерживаться в уплате денег данной мне инструкции, а относительно ее неясностей исполнять так, как укажет Клейнмихель.

В феврале же 1852 г. было получено донесение могилевского окружного правления путей сообщения, что на торги по ремонтному в следующие 4 года содержанию шоссе, устроенному Вонлярлярским, никто не явился, причем правление просило о том, чтобы поручено было департаменту хозяйственных дел главного управления путей сообщения найти подрядчика.

В это время поступило заявление Гуюса, управлявшего имением Клейнмихеля, о желании принять этот подряд с довольно значительною сбавкою со сметных цен. Клейнмихель приказал рассмотреть это заявление в общем присутствии департамента с приглашением в оное управлявшего могилевским округом Станевича, Серебрякова и меня.

В первом же заседании этого присутствия я обратил внимание на чрезвычайно высокую

сметную оценку ремонтного содержания (сколько помню, около 2000 р. на версту в год), с которой, конечно, не трудно было сделать значительную сбавку. Так как департамент хозяйственных дел получил от правления только итоги смет, то нельзя было судить, почему они вчетверо или даже впятеро более итога в смете на подобное же содержание других шоссе, а так как сметы не были еще утверждены главным управлением путей сообщения, то я полагал, что до рассмотрения департаментом предложения Гуюса следует вытребовать подлинные сметы.

Это предложение мое очень не понравилось Станевичу и постоянно во всем вторившему ему Серебрякову. Между тем в Петербурге начали уже говорить о том, что Клейнмихель отдает содержание шоссе управляющему его имением по чрезвычайно высокой цене. Чтобы мои заявления в департаменте не остались втуне, я решился в тот же день передать их Клейнмихелю, когда он вошел в гостиную своей жены, с которой я в это время играл в ералаш.

Клейнмихель удивился, что сметы, по которым производились торги в могилевском правлении путей сообщения, не были еще утверждены, что они не присланы правлением при торговом деле и что сумма, ими определенная, так высока. Он очень благодарил меня за то, что я обратил на это его внимание, и приказал мне немедля отправить курьера в Могилев, с которым должны быть присланы сметы. Пока я этим распоряжался в канцелярии, он сел за меня играть в ералаш и, ничего не понимая в игре, порядочно проиграл.

Сметы из Могилева были доставлены после отъезда моего из Смоленска, они были поверены в департаменте для рассмотрения проектов и смет, при чем в них убавлено работ и поставок более, чем на половину, так что хотя Гуюс и получил подряд по ремонтному содержанию шоссе за весьма выгодную сумму, но несравненно низшую против прежде им объявленной. Контракт с Гуюсом был заключен на 4 года с тем, что по истечении этого срока, т.-е. в 1856 г., подряд будет оставлен за ним еще на 4 года преимущественно перед другими лицами.

Но в 1856 г. главноуправляющим путями сообщения был уже Чевкин и содержание шоссе было отдано на 4 года другому лицу за сумму, сколько помнится, почти вдвое меньшую. М. Н. Муравьев удивлялся, что Клейнмихель, чтобы не быть введенным в обманы, не приближает меня еще более к себе. В это же время, напротив того, приближенные Клейнмихеля, Мицкевич, Серебряков, а может быть и другие, старались удалить человека, который один позволял себе выводить перед Клейнмихелем наружу все плутни, и это удаление не заставило себя ждать. Я был назначен в смоленскую комиссию для уплаты рабочим на шоссе. Это было только временное удаление, но в июне я был назначен начальником московских водопроводов и следовательно совсем удален от Клейнмихеля.

Проездом из Петербурга в Смоленск я 9-го марта был в Москве. Это день кончины моей тещи. Побывав на ее могиле в Покровском монастыре,

я немедля отправился далее, но не по шоссе, которое ведет большим кругом через Рославль, а по старой Смоленской дороге на Соловьевский перевоз, от которого до Смоленска было устроено шоссе в бытность графа Толя главноуправляющим путями сообщения. На этом шоссе встречаются весьма значительные насыпи и выемки, его направление выбрано было в весьма неудобной местности и, как говорили, оно было предначертано Толем потому, что по нему двигались наши войска в 1812 г.

Работы по устройству шоссе должны были по неудобству местности стоить очень дорого, но их стоимость превысила все ожидания по причине беспорядков и злоупотреблений, допущенных смоленским губернатором Хмельницким, под наблюдением которого строилось шоссе, и инженером Шванебахом. Помнится мне, что они оба, во время суда над ними, умерли в петербургской Петропавловской крепости.

В самый день моего приезда в Смоленск был у меня смоленский губернский предводитель дворянства князь Друцкой-Сокольницкой, бывший впоследствии губернатором в одной из юго-западных губерний. Друцкой приехал ко мне просить дозволения не присутствовать в комиссии по уплате рабочим Вонлярлярского, опираясь на то, что ему нечего делать в этой комиссии, что он не живет в городе и что его отношения с Вонлярлярским таковы, что он не желал бы в ней участвовать. Я отвечал, что он назначен в комиссию старшим членом по высочайшему повелению, а я как младший член той же комиссии, не могу дать ему испраши-

ваемого разрешения, но очень сожалею, если он уклонится от присутствования в комиссии, так как, вероятно, многие рабочие и поставщики Вонлярлярского—крепостные люди смоленских дворян, и его присутствие в комиссии служило бы ручательством, что она исполняет возложенное на нее дело вполне справедливо. Но Друцкой так и не показывался в комиссию.

Губернатор и управляющий палатою государственных имуществ, по значительности своих занятий, также были в ней, первый при ее открытии и закрытии, а последний только при открытии.

И так все дело легло на меня и на смоленского жандармского штаб-офицера подполковника Слезкина, брата бывшего впоследствии жандармским генералом, человека очень приятного и хорошего.

На площадях и улицах Смоленска были толпы рабочих, не имевших пристанища и кормившихся подаянием. Они были снабжены печатными квитанциями шоссейных контор Вонлярлярского; на квитанциях обозначались должные каждому из них деньги. Суммы, обозначенные на квитанциях, были чрезвычайно разнообразны, от 20 к. до нескольких сот рублей. Странно было видеть копеечные квитанции, выданные при деле в несколько миллионов рублей.

Рабочим при получении этих квитанций назначалась одна из шоссейных контор, в которой они могли получить деньги по квитанциям, но эта контора отказывалась от уплаты. Тогда они

странствовали по другим конторам, расположенным на протяжении 500 верст, и везде получали отказ, что продолжалось целые годы.

Нельзя было медлить началом уплаты денег рабочим из суммы, ассигнованной из государственного казначейства, и в первое же заседание комиссии, бывшее на другой день моего приезда в Смоленск, я предложил следующий порядок для действий комиссии.

Ежедневно, кроме воскрестных и праздничных дней, с 10 до 12 час. утра комиссия принимает предъявляемые рабочими квитанции без всяких просьб или записок. По перенумеровании их, они передаются находившемуся в комиссии во время приема квитанции поверенному Вонлярлярского, Апухтину, для засвидетельствования их подлинности. С 12 часов начинается уплата по принятым накануне квитанциям, если к уплате не было предъявлено препятствий со стороны Апухтина, к чести которого надо сказать, что он весьма редко задерживал утверждение некоторых из квитанций своею подписью. После обеда Апухтин присылал ко мне полученные им утром в тот же день квитанции, утвержденные его подписью. Я вносил их в журнал комиссии, собирая для уменьшения письма квитанции, выданные на равные суммы вместе. Заключение по этим журналам было всегда одно: «выдать деньги по представленным квитанциям по принадлежности». Журнал посылался вечером для подписи губернатора и наличных членов комиссии, а на другой день рано утром исполнение по журналу записывалось в шнуровую книгу, что должно было быть

непременно окончено к полудню; в это время начиналась уплата денег по квитанциям.

Неясности в инструкциях в первом же заседании комиссии были растолкованы в том направлении, чтобы сколько возможно более облегчить и ускорить уплату рабочих. Так, вышеприведенное мною указание инструкции, чтобы уплачивать только поставщикам и рабочим «местным», под которыми в Петербурге хотели разуметь одних обывателей Смоленской губернии, мы нашли невозможным исполнить, и уплату по квитанциям распространили на всех рабочих, так как часто представлял квитанцию крестьянин Витебской губернии, а артель, с ним работавшая, состояла вся из смоленских крестьян или частию из Смоленской, а частию из других губерний. Вследствие этого тогда же предписано было всем исправникам Смоленской губернии, чтобы они оповестили об учреждении означенной комисии для уплаты денег по квитанциям, выданным из шоссейных контор Вонлярлярского, и писано было к губернаторам всех губерний, смежных с Смоленскою, с просьбою сделать такие же распоряжения по вверенным им губерниям.

Ежедневно представлялось несколько сотен квитанций, из чего можно заключить, насколько я завален был целый день работою чисто механическою. Во время уплаты денег Слезкин и я насмотрелись на людское несчастие и наслушались благословений от получивших уплату.

Некоторые, получая ее, не верили своим глазам, бросались на колена, клали земные поклоны перед образом, а потом и перед нами.

Слух о скорой и верной уплате по квитанциям контор Вонлярлярского скоро разнесся по Смоленской и соседним губерниям и каждый день новые толпы являлись в Смоленск с означенными квитанциями.

Не одни поставщики и рабочие надеялись получить деньги из ассигнованной государственным казначейством суммы. Многие кредиторы Вонлярлярского неотступно требовали, чтобы комиссия уплатила им его долги. Конечно, со всеми этими претензиями обращались ко мне; всем было мною отказываемо. Настойчивее других приступал ко мне живший вблизи Смоленска отставной генерал-майор Шембель.

Вонлярлярский занял у него 12 тыс. рублей под заклад своего имения Вонлярово. Шембель требовал, чтобы ему были уплачены эти деньги из назначенных в распоряжение комиссии. Я показывал ему в подлинниках данное мне предписание и инструкцию в доказательство невозможности исполнить его просьбу и удивлялся тому, что Шембель хлопочет, имея закладную на имение, на которое было употреблено сотни тысяч, а может быть и миллион рублей.

Шембель говорил, что Вонлярово не дает и не может давать никакого дохода, и продолжал упрашивать меня уплатить ему 12 тыс. рублей, утверждая, что он эти деньги дал Вонлярлярскому для уплаты за поставки по шоссе. Конечно, ему каждый раз в его просьбе было отказываемо.

Сообщения между Вонлярлярским и Апухтиным были ежедневные с эстафетами; последний до-

носил о ходе дел по комиссии и о том, сколько выплачено денег.

22-го апреля, согласно порядку, заведенному в комиссии, с 10 до 12 час. отобрано от поставщиков и рабочих значительное число квитанций и приказано им за получением денег прийти через день, так как на другой день было тезоименитство императрицы, день неприсутственный.

Только что мы начали уплату по квитанциям, отобранным накануне, как вошел в присутствие комиссии губернатор князь Херхеулидзев, объявивший, что он получил по эстафете предписание министра внутренних дел, в котором он объявляет высочайшее повеление о прекращении действий комиссии и о выдаче поверенному Вонлярлярского суммы, оставшейся неуплаченною из 400 тыс. руб., отпущенных ей государственным казначейством.

Херхеулидзев прочел это предписание громогласно. Затем комиссии оставалось прекратить всякую уплату, но мы решили суммы, выписанные расходом в шнуровую книгу, выдать, представленные же в этот день квитанции возвратить 24 апреля по принадлежности. Херхеулидзев согласился на это решение, как основанное на высочайшем повелении, но он сильно соболезновал обо всех поставщиках и рабочих, не успевших еще представить свои квитанции и в особенности о тех, у которых было отобраны квитанции в самый этот день и которые имели полную уверенность получить через день деньги.

Он заезжал ко мне после обеда, упрашивая меня придумать способ для уплаты денег

по крайней мере тем, у кого квитанции были уже отобраны; присылал ко мне Слезкина совещаться по этому предмету, но мой постоянный ответ был, что Херхеулидзев напрасно громко прочитал при чиновниках комиссии и при толпе рабочих, получавших деньги, высочайшее повеление о прекращении действий комиссии, а что по столь торжественном прочтении этого повеления ничего не остается нам, как передать остальную сумму Апухтину, а рабочим, представившим квитанции, их возвратить.

23-го апреля, в день тезоименитства императрицы, в обычае всех губернских городов было губернатору принимать поздравления всех служащих и затем отправляться с ними в кафедральный собор. На этом основании я готовился ехать к Херхеулидзеву, но пока я одевался в полную форму, он вошел ко мне и сказал, что он отменил прием служащих, чтобы быть у меня, а от меня едет прямо в собор.

Ко мне же он приехал, чтобы сказать, что его всю ночь тревожила мысль, что несчастные рабочие, представившие свои квитанции, не получат уплаты, и просил меня придумать средство для этой уплаты. Я представил ему, что после объявления им высочайшего повеления о закрытии комиссии, она более не существует, но что он может, как губернатор, как бы для сохранения спокойствия между толпою рабочих, решиться на уплату денег по отобранным накануне квитанциям.

Он опасался принять на себя подобное действие и тогда при настоятельной его просьбе помочь бедным рабочим, я ему предложил сле-

дующее. По полученному нами высочайшему повелению сумма, оставшаяся в распоряжении комиссии, составляет собственность Вонлярлярского, а потому нельзя допустить раздачи из нее рабочим денег не только без согласия его уполномоченного, но даже без особенной об этом с его стороны просьбы.

По желанию Херхеулидзева я принял на себя упросить Апухтина подать такого рода просьбу губернатору. Затем Херхеулидзев поехал в собор, куда и я обещался приехать от Апухтина.

Мне очень нравилось это теплое чувство Херхеулидзева к несчастному люду, столь редкое в человеке пожилом, проведшем десятки лет на службе, приучающей к одним формальностям.

Вонлярлярский прислал Апухтину эстафету, которой извещал, что он выиграл дело по своим претензиям и что Апухтин должен получить сумму, оставшуюся в комиссии, уплачивавшей рабочим по квитанциям его шоссейных контор, при чем прислал ведомость предметов, на которые должна быть израсходована эта сумма.

На основании последней, полученной Вонлярлярским, эстафеты Апухтина, он полагал этой суммы в остатке до 250 тыс. руб. Вонлярлярский, не приняв в соображения, что его извещение придет после отправления означенной эстафеты на целую неделю, в которую комиссия успеет раздать поставщикам и рабочим значительную сумму, распределил в ведомости, присланной Апухтину, все 250 т. руб., между тем в действительности оставалось не более 180 т. руб., а если уплатить по квитанциям, отобранным 22 апреля, то с небольшим 150 т. р.

Однако Апухтин очень скоро согласился на мою и Херхеулидзева просьбу и немедля при мне написал прошение к последнему о том, чтобы по принятым 22 апреля квитанциям сделана была уплата из суммы, назначенной по высочайшему повелению к передаче Апухтину.

Я взял с собой это прошение и, входя в собор, издалека показал его Херхеулидзеву, который очень повеселел и усердно молился. Я должен оговориться, что пишу мои воспоминания по памяти, без всяких справок с делами, а потому цифры в деле Вонлярлярского приводятся мною приблизительно, но приведение этих цифер с большей точностью не изменило бы ни в чем общей картины дела.

В тот же день 23 апреля я получил по эстафете предписание от Клейнмихеля, извещающего, что государь повелел выдать Вонлярлярскому по его претензиям 900 т. с десятками и тысячами рублей и даже с известным количеством копеек и что в эту сумму поступают 400 т. руб., бывшие в распоряжении комиссии.

В этом же предписании Клейнмихель поручал мне немедля, по сдаче поверенному Вонлярлярского суммы, оставшейся в комиссии не розданной, возвратиться в Петербург, а потому я на другой же день по уплате по квитанциям, отобранным 22 апреля, и по сдаче остальной суммы Апухтину, выехал из Смоленска. В то же время об упразднении комиссии было сообщено губернаторам всех губерний, смежных с Смоленской, и исправникам этой губернии для объявления об этом по всем городам и селам.

Весенняя распутица не позволила мне ехать по старой смоленской дороге, а потому я поехал на Рославль, от которого до Москвы было устроено шоссе. В Смоленске я оставил толпу рабочих, собравшихся в последние дни моего там пребывания и не успевших представить еще своих квитанций. По дороге я встречал новые толпы таких же рабочих, которые, узнав, что в Смоленске платят деньги по квитанциям, выданным из шоссейных контор Вонлярлярского, спешили в Смоленск.

В этих толпах были люди, уже получившие из комиссии деньги и называвшие меня отцом-благодетелем. Они, а за ними и другие, очень приуныли, видя, что я оставил Смоленск, и многие уже не хотели продолжать свой путь, считая это напрасным. Я утешал их тем, что теперь поверенный Вонлярлярского получил деньги, из которых, конечно, им заплатит.

На некоторых мое утешение не подействовало. Они с отчаяния рвали и бросали квитанции, говоря, что если я их покинул, то они не имеют более никакой надежды получить свои деньги и что, хлопоча доселе об их получении, они совершенно обнищали.

Действительно, самые жалкие из них были те, которые получили квитанции на сотню или несколько десятков рублей. Получившие квитанции на меньшие суммы перестали о них заботиться и снова обратились к своему обычному труду, тогда как имевшие квитанции на сотни и десятки рублей, обязанные сами уплатить работавшей с ним артели, ходили из одной конторы в другую, не получая денег и тратя время.

Помещичьи крестьяне, имевшие, с дозволения помещиков, артели рабочих из своих односельчан, обязаны были за них уплатить помещикам оброки, чего не могли исполнить, и помещики многих из них за это послали в Сибирь на поселение. Конечно, крестьяне, которым доверяли помещики, были из лучших и по поведению и по зажиточности; таким образом, через неплатеж денег по квитанциям, выданным шоссейными конторами Вонлярлярского, масса людей обнищала, а многие безвинно удалены были из своего месторождения и от своих семейств. Конечно, я был очень доволен, что мог оставить скучную жизнь в Смоленске, но с другой стороны, зная, что Апухтин получил уже приказание, как распорядиться с суммою, которая ему передана комиссией, и что в нем ничего не упомянуто о рабочих, я сожалел, что правительство, учредив для расплаты рабочих комиссию, которая имела право уплачивать только по тем квитанциям шоссейных контор Вонлярлярского, которые признаны правильными его уполномоченным, не распорядилось оставлением этой комиссии до совершенной уплаты по квитанциям, или по крайней мере до израсходования той суммы, которая на этот предмет была отпущена в комиссию.

Едва успели многие крестьяне, имевшие квитанции, узнать об учреждении комиссии и собраться в путь за несколько сот верст в страшную распутицу, как действия комиссии были приостановлены, и крестьяне, не поспевшие до 22 апреля в Смоленск, только потеряли

время, издержались по дороге и потеряли надежду на получение когда-либо уплаты по имевшимся у них квитанциям, так что учреждение комиссии причинило этим крестьянам еще новое зло.

В последних числах апреля я приехал в Петербург и немедля явился к Клейнмихелю, которого застал гуляющим по саду, принадлежащему к дому министра путей сообщения и простиравшемуся тогда до Большой Садовой улицы. Он вкратце рассказал, как происходило и кончилось дело с Вонлярлярским в мое отсутствие, причем беспощадно бранил его и в особенности ругал нецензурными выражениями В. А. Нелидову. * Доставалось и государю. Клейнмихель неоднократно повторял, что государь променял его, своего старого преданного слугу на Нелидову, которую называл стервою и еще давал ей другие нецензурные названия, причем рассказывал циниические между ними сцены. Это продолжалось около получаса, и я не знал, какую роль играть при слушании этой брани. Показывать вид, что я одобряю эту брань, было опасно; показывать противное было также неудобно *.

Из рассказов, слышанных мною в Петербурге в то время и впоследствии, я узнал, что дело по претензиям Вонлярлярского, в мое отсутствие из Петербурга, происходило следующим образом. Окончательный журнал совета главного управления путей сообщения по делу Вонлярлярского, подписанный 7 марта членами совета и приглашенными по этому делу лицами, в том числе и мною, был представлен государю. Он передал

его на рассмотрение наследника, которого неблаговоление к Клейнмихелю было известно. Главным советником наследника был в это время генерал-адъютант Я. И. Ростовцев, который, по хорошим отношениям к Клейнмихелю, знал все дело и вероятно, объяснил наследнику, что Клейнмихель в нем прав. По крайней мере, наследник заявил такое мнение государю, что последнего привело в сильное раздражение.

Государь, для окончательного обсуждения этого дела, 13 марта потребовал к себе наследника, графа А. Ф. Орлова и П. Д. Киселева, как наиболее приближенных к нему лиц, министра юстиции графа Панина, статс-секретаря для принятия прошений на высочайшое имя князя А. Ф. Голицына, товарища главноуправляющего путями сообщения Э. И. Герстфельда и генерал-адъютанта Н. А. Огарева; последнего, вероятно, как родного племянника Клейнмихеля и его представителя.

Государь сам изложил обвинительные пункты против Клейнмихеля, что было только повторением тех обвинений, которые государь так часто в продолжение последних двух месяцев передавал разным лицам. По окончании обвинения он спросил мнение графа Панина. Последний отвечал, что по закону жалобы на министров и главноуправляющих отдельными частями рассматриваются в I департаменте правительствующего сената, а потому он полагал бы это передать в означенный департамент. Этот ответ сильно раздражил государя, который заметил Панину, что он предлагает передать

дело сенату для того, чтобы оно там пролежало несколько лет без разрешения.

Панин отвечал, что дело это рассмотрено в совете главного управления путей сообщения весьма подробно, а потому сенат может с ним вполне познакомиться немедля, и он отвечает, что 1-му департаменту, для постановления своего решения, не потребуется более недели.

Государь, недовольный этим предложением, ничего на него не отвечая, сказал весьма раздражительным тоном, что он видит, что все против него, даже сын его; что пока он был благосклонен к Клейнмихелю, все бранили последнего, а что теперь, когда Клейнмихель действует несправедливо, что признается государем, они держат сторону Клейнмихеля. При этом государь, приходя все в большее и большое раздражение, укорял Орлова и Киселева в том, что они последнее время чаще прежнего виделись с Клейнмихелем, бранил последнего за то, что он осмелился не в точности исполнять его повеления, а именно, послать меня для исполнения поручения, на которое по высочайшему повелению я не был назначен. К этому государь прибавил, что он и Клейнмихеля и меня за это зашлет нивесть куда. В заключение государь решил дело по претензиям Вонлярлярского окончательно рассмотреть в комиссии прошений, подаваемых на высочайшее имя.

Ход этого заседания в кабинете государя передан мне большей частью Э. И. Герстфельдом и Н. А. Огаревым. Некоторые лица передавали за верное, что 13 марта были загото-

влены два проекта рескриптов: один Клейнмихелю — об увольнении его в отпуск для излечения болезни, а другой Анненкову — о назначении его, на время болезни Клейнмихеля, управлять ведомством путей сообщения; вслед за сим предполагалось утвердить его в этой должности.

Оба эти рескрипта не были подписаны государем, собственно, вследствие мнений, высказанных в заседании, бывшем 13 марта, под его личным председательством.

Я наверно не знаю, чем решила комиссия прошений. Говорили, что она, после обсуждений, продолжавшихся целый месяц, будто бы признала только некоторые из жалоб правильными, но так ли это было или иначе, а государь решил, что все претензии Вонлярлярского справедливы, и приказал уплатить ему все, по ним причитающееся.

Ни Вонлярлярскому, ни главному управлению путей сообщения не было известно, на какую сумму простираются претензии, заявленные Вонлярлярским, а потому государь, решив, что они все справедливы, приказал совету главного управления в 24 часа определить эту сумму.

Составление советом в его полном составе столь сложного исчисления было неудобно, а потому совет предложил эти исчисления сделать лицу, наиболее знакомому с делом, именно управляющему могилевским округом путей сообщения Станевичу, который на другой же день представил совету, что сумма претензий простирается за 900 тыс. руб., при чем определил не только десятки и единицы рублей, но и копеек.

Председательствовавший в совете Дестрем заметил, что хотя он и остается при своем мнении, что Вонлярлярскому ничего не следует, но, исполняя высочайшую волю, он подпишет о выдаче ему такой суммы, которая будет исчислена на правильных основаниях. Между тем некоторые основания, принятые Станевичем при исчислении означенной суммы, он находит неправильными; так, он полагает, что мост, шириною в 4 саж., стоит более, чем мост, шириною в 3 сажени, не на целую треть стоимости последнего и т. п.

Одним словом, на основаниях, изложенных Дестремом, означенная сумма уменьшалась до 780 тыс. руб., т.-е. почти на 150 тыс. руб. Вследствие этого совет с приглашенными в него лицами, между которыми был и Станевич, представил, что сумма претензий Вонлярлярского простирается до 780 тыс. руб.

На другой день по подписании советом означенного исчисления, Клейнмихель сказал приехавшему к нему на вечер П. А. Языкову, что государь прислал приказание выдать Вонлярлярскому деньги по его претензиям, но не ту сумму, которую исчислил совет, а 900 с чем-то тысяч рублей.

Языков заметил, что эта цифра была уже в рассмотрении совета и что ему кажется странным, что именно она попала в высочайшее повеление. Клейнмихель сказал Языкову:

— Значит, у вас в совете есть изменники.

Оказалось, что государь, получив исчисление совета по претензиям Вонлярлярского, показал его последнему, который, не принимая в со-

ображение пословицы: «даровому коню в зубы не смотрят», предъявил государю исчисление, простиравшееся до 900 слишком тысяч рублей с копейками, одним словом, ту сумму, которую первоначально исчислил Станевич.

Языков заметил Клейнмихелю, что последнюю сумму знал твердо только Станевич; члены же совета едва успели на нее обратить внимание, а потому передать ее Вонлярлярскому мог только Станевич.

Вместе с повелением о выдаче означенных денег, государь прислал к Клейнмихелю наследника, в день рождения его высочества, 17 апреля, для выражения сожаления, что он так долго не видит Клейнмихеля, и письмо, в котором называл его старым другом и взваливал причину размолвки между ними на подчиненных Клейнмихеля, опутавших его своими неправильными докладами. К письму была приложена записка для прочтения в совете главного управления. Вместе с тем государь приказал оконченному по претензиям Вонлярлярского делу не давать более никаких последствий.

Московский генерал-губернатор А. А. Закревский, находя, что Трубный бульвар служит притоном всякого рода мошенникам и самым грязным проституткам, а по способу его посадки полиции затруднительно иметь за ними должное наблюдение, назначил этот бульвар к уничтожению.

Правление IV округа путей сообщения воспротивилось этому распоряжению, и находило, что бульвары служат к улучшению воздуха, а на

площади, в случае срубки Трубного бульвара, нельзя допустить езды, так как он устроен на ветхом кирпичном своде, покрывающем р. Неглинную. Клейнмихель, в мае месяце, приказал мне отправиться в Москву для расследования этого дела, но уже не предстояло ничего к расследованию: бульвар был уже срублен.

Одним словом, не было повода к посылке меня для исполнения означенного поручения. Но умысел другой тут был: целью моей поездки в Москву было предположение назначить меня, начальником московских водопроводов, если Закревский, познакомясь со мною, пожелает этого.

25 июня 1852 г. я назначен, приказом главноуправляющего путями сообщения, начальником московских водопроводов с оставлением при главноуправляющем. По высочайше утвержденному штату московских водопроводов, о назначении в эту должность объявлялось в высочайших приказах; мое же назначение в эти приказы не было внесено, вероятно, потому, что Клейнмихель не хотел напомнить обо мне государю, раздраженному против меня за дело Вонлярлярского.

Последнее время, проведенное мною в Петербурге, я часто бывал у Клейнмихеля, который это лето жил в Царском селе, в так называемых китайских домиках, построенных близ большого дворца. В одну из поездок моих в Царское село ехал со мною в одном вагоне коммерции советник Харичков (умер в 1881 г.), который сказал мне, что Клейнмихель докладывал в этот день государю положение о коммерческом агенте при железной дороге между двумя столицами,

по которому агент избирался на 12 лет главноуправляющим путями сообщения и утверждался государем, и что он представлен Клейнмихелем на это место. По приезде моем к последнему, он мне немедля объявил, что Харичков утвержден агентом, и послал за ним.

Кроме того, что должности коммерческого агента назначался класс, как и всякому чиновнику гражданской службы, он, в силу разных пунктов положения, делался совершенным чиновником, так что его назначение не могло уничтожить тех беспорядков, которые вкрались при казенном управлении перевозками. Между тем, положение предоставляло агенту получать в свою пользу известную премию, а так как отправление грузов по дороге помимо его было невозможно, то, в виду огромного их количества, выгоды агента должны были быть весьма значительны.

Предоставление этих выгод Харичкову, который был известен за близкого человека Клейнмихеля и который не раз давал жене его деньги взаймы, навело на Клейнмихеля кучу обвинений. Говорили, что Харичков заплатил за получение должности коммерческого агента. Нет сомнения, что тут без взяток не обошлось, но они были даны не Клейнмихелю, а приближенным Клейнмихеля...

ДОПОЛНЕНИЕ

К рассказу А. И. Дельвига об отношении поэта А. А. Дельвига к делу декабристов и об отношении к нему Бенкендорфа (смотреть т. I, стр. 75 и др.) необходимо присоединить следующее сообщение М. В. Нечкиной в статье «О Пушкине, декабристах и их общих друзьях» (Каторга и ссылка» 1930 № 4), появившейся после того, как I том этого издания был подписан к печати.

— Кто из членов наиболее стремился к выполнению сего преступного предприятия советами, сочинениями и влиянием своим, на других? — спрашивал М. И. Пыхачева следственный комитет по делу декабристов.

На это допрашиваемый, служивший на юге и находившийся под агитационным воздействием наиболее революционного из южных заговорщиков, М. П. Бестужева-Рюмина, ответил:

— Судя по превозносимым от Бестужева каким-то стихам, кои он раздавал всякому и называл сочинителями их Пушкина и Дельвига, почему я и полагаю их членами к преступным предприятиям...

Заявление Пыхачева о распространении среди членов тайных обществ революционных стихов Дельвига ничем не подтверждено и оставлено Николаем I без последствий, как было оставлено без последствий заявление С. П. Трубецкого о том, что А. А. Дельвиг был членом общества Зеленой лампы — в виду неполитического значения общества. Но всетаки это показание Пыхачева любопытно как свидетельство того, что на ряду с именем Пушкина, как автора стихотворений, содействовавших выработке революционной идеологии декабристов, назывался и его ближайший друг, участник той же литературно-общественной группировки, к которой принадлежал великий поэт.

С. Ш.

СОДЕРЖАНИЕ.



